

Вадим ПЕУНОВ

75-летию
Донецкой области
посвящается

За любовь не судят

Донецк
КД «Проспект-Пресс»
2007

ББК 84(4Укр-Рус)6
ПЗ1

Пеунов В.

ПЗ1 За любовь не судят. – Донецк: ЧП «Книжный дом «Проспект-Пресс», 2007. – 448 с.
ISBN 966-8899-06-7ы

Роман известного донецкого писателя Вадима Пеунова рассказывает о людях, увлеченных делом, умеющих бороться за идею, за свою правоту и в то же время понять и простить другого человека. Такова молодая героиня романа Наташа Пахомова, чье духовное и нравственное становление происходит на глазах у читателя. Повествование отличается глубокой психологичностью, заключено в увлекательный сюжет.

ББК 84(4Укр-Рус)6

Роман відомого донецького письменника Вадима Пеунова розповідає про людей, захоплених справою, здатних боротися за ідею, за свою правоту і водночас зрозуміти та пробачити іншу людину. Такою є молода героїня роману Наталя Пахомова, духовне та моральне становлення якої відбувається на очах у читача. Розповідь відзначається глибокою психологічністю, укладена в захоплюючий сюжет.

ISBN 966-8899-06-7

© Пеунов В., 2007
© ЧП «КД «Проспект-Пресс»,
Донецк, 2007

*Если думаешь на год вперед — сей хлеб.
Если думаешь на десять лет вперед —
сажай сад.
Если думаешь о будущем, глядя через
века, —
учи молодых любить Родину!*

ЖАЖДА

Вода есть начало всех вещей: без нее
не рождаются ни боги, ни люди.

Фолес из Милета

ТЕМА ДЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Вода в личной жизни Наташи Пахомовой — это всерьез и надолго, такую уж специальность она выбрала: «делать воду», «мыть воду»...

— Я — в Чебоксары! — заявила Наташа дома, когда пришла пора выбирать место будущей работы.

Мама Нина — душа нежная, легкоранимая, посвятившая всю свою жизнь единственной дочери, всполошилась:

— Но это же ссылка!

— Во времена батюшки царя. А ныне — центр России. Волга. И... пятьдесят четыре процента мужского населения. — Насчет процентов Наташа, может, и ошиблась, слышала где-то эту цифру. В связи с чем?.. Может быть, в Тольятти переизбыток мужского населения? Но сейчас это не имело значения. В душе у Наташи все накалилось, она готова была взбунтоваться, выйти из повиновения по всем направлениям жизни. В ней вызрело анархическое: «Осточертело!» и «Все долой!»

— Добуду тебе зятя — потомка Салавата Юлаева или хана Батыя. — Она натянула кожу на висках, демонстрируя, какие узкие, длинные и красивые глаза должны быть у ее мужа.

Гомер — о любви... Данте — о любви... Шекспир, Гете, Пушкин, Достоевский, Лев Толстой. Ну и нынешние, модные и популярные: Шукшин, Распутин, Евтушенко... Сколько насочиняли! Только изучай страсти-мордасти, прикладывай мировой опыт к своей жизни!

Прикладываем. Да только не всегда он, чужой-то, лечит наши душевные раны. Почему?

Кто сказал, что во времена Гомера любили и страдали так же, как во времена Шекспира? И даже в наши? Налей молодое вино в амфору, которую подняли со дна Эгейского моря! Разве станет вино от этого выдержанным? Конечно, можно другу-соседу сказать: «Этой амфоре четыре тысячи лет» — и налить из нее... Очарованный древностью сосуда, друг-сосед забудет обо всем остальном, он отождествит форму с содержанием и впоследствии, убежденный, будет клясться, что пил нектар греческих богов: «Вкуснотища!»

Но ты-то знаешь, что в амфоре — розовый мускат двухлетней давности, вино, в общем-то, весьма и весьма достойное похвалы, но не времен Гомера.

Лирики утверждают:

— Любовь — это загадка миров!

— Это открытие Вселенной!

— Любовь — это то, что отличает человека от остальных творений природы.

А может быть, любовь... всего лишь джинн, по глупости освобожденный из посуды с узким горлышком? Сорвала ты пробку, то бишь священную печать повелителя джинов, выпустила на волю духа... А что он скажет тебе? «Слушаюсь и повинуюсь!» А вдруг прошипит совсем иное: «Отныне и во веки веков — проклятье тебе и роду твоему!»

Есть ситуации, когда чужой социальный опыт нам не помощник. Чтобы понять, что огонь не просто красивый цветок, надо обжечься. За другого — не умрешь, за другую — не родишь... Своя боль учит. Она же порой и лечит душу. Поэтому у каждого поколения свое прочтение книги бытия.

Если тебе двадцать три и ты еще никого не любила, а по ночам томят девичьи сны, так хочется уехать куда-нибудь подальше от

дома, от своих, от всего, что намозолило глаза, приелось до приторности, беспросветно посерело в твоём представлении.

Мама Нина, когда-то учившаяся в мединституте и читавшая в подлиннике сочинения Зигмунда Фрейда, была сторонницей его психоаналитического учения о конфликте поколений на сексуальной основе, поэтому решила: «У Натулечки четко выраженный комплекс Электры».

Она готова была пояснять строптивное настроение дочери самыми модными и расхожими теориями, но упорно, с чисто материнским эгоизмом отвергала очевидный факт: любимое чадо — уже взрослый человек, и навязчивая опека матери ей в тягость.

Мама Нина вспомнила Чебоксары. (Натулечка еще в школу ходила.) Пахомовы совершали экскурсию по Волге. Начало октября. Слякотная, промозглая погода. Снег с дождем. Волгу теребил и взьерошивал пронзительный ветер. Пассажиры отсиживались по каютам. И Нина Ивановна, пользуясь случаем, что Прошеньке (как она называла мужа) деться некуда, точила его за то, что он затеял эту дурацкую поездку.

В Чебоксарах пароход стоял несколько часов. Пассажиры побежали на местный базар, где, как утверждали знатоки, можно купить носки, свитера, шапочки, перчатки ручной вязки из натурального собачьего подшерстка.

Нина Ивановна, оставив дочку на попечение мужа, поспешила вслед за всеми оглашенными. Она месила легкими туфельками непролазную глинистую грязь. И чуть не плакала.

Базар был действительно богат, и она накупила всякого добра. Но не позволила Прошеньке даже примерить двойной вязки «водолазный» свитер, пока не вернулась домой и не прокипятит все покупки в горчице.

— Ты бы видел, какие руки были у той тетки! А как от нее воняло!

И хотя с тех пор прошло полтора десятилетия, Чебоксары для Нины Ивановны остались символом неустроенности, грязи и опасности подцепить заразную болезнь. А после того, как кто-то из знакомых рассказал ей, что в Чебоксарах когда-то были случаи заболевания холерой, она окончательно уверовала: более губительного места в стране нет и быть не может.

Естественно, что она восстала против того, чтобы дочь поехала в глухомань на погибель.

Разгорелся острый спор, который возникает, если недовольство рождает мелочи, если это недовольство копится месяцами, годами, то есть близкие люди поутомились друг от друга, но признаться в этом не смеют.

— Можно подумать, что матери безразлична твоя судьба. Вот когда твоя дочь будет заканчивать институт...

— Но зачем же постоянно цитировать саму себя? Это в конце концов становится скучно!

— А зачем постоянно грубить тем, кто тебя любит?..

В иное время мама Нина сказала бы, что грубость опошляет женщину, тем более молодую. Но это было бы тоже «самоцитирование». И мама Нина, у которой появилось неведомое раньше чувство робости перед взрослеющей дочерью, рождающее невольное опасение вновь встретить жесткое сопротивление, лишь проворчала что-то невнятное.

Их рассудил Прохор Николаевич: отец, муж, коронованный глава дома, который, как английская королева, царствовал, но не властвовал.

— Если она хочет стать ученым, а не младшим научным сотрудником заштатного НИИ, то надо наживать кругозор. Чебоксарский завод как раз из тех, что стоит посмотреть. Но Мозжухин договорился: на ДМЗ* обкатают «Утенка». Первое изобретение молодых специалистов внедряется в производство! Обязательно вылезут какие-то конструкторские и технические недоделки, желательно авторам видеть их своими глазами.

* * *

Работая в студенческом научно-техническом обществе «Антошка», еще на третьем курсе Наташа со Славкой Бобренком смастерили небольшой, но по идее выносливый насос «Утенок», действовавший по принципу сифона. Он способен был работать в самых тяжелых условиях, например, качать шлам.

* ДМЗ — Донецкий металлургический завод.

Славка — «папа» «Утенка», можно сказать, он его и сотворил, а Наташа лишь подала общую идею и выполняла чертежи. Ушел год на то, чтобы героическими усилиями Славки Бобренка и какого-то Глеба — местного Левши с завода — чертежи были воплощены в металл.

Миновало еще полтора года, прежде чем молодые изобретатели продрались через редуты, рогатки, флешы, надолбы, противотанковые рвы и прочие преграды, ловко применяемые в различных инстанциях, от которых зависит судьба изобретения. И это при всем при том, что авторов поддержали своим авторитетом заведующий кафедрой водоснабжения и промышленной канализации, доктор технических наук профессор П. Н. Пахомов и заместитель декана факультета доцент В. Н. Мозжухин, подписавшие свидетельство о том, что «Утенок» еще в первом варианте отлично зарекомендовал себя при лабораторных испытаниях.

Но и после этого представители заводов, шахт, электростанций и станций очистки бытовых и сточных вод, словом, тех организаций, где мог бы работать «Утенок», не толпились у дверей изобретателей, не одолевали их телефонными звонками: «Именем НТР — требуем экземплярчик вашего изобретения».

Наташа по натуре — скептик. Она на все было махнула рукой (впереди — преддипломная практика, дипломный проект): мол, из истории науки и техники известно, что и более гениальные и нужные человечеству изобретения оставались порою лишь проектами и техническими курьезами. Но Славка все время искал «покупателя». Во имя будущего «Утенка» он где-то бесплатно слесарил, кому-то вместе со своим другом Глебом рихтовал побитый кузов автомашины, делал чертежи для диссертации и вел расчеты графиков. После очередного «захода» он говорил своему соавтору, слегка заикаясь:

— На-нашел! Железный человек!

Но «железный человек» оказывался меднолобым чурбаном. Впрочем, Славка не скисал, хотя шли прахом, в основном, его время, его труд, и успокаивал Наташу:

— По-понимаешь ка-какое дело... У них на ша-шахте нет шламоотстойников. Но пообещали познакомить с одним же-железным человеком...

Славка — «антиакселерат», недомерок. Это, наверное, от тощих хлебов. Отца у Славки нет, мать — пенсионерка (по инвалидности). Когда-то она работала в букинистическом магазине, так что ничего, кроме любви к книгам, дать ему в дорогу по жизни не могла.

Нормальное Славкино состояние — неутомимые, вечные поиски «калыма».

— Мой калым, — говорил он, — не подпадает под статью, предусматривающую уголовное наказание за покупку или продажу невесты, он означает всего лишь трудовой энтузиазм, с которым золотоискатели вкалывали на Колыме.

Славка разгружал по праздникам и воскресеньям, особенно в ночное время, в составе студенческой «выручай-компании» лес и бытовой уголь, сокращая тем самым простой вагонов, подрабатывал на ремонте частных автомашин. Все свои «фонды» он всаживал в релюшки, диоды, в наборы паяльников, слесарных ключей и напильников, в отливки и угощения «железных» людей. Они должны были как-то и где-то поспособствовать, чтобы очередная «гениальная мысль» Бобренка нашла воплощение в материале и получила положительную оценку.

Эта одиссея, видимо, продолжалась бы до бесконечности, если бы соавторам не пришел на помощь заместитель декана Виталий Никифорович Мозжухин, руководивший «Антошкой».

Так решилась для Наташи «проблема Чебоксар», она осталась в Донецке. И в самом деле, если не она сама, то кто вдохнет жизнь в ее детище, в ее первенца?

Первое близкое знакомство практикантки Пахомовой со своей будущей специальностью произошло в конторе цеха водоснабжения, одноэтажном, смахивающем на барак помещении.

Начальник цеха, этакий колобок — «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» — Арзамас Руфимович Руфимов сказал ей:

— Специфика нашего цеха в том, что он не имеет четких границ, это — весь завод, всюду, где есть вода. Чтобы быть в курсе, ходите недельку, присмотритесь. Обязательно побывайте на шламонакопителе — там поставим вашего «Утенка».

«Неделю — и это только для начала — американским наблюдателем! — возмутилась Наташа в душе. — Нет уж, уважаемый товарищ

Руфимов, освободите меня хотя бы на время преддипломной практики от участи дочки профессора Пахомова!»

— Я должна вести производственный дневник, — сказала Наташа начальнику цеха. — Что запишу? «В 8.00 — насос работает нормально. В 9.00 — насос работает согласно графику. В 10.00 — насос работает согласно графику». И так месяц, два...

— Ну почему же месяц без поломок? Такого с новой техникой не бывает. У нас есть вакантная должность мастера. Мы вас на время практики поставим исполняющей обязанности. Но вначале надо осмотреться.

— Вот и поставьте меня для начала аппаратчицей, что ли...

Руфимов не очень охотно согласился:

— Ну что ж... Если вы настаиваете... Идите на «Пермутит», обратитесь к Куренной.

— А кто это такая?

— Правая рука директора завода... по химводоочистке. Не ошибетесь: второй такой земля не породила. У них сегодня запарочка, помогите... По возможности.

И это называется «запарочка»! А что же тогда завал?

На разгрузочной площадке, на почерневшем от времени, смахивающем на земляной вал казацкой фортеции, бурте соли сидели две женщины в ватных брюках и фуфайках. Одежда — явно не по погоде. День выдался солнечный. К полудню наберет градусов двадцать, не меньше. Лица женщин были закрыты черными платками, только глаза видны, как у палестинцев, которые атакуют одно из военных поселений израильтян, построенных на исконно арабской территории.

Женщины буквально увязли в крутых торосах из... голубоватых, подозрительно знакомых Наташе пачек.

«Соль «Экстра»... Стоит такой появиться в магазине, как тут же вырастает очередь из запасливых хозяек. Они берут по три-четыре штуки, впрок, так как «Экстра» — один из местных дефицитов.

А здесь ее лежали горы. Две сидевшие женщины умело, заученным движением «раздевали» пачки и высыпали соль в квадратную воронку — приемный бункерок ленточного транспортера. А третья — «Куренная!» — определила Наташа. Ошибиться было действи-

тельно невозможно — роста волейбольного, в плечах — силачам, олимпийским чемпионам по штанге — на зависть... Ватные брюки «безразмерного» размера и под стать им распахнутая на груди фуфайка превращали ее в сказочного Великана Великановича. Явился этот Великан Великанович к нам, в век реактивных самолетов и освоения космоса, из былинных времен.

Но что-то девичье, вдохновенное было в круглом, розовощеком лице Куренной.

На краю разгрузочной площадки лежали квадратные пакеты из серой толстой бумаги, перетянутые шпагатом. Сорок пачек в каждом.

Куренная рывком выдирала из «террикона» тридцатикилограммовый пакет и с размаху, с плеча била им о шлакоблочную платформу транспортера. Ломкая бумага с храпом распарывалась, и из серого пакета перепелками выпархивали синеватые пачки. Они не могли далеко улететь и грузно, сытой стайкой оседали между двумя женщинами, застывая тут же ледяными торосами.

«Куренная!» Память вернула Наташу в прошлое, на два года. «Тетя Фрося... Ефросинья Андреевна!»

* * *

После первого курса Наташа работала в студенческом стройотряде месяца полтора, после чего у нее оставалось еще около месяца свободного времени, и мама Нина предложила ей отдохнуть. Но достать «солидную» путевку на Черное море Прохор Николаевич не смог — такие дела устраивают загодя. Мама Нина рассердилась на Прошеньку и сказала, что обойдется без профессора.

Мама Нина свои возможности знала превосходно. Она позвонила аспиранту профессора Пахомова Юрию Юрьевичу Смычку, сказала, что она ему будет очень признательна за любую путевку на море. Для Натулечки.

Через два дня у мамы Нины была в руках путевка в заводской пансионат «Металлург» на берегу «лучшего по бальнеологическим свойствам у нас в стране» Азовского моря.

В комнате, куда поселили студентку политехнического института, уже жили двое: небольшого росточка, худенькая брюнетка, аппарат-

чица Елизавета Ивановна (Лизавета, как она представилась новенькой) и тетя Фрося, женщина богатырского роста, разнорабочая металлургического завода. Причем она гордилась этим званием и трактовала его крайне своеобразно: «Я двадцать лет в своем цеху, я кадровая, без меня не обойтись, я могу выполнять самые разные работы. Начальника цеха я на целый месяц заменяю, и дела от того хуже не пойдут. И главного инженера завода заменяю. На недельку. И директора. А они меня и на один день не заменят, потому что способностей моих у них ни у кого нету».

Наташа тогда лишь улыбнулась на такое пояснение.

Лизавета приехала в пансионат «развлечься». Она готова была денно и ношно без устали рассказывать о своих победах на амурном фронте, причем с фривольными подробностями.

— Сижу один вечер с Жорой на лавочке, сохну от тоски, второй. Фруктами угощает и про свою шахту рассказывает. Думаю: «Не мужик — чурка с глазами». Наконец спрашивает: «Можно вас поцеловать?» Отвечаю: «Это делают без письменного разрешения». Тут он и расхрабрился! А лавка хлипкая, завалилась. И мы оба — в кусты. Всю физию поцарапала!

Она любила выражения: «Мы — женщины» и «Они — мужичье». Часто напоминала:

— Мне уже сорок.

Мудрая тетя Фрося не без насмешки обычно уточняла:

— С гаком.

— Сорок лет — бабий век, сорок пять — баба ягодка опять. От мужичья отбою нет! — докладывала Елизавета Ивановна. — Волны, что ли, от меня какие исходят? Так и льнут, так и вьются.

— Сучку чувят. — Грубые слова в устах тети Фроси звучали как добрая, дружеская шутка. Разнорабочая Куренная умела извлекать из слов первородный, неиспоганенный смысл.

Елизавета не обижалась.

— Нет, правда!

Она была доброй женщиной, с удовольствием делилась гостинцами, которые приносила от своего Жоры. Перед завтраком могла предложить:

— Девоньки, раз живем. Хлопнем по рюмашке, для здоровья.

Наташа отказывалась, тетя Фрося обычно поддерживала предложение:

— Отчего ж не хлопнуть... Врачи и то рекомендуют, чтоб кровь в жилах не застаивалась.

Лизавета — убежденная холостячка:

— Чтоб я ради какого-нибудь охламона-барбоса возле плиты и корыта чахла: пеленки и подштанники стирала, борщи варила, ночей недосыпала? А так он явится ко мне, когда я в настроении, придет ласковый, добрый. В двери ногой стучит, руки подарками заняты: «Лиза-Лиза-Лизавета, я люблю тебя за это, и за это, и за то, что целуешь горячо!»

Тетя Фрося комментировала:

— А я бы тех, кто от главной бабьей работы отлынивает, детей не рожает, в Африку отправляла. На постоянное жительство в пустыню. Мы, женщины, всему начало...

Лизавета не соглашалась:

— Так я и поверила: ложишься к Луке Степанычу под бок и о международном положении с ним толкуешь. Ты — баба сочная, работу эту любишь. Вот Наталья, — показывала она на студентку Пахомову, — иное дело. Та всю себя на книжки да на газеты разменяла.

Эти женщины были из неведомого Наташе мира. Они умели о запретном, о самом интимном говорить без обиняков, без затуманивающих суть эвфемизмов. Они были частью жизни, о которой говорили.

Наташа поселилась в комнате третьей. Тетя Фрося представилась сама и все выпросила о новенькой.

— Жить нам вместе две недели, как родным сестрам у бабушки с матушкой. Без откровенностей станем друг другу врагами. Замужем? — спросила она новенькую.

Почему Наташа ответила «да»? По всей вероятности, инстинктивно почувствовала, что девочка не может быть ровней этой сильной, ладно скроенной женщине. Древнеримский вягель по образцу и

подобию тети Фроси сработал бы скульптуру — колосс — и поставил бы ее на главной площади империи: «Богиня плодородия».

Просыпается тетя Фрося утречком, солнце только занимается:

— Девчонки, царство небесное проспите!

Лизавета ворчит:

— Только что легла...

Но тетя Фрося достанет ее из кровати, подтащит к окну:

— Красотища-то какая, Лизавета! С горняком по ночам поешь, а света белого не видишь. Он к потемкам в своей шахте привык, а ты-то чего в совы записываешься?

Потянется, бывало, тетя Фрося — сладко, заманчиво, до хруста в костях. Потом сдавит огромные груди, охнет от избытка нераспесканных чувств. Халат у нее до пят, и тетя Фрося не ходит в нем по комнате, а плавает, как прима из ансамбля народного танца, возглавляющая хоровод «Березка».

— Опять своего Луку Степаныча видела. Стоим мы с ним на берегу моря. А вокруг — ни души. Луна-молодуха расстелила серебряную дорожку по стеклянной глади — суженого поджидает. Лука Степаныч меня за руку берет. Да так ласково — сердце захлебывается от счастья.

— Мужичка б тебе, — трактовала по-своему Лизавета сновидения тети Фроси.

Та задумчиво улыбалась. Голубые глаза подергивались поволокой.

— Возвращаюсь я с курорта, а Лука Степаныч встречает меня с сыновьями... Их у нас девятеро. А доченьки нет. Кровь, что ли, у Луки сильнее моей. А он бредит девчонкой. Говорит: «Я мужик упертый, свою добыю!» — Тетя Фрося смеялась ласково, звонко, как школьница.

В такие мгновения Наташу одолевала невесть откуда взявшаяся и по какому поводу родившаяся зависть. Похожее чувство, только во сто крат острее, видимо, тревожило и Лизавету. Однажды утром во время очередной исповеди тети Фроси о ее сладостных снах, где неизменным героем был Лука Степаныч, Лизавета взорвалась: с лица позеленела, вмиг состарилась и соседку по койке, товарку по работе — многоэтажным...

— ... со своим Лукой Степанычем! — уткнулась в подушку и — навзрыд.

Тетя Фрося вдруг обернулась виноватой, не знает куда себя деть. Поднялась с кровати, подошла к Лизавете. Постояла, потопталась, рядом с товаркой присела. Обняла.

— Прости, Лизавета. Мы, бабы, в счастье-то порою себя любим больше от всего белого света.

Она прижала подругу к груди, словно младенца. Вытерла ей слезы ладошкой. И все приговаривала:

— Ну, полно тебе, полно. Прости меня дуру-самолюбку.

Потом они пили водку. Наливали в стаканы. И Наташу пытались причастить.

— Ты пригуби. За нашу женскую долю.

Наташа их не понимала: «Чокнутые обе...»

Она ушла на море.

Вернулась к обеду. Тетя Фрося сидела одна. Пьяненькая.

— Пошла к своему Мухтару утешиться, — кивнула она на койку Лизаветы.

— Не Мухтар, а Георгий, — уточнила Наташа, испытывая острую неприязнь к отсутствующей.

— Все равно нерусский, — отмахнулась добродушно тетя Фрося. — Комяк, ну и национальность, прости меня Господи. И не слыхивала. А уж богат на всякие народы наш край, сказывали — более ста разновидностей. — Она, видимо, догадалась, какие чувства бушуют в сдержанной соседке. — Ты Лизавету не черни, — предупредила. — Осудить — ума много не надо. А ты пойми и помоги. Только, чтобы помочь оплошавшему, особый талант нужен. Вот по телевизору говорили: все на благо человека. Ты про то думала? Какое благо и кому нужно?

«Чепуха, — решила Наташа. — Примитив».

— Несчастнее Лизаветы бывают, но редко, — вела свое тетя Фрося. — Совсем девчонкой была, четырнадцатый годок шел, с немцем-оккупантом согрешила: беда к тому приневолила. Аборт ей делала какая-то бабка. Не приведи Господи перенести такое! Лизавета выжила, видимо, черту на потеху еще была нужна. После войны замуж вышла. А детей нет и нет. Муж про что-то догадывался, все

упрекал: мол, яловых коров на бойню сдают. А потом под пьяную руку и гонять начал.

— Избивал? — Наташа настаивала на полной ясности в этом вопросе.

Ох уж эта житейская мудрость! Чужой ударил женщину — и ни один суд (по совести, по традиции ли, в соответствии ли с уголовным кодексом) не откажет ей в праве на защиту... А если свой законный супруг издевается, то тут и соседи, и общественное мнение сразу приобретают стеснительность: «Милые бранятся — только тешатся», «Свой — не бьет, а учит». И вот еще одно слово: «Гоняет!»

Это слово давало обидное право сильному безнаказанно истязать слабого и беззащитного. Наташа не могла и не хотела мириться с подобным, в ней родилась потребность называть вещи своими именами, чтобы подлость не выглядела добродетельно, а светлое не серело на манер старого серебра.

Но тетя Фрося знала о сложностях человеческих отношений больше, чем студентка, прожившая к тому времени девятнадцать лет под крылышком у папы с мамой, она не одобрила Наташиной прямолинейности, не ответила на ее вопрос.

— Хорошее-то под камешком лежит, а плохое далеко бежит, — продолжала пьяненькая тетя Фрося. — А еще говорят: шила в мешке не утаишь. Доведался Лизаветин муженек про ее оккупанта и загулял напрапалую. В дом девок приводил да заставлял Лизавету прислуживать им. Ей бы уйти, а она, дура, все терпела: мол, какой ни есть, а свой. А он, свой-то, однажды по пьяному делу подтянул ее за ноги к потолку и давай с живой шкуру спарывать. Уж она у него просилась отпустить душу на покаяние, уж она благим матом орала на весь поселок, да не спешили соседи к ней на помощь, кто же знал, что суженый из Лизаветы за ее грехи воду варит! Лет пять, поди, этакое представление тянулось, не меньше. Словом, чужая семья — потемки. Спьяну заснул муженек. Где Лизавета силы взяла! Изловчилась, перегрызла веревку. Споротую кожу к живой ноге прижала тряпичей, а потом взяла топор и в два взмаха оттяпала голову суженому. За те свои нечеловеческие муки и получила срок. А отсидела положенное, стала жить гордячкой: «Что мне мужичье! Да я их всех у своих дверей на положении бобиков держу!» Не верь ты такому

бабьему счастью. На горьких слезах оно замешано, на постоянном унижении взросло.

Наташа оторопела. Трагичность судьбы Лизаветы потрясла ее. А она-то по младости, по глупости приняла было Лизавету за...

В не меньшей мере Наташа была удивлена мудростью тети Фроси. «Как ловко она о смысле-то жизни! Дескать, осудить — ума много не надо. А ты пойми беду ближнего и помоги. Только помочь не так просто, на это особый талант нужен».

* * *

Наташа тогда влюбилась... в тетю Фросю. Да что там влюбилась — втюрилась! Каждое слово на дно души укладывала: на вечное хранение, каждый жест запоминала.

С тех пор минуло два года. Жизнь свела их случайно и так же легко развела. Они не встречались. Но сейчас забилося сердце Наташи. Она готова была броситься на шею к тете Фросе и расцеловать ее: «Родная!»

Та, по всему, Наташу не узнала. Мельком глянула и продолжала заниматься своим делом — громила тридцатикилограммовые пачки о железобетонную эстакаду.

Наташа вспомнила бахвальство тети Фроси: «Я — кадровая, без меня не обойтись, я могу выполнять самые разные работы... А меня и на один день не заменят...» Представила на месте тети Фроси главного инженера Оборощина, отцова приятеля, человека небольшого роста, довольно хрупкого, страдающего диабетом. И... невольно улыбнулась.

Одна из женщин, сидевших в окружении голубых пачек, нарочито громко запела:

*Я люблю-ю сво-ой заво-о-од
И горжусь тем, что я-я-а-а-а
Современный рабо-о-чи-и-й...*

Понять певунью было не трудно, она давала «концерт» в честь посторонней, случайной.

И вдруг «солистка» оборвала песню и воскликнула:

— Теорема! Наташка! Умереть можно!

«Теоремой» Наташу звали в школе.

Певунья неуклюже, по-медвежьи, словно бы из глубокой берлоги, выбралась из-под завала голубоватых пачек, сорвала с головы темный платок и... Наташа узнала свою бывшую одноклассницу, хохотушку Верку Уварову, которую за восторженность прозвали «Умереть можно».

Тут и тетя Фрося обратила внимание на пришлицу.

— О! — воскликнула она. — Наша студенточка. Лизавета, — коснулась она плеча третьей женщины, продолжавшей рвать пачки, — глянь, кого прибило к нашему соленому берегу!

— Не слепая, вижу, — не очень-то дружелюбно ответила Лизавета, продолжая заниматься своим делом. — Что тебя сюда занесло? — спросила она Наташу так, будто они давние подруги и только вчера расстались.

— Я к вам на практику, — ответила та, согретая изнутри чувством доверия, которое жило и в реплике хохотушки Верки, и в восклицании тети Фроси, и даже в сердитых словах Лизаветы. — Арзамас Руфимович на помощь прислал.

— Умереть можно! — восхитилась Верка. — Надо надрать на две малых регенерации и одну большую — это двадцать тысяч пачек. Пока выпустишь из них душу, сама лопнешь, как мокрая пачка. Вчера — еще хуже: кайловали «пик имени тети Фроси», и позавчера... — Вера показала на серый изгрызанный бурт, тянувшийся вдоль железнодорожного пути. — Правда, позавчера повезло...

Наташа невольно вспомнила фривольное словечко, каким определил отец химводоочистку на Донецком металлургическом: «анакхренизм», и только теперь поняла всю его горькую правоту.

С чувством враждебности она разглядывала «пик имени тети Фроси» — землистый бурт соли. Бывшей соли... Ее, по всей вероятности, привезли в полувагонах еще в начале года и разгрузили под открытым небом. Хлестали ее дожди, засыпали снега, подмывали талые воды, обдували ветры, присыпало заводской и дорожной пылью. Время и ненастье спрессовали соль, превратили в жесткий, неподатливый монолит.

В тех местах, где кайловали «пик», черная масса белела оспинками-изломами.

— Разве кайлой возьмешь девять-десять тонн, — досадовала Вера. — Лупишь-лупишь всю смену, а отколупывается по граммулечке! Упехтаешься за смену. А тут тебе звонят с доменного или с мартена: «Вы что там, позасыпали? Быстрее «мойте» воду!»

Так назывался в быту процесс пермутирования, приготовления воды для горячих цехов.

— Вот Руфимыч и выцыганил «экстру» на мясокомбинате, — пояснила Вера.

— Чему радуешься! — одернула ее Лизавета. — Думаешь, за карие глазки отваливает мясокомбинат Руфимычу «экстру»? Сто тридцать четыре целковых тонна. На сутки тридцать тонн — четыре тысячи рубликов нашей с тобой премии. Пересчитать, так стакан мытой воды обходится дороже водки.

И тут из злой чернавочки такая прибаутка вылетела, что даже соль покраснела.

Наташа хорошо понимала злую Лизавету и была полностью с нею солидарна: «При таком ведении хозяйства капиталист давно бы в трубу вылетел!»

И в ней начало накапливаться недовольство «колобком» Руфимовым: «Хранитель музейных редкостей...»

Через час-полтора в ней вызрело яростное чувство протеста: «Руководитель называется! Ты бы сам с этими пачками! Тридцать тысячч!»

Вначале заныли пальцы — соль забивалась под ногти и, казалось, начала их отдирать. Некоторые пачки были мокрыми. Соль в них раскисла. Получилось что-то вроде тузлука, в котором замачивают таранку. А тут в роли таранки — твои в ссадинках и ранках руки.

Лизавета для поднятия духа «травила» анекдоты. У каждого порядочного человека есть свой заскок. У Лизаветы: «все мужичье — дундуки, подлецы и проходимцы». Такими они и выступали в ее анекдотах и шутках-прибаутках.

Тетья Фрося, засыпав товарок голубыми пачками, подсаживалась помогать потрошить их. Она все время поругивала какого-то Глеба, который обещал смастерить «хитровину», чтобы пачки «сами рвались», но куда-то запропастился.

Наташу вскоре начало колотить от злости. Особенно ее раздражал «хыркающий» шорох раздираемой мокрой бумаги, к которой прилипла изнутри соль. Острая на слово Лизавета сказала об этом звуке: «Душу шматует».

Затем у Наташи начала дубеть спина. От поясницы и ниже. Болела, ныла. И вдруг перестала, словно бы ее отдали кому-то другому, но тут же заломило ноги. Хоть криком кричи.

День, вначале обещавший быть солнечным, нахмурился. Из помещения, где очищали воду, тянуло сыростью, а работавший транспортер создавал «тягу».

Наташа была одета «не по работе». Спортивные брюки, джинсовая курточка. Туфельки на венском каблучке: все скромно, обычно. Но вот когда она поняла, почему все три женщины в ватных брюках.

Тетя Фрося пожалела ее, сходила в рабочую баню и принесла старенькую замызганную фуфайку:

— На-ка, девонька, — предложила она, — окутай поясницу, побереги в себе бабу. Пока ты здоровая — и мужу нужна, и заводу, и человечеству. А болячки одолеют — лишь участковый врач интерес проявит.

Фуфайка, наверно, помогла: спина «вернулась» на свое место — заныла, заохала.

Наташа чувствовала, что она вся медленно превращается в пачку соли. «И кто-нибудь по ошибке...»

Явился, наконец, долгожданный и трижды помянутый недобрым словом Глеб, принес три острых трехгранных штыря сантиметров по двадцать пять, на плотных подставках. Поблескивает полированный резцом металл.

— Малая механизация, — со злым сарказмом сказала Лизавета, осуждая тем самым начальство, породившее конфликт между «организацией труда и рабочим».

Вот так они встретились впервые. И если бы кто-то из умеющих предвидеть сказал бы Наташе, что это ее судьба, она бы зло рассмеялась и нашла бы в своем словаре парочку неиспользованных словечек... по вкусу Лизаветы: «Эта... серятинка... мне в награду?! Раз — ха-ха! Два — ха-ха! Три — ха-ха!»

Глеб был из невзрачных. Роста среднего. Худощавый, белобрысый, с залысинами. Глаза, пожалуй, приметные: голубые-голубые, чистой воды. И очень печальные. «Как у Виталия Никифоровича. (У Мозжухина несколько лет тому во время родов умерла жена Таня.) Наверно, у этого Глеба жена тоже погибла и умер сын?» Но и подумав так, она ему не посочувствовала, ни одна струнка в ее душе в ту минуту не отозвалась на чужую боль.

Позже она вспомнит, что Славке Бобренку помогал отливать корпус «Утенка» какой-то Глеб — из заводских умельцев. Ну так то же современный Левша, а не этот замухрышечка с тяжелыми трехгранными стержнями в руках.

— Вот! — Он поставил свою «хитровину» перед каждой из женщин, при этом внимательно посмотрел на Наташу: «Новенькая. И случайная: одета не по работе».

В том, как он ее оглядел, не было того базарного любопытства, с которым мужики порою рассматривают молодую незнакомую женщину: с ног до головы и с головы до ног (ноги — предмет особого внимания). Глеб скорее ей посочувствовал: «Взялась не за свое дело».

Лизавета гладенько провела по штырю рукой и, подмигнув озорно Куренной, сказала:

— Фрось, глянь, штучка-то! — и лихо насадила ядреную голубоватую пачку. Белым хвостом кометы метнулась в бункерок соль.

С помощью «малой механизации» — изобретения сквозного бригадира слесарей Глеба Кедрача — работа пошла более споро.

Постояв так и не сказав больше ни слова, Глеб ушел. Удивленная его замкнутостью, нелюдимостью, Наташа, ни к кому конкретно не обращаясь, спросила:

— Чего он... словно бы лягушку проглотил?

Замолкли женщины. Прошла минута-вторая, а они — ни слова в ответ, ни полслова, знай чешут о штыри голубые пачки.

— Может, я что-то не так? — извиняясь, спросила она, поняв, что Глеба здесь уважают.

— Угадала, — ответила Лизавета. — Проглотил мужик жабу... С тех пор и мучается дурью.

Понимая, что Лизаветины сказы ничего Наташе не растолковали, тетя Фрося пояснила:

— Жена у него... укатила на курорты три года тому.

— Мужичье — дураки, — внесла свою лепту в освещение факта Лизавета. — Пишет беглая: «Глебушка, ты мне сюда, в Ростов, переправь свои подарочки: шубу и прочее, чтобы я со своим свеженьким мил-другом не продрогла». И наш добряк — шесть посылок с ее барахлом за свои кровные. Другой на его месте проверил бы обратный адресочек, побрил лысого... Да наш Глеб Игнатьевич не Отелло.

Наташа не сумела оценить трагизма судьбы изобретателя «универсального штыря для расчеса пачек». Незнакомый, не вызвавший симпатии человек... И беда его не сегодняшняя, давняя. «Если этот Глеб вечно бука-букой... Небось, взвоешь с таким мужем и сбежишь».

...И вообще! Стоит ли обвинять женщину? Если любовь уходит, то никакими цепями и решетками ее не удержишь... А с нелюбимым — под одной крышей... в одной постели... Аморальнейшее явление! Нелюбый лишь касается твоего плеча, а тебя от мерзости трясет. И все-таки живи! Терпи! Так того требуют приличие, обычай, лживая мораль. Но не правильнее ли, не чище ли тухлое назвать тухлым, горькое — горьким... И, как жена этого Глеба, — раз и навсегда!

Но и в поведении Глеба было нечто такое, что требовало уважения. «Шесть посылок с ее барахлом за свои кровные», — сказала Лизавета. А что, это, пожалуй, по-мужски! С достоинством, с уважением к человеческим правам другого. Разлюбила. Ушла. Пойми ее...

— Дети у них есть?

— Осиротила Сашку. Во второй класс пошел, — ответила Куренная.

Вера вздохнула:

— А я бы такого, как Глеб Игнатьевич, всю жизнь любила и считала бы, что мне повезло.

— Что, Петька уже не по нраву? — съязвила Лизавета.

— Я совсем о другом, о том, если бы была женой Глеба Игнатьевича.

К удивлению и недоумению Наташи, Лизавета, люто ненавидевшая «мужичье», вдруг встала на защиту Глеба:

— Клавка — сучка. Я ее по этой части помню с пятнадцати лет.

Работали молча, но Наташа, расчесывая голубые пачки соли о граненый штырь системы Глеба Кедрача, невольно думала об этом человеке. После резких слов Лизаветы — «Клавка — сучка» — Наташа уже не могла внутренне быть на стороне Глебовой жены, но сочувствие к нему еще не родилось. Вспомнила поговорку, придуманную мамой Ниной: «Каждая жена достойна того мужа, которого она имеет». Но в таком случае каждый муж имеет ту жену, которой он достоин. «Глеб Кедрач — мокрая курица», — решила она для себя сложную проблему чужих семейных взаимоотношений.

Первой избавилась от божьего проклятия — встала, выбравшись из синих пачек, — Вера. Она машинист грейферного крана, с помощью которого на одном из отделений химводоочистки «гонят известь», то есть заряжают сатураторы известковым молоком.

Через полчаса после Веры поднялась тетя Фрося, стряхнув с себя земную тяжесть:

— Где моя закадычная подруженька? — Взяла лежавшую под стеной цеха подборочную лопату. — Разомнусь минуток триста, а то скучно что-то стало от безделья.

Пора было «мыть воду».

У каждой из трех женщин — у машиниста грейферного крана Веры Уваровой, у звеньевой Ефросиньи Куренной, у аппаратчицы Елизаветы Воиновой — была своя работа, а тридцать тысяч синих пачек «Экстры» — всего лишь «музыкальная прелюдия» к ней.

Елизавета помрачнела. Рассказав все свои анекдоты, замолчала. А молчать ей было невмоготу, вот она и начала вновь злиться на весь белый свет:

— Захватило мужичье власть! Развели на нашу погибель старперов и горлохватов. Директор завода за УНРС отхватил Государственную премию, и ему до лампочки, что Верка — молодая баба и ей надобно рожать детей, а она тут, на химводоочистке, на сквозняках да в сырости нарабатывает болячки. Выведется так наш род... А я бы издала декрет: добавить женам руководящих товарищей по две недели отпуска — и пусть отработают их в тех цехах, где люди не держатся, бегут, как тараканы с жаркой плиты. Тогда не довелось бы «Правде» писать: мол, не управляем производством, как надо бы,

хозяйничаем нередко себе в убыток и дисциплина — швах. Они, ночные кукушки, по всем бы направлениям навели порядок: кровавые мозоли супругу под нос: «До чего довел родную жену!» Женны — динамитная сила, если надо что-то перевернуть или, наоборот, доканючить, выплакать, и напрасно ЦК этого не учитывает.

Наташа с любопытством глянула на аппаратчицу химводоочистки Воинову: «Э-э, уважаемая, а у вас в голове, кроме ненавистного мужичья, еще кое-что есть!» Удивило, что эту лихую бабешку беспокоило то же, что и профессора Пахомова, — судьба страны (по большому счету), правда, она во всем видела только одно зло: «засилье мужичья»...

Но высказавшись, Лизавета замолчала, а Наташу вскоре голубые пакки вконец доконали. Пришло полное безразличие ко всему: и к работе, и к тем, кто трудился вместе с нею, и к самой себе. Это чувство взлелеяло удивительное однообразие: пачку за край поймала, вынула из кучи — шмяк о штырь системы Глеба Кедрача. Чуть дернула на себя, пустую бумагу — в сторону. Потом ее сожгут.

Наташа чувствовала себя набитой дурой, остолопом, бараном, верблюдом, ослом. «Надули... Обворовали».

* * *

Хорошая рабочая баня — великая целительница. Встанешь под горячую напористую струю — хлещет тебя наотмашь, выгоняет ломоть из поясницы, из костей, заселяет душу чувством успокоенности, удовлетворения.

Наташа впервые в своей жизни попала в рабочую баню. Наг — благ человек. Весь на виду.

В пансионате они жили две недели в одной комнате, купались в море. У тети Фроси купальник был вроде рыцарских доспехов, открывал лишь могучую спину. А Лизавета предпочитала минибикини. Но она была черна, и загар играл роль некоей мантии. И вообще, на пляже действуют совсем иные условности, чем в быту.

Лизавета откровенно рассматривала практикантку. Оценивала по-своему. Впрочем, и Наташа вольно или невольно, сквозь мыльную пену, сквозь густую сетку убажжающего дождя приглядывалась

к напарницам по тяжелой работе. Она видела ноги Лизаветы. На правой — длинный рубец. Время его выбелило, подразгладило, но не истребило.

Наташа представила себе дикую картину расправы пьяного, озверевшего человека над беззащитной.

За те два года, что они не виделись, Лизавета, как говорится, сдала. Годы берут свое. В пансионате это была молодящаяся женщина, а сейчас, пожалуй, правильнее было бы сказать: «стареющая». В жестких черных волосах — невеселое серебро. Костлява, телом черна.

Как там у поэта?

*Где у женщины выпуклости,
у этой — выем.
В одной выемке крест,
в другой — медаль со Львом и Пнем.*

У безбожницы, матерщинницы Лизаветы медали не было. А вот крест... Православный, тяжелый, с острыми гранями. Каменисто-синий, выколотый когда-то тюремным знатоком церковной утвари на потеху бесшабашной бабешке, к стыду обремененной годами женщины. От креста за шею змейкой-медянкой уползала цепочка, пропитанная глубинной синевой. Да нет, не цепочка — буквы: «Не целуй бес любви».

«Бес» — это что, ошибка? Или озорной умысел лагерного живописца?»

Увидев обряженную в искрометные дождевики царственную тетю Фросю, Наташа восхитилась: «Ух ты!»

Ничего-то у этой статной женщины не было лишнего. Уработанная. Ухорошенная. Распустила русые волосы — ниже пояса. Неприступно прикрыла ими тугие полушария. Привольно полощутся волосы в мягкой пермутитной воде. Кожа под радужными искринками отливает белым мрамором.

И Наташа по-бабьи позавидовала этой сорокапятилетней женщине.

Наташа вспомнила, как тетя Фрося тосковала по дочери (девятиро сыновей). «Кровь, что ли, у Луки сильнее моей?» Наташа была бы рада, если бы тетя Фрося за эти годы родила дочку: «По своему образу и подобию».

* * *

После бани усталость вернулась. Чувство обиды, порожденное ощущением чудовищного обмана, — тоже. Нельзя было оставлять его в душе: разъест, как ржавчина шлам, тело насоса. Выплеснуть. Именно сегодня, пока кровоточат заусеницы, нестерпимо ноют подушечки пальцев и разламывается поясница...

В Наташе вызрело убеждение, что всему виною начальник цеха: «Чертов хранитель музейной редкости!» Кто же за него будет заниматься химводоочисткой! В масштабах завода это мелочь. У главного инженера и директора завода на уме задачи стратегические: новые сорта стали, новые виды проката. Но Наташа успела дозреть до мысли, что здесь, на химводоочистке, вязнет в торосах голубых пачек с солью «Экстра» ее завтрашний день. А взыскать бы с начальника цеха, с главного и директора по себестоимости за этот грабеж будущего в угоду сиюминутности! Наташина бы власть, она бы спросила за это «голубое безобразие» и с министра, и с председателя Госплана! Как советовала Лизавета, в счет отпуска на недельку подменить тетю Фросю... Только не женам, а заводской элите, так сказать, для восстановления обмена веществ... И нашлись бы возможности избавить Лизавету от лопаты, а машиниста грейферного крана Веру Уварову — от отбойного молотка.

Но у директора — десятки «надо», у министра их — сотни, тысячи. А Руфимов — рядом. Почему он молчит? Почему не пишет в «Правду», в Совмин? Почему? Молчать удобненько: мол, я не я и кобыла не моя, а хата — с краю. Облегчение сделал, сорок тысяч пачек соли раздобыл на мясокомбинате. А кто ему там дал эту соль? И за какие такие коврижки?

Увы... Руфимова на месте не оказалось.

— С утра — на стане «три двести», — пояснила диспетчер.

Стан «3200» — директивная стройка.

Можно и, пожалуй, следовало бы уйти домой. Но Наташа осталась ждать.

Руфимов появился часа через полтора. Не вошел, а вполз в контору. Устал, лицо сделалось одутловатым. Под маленькими азиатскими глазками — синие разводы.

— Вы ко мне? — спросил он Наташу и кивнул на дверь кабинета. — Проходите.

Сейчас толстый, сутулый Руфимов скорее смахивал не на прыткого колобка, который весело напевает: «Я от бабушки ушел», а на морскую тяжелую черепаху, которую выволокли на сушу и перевернули на горбатую спину. Остепелело шевелится неповоротливая голова, изредка моргая ороговевшими веками, упорно и бесполезно гребут воздух короткие, негнущиеся лапы.

Желание взорваться и разнести в куски всю окружающую человеческую глупость и покорность в Наташе уже перегорело. Где-то подсознательно она начинала понимать, что лбом стенку не пробьешь, а у происходящего (эти проклятые пачки соли) есть своя закономерность и даже... необходимость, порожденная обстоятельствами, которые сильнее каждого из нас в отдельности.

Разломная усталость Руфимова — как вирус. Она переползла на Наташу и властно завладела всеми ее суставами, способностью мыслить. Пришла внутренняя опустошенность. И с этого момента Наташа действовала скорее не по велению сердца, а по той схеме, которую придумала, пока поджидала начальника цеха.

Она демонстративно поставила на плюгавенький, ветхий (не с довоенных ли он тут времен?) стол начальника цеха голубоватую пачку соли.

— Такая многообещающая рационализация — соль в расфасовке! — раскаляя себя, не без сарказма произнесла она.

Руфимов прищурил маленькие глазки и, тихонько присвистнув, негромко сказал:

— Полундра!

Он достал из ящика стола точно такую же голубоватую пачку и поставил рядом с первой.

И эта руфимовская пачка поломала весь сценарий Наташи.

Начальник цеха молчал, и Наташа словно язык проглотила. Но Руфимов молчит с умыслом, а она — от растерянности.

Вот когда пришла обида, требующая ответного действия!

Вначале в голове стоял ералаш из невысказанных фраз, из желания спорить, кричать, топтать ногами, даже плакать навзрыд.

«Человек — это звучит гордо!» — разглагольствует бродяжка, который палец о палец не ударил, чтобы действительно возвеличить человека, а мы — умиляемся. Мы и сами порою любим «толкать лозунги», как Сатин-алкоголик, громкие, ни к чему не обязывающие. А где ответственность за воззвание?

«Труд создал человека...»

«Труд — дело чести, доблести и геройства...»

Какой труд? Пачкой соли по «универсальному штырю» системы Г. И. Кедрача? Сорок тысяч раз подряд?

И вот, наконец, слова — нужные, как мелкий долгий дождь после стопятидесятидневной засухи:

— На других заводах... уже четверть века применяется мокрое содержание соли. Засыпали в резервуары, залили водой. Потребовалось — автоматика включила насосы...

Руфимов закивал головой, он был полностью согласен с практиканткой.

— Вот вы, Наталья Прохоровна, будете писать дипломный проект... Какую тему выбрали?

Наташа растерялась: в теме она пока еще не определилась.

Руфимов по-своему оценил ее замешательство:

— «Замкнутый водный цикл в условиях орбитальной космической станции»... или: «Обеспечение химических предприятий Кара-Богаз-Гола пресной водой за счет айсбергов Антарктиды»? В прошлом году у меня был практикант. Из ваших. Парнишка не глуп, времени в институте даром не терял. Предлагаю ему тему: «Мокрое содержание соли в условиях участка химводоочистки Донецкого металлургического завода». А он: «Не звучит. Где тут НТР?» Я ему: «Будет толковый проект — внедрят в производство». Когда-то у нас замахнулись на это самое мокрое содержание: построили насосную, выкопали котлованы и обложили шлакоблоком два хранилища. Но не смогли привязаться к воздушному ставу. Подземные коммуникации завода создавались сто лет. Местами это хитросплетение труб и каналов — в шесть-семь этажей... Лабиринт кровожадного Мино-

са — детская забава по сравнению с этой системой. Эвакуировали в сорок первом году наш завод хитро — увезли документацию на подземные коммуникации, а сами коммуникации где надо заклепали, закрыли задвижки, забили чопы, поставили заглушки. Пришли гитлеровцы. Домны есть, мартены есть, а задуть их невозможно. Завод до оккупации знаменитую броневую сталь варил и броневые плиты закаливал, первые литые башни для танков начал выпускать — до этого их клепали. И уж очень хотелось Гитлеру восстановить производство. Приехали лучшие специалисты крупновских заводов, помучались с год: ни воды, ни воздуха, ни пара не подали... С тем и ушились. За сто-то лет Донецкий металлургический, поди, раз десять заново перестраивали, но все переделки и расширения диктовал сегодняшний день с его нуждами, и меньше всего новшества касались подземных коммуникаций; считалось, что чем меньше их тревожишь, тем спокойнее живется. Обще заводских перспективных планов по модернизации подземных коммуникаций не было. Словом, — закончил Руфимов, — наше мокрое содержание соли не получило воздуха. А без воздуха соль с водой не перемешаешь, а не перемешав толком, не получишь нужного раствора, особенно зимою. Заглохло тогда дело. А может быть, испугавшись трудностей, просто не искали по-настоящему ответа на эту задачу со многими неизвестными. Не возьметесь, Наталья Прохоровна?

Она явилась сюда обвинителем, но хитрый Руфимов мгновенно сбил с нее спесь: «Оставь, девочка, язык в покое, пошевели извилинами: вот тебе конкретное дело».

Не скажешь сейчас начальнику цеха: «Не возьмусь».

А в общем-то предложение заманчивое. Но тут же родилось сомнение: «А не разыгрывает ли практикантку хитрый начальник цеха?»

Ничего не прочитаешь в маленьких прищуренных глазах Руфимова, будто светонепроницаемыми шторами изнутри прикрыты.

— А... доверите? — осторожно поинтересовалась Наташа.

— Если бы решался вопрос о внедрении в производство готового проекта, тут бы, конечно, возникла проблема доверия... А на стадии выбора темы для дипломной работы... цех и я лично ничем не рискуем.

От неуверенности Наташи и следа не осталось: «Ничем не рискуем...» А ее временем? Ее диплом — пять лет учебы, великие надежды! «Нет уж, уважаемый Арзамас Руфимович, если я возьмусь...»

Наташа чувствовала, как взводят в ней тугую пружину, заряжают катапульту.

— Убедили!

Руфимов рассмеялся. Он смеялся с удовольствием, с нескрываемой радостью.

— Рассердилась — это хорошо. Сердитых по делу люблю. Равнодушных — боюсь. Когда пачку на стол поставила — я сразу скумекал: «С характером». И еще: видел вашего «Утенка» — с мозгой штуковина. — Не оборачиваясь, он плоско пошлепал ладошкой по стене за спиной. В том месте побелка была пробита до черноты. — Я вам, Наталья Прохоровна, в консультанты толкового человека порекомендую, — доверительно сообщил Руфимов. — Не голова — академия. Секретарь цеховой парторганизации.

Через минуту-другую на пороге неслышно, как тень, появился Глеб Кедрач, изобретатель «универсальных штырей для расчеса пачек с солью», которого обидела жена Клавдия.

Он стоял молча и ждал. Глаза внимательно-настороженные. Уголки рта опущены, словно у театральной маски «Трагедия».

«Чего изволите-с?» — такую общую оценку дала Наташа сквозному бригадиру слесарей, в нескладной фигуре которого, как показалось ей, было что-то унижительное для мужчины.

Многообещающая похвала Руфимова — «Не голова — академия» — породила в ней женское любопытство, замешанное на неосознанном желании встретить интересного человека, интересно-го внутренне и внешне.

И... такое разочарование.

— Знакомся, — кивнул Руфимов на Наташу, — практикантка Пахомова, соавтор «Утенка». — И пояснил Наташе: — Глеб Игнатьевич нахваливал ваше изобретение: «перспективная идея».

Кедрач согласно кивнул: «Идея действительно перспективная».

— Наталья Прохоровна заинтересовалась проблемой мокрого содержания соли в условиях участка химводоочистки. Покажи, Глеб

Игнатъевич, остатки нашего Вавилона, расскажи, о чем мы с тобой мозговали, где загвоздка...

Кедрач вновь кивнул: «Хорошо».

— Сейчас или уж завтра с утра? — спросил он.

Она не знала, как он сам-то настроен. Конец рабочего дня, домой, поди, молодца тянет. Или... соломенного вдовца — не очень? Ей хотелось сделать не так, как надо этому изобретателю универсального штыря. Но... сил на сопротивление уже не было.

— Завтра... — невольно согласилась она.

— В таком случае, Арзамас Руфимович, мы пошли. По дороге вкратце объясню Наталье Прохоровне что к чему.

Руфимов, измученный тяжелым днем, махнул рукой, мол, идите, а сам отвалился на спинке стула и начал нервно ощупывать карманы куртки — видимо, искал что-то из лекарств.

— Воды? — спросила участливо Наташа.

— Пермутитной, — пошутил невесело Руфимов.

Он нашел флакон с таблетками. Высыпал на широкую ладонь почти все содержимое, отобрал несколько штук — по парочке, отправил их в рот и привычно проглотил.

— Да вы идите, чего уж там, а я — бывалый солдат, оклемаюсь.

Кедрач легонько прикоснулся к локтю Наташи: «Пошли».

Когда они выбрались из конторы, он пояснил:

— С полчаса посидит, потом минут пятнадцать подремлет, сидя на стуле, глядишь, сердце и отпустит. День у него сегодня... Ограбили цех: грейферный кран года три в аварийном состоянии. Обещали, обещали, наконец, осчастливили: выделили какой-то из капремонта. Мы уже и людей за ним послали, но в последний момент распоряжением главного инженера кран передали на стан «3200» строителям. Руфимов — к главному инженеру, я — в партком. Руфимов — к генеральному директору, я — в райком партии: «Караул!» — он безнадежно махнул рукой. — Пообещали. Уж в следующий раз, как говорит ваш Бобренок, — железно.

«Почему мой?» — удивилась Наташа, но ничего не сказала.

Они вышли с завода, постояли на трамвайной остановке. Одни. И трамваи куда-то запропастились.

— Может, на троллейбус? — предложил Глеб.

Наташе, в общем-то, было все равно: проехать несколько остановок трамваем, идущем в сторону железнодорожного вокзала, потом пересечь центр пешком или сейчас пройти до троллейбуса. А на нем уже до самого дома.

— А вы с Бобренком все-таки молодцы, — вдруг сказал Глеб. — Я — об «Утенке»... Работать ему и работать... Такая простая конструкция, что и усовершенствовать нечего. И название цепкое. Назови: «Насос системы Пахомовой-Бобренка» — не примут. А «Утенок» — звучит. Будут у вас со Славкой диссертации, будут открытия, изобретения, а «Утенок» останется первой любовью.

Наташа с любопытством глянула на своего спутника: какой-то весь невзраченький, вроде воробья. А оказывается, воробей-то с хохолком — жаворонок, а она и не разглядела. Снует туда-сюда по пыльной дороге серенькая птаха. Прыг-скок на упругих ножках. Ходят мимо захопотанные, затурканные своими делами люди, не обращают внимания и называют степного соловья по неведению воробышком...

Наташа вспомнила злые слова Лизаветы о Глебовой жене, уехавшей три года тому на курорт, и взыграло в ней бабье любопытство, да такое, что продохнуть невозможно. «Ну как же это у них так все получилось? Почему?» Только о таком у человека прямо не спросишь, неприлично.

Они подошли к трамвайному кольцу, где начинались маршруты, уходившие и сторону шахтерских поселков. Наташа невольно задержала шаг. «К Глебу на Мирный», — говорил не раз Славка Бобренко.

— Вас дома заждались, — сказала она. (До троллейбусной остановки осталось шагов сто, не больше.)

— Шурка, — подтвердил он. — В третий класс перешел. Мужик! Явлюсь — ужином накормит.

Наташа вопросительно глянула на Кедрача. «А жена?..» — молил ее взгляд. И хотя ответ она знала, но жаждала все услышать из уст самого Глеба. (Женский взгляд иногда на мужчину действует надежнее самых острых или ласковых слов.)

Кедрач понял ее:

— Мы с Шуркой... Как говорится, третьего не дано. — Поняв, что по существу ничего не сказал, ничего не пояснил, поспешил исправиться. — Одни любят мучаясь, другие мучаются не любя...

Наташе показалось, что Кедрач смутился откровенности — поспешил сменить тему разговора:

— В черное дело втравляет вас Руфимыч.

«Отговаривает!» Это было полной неожиданностью. Начальник цеха предложил секретаря парторганизации цеха в консультанты как своего союзника, а тот... Предаёт общее дело?

— Я вам для начала расскажу анекдот. — В тоне, с каким заговорил Кедрач, жил тайный, непонятный Наташе смысл. — Лежат в одной палате раненые. И месяц, и два... Все анекдоты, какие знали, друг другу уже рассказали. И чтобы не повторяться, просто их пронумеровали. Лежат, молчат. И вдруг кто-то объявляет: «Одиннадцатый!» И всем ясно, все смеются. Приходит на дежурство новый врач в сопровождении медсестры. Встал в дверях: да что за непонятный феномен! Кто-то из раненых кричит: «Девятый!» — и все за животы держатся. «Двадцать второй», — и от хохота с кровати сползают. Игра, это ясно. Но какая? В чем ее суть? Зашел в палату и сказал: «Тринадцатый». И вдруг наступила гробовая тишина. Затем двое выздоравливающих подошли к врачу, схватили за руки и выбросили в окно: «Не рассказывай при женщине похабных анекдотов!» Вот так и у нас на ДМЗ, скажи человеку: «Гидросоль», — и он начнет, в зависимости от занимаемой должности, смеяться или чертыхаться. Тут до вас превращали хорошую идею в ходячий анекдот два неудачника. Двенадцать лет тому за нее взялся мой друг Витька Черноусов. Из одержимых. Для него «гидросоль» была первой песней молодого инженера, вот как для вас со Славиком «Утенок». Сделал проект, выбил смету. Это при нем построили резервуары. Но задохлось дело без воздуха, не сумели пробиться пневмомагистралью через подземный лабиринт труб и кабелей. Я ему предлагал заменить воздух на какой-нибудь механический «взмучиватель». Но Витька из максималистов — или все, или ничего: соль в растворе сожрет любой металл! И без радикального решения «гидросоль» будет стоять на ремонте шесть месяцев в году. Черноус поругался с начальством, хлопнул дверью и повез свои идеи в Жданов, куда сманили молодой талант: квартира, море с белокрылыми яхтами, бычки с черными спинками. Семь лет тому к проекту «гидросоли» вновь вернулись. Еще полмиллиона всадили в идею. Но

возмутитель спокойствия оказался весьма находчивым: он ухитрился продать застройщикам на поселке стройматериалов почти на сто тысяч. Года два, поди, после этого Руфимыч сочинял «любовные» послания следователю ОБХСС. Отделался административным взысканием. А проектант помогает Макару пасти телят.

Наташа закипела.

— Мокроусов — автор мокрого содержания соли! По усам текло, а в рот не попало! Вначале он ударился в амбицию, потом — в бега. Второй — мистер Икс — оказался не в ладах с уголовным кодексом. По этой весьма уважительной причине Ефросинья Андреевна и Вера Уварова должны наживать женские болячки, а основные цеха из-за плохой воды — гробить дорогостоящее оборудование. И вот два руководителя решают проблему технической воды на уровне НТР и эпохи развитого социализма: начальник цеха раздобыл сорок тысяч пачек соли «Экстра», а прославленный рационализатор — он же парторг — изобрел универсальный штырь для расчеса этих пачек!

Глеб улыбнулся:

— Какой молодец Руфимыч! Макаренко, да и только! Спрашиваю: «Зачем вы поставили Пахомову на соль? Им с Бобренком надо доводить до ума «Утенка». А он отвечает: «Христофор Павлович предупредил: ребята перспективные, мозговые извилины уложены по профилю, надо обкатать. Ну я и послал ее к тете Фросе, думаю: или сбежит — тогда туда и дорога профессорской доченьке, или заразится рабочей злостью и будет из нее инженер».

ПРОФЕССОР ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ

«Христофор Павлович, вот кто виновник ее мучений! Перпетуум Мобиле...»

Когда у Славки провалилась последняя попытка найти «железного человека», который бы взял на серьезное испытание «Утенка», он поставил перед соавтором вопрос ребром:

— У Мозжухина на заводе — железные связи.

Говорить на эту тему с Виталием Никифоровичем Наташа не стала, она не хотела, чтобы в их необычную дружбу вплеталась

коммерческая жилка. Привела Славку к Мозжухину на чашечку чая по-японски и сказала:

— Он вам объяснит.

Виталий Никифорович внимательно выслушал молодого изобретателя, все понял и пообещал:

— Есть на ДМЗ этакий мудрый змий Каа, который охраняет кладезь рационализаций и изобретений. Мой учитель. Поговорю с ним. Правда, он человек своеобразный... Пойдете к нему, обязательно прихватите с собой всю документацию.

После этого разговора Славка явился к Наташе. Сияет, в руках — газета-многотиражка.

— Вот! Мозжухин подарил. Теперь-то уж «Утенка» на ДМЗ оторвут с руками.

Своим вторжением (десятый час вечера) Славка нарушил нестойкую семейную идиллию. Нина Ивановна только что прибрала со стола, и Пахомовы сидели, перекидываясь незначительными фразами, как это бывает в семьях, где каждый живет своими мыслями, своими заботами, своими интересами.

Славка как-то видоизменился, был сам на себя не похож. По-прежнему в джинсовом костюмчике «ковбой Техаса» цвета исчезающей радуги. Но волосы! Длинные — по плечи — русые волосы он оставил в парикмахерской. Нина Ивановна по поводу роскошной шевелюры говорила ему:

— Славик, вы похожи на Сережу Есенина в тринадцатом. Молодой поэт, только что явившийся из своей рязанской Константиновки в град-столицу, посещал лекции в народном университете Шанявского.

Постриженный Славка смахивал на солдата-отпускника. Голубые глаза — и те, казалось, повыщвели.

— Так — меньше забот! — пояснил он причину, почему лишил себя есенинской красоты.

Нина Ивановна, строгая блюстительница семейных традиций, ею же изобретенных, взирала на Славку Бобренка как на человека не от мира сего. Она угадывала в замухрышке с вечно заскорузлыми руками незаурядного конструктора и во имя будущего расцвета

отечественной научной и технической мысли взяла его под свое материнское покровительство.

— Слава, может, поужинаете с нами? — предложила она, считая, что любого гостя надо вначале накормить.

«С нами» — это вежливая форма приглашения, позволяющая избежать некоторых щепетильных моментов. Впрочем, со Славкой в отношении «позавтракать», «пообедать», «поужинать», «попить чайку или кофейку», «ударить по ущице», «по овощному рагу» и даже просто по картошке в мундире, можно было не церемониться: он всегда «за».

И сейчас не против:

— С утра, как чеховский злоумышленник под арестом: на хлебе и воде.

Такой ответ для хлебосольной мамы Нины словно двадцать капель эликсира «Молодость»: оживилась, начала припасать на стол.

Славка — благодарный гость: он всегда с аппетитом весеннего волка уплетал все, что перед ним ставила на стол мама Нина, чем доставлял ей истинное наслаждение.

Влюбленный по уши в человечество, Славка свободно чувствовал себя и со слесарем-забудлыгой из гаража, где подрабатывал, и с наследным принцем нефтяного эмирата. (Правда, судьба еще не сводила его с наследными принцами.)

Не сделал он сейчас исключения и для профессора Пахомова, который, словно величественный Будда, восседал на старинном, с высокими деревянными подлокотниками кресле, облаченный в пижаму «зебра». Славка поздоровался с профессором за руку и, потрясая газетой, заговорщицки подмигнул: мол, каково? Уселся поудобнее на стул поближе к столу, прочитал громко заголовок:

— «Пост народного контроля сообщает». — При этом он насупил белесые брови и многозначительно поднял указательный палец. Затем голосом знаменитого чтеца-декламатора Журавлева продолжал: — «Низкое качество технической воды и ее высокая температура (37 градусов вместо 25) привели к быстрому износу дефицитных текстолитовых подшипников в листопрокатном цехе. Листопрокатчики начали катать лист выше верхних допусков, что привело к большому перерасходу металла. Еще хуже обстоят дела на участке

газоочистки доменного цеха. — Голос Славки рокотал от возмущения. — Начальник цеха А. Р. Руфимов утешил комиссию народного контроля: «Мы принимаем меры». И действительно, несколько человек с брандспойтами размывают слежавшуюся грязь, а ветхий насосик — этакий инвалид первой группы, из всех пор которого хлещет, — перекачивает взмученную кашу в шламонакопитель. Таким «руфимовским» способом, глядишь, года через три и очистят водоем. А пока по вине цеха водоснабжения лихорадит весь завод.

Комиссия народного контроля вынуждена констатировать: пока цех водоснабжения будет оставаться пасынком у дирекции завода и парткома, не может быть и речи о выполнении коллективом предприятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем развитии черной металлургии...

Елена Зайцева».

Закончив читать, Славка сложил газету и с удовольствием сказал:

— Уважаемый соавтор, вы понимаете значение исторического момента: без нашего «Утенка» Донецкий ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции металлургический завод не выполнит важнейшего постановления партии и правительства!

Проход Николаевич сочувственно поцокал языком и проговорил:

— Зубастая шука эта Еленочка! Как она уважаемого Арзамаса Руфимовича! «Ветхий, этакий инвалид, из пор которого все хлещет!»

— Так это она — о насосе? — удивился Славка.

— Э-э, Станислав свет Петрович, газеты молодому специалисту надо уметь читать. Наша милая Еленочка прекрасно знала, что химводоочистка на ДМЗ — типичный атавизм, мой покойный отец сказал бы «анахронизм», а Руфимов никакой не начальник цеха, а хранитель музейных реликвий. Насосам по пятьдесят лет, трубам — по сто. И живут они только потому, что ржавчина сцементировалась с землей. А тронь — все посыплется. Чтобы заменить все подземные коммуникации, надо года на три остановить завод. Но лишь намек на сию идею приравнивается к измене родине. И такое недомыслие в оценке значения вспомогательных цехов для развития основного производства — суть технической политики и республиканского, и «большого» министерств. Одно знают: «Давай-давай». А что и откуда берется — никто из высокого начальства знать не хочет. Не хочет

этого знать и ваша зубастенькая Еленочка. Навалилась на Руфимова, будто он может нарожать новые насосы. Их ему не дают! Это понять надо. Не дают! Вот взрела бы милая Еленочка в своей многотиражке министра, а еще лучше — Совмин за предательскую политику в области черной металлургии. А то мы на уровне стрелочницы тети Мани — ух, какие смелые. В корень надо зреть! В корень! ДМЗ года на три закрыть и перепахать к чертовой бабушке всю землю под ним на глубине десяти метров. А то ведь ставим латки на старые заплатки и провозглашаем себя поборниками научно-технической революции.

Нина Ивановна возмутилась:

— Прохор Николаевич, когда ты перестанешь употреблять свои босяцкие словечки! И вообще, чему ты учишь молодежь!

— Учу мыслить, учу трезво оценивать обстановку и перспективу. А для этого надо смотреть правде в глаза, не отворачиваясь даже в том случае, если она обретает вид Горгоны — милой женщины с прической из ядовитых змей. Встретишься взглядом с такой и окаменеешь. Но правду, как и зубную боль, не пересидишь, с нею не разведешься, словно с нелюбимой женой, даже расстрелянная, повешенная, упрятанная за решетку она остается правдой, так что принимай ее такой, какой она есть. А правда в том, что металл у нас считают продуктом государственной важности, а воду — отходами. Опережая время, мы создаем установки непрерывной разлижки стали, которые баснословно экономят металл и резко повышают его качество, и все это — на зависть господам капиталистам, и, как бездарный полководец, совершенно не заботимся о том, чтобы вовремя заменить ухналь на подкове: ухналь обломился, подкова потерялась, лошадь охромела, полководец не успел к началу сражения, армию разбил неприятель. Не поэтому ли ЦК КПСС вынужден признать, что за минувшую пятилетку механизм управления и планирования, методы хозяйствования и исполнительскую дисциплину не удалось поднять на уровень современных требований!

По мнению Нины Ивановны, ее Прошенька высказывал уж слишком крамольные мысли, и она в иной обстановке резко бы выговорила ему: мол, не позволяй себе лишнего... Так, на всякий случай. Был тридцать седьмой год — разговорчивых ощипывали, как обезглавленного петуха. Где гарантия, что не вернуться те времена?

Но Прохор Николаевич сослался на... ЦК КПСС, и... Нина Ивановна промолчала. А вот Славка Бобренко с профессором не согласился, вернее, с той частью его речи, где обвинялась корреспондент многотиражки Елена Зайцева:

— Н-напрасно вы, Прохор Николаевич, на журналистку. Она — по делу: заводу нужна вода, а качать ее нечем, — заикался он, волнуясь. — Вот возьмут нашего «Утенка»... И начальство она зацепила: не стрелочника, а директора и партком... Верно? — обратился он к соавтору за моральной поддержкой. И тут же принялся за профессора. — Насчет этой самой правды... Вот вы, Прохор Николаевич, консультант министерства по водоснабжению. Как же вы могли подписать акт на непрерывную разливку стали, зная, что установка не обеспечена толком водой? Других за ухналь критикуем, а сами!..

Славка весь как-то встопорчился, готовый атаковать профессора, сыто восседавшего на своем кресле-троне. И Пахомов вдруг смутился, в одно мгновение превратившись из величественного Будды в простого смертного, который чувствует за собой вину.

— Не в бровь, а в глаз, Станислав свет Петрович, — забасил он. — И так ему, этому консультанту! По заслугам! Только вот какое дело-то... Обьегорила его жизнь. Вначале установка считалась экспериментальной и вопроса о стационарном водоснабжении не существовало. Потом ее объявили экспериментально-производственной, а затем, уже почти автоматически, — промышленной. И никакого акта ваш покорный слуга по этому случаю не подписывал, он вместе с водоснабженцами на разные голоса вопил: «Караул! Рятуйте, людоньки добрые!» Да было уже поздно: завод отчитался: «Впервые в мире», министерство поздравило с выдающейся победой, факт пуска попал в доклад секретаря ЦК. Установка получила государственный план, и снабжение ее водой оказалось делом третьим, как говорят в Донбассе. Такова наша се ля ви, молодой человек. Бывают в жизни моменты, когда на тебя набрасывают хомут без предупреждения, да еще и взнудывают. В тебе взыграло, ты попробовал взбрыкнуть, а тебя — длинным кнутом, да кончиком — под брюхо, с оттяжкой: «Но! Все! Давай, милая! Рысью, ма-арш!» И ты — вскачь. У вас, молодых, это все еще впереди, — пообещал профессор.

— Ну уж нет, — восстал Славка. — Этому не бывать. Вы, старшее поколение, потеряли чувство собственного достоинства. Все-то у вас есть, всего-то вы достигли: звание, положение, зарплата... Вот и стали интеллектуальными рабами.

— Не потеряли, Станислав свет Петрович, а его из нас выбили, это самое собственное-то, как пыль из старого ковра. Мне, консультанту министерства, доктору и профессору, только однажды удалось полностью реализовать свой замысел — это когда проектировали стан «3200». Мы с Мозжухиным сумели упредить тех, кто пытался сэкономить на вспомогательных цехах, то есть на перспективе развития. Да и то благодаря случайности.

Ваш покорный слуга учился в одном институте с председателем Совмина, правда, на разных факультетах, но хорошо были знакомы по комсомольской работе. Вот и вспомнили с ним те счастливые времена в дружеской обстановке. Я ему, мол, так и так: доколь будем попирать экономику ногами? Живем одним днем. Он мне: «Как специалист считаешь? Вот и поступай соответственно...» После таких слов, сказанных в присутствии министра, я и «поступил». Министр на проекте оставил автограф: «В порядке эксперимента». Таким макаром норма у нас становится исключением. И если вы, молодые, хотите достичь к сорока пяти годам степеней и должностей, то учитесь делать умный вид в глупом положении

— Прохор Николаевич! — восстала мама Нина. — Я тебя сегодня не узнаю. Когда ты жил применительно к подлости?

Профессор озорно подмигнул своему студенту, затем хитро прищурил правый глаз:

— А разве вчера я был иной?.. Просто ты не обращала на меня внимания, принимала таким, какой я есть.

Возмущению мамы Нины не было предела:

— Славик, вы профессора не слушайте, после ужина он впадет в критиканство сытых.

Прохор Николаевич продолжал:

— Как мы правду-матку не любим! Не успел рта раскрыть, сразу же тебе — кляп! Почему наши наследники такие инфантильные, ничего, кроме нервно-паралитической музыки да «телека» не хотят знать? Книга стала пугалом, классика — бранным именем. Да потому

что мы их выращивали, словно искусственные кристаллы, в пробирке. А их надо вытащить из перенасыщенного раствора и просушить, проветрить. Пусть видят действительность такой, какова она есть, без прикрас. Пусть возмущаются. Пусть негодуют и разрушают все наши недодумки и недоделки. Только убрав обломки барака, можно заложить фундамент нового здания. Не так ли, Станислав Петрович?

Славка Бобренок, студент четвертого курса, надежда кафедры водоснабжения и промышленной канализации, растерялся. Он переводил взгляд с обескураженной мамы Нины на любимого профессора, который явно нервничал.

— Извините, Прохор Николаевич...

Профессор поднял многозначительно толстый палец:

— То-то же!

Профессор Пахомов был равнодушен к одержимым, в клан которых зачислял своего ученика Бобренка. Он называл их «чокнутыми». В момент лирического настроения любил пофилософствовать: «Кто, скопировав луну, изобрел колесо, чтобы снабжать любимую мамонятиной? Чокнутый! Кто приспособил беду Вселенной — пожар — для нужд кулинарного искусства? Кто открыл атом? Кто поднял сам себя в космос, за пределы божьего мироздания? И он же, чокнутый, уничтожит когда-нибудь жизнь на Земле, да и самую голую планету... если вовремя не прекратит игру в войну».

Славка, который уже пришел в себя, готов был вновь в чем-то обвинить профессора Пахомова, но в это время мама Нина поставила на стол ужин.

* * *

Мудрый Каа Донецкого металлургического завода — это начальник бюро рационализации и изобретательства Мобель Христофор Павлович, о чем свидетельствовала написанная золотом по черному полю стеклянная трафаретка, висевшая на разошедшихся, крашенных когда-то белилами, но уже посеревших от времени дверях.

Стоя возле этих весьма «экзотически» выглядевших дверей, Славка сказал:

— Не помешало бы сии врата славы обновить. А то как-то не к лицу двум талантам входить в историю отечественной науки и техники через затрапезную калиточку.

— Пока этот незабвенный Перпетуум Мобиле, — прикоснулась Наташа пальчиком к трафаретке с фамилией начальника заводского БРИЗа, — оформляет вашу заявку на изобретение, уважаемый соавтор, двери, недостойные вашей славы, успеют заменить. Спешите, Станислав Петрович, принять участие в конкурсе проектов триумфальной арки в честь вашего будущего величия.

— Доведется, уважаемый коллега, доведется! — тоном Мозжухина ответил Славка.

Вот так подбадривая себя, они топтались у дверей, не решаясь их открыть. Молодых изобретателей удерживал от решающего шага мужской фальцет, доносившийся из кабинета:

— Все — ньютоны! Все — ломоносовы и менделеевы! Все — королёвы! Покажите мне обыкновенного человека. Да я его как величайшую драгоценность эпохи НТР помещу в специальный музей.

— Вам бы волю, Христофор Павлович, — отвечала раздраженная бесплодным спором женщина, — вы бы всё и всех — в музеи, в архивы, под замки!

— Послушать вас, Елена Леонидовна, то Мобель — ретроград и закоренелый противник прогресса. Молодой рационализатор горит благородным желанием катать профиль на минимальных допусках и тем самым экономить стране сотни тонн металла. По его мнению, для этого достаточно усовершенствовать крепление текстолитовых подшипников. Но как это сделать, он пока лишь догадывается. Так вот, необходимо за него просчитать, выполнить чертежи, воплотить идею в материал, смоделировать, отрегулировать, так как у самого изобретателя на все это не хватает знаний. Но в таком случае пусть поступает в институт. Я готов подписать открытому вами самородку производственную характеристику. Но не требуйте, чтобы я искал ему среди инженеров соавтора-негра или сам выполнял за него основную работу изобретателя и тем самым воспитывал в молодом рабочем иждивенца труда и мысли. Вас, умного человека, нестораживает то, что в нашей жизни слишком много появилось тех, кто со страстью пламенного трибуна умеет на сто ладов сказать «дай» и не знает (и знать не хочет) коротенького слова «на»?

Мгновение-другое в кабинете стояла тишина, видимо, спорившие обменивались уничтожающими взглядами и «подтягивали тылы» для новой схватки.

— Вам бы, Христофор Павлович, жить в Америке! — с едким сарказмом заявила женщина.

— Где человек человеку волк, — в тон ей ответил мужской фальцет. — Елена Леонидовна, голубушка, да возьмите вы в толк, мы же не изобретаем, мы только болтаем об изобретениях, занимаемся словоблудием. И все свихнулись на масштабном, вечном. Даже грамотные инженеры перестали считать время и деньги. В начале года приходит один... И не скажешь, что в своем деле профан: три авторских свидетельства имеет, и предлагает «великую идею»: «Если завод сейчас затратит пять миллионов, то в следующей пятилетке получит пятнадцать миллионов». Я этому гению подсчета авторского гонорара объясняю, что я не мультимиллиардер Онасис — милый супруг Жаклин Кеннеди, а всего-навсего начальник заводского БРИЗа и у меня лично нет пяти миллионов на первоначальные затраты. И вообще, ДМЗ не нужен перпетуум мобиле, втолковываю, — вы подайте надежное сверло, способное работать на повышенных скоростях. Механические цеха гробят за год двадцать тысяч сверл. Может создаться впечатление, что испорченное сверло — их основная продукция. И тут же из милого Христофора Павловича, которого непременно хотят угостить коробочкой фирменных конфет, я превращаюсь в... старую перечницу с разжиженными мозгами, которой место в доме престарелых, а не за столом начальника БРИЗа.

Старая дверь распахнулась, и из кабинета-крепости, словно снаряд из жюльерновской пушки, в которой искатели приключений отправились на Луну, выскочила красивая в гневе, миниатюрная женщина. В ее ярко-рыжих волосах, в острых глазах в стремительности было нечто огненное, ракетное. Опалила Наташу со Славкой жаром и скрылась в конце полутемного коридора за другой дверью с трафареткой «Редакция газеты «За металл».

Славку осенила мысль:

— Елена Леонидовна — журналист заводской газеты. Убежден, что ее фамилия Зайцева. Вот мы и познакомились с автором статьи

о насосах-ветеранах, нуждающихся в замене их «Утенком». Скажем ей хотя бы вдогонку наше изобретательское спасибо.

— Спасибо, Елена Зайцева!

И хотя сказано это было шепотом, но прозвучало, как боевой клич индейцев из племени каманчи.

Славка открыл дверь в кабинет и, как истинный мужчина, вошел первым, тем самым принимая на себя весь удар, который уж конечно обрушит на них этот ядовито-справедливый начальник заводского БРИЗа.

По крохотной комнатенке, утесненной нестандартными объемастыми шкафами с тяжелыми банковскими дверями, между однотумбовым полированным столом и зарешеченным узеньким окошком, словно бы выплясывая танец с саблями, метался высокий, болезненно худой человек — перпетуум мобиле — вечный двигатель, только с расхлябанными шарнирами: уж так несуразно гнулись в коленях костлявые ноги Христофора Павловича и выламывались в локтях пугающе длинные руки.

Он остановился как вкопанный. Пронзил Славку мефистофельским взглядом, оценив по достоинству черный пенал для чертежей в правой руке посетителя.

— Ну вот, еще один Ползунов-Кулибин. Приносят «Фантазию до мажор», списанную у Петра Ильича Чайковского, и говорят: «Механический очиститель мартеновского кристаллизатора». А ты, Христофор Павлович, с помощью интегратора доказывай, что металлургический завод — не музыкальный салон «Рапсодия»!

Славка — чуть впереди (как и положено мужчине в сложных ситуациях), Наташа — на шаг позади, мнутя, топчутся, ошарашенные «милым» приемом.

— Ну что же вы! — трагически воскликнул начальник БРИЗа. — Выкладывайте свое гениальное, добивайте старого Мобеля. Что у вас там? Изменение технологической цепочки завода? Проект перехода производства металла на бездомный процесс?

— Насос для работы в тяжелой среде, — сказал Славка.

Гнев начальника БРИЗа начал затухать, человек обретал себя. Он вспоминал, сопоставлял. Его лихорадочно блестящие глаза уставив-

лись на Наташу. Взмыл вверх длинный, смахивающий на бамбуковую удочку палец и метнулся в сторону пришедшей.

— Наталья Прохоровна! Извините, не узнал. Мне звонил Виталий Никифорович Мозжухин. Просил обратить на вас внимание.

Покоробило душу: «Дочь профессора!» Как это надоело! Начиная со школы, она ощущала на себе это проклятье: дочь профессора!

Золотая медаль? Как же! Профессорская доченька! И мамочка — активнейший член родительской тройки, той самой, которая, проявив «инициативу», собирала на выпускной вечер по двадцать пять рублей с выпускника. Четыре класса. По сорок человек. Это четыре тысячи. Американская корпорация «Локхид» и та на такие деньги в пользу «нужных людей», поди, не раскошеливалась.

То же самое в институте. Единственная пятерка по курсовой работе — у Пахомовой.

«Еще бы! Консультировал папа-профессор!» А профессор Пахомов и в глаза не видел курсовую работу студентки Пахомовой. Оппонентом был Славка Бобренок, который разделал «уважаемого профессора» под орех и дубовую фурнитуру, а принимал и ставил оценку доцент Мозжухин.

Однажды у Наташи появилось острое желание расписаться с первым встречным дегенератом, лишь бы сменить эту обременительную отцовскую фамилию.

И вот теперь Мозжухин — туда же... «Дочь профессора Пахомова!» А мог бы отрекомендовать по-человечески: «Активный член студенческого научно-технического общества, которым я руковожу... Интересное изобретение...»

Наташа готова была вонзиться в худосочного начальника БРИЗа разрывной японской пулей «дум-дум».

— Вам бы, Христофор Павлович, обратить внимание не на дочь профессора, а на перспективный насос, который необходим цеху водоснабжения.

Начальнику БРИЗа такой наскок изобретателей-просителей пришелся не по душе. Он нахохлился.

— Скажите, пожалуйста, какая осведомленность у студентов политехнического института в нуждах металлургического завода!

Наташа положила на полированный стол начальника БРИЗа припасенную заранее заводскую многотиражку:

— Если не ошибаюсь, вы только что беседовали с Еленой Зайцевой, автором статьи «Пост народного контроля сообщает».

Христофор Павлович к газете не притронулся, наоборот, убрал ломкие руки за спину:

— Я действительно имел удовольствие перед вами, Наталья Прохорова, беседовать с Еленой Леонидовной Зайцевой, журналистом заводской газеты. Но это не дает вам права, ворвавшись ко мне в кабинет, отчитывать меня, как мальчишку. Я, по крайней мере, старше вас вместе с вашим соавтором и по годам, и... по количеству поданных изобретений.

Запальчивость, конечно же, — не советчик, и студентам четвертого курса политехнического института не стоит забывать, что перед ними тот самый Х. П. Мобель, который своим учебником «История отечественной техники» помог им обоим с Бобренком заработать по пятерке.

«Ну и оболдуи же мы», — укоряла себя Наташа. Славка дергал соавтора за рукав платья: «Не бузи».

— Извините, — сказала Наташа начальнику БРИЗа и раскрыла пенал, чтобы достать чертежи.

Христофор Павлович не принял извинения, он стоял у стола высокомерный, все презирающий. Но чертежи все же посмотрел.

— Работа выполнена не дилетантом, — отметил он. — Технически грамотно. Чувствуется школа Мозжухина. Познакомьте меня с отзывами о надежности вашего насоса.

Славка положил перед начальником заводского БРИЗа институтские отзывы. Христофор Павлович, можно сказать, не удостоил им вниманием.

— Я имею в виду отзывы предприятий, где проходило испытание ваше изобретение.

Тут уж не утерпел Славка:

— Но отзыв об «Утенке» мы хотим получить от вас, от завода.

— Ну, знаете, молодой человек! — Христофор Павлович в эту минуту стал величественным и недосыгаемым для простых смертных.

— Студенческий эксперимент на крупнейшем промышленном

предприятию! Пусть ваш насосик года три покачает воду на огороды какого-нибудь приусадебного хозяйства или овощеводческого совхоза.

— Но наш «Утенок» рассчитан не столько на воду, сколько на тяжелую среду с повышенными коррозионными свойствами.

— Предложите станции по очистке городских сточных вод. — Он свернул чертежи, вложил их в пенал и подал Наташе. — Не смею больше претендовать на ваше творческое время. — Мебель слегка поклонился.

Выходя из кабинета, Славка почему-то внимательно осмотрел двойные створчатые двери изнутри, затем снаружи, вновь изнутри и заметил с укоризной:

— До какого состояния довели государственное имущество!

Мебель явно не ожидал контрвыпада. На какое-то мгновение даже растерялся от нахальства, но вот в его острых глазах промелькнула лукавинка:

— Проморгали, — чуть поклонился он в знак особого уважения.

Славка Бобренок смерил начальника заводского БРИЗа оценивающим взглядом и сказал как-то нехотя:

— Только из особого уважения ко всем великомученикам, которые бывают в этом учреждении... могу подарить проект реставрационных работ, — он похлопал плоско по дверям. — На уровне рацпредложения.

Поглядывая с высоты своего столбового роста на необычных посетителей, Мебель поглаживал от маковки к переносице носище худым пальцем.

— Ну что ж... Если не выйдете из проектной сметы и проект будет выполнен с той же тщательностью, что и чертежи насоса... то — вполне! — Он чуть улыбнулся, спрятав «добринку» в уголках сухих губ. — Жду! В любое удобное для вас время.

Они друг другу вежливо поклонились.

Очутившись в коридоре, соавторы вознегодовали.

— Узколобый бюрократ! — заявила категорически Наташа.

— И такие определяют рационализаторскую и изобретательскую политику на одном из крупнейших металлургических заводов страны в эпоху научно-технической революции! — согласился с нею Славка. — Что же теперь делать с «Утенком»? — растерянно спросил он.

— Да провались он пропадом, этот «Утенок»! — отреклась Наташа. — Может, когда-нибудь! А сейчас — не до него: преддипломная практика на носу, а я еще тему не выбрала.

— Не-ет, уважаемый со-соавтор, — начал заикаться от волнения Славка. — Му-мужчины де-дел на полпути не броса-сают! Кто и-ищет, то-тот всегда найдет, а под лежащий какамень вода не течет!

— Чтобы я ходила к таким бюрократам на поклон! Унижалась!

— В тебе го-говорит не автор «Утенка», а до-дочь профессора, фифочка в маринаде.

И этим он сразил Наташу: «дочь профессора». Она от их совместного изобретения, кроме славы, ничего не ждала. А Славка должен был вернуть хотя бы часть тех денег, которые он потратил на рождение насоса. Три года корпели! А какой-то чинуша перечеркивает все мановением руки только потому, что у него дрянное настроение.

— Идем к главному инженеру завода, — предложила Наташа. — Тут рядом, через площадь.

Она могла бы добавить: «папин приятель по рыбалке и охоте», и это бы объяснило, почему Наташа уверена, что сверхзанятый государственный человек непременно найдет с полчасика, чтобы принять двоих обиженных студентов.

Интереснейший парадокс: при встрече с Руфимовым, и даже с Мобелем, Наташу оскорблял малейший намек на родственные связи с консультантом министерства профессором Пахомовым. А вот когда прижало — она к «папиному приятелю»... и при этом не могла не отдавать себе отчета об «обратной зависимости». Да, свой первый шагок в жизни она сделала в девять месяцев от мамы Нины именно к Оборошину. И это было вписано «золотыми буквами» в историю ее жизни. Мама Нина готова была напоминать об этом при каждом появлении в их доме «крестного отца».

Но у этой медали была и другая сторона: кто в политехническом не знал, что сынок главного инженера ДМЗ — превеликий оболтус и, если бы не профессор Пахомов, давно бы вылетел из института. Так что, обращаясь со своей обидой к Оборошину, она давала тому право требовать от профессора Пахомова ответного внимания к своему ненаглядному сыночку.

Но сказав «к главному», Наташа почему-то тут же вдруг заколебалась. Славка прекрасно уловил причину ее сомнения. Он сказал:

— Ну их, этих железных людей. Не верю больше в них. Мозжухин рекомендовал нашего «Утенка» этому долгоносику Мобелю. А результат?

— Да не «Утенка» он рекомендовал, а нас с тобою, и в первую очередь — «дочь профессора Пахомова».

— Не-е... Мозжухин — умница, он такой пакости делать не станет. Этот сухарь все наизнанку вывернул. Надо сходить к Мозжухе.

Наташа глянула на часы: четверть шестого. На кафедре Мозжухина, конечно, нет. Она позвонила домой, но никто трубку не поднял.

— Пошли к нам, попытаемся, а Виталию Никифоровичу позвоним попозже.

Мозжухин сам появился у Пахомовых около девяти вечера. Довольный, улыбается.

— Как это вам так удалось очаровать Христофора Павловича?

— Очаровать?

Не путает Виталий Никифорович? Начальник БРИЗа, можно сказать, выставил соавторов-изобретателей за дверь.

— Именно очаровать. Христофор Павлович — человек аккуратный и точный до педантизма. Он сказал мне: «Позвони в 18.00». Звоню. Говорит: «Проверил боем. Девчужка — прелесть, сама непосредственность. А сколько страсти! Парнишка — и того лучше, с юмором. И находчивый, как капитан команды-победительницы в КВН. А человек, не обладающий тонким чувством юмора, толковым изобретателем быть не может. Чтобы внедрить нечто новое и оригинальное в жизнь, надо уметь убеждать самых тупоголовых и яростных противников». Слава, что за проект вы обещали ему принести? О каких райских вратах идет речь? — недоумевал Мозжухин.

Славка смутился:

— Да так... Рассердился на этого сухаря и нахамил... Дверь у него в кабинет такая ветхая... Я и говорю: «Символ мышления хозяина... мол, нуждается в обновлении».

Как смеялся Мозжухин! Ну словно дошкольник, которому бабушка показала три раза кряду палец. «Ха-ха, хо-хо, ох-ох!» Того и гляди, со стула свалится. Слезытирает.

— А он-то! Он-то что в ответ? Ручаюсь, что принял предложение.

— Говорит: «Если не выйдете из сметы...»

— Нет, каков старик! — восхищался Мозжухин, обращаясь к Нине Ивановне, которая, проявляя вполне здоровое любопытство, присутствовала при разговоре о судьбе первого изобретения дочери. — Слава, сделайте вы этот проект, рассчитайте все скрупулезнейшим образом до третьего знака. И введите коэффициент на моральную амортизацию. За Христофором Павловичем такая шутка не пропадет.

— Виталий Никифорович! — восстала Наташа. — У нас на носу практика, мы со Славой еще не выбрали тему дипломного проекта и будем сейчас тратить неделю на то, чтобы потешить старика-чудака, который даже доброго слова не сказал об «Утенке»!

— Как — не сказал? Наталья Прохоровна, вы просто не знаете Христофора Павловича. Если бы на него не произвело соответствующее впечатление ваше изобретение, уж, смею вас заверить, он не увидел бы в вас с Бобренком личностей. А если в поле зрения Мобеля попадет что-то стоящее, он поддержит всем своим авторитетом. «Утенку» он дал положительную оценку: «Перспективная штукавина, если учитывать характеры изобретателей».

— Но он, можно сказать, и чертежей-то в руках не держал! — воскликнула удивленная Наташа.

— Не волнуйтесь, главное он увидел и оценил. Завтра поговорит с начальником цеха водоснабжения Руфимовым. А послезавтра везите своего «Утенка» на гидрокомплекс, к бригадиру слесарей Кедрачу Глебу Игнатьевичу.

— А... возьмут?

Все было так неожиданно! Просто не верилось, что хождение по мукам изобретателей «Утенка», в основном, позади.

— Уж если профессор Мобель сказал! — Виталий Никифорович многозначительно, чисто по-мобелевски, поднял указательный палец.

— А тема для дипломного проекта у нашего Бобренка в руках: «Утеночек» — история его рождения и результаты промышленного испытания». Уверен, что и у Натальи Прохоровны с темой не будет затруднений, руководителем практики у нее — Арзамас Руфимович, человек, влюбленный в водоснабжение.

Наташа не переставала восхищаться Христофором Павловичем: «Профессор Перпетуум Мобиле! А мы-то его со Славкой — и бюрократам, и ретроградом».

— Славка, — сказала она, — а проект реставрации ворот в рай мы с тобой сделаем. На уровне рацпредложения. Обязательно. Это уж дело чести авторов «Утенка».

«Я НЕ ВЫПУЩУ «ТИТАНИК» В РЕЙС!»

Так вот кому обязана Наташа за ломоту в спине и кровавые заусеницы на руках: «Рекомендовал Перпетуум Мобиле!»

Но она не знала, как оценить подобную заботу о ней знаменитого профессора: поблагодарить или отругать (конечно, в душе). А вот на Руфимова взъелась: она что — подопытный кролик! Провел психологический эксперимент! И парторг цеха хорош! Улыбка до ушей, словно майская роза! А с чего бы ему веселиться! Довели отделение химводоочистки до ручки! Тетя Фрося с Лизаветой и Веркой вкалывают, словно каторжные. Практикантку направили на соль всего на один день, ну пусть на всю практику. А Верку — на всю жизнь! На долгие годы! Так голубая пачка соли — это еще «облегчение»! А когда кайлуют «пик тети Фроси»! По комочку, по щепотке — десять тонн!

— Я счастлива, что сподобилась особого внимания профессора Мобеля и оправдала доверие незабвенного Арзамаса Руфимовича. И ваше личное, — язвила Наташа. — Искус сорока тысячами пачек выдержала, теперь меня пожалуют высоким званием послушницы ордена святой Химводоочистки!

А Кедрач продолжал по-дружески улыбаться.

— Убедили, Наталья Прохоровна, проект «гидросоли» в вашем исполнении будет самым серьезным. В прошлом году был у нас на практике один паренек. Толковый. Руфимов соблазнял его идеей

«гидросоли». Но тот быстренько свернул паруса: «Дохлое дело! Не по мне». А у вас — обратная реакция: вы встали за идею. С этого дня мы с Руфимычем — ваши союзники. Познакомьтесь с нашим хозяйством, и я покажу вам «гидросоль». Главное в наследстве — два резервуара по шестьсот кубов. Правда, в них шесть лет не заглядывали, но консервацию Руфимыч сделал надежную.

* * *

Трамвай увез Глеба Кедрача. Наташа отправилась домой. Пешком. Время пик, конторы закончили рабочий день, и вот многотысячная армия служащих заполонила улицы. На тротуарах, как на майской демонстрации, — шеренги и колонны. У дверей магазинов — столпотворение, к любому прилавку — солидный «хвостик». Особенно много женщин: мамы, жены, сестры, дочери — они спешат «отовариться» и выбраться за пределы перенаселенного центра. В отделах, специализирующихся на крепких напитках, — оживление: Донецк готовится к большому празднику — Дню освобождения Донбасса. Украшаются улицы флагами, транспарантами. Со специальной машины вкручиваются в световое панно гирлянды разноцветных лампочек. Впрочем, былого великолепия вечерний Донецк уже не приобретет. Когда-то одной из достопримечательностей города была праздничная иллюминация: замысловатые узоры из многоцветья лампочек, оживающие картины — своеобразный прообраз того, что мир увидел в Лужниках в день открытия Олимпийских игр. Только на стадионе картины «писались» разнообразием курток, накидок и флажков, а в Донецке — ожившими огнями.

...В моду вошла строгая экономия: по ночам полуосвещенные улицы смахивают на задворки средневекового городища, а мертвевшие, обезлюдевшие дворы напоминают своей мрачностью сельское кладбище поздней осенью.

Но перед вечером Донецк жил самой полнокровной жизнью рабочего города.

Наташа вышла на берег ставка и побрела вдоль грибков, которые еще недавно многолюдно заселяли купающиеся. Сейчас их обживали влюбленные парочки.

Когда тебе двадцать три, а близкого друга не было и нет... при виде чужой любви, чужого счастья становится чуточку грустно.

Она думала о бригадире слесарей химводоочистки, от которого ушла жена Клавушка. Почему женщины уходят от тех, кто их любит? Что еще нужно для счастья?

«А этот Кедрач любопытен. По крайней мере, не стандартен. Чем он не устроил Клавушку? Вполне возможно, что своей нестандартностью».

...Чудак, сравнил «Утенка» с первым стихотворением поэта...

...А эта проверка боем... Можно подумать, что сорок тысяч пачек соли специально привезли, чтобы испытать практикантку Пахомову! Гнет уважаемый товарищ начальник цеха Руфимов дугу из комеля!

...«Утенок» — песня... Может быть. Только поет ее Славка Бобренок... А она? Почему Наташа так равнодушна к этому... первенцу? Не выстрадала!

Выходит, настоящая любовь приходит только к тому, кто ее заслужил, выстрадал. Интересно, как страдает Глеб Кедрач? Как самовлюбленный представитель сильного пола: «Меня! Бросили! Не я — кого-то! А меня!!!» Или... изнывает от пустоты, образовавшейся вокруг него: нет любимой, очень нужной...

Лизавета с ее философией неприятия «мужичья» — это как вирус.

...Наташа чувствовала, что в ней поселяется нигилизм обиженной кем-то женщины. Но ее никто пока не обижал. (Посмел бы!)

И все-таки в оценке страданий Глеба она, пожалуй, была Лизаветой: «Отливаются мышке кошкины слезки!»

Миновала перекидной мост, поднявшийся над сбросовым каналом, соединяющим два ставка, и вместо того, чтобы повернуть направо, к дому, пошла вдоль берега: она еще не переварила впечатления дня, не надумалась, не уверовала... А принести к маме Нине свои сомнения, свои тревоги... Нет! Мама Нина — из прагматиков, ее оценки людей и событий всегда конкретны: «Полезно? Нужно? Оправдывает ли конечный результат затраты нервной энергии, времени, средств?»

Наташа знала заранее, что ей посоветует мать: «Занимайся пока вместе со Славой «Утенком». Перспективнейшее дело. А «гидросоль» оставь Руфимову и Кедрачу. Они не один год чахнут над этой проблемой, породнены горьким опытом — пусть и решают ее».

Но мама Нина не кайловала «пик имени тети Фроси», она не распускала пачки с солью за смену десять тысяч раз подряд.

* * *

Навстречу Наташе, приближаясь к подъезду, с противоположного конца улицы шел Можухин, как всегда, одетый «для театра», сказала бы мама Нина, определяя этим стиль одежды: не броско, но со вкусом, с уклоном на «официальное»: серый, мягких тонов костюм, рубашка — в тон, галстук почти сливался с рубашкой. В руках у Виталия Никифоровича — завернутые в тонкую похрустывающую пленку (только что приобрел) пурпурные георгины. Каждый цветок — две мужские ладони. Мелкие лепестки упруго выгнулись раскрытым зонтиком. Наташа невольно «положила глаз» на диво-цветы. Можухин улыбался.

— Спешу к Нине Ивановне, — пояснил он цель своего визита, невольно оправдываясь, почему не может подарить Наташе букет. — Особо важное поручение от Прохора Николаевича.

Он обратил внимание на внешний вид Наташи. Оглядел с ног до головы. Плечи опустились. Идет — шаркает туфлишками... В его серых, мягких глазах застыл немой вопрос: «Да что с вами?»

Наташа вспомнила свою школьную подругу Веру Уварову, встретившую ее, озоруя, песней, и ответила Виталию Никифоровичу:

— «Я шагаю с работы устало».

Но Веркиного показного «мажора» в ее строке не прозвучало. Она это поняла и пояснила проще:

— Практика. Первая рабочая смена.

Можухин, видимо, хотел покачать головой: «ай-ай», но, как человек воспитанный, удержался.

— Первая рабочая смена! — повторил он. — По такому случаю — цветы за мной.

Наташа с невольной благодарностью глянула на Виталия Никифоровича. Вот за эту тактичность, за умение «чувствовать собеседника» в институте и любили молодого доктора технических наук Можухина.

«Руководитель будущего дипломного проекта...»

Наташа подумала об этом с надеждой и настороженностью. Виталий Никифорович был именно тем человеком, который мог ее выслушать, понять и посочувствовать.

Он привычно и ловко перекинул цветы из правой руки в левую и потянулся к Наташе, чтобы поздороваться. Ее маленькая ладошка

утонула в длиннопалой мужской ладони. Что-то доброе перешло от Мозжухина, и она на миг сама подобрела. Нет, не простила кругленького, как колобок, Руфимова, но потребность взбунтоваться поугасла.

Виталий Никифорович сразу почувствовал необычную шероховатость девичьей кожи. Удивленно глянул на ладошку. Перебрал по одному чуть слипшиеся от доброго рукопожатия пальцы. Без жалости зажав под мышкой пышные величественные георгины, взял вторую руку Наташи. Сравнил обе — красные от ссадинок, пропаханных солью, разъеденные тузлуком.

Наташа не убирала своих рук, гудевших от непривычной работы, ей была приятна целительная прохлада, исходившая от мягкой ухоженной кожи Виталия Никифоровича. Его пожатие успокоило ноющую боль.

Виталий Никифорович осторожно освободил Наташины руки.

— Я почему-то сейчас вспомнил свое детство. Дом ленинградских сирот под Новосибирском. Бельишко мы буквально с первого класса стирали сами... Намочишь его в щелоче из древесной золы... А утром всем гуртом вместе с воспитательницей Санванной идем к полынье. Там она наше бельишко выполаскивала и выбивала вальком. Сорок рубашек из серого рубища... Когда выжимала последнюю, руки у нее были вот такие же...

Наташа глянула на свои руки, перевернула ладошками вниз.

— Искала тему для дипломной работы.

— Ну и?..

— Она оказалась упакованной в сорок тысяч пачек соли «Экстра».

— Руфимовская «гидросоль»! — воскликнул Мозжухин. Ему трудно было удержаться от едкого замечания. — У каждого — свое хобби! У нашего Арзамаса Руфимовича — «гидросоль».

— А разве это так уж плохо? — удивилась Наташа, невольно глянув на распухшие пальцы. — Исчезнет «пик имени тети Фроси»!

Мозжухин ее явно не понял, и эта растерянность прописалась на его лице. Но он не задал вопроса, мол, что это за чудо, ждал, когда Наташа пояснит.

— «Пик имени тети Фроси» — это и есть тема моей дипломной работы, — растолковала она.

— Наталья Прохоровна! — воскликнул Мозжухин.

— Неперспективная тема? — по-своему поняла она восклицание заведующего кафедрой.

Виталий Никифорович не знал, что ответить. Подрастерялся.

— Мы советовались с Прохором Николаевичем. Тему надо брать такую, чтобы впоследствии ее можно было бы развернуть в кандидатскую диссертацию. А «гидросоль» по-руфимовски — это заплатка на старом пальто, которое давно надо снести вместе с макулатурой и обменять на что-нибудь из серии «Проклятых королей» Дрюона.

Наташа вдруг рассердилась. И стала ядовитой-ядовитой.

— Эт-та мужская вежливость! — У нее чуть не вырвалось в чисто Лизаветином духе: «кобелиная». — В театре: «Проходите, пожалуйста!» — и двери перед тобой нараспашку. Садисься в троллейбус, а он тебя под локоток поддержит — конечно, не в часы пик. А как до настоящего — где он, где современный рыцарь с его вежливостью?! Канаву копать вместо экскаватора — женщины! Свеклу и подсолнечник полоть по три раза кряду — женщины. Руфимовское «уважение» — соль «Экстра» в пачках, у бригадира слесарей рационализатора Кедрача — универсальный штырь для их расчеса. У профессора Мозжухина — «бесперспективная» тема. А вы бы прошли через это унижение женского достоинства — сорок тысяч раз подряд пачкой по штырю!

— Наталья Прохоровна! — взмолился Мозжухин, пораженный страстью, с какой его студентка отстаивала тему своей будущей дипломной работы, и восхищенный в душе этой вспышкой. — Я имел в виду магистральную линию развития водоснабжения на ДМЗ, в которую руфимовская «гидросоль» не вписывается, вернее, она не решает основной проблемы. Завод расходует воды в год столько, сколько перекачивают из реки Делавер для водоснабжения всего Нью-Йорка! Это половина того, что идет из Волги по каналу для Москвы! Так Москва — восемь миллионов прописанных и два заезжих, — причем на каждого расходуются по пятьдесят ведер в день. А ДМЗ свою воду сбрасывает в стоки! Задача — вернуть всю до капли, иначе в ближайшее время и завод, и породивший его город обессият от жажды. Вот тема вашей дипломной работы! Я пригла-

шаю вас в соавторы. В проекте «Водный цикл для новых цехов» найдется и для вас самостоятельный участок.

Наташа сумрачно молчала: Мозжухин, этот чуткий, отзывчивый человек, чуточку влюбленный в нее (о, женщины это чувствуют издалека!), не понял ее боли.

— Ну а сорок старых цехов! — воскликнула Наташа. — Вы можете их закрыть? Нет! Там работает тридцать тысяч человек. А на вашем новом прокатном стане будет занято от силы две тысячи. Так как же этим тридцати тысячам жить? Чем старше цех, тем больше требуется воды для него.

Наташа хорошо усвоила еще с первого курса азбучные истины проблемы водоснабжения.

* * *

Практически нет ни одного вида продукции, при производстве которой так или иначе не участвовала бы вода. Но еще больше воды затрачивается на то, чтобы разбавить, растворить в ней отходы производства. Такое двойное использование воды в условиях большой численности населения, мощного развития промышленности и сельского хозяйства создает «области неутолимой жажды» даже в тех природных зонах, где никогда не было недостатка в воде.

А в Донбассе ее всегда не хватало.

Чтобы произвести одну тонну угля надо три тонны воды, при том, что в стране получают его больше 700 миллионов тонн; тонну стали, чугуна, проката — 250 тонн воды (получаем около 400 миллионов тонн); чтобы вырастить тонну пшеницы — 1500 тонн воды (при 205 миллионах тонн зерновых в год).

* * *

— Мы с Прохором Николаевичем предлагаем генеральную схему водоснабжения завода с учетом перспективы его развития на тридцать лет, — продолжал Мозжухин. — К сожалению, у нашего проекта есть не только поклонники, причем с именами и званиями.

— Тридцать лет! — ужаснулась Наташа. — Вам будет семьдесят три, профессору Пахомову — восемьдесят шесть... Какая перспек-

тива! И все эти годы Куренная, мать девятерых детей, будет ковырять отбойным молотком слежавшуюся соль!

Мозжухину стало неудобно, словно бы его уличили в чем-то непристойном.

— Сегодняшний день с его неумолимым «надо» порою уж очень ловко обглаживает наше будущее. Прохор Николаевич считает, и не без основания: для того чтобы Минчермет и Госплан, а на заводе — главный инженер Оборощин, решились на революционные преобразования в водоснабжении ДМЗ, необходимость должна всех схватить за горло. Выходит, чем хуже, тем лучше!

— Ваш профессор Пахомов — холодный, бездушный чинуша! — выпалила Наташа и почувствовала, как всю ее от возмущения наливает жаром. — Нет — каков! Чем хуже — тем лучше! Для кого? Для моей школьной подруги Веры Уваровой, которая недавно вышла замуж, и ей бы детей рожать, а она женские болячки зарабатывает, кайлуя «пик имени тети Фроси»!

Мозжухин примирительно дотронулся до Наташиного локтя.

— Сейчас в вас говорит потрясенный пережитым человек. Профессор Пахомов рассуждает как инженер, поставленный в жесткие рамки необходимости.

— А судьба Веры Уваровой и есть самая злая необходимость. Почему с нею не считается ваш профессор Пахомов?

Мозжухин вздохнул.

— Жизнь сложена из парадоксов, — в раздумье произнес он. — Еще больше в ней неразрешимых противоречий. Вот вам анекдотический пример: «Титаник» потерпел крушение. Вместе с вами в беде оказались близкие люди: муж, отец, сын. Кого вы будете спасать? Но только одного! Двое должны погибнуть. И вы это знаете.

— Я не выпущу «Титаник» в рейс!

— У отцов — мудрость, которая приходит через ошибки... У молодежи — вот эта бескомпромиссная вера в будущее... «Не выпущу «Титаник» в рейс» — простейшее техническое решение сложнейшей морально-нравственной проблемы... Но жизнь все-таки выпустила его. И на пути — айсберг. Так что готовьтесь, Наталья Прохоровна, кого-то спасать.

— «Гидросоль»! — категорически потребовала она. — Немедленно! А новейшая схема профессора Пахомова вместе с замкнутым циклом — уж когда на то будет воля Божья.

Мозжухин глянул на часы и спохватился:

— Так, чего доброго, георгины завянут, и я не сумею выполнить секретного поручения Прохора Николаевича! А к поднятой вами теме, Наталья Прохоровна, мы еще вернемся, — предложил Виталий Никифорович перемирие.

Наташа приняла его с явным неудовольствием: она вся кипела.

* * *

Мама Нина была приятно удивлена, увидев дочь в сопровождении Виталия Никифоровича. Вручая маме Нине цветы, Виталий Никифорович сказал:

— Мне всегда казалось, что в георгинах живет затаенная грусть, навеянная необходимостью сказать золотой поре «до свидания».

— Виталий Никифорович, — восхитилась равнодушная к цветам мама Нина, — вы поэт. Такие великолепные цветы!

Виталий Никифорович был предупредителен и мил, как всегда. Он необычайно щедро расточал хозяйке комплименты.

— Нина Ивановна, вы сегодня удивительно обаятельны. И Прохор Николаевич многим рискует! Кстати, его еще нет? Позвонил с завода: «Иди к нам и предупреди Нину Прохоровну...»

Мама Нина всполошилась: «Гости!» Не любила она, когда ее заставляли врасплох.

— С кем его прикажете ждать?

— Подозреваю, что приведет Оборوشина, чтобы растерзать его в укромном месте и без лишних свидетелей.

— Профессор Пахомов — в своем репертуаре! — возмущалась мама Нина. — Хоть бы обмолвился: дескать, будут люди. И почему позвонил вам, а не мне? Знал, что отчитаю!

— Нина Ивановна! — не без улыбки в голосе воскликнул Мозжухин. — Ну разве Григорий Григорьевич Оборوشин «людь»? Архисупостат! Квазиретроград! И вообще, бяка и антихрист. С превеликим удовольствием передаю вам пожелания Прохора Николаевича

ча: никаких деликатесов и лакомств. Ломоть хлеба, луковица, картошка в мундире и водка.

— Виталий Никифорович, — игриво предупредила Нина Ивановна, — Григорий Григорьевич — мой давний поклонник и... близкий друг, с которым Прохор Николаевич ездит на рыбалку.

— Профессор действительно ловит карасей, а Григорий Григорьевич их половинит. Он все в жизни половинит! Но??? — Мозжухин приложил к тонко очерченным губам длинный палец, словно бы запирали их на вертикальную задвижку. — Боясь навлечь на себя ваш гнев, умолкаю. Однако??? Разрешите остаться при своем скромном мнении.

Нина Ивановна погрозила Мозжухину пальчиком: «Проказник! Шалунишка!»

— Разрешаю.

Она была в хорошем настроении.

Мама Нина затеяла кухонные хлопоты, а Виталий Никифорович взялся ей помогать. Наташа прошла в свою комнату. Заперлась. Надо было бы еще в прихожей сменить туфли на тапочки и оставить на вешалке куртку. Но не было в ней... какого-то стержня, что ли? На пороге стряхнула с ног туфлишки. Бросила все это на пол возле кровати, что по законам пахомовского дома считалось тяжким преступлением, и плюхнулась в постель, уткнувшись носом в подушку. Думать уже не могла и не хотела, все вытеснила промозглая пустота, как в старом, заплесневевшем от сырости скворечнике, который не заселяют даже вездесущие воробьи.

* * *

— Наверно, дремала... — как-то неожиданно, вспугнув что-то в ней, забасил в прихожей отец.

Она оделась и вышла, мучимая чувством тоскливого голода. Оказывается, вместе с отцом пришел — вот уж кого Наташа не чаяла увидеть в их доме! — длинный и хрусткий, как пересохшее удилище из бамбука, начальник заводского БРИЗа — профессор Мобель. За ним следовал маленький смуглый человечек, чем-то смахивающий на граченка-слетка, впервые выбравшегося из гнезда, Оборошин.

«Никакого «ахторитету» во внешности, — подшучивал порою Прохор Николаевич над другом. — Главный инженер завода-гиганта, который производит в год четыре с половиной миллиона тонн металла, весит... пятьдесят шесть килограммов!»

Переступив последним порог, отец запер входную дверь на ключ, лихо подбросил его в руке и сунул в карман:

— Ну, Гришенька, — сказал он Оборошину, — уж теперь-то письмо на имя министра ты подпишешь! Это я ручаюсь тебе одним молодым свежим трупом!

Оборошин тряхнул лобастой, курчавой на загривке седой головой — как это она удержалась на маленьких, худеньких плечах и не скатилась!

— Нет уж, уважаемый Прохор Николаевич, умру, замученный врагами, но не посрамлю отечественной металлургии, не позволю распахать завод словно кукурузное поле. Стране нужен металл.

Прохор Николаевич рассердился. Насупил густые — галкам бы гнезда в таких зарослях мастерить — брови.

— Это про какой металл ведешь речь, главный инженер? Про те шестьсот тысяч тонн, которые ДМЗ недодал стране за три квартала? До конца года добавим к рекордному долгу еще двести тысяч. На следующий год запланируем миллион! А к концу пятилетки?

— И все это, само собою, потому что осуществление гениального проекта доктора технических наук Пахомова «Замкнутый водный цикл» отложено до пуска стана «3200».

— Главному инженеру, конечно, хотелось бы свои недодумки прикрыть объективными причинами: затухают Криворожский бассейн и угольный Донбасс, нет былой щедрости у Курской аномалии, поэтому не хватает руды и кокса, а еще труднее с рабочими кадрами: чертова война до сих пор дает о себе знать.

— И все-то наш профессор знает! — язвил Оборошин. — Ну просто талант выворачивать жизнь наизнанку и замазывать черным все цвета радуги.

Сарказм вывел Пахомова из себя. Он готов был схватить обидчика за грудки и вытрясти из него душу, словно деревенский верзилатихоня, оскорбленный в лучших своих чувствах.

— Ты — Гришка Распутин в металлургии! А как расправилась Россия с твоим тезкой? Его отравили, словно крысу, потом расстреляли, как кабана на охоте, затем сбросили в прорубь, будто последнее дерьмо. А когда подох, лежа в царицынской часовенке, сожгли привселюдно на площади.

— Прохор Николаевич! — взмолилась мама Нина. — Григорий Григорьевич! Вы забыли девиз этого дома: «Да оставит мысли о службе всяк сюда входящий». К столу! Прошу к столу!

— Да-а... — протянул задумчиво профессор Мобель. — У меня, друзья-коллеги, сложилось впечатление, что исторические параллели получили уж слишком эмоциональную окраску. А вообще... Нет-нет, — поднял он суховатый, перехваченный скрипучими суставами палец, по всему, любимый жест Христофора Павловича, который должен придавать его словам особую значимость, — я не настаиваю на безусловности своего мнения... Но вы спорите, как два древних философа: «Каша с маслом лучше», «Ничего подобного! Каша без масла — хуже!» А если откровенно, то лет через пятнадцать...

Оборошин взмолился:

— Христофор Павлович! Милый вы мой учитель! Есть такое понятие: план. И сегодня! И завтра! И каждый день! И каждый месяц! И каждый год! Нельзя! — ударил Оборощин себя в грудь небольшим кулачком. — И вы это знаете не хуже меня! Нельзя на действующем предприятии без остановки производства вести генеральную реконструкцию всех подземных коммуникаций, которые складывались в течение века! Четыре с половиной миллиона тонн! Кто позволит на три года остановить завод? Это сто тысяч современных машин или сто километров железнодорожных путей. Столько стали имела четверть века тому вся Япония.

Оборошин был непоколебим в своей убежденности. Но именно это тугодумие и выводило из себя Прохора Николаевича.

— Ты что, журналистам интервью даешь? Или оформляешь документы на звание Героя Соцтруда?.. Япония четверть века тому! А в прошлом году она произвела восемьдесят процентов конверторным способом и еще семнадцать процентов электроплавлением. А купив у нас патент на твою, уважаемый лауреат Государственной премии, — ткнул профессор Пахомов могучим пальцем в мальчи-

шечью грудь главного инженера завода, и повторил: — Твою! Установку непрерывной разливки стали, эти хитрые японцы за восемь лет на четыре пятых сократили энергетические расходы на производство тонны стали. А сколько стоит тонна проката на ДМЗ? Ты же страну по миру пускаешь! Перепахать это старье, доставшееся нам в наследство от царя-батюшки.

Вначале Наташа к этому разговору не очень-то и прислушивалась: отец с Оборозиным — вечные «друзья-враги», но присутствие знаменитого профессора Мобеля, который впервые пожаловал к ним в гости, придавало спору особую значимость. Наташа почувствовала, что все это как-то связано с нею, с ее сегодняшней тревогой... Она еще не могла определить, на чьей стороне ее симпатии (навалились трое на одного, а она всегда была на стороне «меньшинства», которое «терпит» от «большинства»). Но что-то в доводах Оборози-на ее явно не устраивало, она его в чем-то обвиняла...

В конце концов, он же главный инженер завода! Он занимается перспективой, отвечает за нее. А уж какова «перспектива» химводоочистки в нынешнем ее состоянии, практикантка Наталья Пахомова убедилась на личном опыте!

Мама Нина встала между мужем и Оборозиным.

— Именем хозяйки я требую прекратить эти раздоры. За стол!

— Конечно, за стол! — согласился с нею профессор Мобель. Он выгнулся дугой — такую бы кореннику в медвежью тройку! — и поцеловал маленькую руку Нины Ивановны. — Между нами, мальчиками, коллега, — обратился он к Прохору Николаевичу, — Японии подняться на современный уровень помогла... война. Она уничтожила все старье, и японцы, как и немцы, начали почти с нуля, заложив в основу самую современную технологию.

— Ну что за несносные мужчины пошли! — вышла из себя Нина Ивановна, всплеснув руками. — Христофор Павлович, вот от вас уж я этого совершенно не ожидала.

— Нина Ивановна, простите великодушно! — профессор Мобель чуть шелкнул каблуками, как юнкер перед первой фрейлиной царского двора и наклонил великолепную седую голову в знак покаяния. — Все свои слова в адрес Японии беру назад.

Казалось бы, перемирие заключено. Оборощин протянул хозяйке авоську, набитую пунцовой, как щеки девчонки, прибежавшей с катка, редиской в пучках, зеленым, словно малахит из бажовских сказок, укропом, калиброванными помидорами и длинными китайскими огурцами.

— На пробу — первый осенний урожай заводских теплиц. Для поддержания жизненного тонуса консультанта Минчермета по проблемам водоснабжения.

— За стол! — басил Прохор Николаевич, делая вид, что ядовитая реплика Оборощина его не касается. Он подхватил гостя-кроху под руку, прижал его локоть к своему боку и не повел — понес за собою в кабинет. — За обеденный, Григорий свет Григорьевич, нам еще рановато, вначале — за письменный. — Он повернул кресло, которое юрко крутнулось на своей единственной ноге, втиснул в него, словно кнопку в податливую стенку, Оборощина и, не позволяя шевельнуться, раскрыл перед ним папку. — Здесь, Гришенька! Здесь!

Тот сделал было попытку подняться, но уперся в неподатливую мощь Прохора Николаевича.

— Документ, подписанный под дулом пистолета, не имеет юридической силы. Нина Ивановна! Христофор Павлович, будьте свидетелями.

— Гришуня, профессор Мобель знаменит не столько своими книгами, сколько учениками... — разъяснил Христофор Павлович. — Вот вы трое: ты, Прохор и Виталий, — он каждому отвесил полупоклон, — были моими любимцами. Вы выросли, поднялись выше своего учителя... И мне сейчас каждый из вас отстаивает государственные интересы.

— Кар-раул! Предали! — хрипловато, с надрывом прошептал Оборощин, нарочито хлопая глазами.

— Григорий Григорьевич, тут нет ваших союзников, — предупредил молчавший до этого Мозжухин. — Вам остается одно — подписать! Как инженер вы прекрасно понимаете, что другого выхода нет.

В это время Оборощин перехватил сочувственный взгляд Наташи. Она была не согласна с насилием: против маленького, смахивающего на подростка Оборощина — вот такой гора-человек, как отец;

нежный в иной обстановке, болезненно шепетильный умница Мозжухин и даже сам знаменитый профессор Мобель! Она готова была прийти на помощь слабому.

Оборошин это понял и воскликнул:

— Наталья Прохоровна, банда трех требует, чтобы я подписал смертный приговор вашей идее воскресить «гидросоль», о которой мне сегодня доложил Руфимов.

Наступила немая пауза, как в последней сцене «Ревизора», когда столичный жандарм оповестил размечтавшихся о вольготной жизни аристократов из уездного городишки: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе». Прохор Николаевич, забыв об Оборوشине, повернулся к дочери:

— Ты и «гидросоль»! О чем ведет речь этот провокатор?

— По всей вероятности, — чеканя слова, пояснила она неприятным голосом, — Григорий Григорьевич имел в виду мой будущий дипломный проект «Мокрое содержание соли как один из способов повышения производительности труда в отделении химводоочистки ДМЗ».

— Да ведь это Тришкин способ починки верхней мужской одежды! — воскликнул отец. — От полы отрезали, к воротнику дотачали! Не «гидросоль» восстанавливать, а на принципиально новой, научно-технической основе решать проблему водоснабжения! Тебя, дочь моя, втавили в дохлое дело! И только для того, чтобы противопоставить отцу.

Мысль Наташи работала четко и остро.

— Один вопрос: если Григорий Григорьевич сейчас подпишет письмо, когда «замкнутый цикл» вступит в строй?

— Через семь лет — это в самом идеальном варианте, — ответил не без ехидства Оборوشин за профессора Пахомова.

Наташа перевела взгляд на Мозжухина, она верила в его объективность и, следовательно, в порядочность. Виталий Никифорович утвердительно кивнул: «Не раньше».

Хлестнула по сердцу обида.

— Уважаемый профессор Пахомов, — ядовито-вежливо обратилась она к отцу, — и вы, Виталий Никифорович... Христофор Павлович, может, и вы. Для проникновения в дух темы. Всего на

три дня подмените тетю Фросю и Веру Уварову на химводоочистке... И если вы после этого повторите свой знаменитый лозунг — «Чем хуже для разнорабочей тети Фроси, тем лучше для профессора Пахомова», — то я признаю вашу правоту.

— Bravo, Наталья Прохоровна, bravo! — Оборощин захлопал в ладоши. — Руфимов не ошибся, давая вам характеристику, когда просил меня поддерживать вас. Учите этих профессоров, оторвавшихся от матушки-земли.

Наташа с внутренним недоумением взглянула на Оборощина. Сидит в кресле гном с роскошной гривой берберовского льва, хлопает в ладоши и кричит театрально чужое слово «bravo». Резковато-грубоватый, не очень-то воздержанный на язык отец сказал бы: «Подначивает». Она так и восприняла это оборощинское «bravo».

— А сколько лет вы, Григорий Григорьевич, работаете главным инженером? — вдруг спросила она.

Оборощин серыми глазами — женская погибель — хлоп-хлоп! Уж столь мгновенно и неожиданно переменялось настроение Наташи, к помощи которой он только что взывал.

— Через месяц исполнится пятнадцать, — подсказал услужливо Христофор Павлович.

Наташа вспомнила слова злоки Лизаветы о начальстве...

— Вас бы, Григорий Григорьевич, вместе с женою... и сыном! — ядовито-вежливо сказала она. — Во время отпуска не на черноморский курорт, а на соль в химводоочистку! Ручаюсь, «гидросоль» внедрили бы лет десять тому, а может, и все двадцать.

Наступила вдруг тишина, хлипкая и тревожная, словно засада в камышах, которые слегка шевелит ветерок. Всем стало не по себе.

Профессор Мобель нашелся первым. Он шагнул к Наташе, медленно и значительно поклонился, отдавая дань особого уважения, затем поцеловал руку:

— Молодость тем и прекрасна, что не признает компромиссов, не умеет оглядываться в своем стремлении к цели... Но жизнь сделала из моих ретивых мальчишек профессоров и лауреатов, с тех пор они живут только глобальными идеями, и оказалась ваша тетя Фрося с ее лопатой вне их внимания. Любить человечество всегда

было проще и благороднее, чем что-то делать для конкретного человека. Истина старая, но все же истина.

— Да здравствует война, создающая условия для технического прогресса! Как в Японии, где практически вся сталь производится без тети Фроси, — язвила Наташа, которую заносило все больше и больше.

Профессор Мобель понимающе закивал головой.

— Япония воевала на чужой территории, ее города, кроме Хиросимы и Нагасаки, практически не пострадали. Затем Америка дала ей огромные займы. Мы же восстанавливали промышленность и после гражданской и после Отечественной, отказывая себе в последнем куске хлеба, продавая последнюю рубашку. И тетя Фрося с лопатой осталась от тех времен. Это не только история старшего поколения, но и ваша, молодых. А в ней ключ понимания проблем сегодняшнего дня и завтрашнего.

Проход Николаевич воспользовался наступившей паузой и вновь атаковал Оборощина:

— Ну что, Гришуня, ты за войну, создающую условия для технического прогресса, или за мирную основу для НТР? Подписывай, — сказал он многозначительно, вкладывая в миниатюрную руку Оборощина декоративный громоздкий фломастер, изображающий собою чудо отжившей техники — отбойный молоток. — Иначе я перестану давить на преподавателей, и твой оболтус в два счета вылетит из института.

— Тогда я сниму твою лабораторию с дотации, и ты больше не получишь ни метра труб, ни куска кабеля, не говоря уже о насосах и моторах. Ищи свое в Министерстве высшего образования.

— Я уговариваю тебя подписать документ, который через десять лет даст тебе звание Героя, — басил Проход Николаевич.

— Если я его подпишу, мне нечего будет делать эти десять лет на заводе.

— А не подпишешь, через пять лет снимут с работы и исключат из партии за подрыв экономики советского государства. Батенька ты мой, Григорий свет Григорьевич, после проблемы сохранения мира — не хлеб, а вода проблема номер два для человечества. Где есть вода, там есть хлеб и все остальное. Японии уже сейчас не хватает

четырёх миллиардов кубов воды — Днепра в половодье. И это невзирая на то, что значительный процент у них вовлечен в круговорот. А на твоём ДМЗ? Всего четырнадцать! Вернуть! Вернуть всю воду, которую используют промышленные предприятия. Не сделаем этого в ближайшую четверть века, цивилизация умрет от жажды.

Отец всего три недели тому вернулся из Японии, где принимал участие в международном симпозиуме по проблемам охраны окружающей среды, по его словам, блестяще выступил, поэтому был буквально начинен японскими впечатлениями и готов рассказывать и рассказывать о стране восходящего солнца, приводить примеры из ее жизни.

Оборошин тяжко, словно громада-голова старшего брата Черномора, когда Руслан пощекотал ей ноздри, вздохнул:

— Дай подумать до завтра...

— Это девичьи фокусы! Лишь бы смыться.

— Ну, после ужина! На голодный желудок я не соображаю. — Он сделал попытку встать с кресла.

— Сиди хоть до морковкиного заговенья, пока не превратишься в мумию фараона Рамзеса Первого. — Прохор Николаевич вернул Оборوشина на прежнее место.

— Смилуйся, о владыка, — валял дурака Оборошин, — не превращай в мумию Тутанхамона Тринадцатого. — И вдруг почти побазарному выругался: — Клещ! Удав! Тарантул! — И поставил на отведенном месте письма широкую размашистую подпись. Рожденная разудалым фломастером, она призывно чернела на белой фирменной финской бумаге.

— Гриша! Я всегда верил в твоё гениальное чутьё на перспективу! — Прохор Николаевич поцеловал Оборوشина в лоб, словно патриарх, благословляющий гражданина Минина на ратный подвиг. Захлопнул папку и весело, от души расхохотался: — Теперь, уважаемый товарищ главный, держитесь за землю! Об отпусках забудьте! О приятных снах — само собою! Ужо вытрясу из вас душу, — потряс он кулачищем, — перепашу это старое кладбище проржавевших до основания труб. — Он извлек Оборوشина из кресла, подхватил на руки, как жених невесту, которую надо перенести через канаву, залитую водой, и направился в гостиную, где был накрыт стол.

— Нина Ивановна, — басил он, — не хочешь иметь четыре трупa, умерших с голоду, мечи калачи из печи!

— Нина Ивановна, — пищал Оборошин, убаюканный в мощных объятиях профессора Пахомова, — если этот буреломный медведь, который намеревается отобрать у тридцати тысяч трудящихся покой, сон и премии, околеет, я возьму на себя все расходы по похоронам.

— Вхожу в пай! — смеялся довольный Прохор Николаевич.

После подзатынувшегося ужина Нина Ивановна предложила «подышать свежим воздухом». Прохор Николаевич предпочел бы сыграть партию в шахматы или просто посидеть дома, посмотреть телевизор. Но Нина Ивановна была начеку:

— Прохор Николаевич, тебе поправляться нельзя, помни о совете врачей!

Он притворно вздохнул:

— Ах, как мы не умеем беречь свое сердце!

У Наташи тоже не было желания куда-то идти, она сегодня надвигалась и надышалась авансом, на месяц вперед. Но Мозжухин начал ее уговаривать:

— Наталья Прохоровна, составьте нам компанию.

Наташа надела ставший привычным джинсовый костюм (отец привез из Японии), мама Нина запротестовала:

— Это мода омужичивания! Вот «За рубежом» писала — в Штатах зафиксирован особый вид аллергии — на грубую, неестественную твердость джинсовой материи.

— Штаты нам не указ, — пробасил Прохор Николаевич. — У них там и подштанники из джинсятины, а у нас — пока все в охотку.

Ему нравилась мальчишеская стройность дочери.

Наташа давно уже не прислушивалась к советам мамы Нины, особенно в сфере эстетики: у каждой было свое четкое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Вечер был довольно свежим. Он жил тонкими запахами подкрашенной осени. Пушкинский бульвар в этот довольно поздний для рабочего Донца час выглядел пустынным. Оборошин и профессор Мобель, утомленные затянувшимся вечером, распрощались с дамами, пожелали мужчинам ни пуха ни пера, ни волос ни шерсти и покинули компанию.

После того как вышли из дому, табу Нины Ивановны на тему: институт, кафедра, кандидатские работы аспирантов, промышленная канализация — ее прошлое, настоящее и будущее... потеряло магическую силу, и Прохор Николаевич забасил:

— Виталий свет Никифорович, батенька ты мой, мы преступно расточительны! В туалете — питьевая вода, в рукомойнике — питьевая, на орошении в шахте, на заводе — питьевая. Поливаем огороды — питьевой. А она в пять раз дороже технической.

Это давняя мечта профессора Пахомова: ввести строгий учет расхода воды, а в квартирах иметь два крана: питьевой и технический. История цивилизации — это история потребления воды.

Наташа с мамой Ниной шли в нескольких метрах сзади мужчин. И уже в одном этом для Нины Ивановны было нечто оскорбительное.

Миновали скамейку, на которой, обнявшись, сидела парочка. В этом большом сквере поздним осенним вечером им было уютно, они как ни в чем не бывало продолжали миловаться-целоваться, не обращая внимания на прохожих.

Нина Ивановна невольно замедлила шаг, изучающе посмотрела на влюбленных и ревниво сказала:

— Прохор Николаевич, мы вам не мешаем?

— Нет-нет, — отмахнулся тот, продолжая свой горячий монолог в защиту воды.

В это время они подошли к драмтеатру. Нина Ивановна глянула на афишу:

— Гастроли Киевской драмы. «Таня», знаменитый арбузовский спектакль. Не сходить ли нам?

Наташа видела, как при имени «Таня» невольно дернулся Мозжухин. Имя погибшей жены вернуло его к трагическим событиям.

Гастроли киевлян начинались четырнадцатого сентября, открывались они именно «Таней». Пятнадцатого шел другой спектакль.

— Четырнадцатого у меня научная библиотека, — отвергла Наташа предложение мамы Нины. — А пятнадцатого — вполне.

— «Металлурги», — фыркнула мама Нина.

— Современная тема, — парировала Наташа. — По семейному профилю Пахомовых.

— Я — за классику, — стояла на своем Нина Ивановна. — Там всегда в центре человек с его страстями, находками и потерями. А производственное собрание на сцене... Извините!

— Это — жизнь, — стояла на своем Наташа.

Мозжухин с благодарностью кивнул головой. А может, ей только так показалось? Но с этого момента у них с Виталием Никифоровичем, видимо, и установилась внутренняя связь, они без слов и даже взглядов начали понимать друг друга.

— Четырнадцатого в научной библиотеке — санитарный день, — вспомнил Прохор Николаевич, тем самым снимая все возражения дочери.

— Можно и «Таню», можно и «Металлургов», — сказал Мозжухин.

— Прощенька, билеты за тобой! — распорядилась не без кокетливого озорства Нина Ивановна.

У Прохора Николаевича появилось вдруг игривое настроение, он расшаркался перед женой на манер полового из провинциального трактира и сказал:— Разрешите-с передать вашу распоряжению Юрию Юрьевичу!

— Разрешаю! — величественно согласилась Нина Ивановна, превосходно понимавшая, что профессор Пахомов сам не будет выставлять очереди у театральной кассы, есть у него на такие случаи верный и надежный помощник, аспирант Смычок — парень удивительно пробивной.

— Проводим Виталия Никифоровича, — предложила мама Нина уже обычным спокойным тоном.

И Наташа поняла: «главное» для мамы Нины уже позади. А главное было — организовать культпоход в театр. «Ради этого она и затеяла экзотическую прогулку по бульварам ночного Донецка!»

«ВАША ЛЮБОВЬ ОСТАЕТСЯ СО МНОЮ...»

Мозжухин ушел, унес Наташины заботы и тревоги, душа обрела покой.

Настроение песенное. Живет в тебе игривый мотивчик, из тех, которые обычно напевает отец, оторвавшийся от рабочего стола в приподнятом настроении и желающий всем обитателям дома сказать: «А недурственно получается! Очень даже недурственно!»

Мотивчик начал обрастать словами:

*Ах черт возьми!
Трам-бам-були!
Трам-бам-були!
Трам-бам-були!*

Наташа вернулась в кухню, где сумерничали родители.

Сейчас она испытывала прилив жертвенной любви ко всему живому. Полуобняв отца со спины, положила перед ним на стол три кассеты: мол, выбирай сам — советская эстрада, зарубежная или Высоцкий.

— Люблю этого молодца за остроту чувств и смелость мысли. — Прохор Николаевич, ткнув сильным коротким пальцем в кассету, продекламировал:

*В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет, и в церкви все не так,
Все не так, как надо!*

— С удовольствием бы посмотрел, как он играет Гамлета.

В иное время мама Нина (считавшая Высоцкого босяком) непременно бы возразила: «Гамлет с гитарой, который поет пропитым голосом». Но она была в лирическом настроении.

— Мне кажется, Виталий Никифорович начинает обретать самого себя, — сказала она, поправляя на плечах шарф зеленого шелка — подарок мужа. — Все-таки как он любил свою Таню!

— Почему плюсквамперфект — давно прошедшее время? — не согласилась Наташа. — Он и сейчас ее любит.

— Как память, — подтвердила Нина Ивановна.

После похорон Мозжухиной она установила над Виталием Никифоровичем откровенную опеку: не позволяла ему пропускать «пятницы», которые регулярно проходили в доме Пахомовых. Она тормозила его на работе и дома, и сама, и через Прошеньку советовалась с его тещей Майей Дмитриевной по части меню и режима отдыха. Словом, Нина Ивановна не позволяла Мозжухину замкнуться в себе, остаться наедине с болью.

— Виталий Никифорович, — внушала она, — нельзя киснуть. Ваша диссертация по замкнутому водному циклу имеет большое практическое значение, ее ждут и в институте, и на заводе. И потом, учтите, мне обещано, что я буду первым читателем.

И вот постепенно к Мозжухину, чувствовавшему себя песчинкой в черной буре, вернулось ощущение, что он не одинок, что есть дом, где его ждут, где он нужен, — это дом Нины Ивановны.

Через год после семейной трагедии Виталий Никифорович робко сообщил:

— Осталось вычитать — и можно отдавать на машинку.

— Приносите. Синтаксис и пунктуация — за мной. Есть на примете и машинистка.

Мама Нина — великий прагматик, она убеждена, что всеми человеческими поступками руководит ее величество Необходимость. Так вот она сочла возможным и необходимым не только самым тщательнейшим образом вычитать мозжухинский фолиант, но и привести в порядок библиографический раздел диссертации. А штудировать триста пятьдесят страничек на тему «Сравнительная характеристика пермутирования и ионного обмена при подготовке технической воды, используемой в электросталеплавильных цехах Донецкого ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции металлургического завода имени В. И. Ленина» — это совершенно не одно и то же, что прочитать великолепный роман в стихах Василия Федорова о Дон Жуане, который поселился среди нас в советское время.

Как мама Нина воспринимала Мозжухина? Молодой (для доктора) ученый, весьма перспективный. Умница. Милый, душевный

человек, глубоко несчастный в личной жизни. Самый одаренный ученик профессора Пахомова.

С самолюбивой, вспыльчивой дочерью она на подобные темы не беседовала, инстинктивно чувствуя, что ее поймут неправильно. Нет-нет, мама Нина своих вкусов никому не навязывает. Но Виталий Никифорович — ее симпатия. Перспективный ученый... И, в конце концов, не век же его видеть грустным вдовцом; ушедшим от нас — светлая память, а живому — живое...

Но Наташа прекрасно понимала дальнюю цель забот мамы Нины о «самом талантливом ученике профессора Пахомова», понимала и, из чувства противоречия, отрицала, отказывая кому бы то ни было в праве на вмешательство в ее личную жизнь. Впрочем, по-настоящему «личной» у нее еще не было, хотя и шел двадцать третий.

Если откровенно, то... в этом плане Наташа против Виталия Никифоровича ничего не имела. Разница в годах? Все-таки двадцать лет! Но в ее глазах это был скорее положительный момент. Если верить статистике, в Донецке, городе промышленном, в течение первых двух лет распадается пятьдесят два процента браков. Все от несерьезности, от легкости в мыслях и чувствах. «Ах-ах, любовь до гроба! Жить без нее (без него) не могу». А всей-то любви — килограмм эротического влечения, полкило любопытства, усиленного данью своеобразной моде. «Мы, как все...». Через год-второй, глядишь, такая любовь и полиняла. Семья — это прежде всего обязанности, это огромная ответственность, которую двое взвалили на свои плечи. Семью надо содержать, так что лишнюю бутылочку «биомицина» — белого крепкого — с друзьями уж не выпьешь. Да и анархической свободе кузнечика-попрыгунчика (сегодня — с Таней, завтра — с Ньюсей) приходит конец. Жилищное неустройство, вечные денежные затруднения и... любовное вино превращается в уксус.

Мама Нина моложе своего Прошеньки на двенадцать лет и считает, что это своеобразная фора, которую она сумела взять у семейной жизни. А вообще-то... В журнале «Наука и жизнь» писалось: чем больше возрастная разница между родителями (в пользу отца), тем больше шансов породить если не гения, то талант. У знаменитого китайского философа и мудреца Конфуция отец был старше матери на... шестьдесят лет.

Авторы статьи хотели, видимо, с помощью статистики и аналогий сказать, что гений — всегда мутант, этакий «счастливчик». Но дебилный — тоже мутант, только он — антипод гению, обременяющий собою близких и общество. К сожалению, история генеалогии не любит фиксировать такие случаи, поэтому нет возможности сравнивать амплитуду рождения в неравных браках гениев и дебилов.

Словом, шестьдесят — разница между влюбленными — звучит, мягко говоря, анекдотом, а лет пятнадцать — надежная гарантия прочности брака даже в эпоху НТР.

В мужчине Наташу прежде всего привлекали ум и житейская мудрость, ее влекло к себе мужество и обстоятельность во всем. У ее сверстников ничего подобного не было и быть не могло. Славка Бобренок, лучший из лучших, и тот в этом плане — сплошное недоразумение, мальчишечка! Разве что Свой Парень — Юра Смычок?

Наташа не аскет, не синий чулок, она — обыкновенная. Было у нее даже увлечение. Правда, как скоротечная чахотка. После третьего курса она со строительным студенческим отрядом возводила под Новосибирском в одном из колхозов животноводческий комплекс. Так вот Боб Евменов, институтский «поп-арт»... Он сочинял песни на свои собственные стихи:

*И девичьи груди,
И девичьи груди,
И девичьи груди, как шахты Донбасса,
Ласкаю! Ласкаю!
Ласкаю могучей рабочей рукой.*

Девчонки-студентки посмеивались над стихами, а ребята, озоруя, распевали такие песни под аккомпанемент евменовской гитары.

А как Боб целовался! Демон да и только! Но парень оказался лишенным чувства элементарной мужской порядочности, он любил рассказывать сказки (с деталями) о своих победах. Попытался он было включить в этот список и «водомерщицу», как он назвал Наташу. Довелось объяснять Бобу прилюдно, что есть и другие, с чувством собственного достоинства.

* * *

Виталия Никифоровича в институте любили. Студенты знали, что спецкурс легче сдать ему, чем профессору Пахомову. Он никогда ни на кого не повышал голоса. Всех сотрудников деканата, даже лаборантов, называл по имени-отчеству.

Наташа долго испытывала к нему сложное чувство любопытства и жалости, которое порою женщине заменяет любовь, вернее, она принимает их за любовь... Сожмет сердце, подкатит под горло слеза: «Несчастенький!» Захочется обогреть, приласкать, приголубить, утешить... Мозжухин казался ей человеком не от мира сего: какой-то уж слишком... несовременный, незащитный, словно бы прибыл к нам в двадцатый век рационализма и скоростей на любимом изобретении фантастов — машине времени из незабвенного прошлого, где сердцами и умами владела идиллия. А после того, как трагически оборвалась жизнь его жены и сына, несовместимость Виталия Никифоровича с бытием, сотканным, как учит диалектика, из сплошных противоречий, стала особенно наглядной и очевидной для всех.

Но... очевидность и убедила Наташу, что любопытство и жалость — это еще не любовь.

Тетя Фрося, когда судьба свела их в одной комнате заводского профилактория на берегу Азовского моря, растолковывала: «Вот если хочешь от него родить ребенка, значит, любишь». Но в Наташе, видимо, еще не созрела будущая мать. На редких женщин, проплывающих перекормленными уточками по улицам Донецка, она поглядывала с потаенной опаской, а разглядев на лице беременной коричневые пятна, невольно отворачивалась... словно бы увидела человека, которому невозможно помочь. Она пыталась представить, как в ней живет и растет человек, как бьется его сердце, как он беспокойно ворочается, заставляя ойкать при посторонних, и... ничего у нее не получалось... Может, не хватало фантазии?

Словом, когда рядом с Виталием Никифоровичем появлялась величественная красивая жена, Наташа еще воспринимала Мозжухина как мужчину, а после смерти Татьяны надо всем встала жалость. Она-то и заставила видеть Виталия Никифоровича в качестве всего

лишь любимого преподавателя и объекта особых забот и попечений мамы Нины. Ничего волнующего душу, ничего будоражащего фантазию, когда тебя окутывает теплой негой согретая твоим теплом постель, а сжатый темнотой мир кажется уютным гнездышком.

* * *

Восьмое сентября — день освобождения Донбасса, праздник. В этот день возлагают венки к подножию памятника Ленину на центральной площади, у памятника борцам за революцию, у Вечного огня, на братских могилах, траурно украсивших собою околицы сел и перекрестки дорог многострадального края.

Наташе — во вторую смену, следовательно, можно понежиться, подремать, пока мама Нина не пригласит завтракать. Тут уж мешкать не придется, иначе обидишь отца, который в этот день (и на девятое мая) надевает боевые регалии, заработанные разведчиком и десантником сержантом Пахомовым в годы Отечественной войны.

Глянула на часы — без четверти восемь...

И вдруг — звонок над дверями пропел свои два такта: «Широка страна моя родная».

«Кого же это принесло?» — подумала Наташа.

Мама Нина, хлопотавшая на кухне, была ближе всех к дверям, она их и открыла. А открыв и увидев раннего гостя, удивилась и ахнула:

— Виталий Никифорович! Какие розы! — И затараторила взволнованно: — Да вы проходите! Проходите! Завтракать будем.

Но Мозжухин, видимо, от завтрака отказался и раздеваться не стал. Он спросил:

— Наталья Прохоровна дома?

— Ну конечно! — ответила Нина Ивановна. — Просто по случаю праздника не спешит подниматься: ей во вторую смену. Натулечка! — позвала она громко, как только было прилично. — К нам гости!

Наташа вдруг заволновалась, заспешила. Метнулась к зеркалу, которое никогда в общем-то не баловала своим вниманием. «Господи! Чудище... Заспанная!» От зеркала — к шкафу: «Что надеть? Не в халате же...» Вновь к зеркалу: «Хотя бы причесаться...»

Принимая колючие веточки, на которых еще не распустились бутоны, она, может быть, впервые почувствовала, как это волнует и трогает, когда мужчина от чистого сердца дарит тебе цветы ранним утром.

Пришел день, светлый и радостный. Солнце широким лучом пробилось через запылившиеся за лето стекла двойных рам. Ласковое тепло прошло через все тело, поднялось к сердцу и согрело его томительным ожиданием чуда.

Мозжухин неловко поцеловал свободную, не занятую цветами руку Наташи.

— С праздником вас. Желаю солнечного настроения и... — он сделал паузу, будто ему не хватало воздуха, и уже совсем иным тоном, как-то глухо, закончил: — И долгих лет жизни.

Наташа поняла: произнося эти слова, Виталий Никифорович думал о своей Татьяне, так рано ушедшей из жизни. Ее охватила жалость. Не будь в двух шагах мамы Нины, она, наверно, привлекла бы рослого, ссутулившегося Мозжухина к себе и поцеловала в лоб. А может, и в губы. А если бы не поцеловала, обязательно бы погладила по голове или хотя бы убрала с правого уха длинную, жидкую прядку.

Серые глаза Мозжухина сотканы из тоски и грусти, которые отдавались в сердце Наташи тихой, щемящей болью.

Мозжухин собрался уходить:

— Извините...

Нина Ивановна запротестовала:

— Виталий Никифорович, угощу пирожками с капустой и мясом. У меня все готово.

— Нет, нет, благодарю...

Она не могла примириться: уходит такой внимательный, вежливый гость, который умеет по достоинству оценить все, что приготовят волшебные руки хозяйки.

— Прошенька! — Нина Ивановна застучала ладошкой в дверь ванной, за которой полчаса тому назад скрылся глава дома. — Виталий Никифорович уходит!

— Запри входную дверь и брось ключи мне сюда, — с обычной своей бесцеремонностью распорядился Прохор Николаевич.

Мозжухин глянул на Наташу, он молил не применять к нему насилия.

— Мама, Виталию Никифоровичу надо, — сказала она.

Мама Нина повздыхала, но удерживать гостя больше не стала.

Когда Мозжухин ушел, Нина Ивановна взяла у дочери цветы — надо же поставить в вазу — и поцеловала ее в щеку. При этом она ничего не сказала. Но эта восторженность девчонки-десятиклассницы, получившей аттестат, эти угольки в карих глазах сорокавосемилетней женщины...

— Мама! — возмутилась Наташа прозрачностью намека.

— Натулечка! Я мужчин знаю! — воскликнула мама Нина.

— А я и знать не хочу!

Но оказалось, что мама Нина тоже мужчин не знала, по крайней мере таких как Мозжухин. Она была убеждена, что не сегодня-завтра Виталий Никифорович нанесет еще один визит... Решающий. Она не могла позволить случаю вновь застать ее врасплох и приготовилась: пополнила запасы деликатесов, призвав в этом деле на помощь аспиранта Юрочку Смычка, который был великим магом по части «достать». Она обновила прическу, высидев у своей штатной парикмахерши Фриды Иосифовны. Мама Нина перестала дома надевать халат, отдала предпочтение платью-халату, в каком не стыдно было выйти в люди, в театр на вечерний спектакль.

Увы... Виталий Никифорович вел себя так, будто ничего не случилось. Потекли дни томительного ожидания. В конце недели Нина Ивановна, видимо, примирилась с мыслью, что в ближайшее время Мозжухин уже не придет просить у нее руки дочери. Она перестала обновлять по утрам прическу у Фриды Иосифовны, сменила платье на халат и однажды на ужин подала заготовленные деликатесы, которые не подлежали долгому хранению.

Но Наташа иного и не ждала... Она знала то, чего не могла знать мама Нина. Мозжухин забыл эпизод с розами. При встрече он относился к Наташе ровно и спокойно, разве что грусть в серых глазах становилась более глубокой, ощутимой. Славка Бобренюк, любитель цвето-технических сравнений, сказал бы: «инфракрасная грусть», то есть проникающая в чужое сердце без помех, изменяю-

шая привычное для нас представление об окружающем мире, когда зеленое поле выглядит белым, а голубая вода — черной.

И все-таки Наташе было чуточку обидно. А может быть, и не чуточку... Вольно или невольно, но в какой-то степени она поверила опыту мамы Нины. Позже, когда уже все встанет на свое место, она скажет самой себе: «Я ничего не хотела!» Да, не хотела... Но чего-то ждала, какой-то неожиданности, родственной чуду. Она волновалась по утрам, она прислушивалась к напеву дверного звонка, она старалась не задерживаться на заводе, хотя дел было по горло с этой чертовой «гидросолью».

Вот сказал бы Виталий Никифорович: «Наталья Прохоровна, я вас люблю и прошу вашей руки...» Он сказал бы именно эти слова, она была убеждена... Как бы она ответила? Ей, конечно, было бы приятно такое предложение, оно бы ей польстило. Но ответить: «Я тоже вас люблю» — она бы не смогла, так как это было бы неправдой. Она уважала Виталия Никифоровича, в какой-то мере благоговела перед ним, ее покоряла мозжухинская преданность погибшей жене... (Преданность мужчины даже другой женщине всегда возвышает его в твоих глазах.)

Но ни одно из этих чувств нельзя было определить словом «люблю». А без этого самого «люблю» другое, следующее за ним слово «да» (согласна), прозвучало бы искусственно.

«Стерпится — слюбится» — это не для Наташи. Во-первых, никакого «стерпится». Виталий Никифорович как человек в ее представлении стоял на самом высоком нравственном пьедестале. Но начинать самостоятельную жизнь с этого самого оптимизма — «слюбится» — не стоило. Это унизило бы их обоих. В общем-то Наташе наплевать было на все пересуды, но люди говорили бы: «Польстилась на положение и зарплату». А если бы она любила, как Мария Кочубей Мазепу, то есть преданно и бездумно, то сплетни кумушек ее не трогали бы. Сейчас — иное дело. Вот и выходило, что на предложение Мозжухина она могла ответить одно: «Дайте время подумать, свыкнуться с мыслью...» Но четких границ времени, необходимого для привыкания, установить не смогла бы... Возможно, что жизнь отодвинула бы эти границы в бесконечность. Есть и другая поговорка: «Что ни делается, все к лучшему».

Но так ли, эдак ли, Наташа постоянно думала о Мозжухине, вела с ним бесконечные споры. О чем? Да обо всем, но больше всего, пожалуй, о «гидросоли», не вписывающейся в проект двух докторов технических наук, вознамерившихся совершить техническую революцию в области водоснабжения металлургического предприятия с вековой историей.

* * *

Мама Нина всегда знала, чего она хочет, мама Нина всегда знала, каким путем надо идти к намеченной цели.

Но... Почему бы это? Наташа тогда впервые не осудила маму Нину за ее... предусмотрительность.

Четырнадцатого Наташа с Виталием Никифоровичем сидели в четвертом ряду, мама Нина с Прохором Николаевичем — в шестом. Наташа была убеждена, что в этом проявился не только перст судьбы, сколько мудрость мамы Нины.

Наташа, можно сказать, театр не любила, в Донецкий драматический ходила лишь по принуждению. Жила на сцене этого заведения зеленая скука, а скука, по убеждению мамы Нины, — самое талантливое проявление бездарности.

Как-то выступал по телевидению любимый киноактер мамы Нины Михаил Ульянов. («Как он играл Дмитрия в «Братьях Карамазовых»!) Известный актер был со слушателями предельно откровенен, чего в общем-то и ждут от выступающего телезрителя. Он говорил: «Мы живем в эпоху театрального бума. Времена, когда надо было зазывать в театры зрителей, миновали. А вот наше кино зрителя потеряло. На экране поселились скука и удивительное отсутствие мысли».

...Эпоха театрального бума... Это для столичных театров. А для Донецкого драматического (да и оперного)... Наташе невольно вспомнился анекдот: чем отличается журналист-оптимист от журналиста-пессимиста? Пессимист скажет: «Спектакль прошел при полупустом зале». Оптимист об этом напишет иначе: «Спектакль прошел при наполовину заполненном зале». Распространяют в институте театральные билеты профсоюз и комитет комсомола. Ну просто всу-

чивают их: «Что вы за комсомольцы, если не хотите расти духовно!» Берут билеты, а... в театр не ходят.

Говорят, Донецк не театральный город, вот в цирк не попадешь. Но почему в таком случае Донецк становится театральным, как только приезжает русская драма из Киева или любой московский театр? Мода на столичных артистов и на столичное искусство? Но мода на голом месте не рождается. И потом, ради моды можно посмотреть один-два спектакля, но не десяток.

Спектакль Наташу взволновал и растрогал. Почти до слез. А ситуация в общем-то рядовая, можно даже сказать, банальная, известная из жизни в сотнях вариантов. «Она любит Его. Но Он не оценил этого и... нашел себе другую».

А вот поди ж ты... И негодуешь, и плакать хочется, и даже готова рвануться на сцену, чтобы разбить, развенчать совершающуюся у тебя на глазах подлость.

Мозжухина все происходящее на сцене тоже полонило, он сидел в кресле, словно бы в какой-то будке, отгораживавшей его от брэнного мира. Наташу, сидевшую рядом, просто не замечал. И было в этой отрешенности Виталия Никифоровича нечто ледяное, от чего стыло девичье сердце.

Во время антракта они, наверно, остались бы на месте, но Нина Ивановна не позволила. Подошла сзади и, обняв их обоих за плечи, негромко, с интимом в голосе, сказала:

— По бокалу шампанского!

Прохор Николаевич ждал их в буфете, приготовив стол.

Виталий Никифорович был бледен. Все попытки Нины Ивановны втянуть его в разговор — «Ах, этот неотразимый Кострюченко!» — терпели поражения. Наташе показалось, что Мозжухин пребывал совершенно в ином мире, где не было ни этого многоголосого буфета, ни восторженной Нины Ивановны, ни самой Наташи...

Начался второй акт. Театр замер. Затаился и Мозжухин. Тревога, которую он безуспешно старался скрыть, разрасталась, углублялась с каждым событием, происходящим на сцене. И хотя они по-прежнему смотрели только на артистов (даже на общей территории — мягком, обтянутом велюром подлокотнике — не касались друг

друга), Наташа все равно чувствовала, что Виталий Никифорович удаляется от нее. Пропадает та внутренняя связь, которая установилась несколько дней назад.

В конце второго акта, когда героиня, встав над обидой, причиненной ей любимым, спасает его сына, рожденного в новом браке, Виталий Никифорович вдруг до боли стиснул руку Наташи, лежащую на подлокотнике. Через какое-то мгновение пальцы его ослабли, и он чужим голосом прошептал:

— Наталья Прохоровна, давайте уйдем.

Наташа шла по красной ковровой дорожке и чувствовала, как зал, обвиняя их в варварстве, провожает сердитыми взглядами.

Поджидая гардеробщицу и мелко постукивая номерками по дубовой полированной стойке, Виталий Никифорович виновато произнес:

— Не осуждайте меня... Таня, ребенок... Не могу свыкнуться с действительностью.

* * *

Натрудившийся за день город-рабочий отходил ко сну.

Дома, окаймлявшие размашистую площадь, казалось, на своих ладонях-крышах держали звезды. Неожиданно над городом разлилась заря. Тревожная. В полнеба. Багровые всполохи лизали окна высоких домов, беглой цепочкой окружавших широкую площадь, окрашивая их в цвет остывающего металла. На Донецком металлургическом выпустили шлак.

Взметнувшаяся ввысь трехгранным штыком стальная стела — вечный постовой рядом с монументом Владимиру Ильичу — вспыхнула живым факелом.

Наташа вспомнила, как несколько лет тому назад молодежь Донецка заложила в фундамент стелы капсулу с письмом-обращением к комсомольцам две тысячи семнадцатого года.

А еще раньше на месте стелы и монумента размещалась детская больница. Это было приплюснутое одноэтажное здание из сизого, как перекаленная сталь, кирпича, который имел не только стальной цвет, но и жизнелюбие и стойкость металла. Наташа слышала от матери, с какой беспомощностью колотил в метровые стены бывшей

земской больницы увесистой «грушей»-кистеном копровой кран, высекая из кирпича лишь искры. Но потом пришли саперы... Это случилось в год рождения Наташи, так что с нынешней площадью-красавицей они, можно сказать, ровесницы: она видела в городском музее фотографию той больницы — самого монументального здания времен батюшки-царя. Ей почему-то было жаль добротного дома: «Оставили бы для истории... Превратили бы в городской музей...»

«Детская больница... Врач Таня, спасающая мальчика...»

Наташа и Виталий Никифорович медленно брели по многолюдной в эту пору площади. Молчали. Наташа украдкой присматривалась к своему спутнику. На углу, когда они поворачивали к бульвару Пушкина, Виталий Никифорович хриповато, не обращаясь прямо к спутнице, произнес:

— Завтра — вторая годовщина...

И Наташа поняла, что он говорит о своей Тане: два года, как она погибла вместе с сыном.

Виталий Никифорович вновь замолчал, уже до самого дома. Перед входом в подъезд он взял Наташу за руку, просительно заглянул в глаза:

— Я завтра буду у Тани...

Она восприняла это как приглашение и кивнула: «Да-да!»

Наташа представила, как, расставшись с нею, он возвращается в большую опустевшую квартиру и, запершись в спальне, остается один на один со своими тяжелыми думами. Каждый предмет напоминает ему о той, которую он любил и любит.

— Если я заеду в четверть двенадцатого...

— Я со второй смены, так что буду дома. — Но если бы она работала в первую, все равно ждала бы его. Это было нужно не только ему, но прежде всего ей самой.

«...Цветы. Обязательно розы в бутонах».

* * *

На следующий день, ровно в 11.15 во дворе под балконом хлопнула дверца машины.

«Он».

Наташа слышала (или только угадывала), что Виталий Никифорович поднимается по лестнице. Она быстро надела плащ, взяла приготовленные цветы. Она не хотела, чтобы мама Нина видела ее в этот момент. Виталий Никифорович еще не успел переступить порог, как Наташа открыла дверь и тут же увела его вниз.

В машине они сидели рядом. Виталий Никифорович неотрывно смотрел на ее руки, сжимавшие букет цветов. «В конце сентября, в бутонах...» Наташа совершила маленький подвиг, чтобы добыть их... Ей казалось, что Виталий Никифорович понимает это... (Почему и смотрит пристально на букет.) А может, так только хочется ей, а в действительности Мозжухин занят своими думами?

Наташа была в каком-то полузабытье. Она перестала ощущать время, превратилась в сгусток нервов.

Кладбище. Решетчатые ворота заперты на замок. Люди проходят в калитку.

Возле самой калитки — лужа. Входящие и выходящие стараются перешагнуть ее, но не всем это удастся.

Вид кладбищенской лужи вернул Наташе ощущение реальности, и она перешагнула ее вслед за Виталием Никифоровичем. До этого Наташе казалось, что за железными воротами погоста царствует покой и забвение. Но при входе сидели «христарадничавшие» старухи. Им подавали конфеты и гривенники. Они деловито, сноровисто прятали конфеты в сумки, а гривенники — в кошельки.

Кладбищенские кликуши хорошо знали Виталия Никифоровича. При его появлении оживились, закивали головами в траурных платках, которые выглядели на них как спецодежда. Он каждой выдал мзду.

Шли долго по аллее. На обочине лежали старые венки, которые выгребли из могильных оград. Сновали по очень узким тропкам люди, одетые в старые плащи и заскорузлые от впитавшегося масла фуфайки, заботливые красили на осень оградки. Никакого горя на лицах; деловые, озабоченные, эти родственники пришли сюда не скорбеть об усопших, а потрудиться во славу живых. С таким настроением выходят студенты на субботник, чтобы порадоваться приходу весны, первому теплomu дню, а заодно очистить скверы, бульвары, газоны от бумажек, жухлой травы, окурков и прочего

городского мусора, накопившегося за долгую зиму... Рабочая обстановка, царившая на кладбище, казалась Наташе... ну если не кошунством, то все равно какой-то неуместной, не приличествующей обстоятельствам и месту.

У Пахомовых в здешних местах родных могил пока не было, так что причина посещать кладбище отсутствовала. В деревне, где на погосте спала вечным сном бабушка Пелагея Зиновьевна, Наташа была давно. Летом сельское кладбище, смахивающее на запущенный парк, а стрекотанием кузнечиков и пением птиц вызывающее чувство уюта, выглядело незыблемым уголком девственного мира. Городское кладбище было людным, суетным, своеобразным продолжением миллионного города. Никакой таинственности оно не хранило, никаких таинств здесь не совершалось: все деловое, обычное, неизбежное, нужное живым.

Наташу поразил внешний вид Таниной могилы. Она казалась приветливой и откровенной. Рядом были могилы с высокими металлическими заборами. Калитки снаружи запирались на замки и даже на болты с гайками, словно живые опасались, что усопшие однажды воскреснут и явятся за тем, что они оставили на земле. Были могилы, забранные глухими решетками. Они походили на птичьи клетки. А эта — вся на виду.

Оградка — ребенку переступить. Дорожка из гравия.

Плита черного гранита:

«Татьяна Нестеровна Мозжухина.

Никифор.

Ваша любовь остается со мною».

Как клятва верности под этими словами на черный гранит легли четыре гвоздики: две красные, две белые — две страстные, две нежные...

«Человек умер в момент своего появления на белом свете. Нелепо. Противоестественно».

— Здравствуй, Танюша, — задушевно и просто сказал Виталий Никифорович.

Это старинная славянская форма обращения на кладбище к усопшему. Но сказанное Виталием Никифоровичем Наташу придало. Она вдруг поверила, что для высокого сутуловатого человека,

задумчиво стоявшего над могилой жены и сына, это не было простым соблюдением обычая предков. Он действительно поздоровался с близкими, которых давно не видел, по которым соскучился.

Наташа держала в руках букет нераспустившихся роз, не в силах заставить себя сделать три шага, чтобы положить цветы. Она была здесь лишняя, случайный человек, узнавший чужую тайну.

Возвращались — молчали. Собственно говоря, ни он, ни она не произнесли ни слова с тех пор, как Виталий Никифорович в 11.15 подъехал к дому Пахомовых. Между ними вновь установилась телепатическая связь, они вновь не нуждались в словах.

Машина, которая их привезла, остановилась возле узорчатой, сплетенной из толстой проволоки калитки. Мозжухин открыл дверцу перед спутницей, помог выйти, сказал:

— Спасибо, — и поцеловал руку.

Но какое-то время не отпускал ее. Наташа сама высвободила. Она его не приглашала к себе, понимая, что он в мыслях все еще там, на кладбище, возле плиты черного мрамора, на которой выбито: «Ваша любовь остается со мною».

В нем, видимо, родилось чувство неосознанной вины, он понимал, что должен что-то сказать своей спутнице, но подходящих случаю банальных слов говорить не хотел, а других у него не было и быть не могло в тот момент. Он еще раз поцеловал Наташину руку и еще раз сказал:

— Спасибо.

— Идите, — отпустила его Наташа. — Не мучайте себя. Но знайте, в этом доме, — кивнула она в сторону калитки, — живет ваш друг.

— Спасибо, — поблагодарил он.

Машина умчалась. Наташа осталась на тротуаре. Возвращаться домой не хотелось. Ей надо было еще и еще раз пережить пережитое. И она отправилась на смену в свой беспокойный цех.

Вернулась уже после двенадцати ночи.

Мама Нина заждалась. С той поры, как дочь ушла с Мозжухиным из театра, маму Нину мучило любопытство, замешанное на тревоге. Она знала, что дочь ни свет ни заря ходила на рынок, принесла розы в бутонах — такая редкость в конце сентября. И было во всем этом нечто непонятное искушенной в житейских делах Нине Ивановне.

«Она ему припасла цветы. А в наше время было все наоборот». В 11.15 приехал Виталий Никифорович. Наташа вместе с ним стремительно исчезла из дому. У Нины Ивановны мелькнула мысль: «Уж не в ЗАГС ли?»

Она позвонила Прошеньке на кафедру и, не объясняя истинной причины, попросила, чтобы он «сегодня не задерживался».

Он явился после четырех. Она заждалась, исстрадалась за день от неизвестности, но ругать его не стала, не стала портить настроение себе и ему.

Так они и сидели в неведении до позднего вечера, даже не обедали, все ждали, что вот-вот появится дочка с Мозжухиным.

Наташа вернулась за полночь. Одна. Осовевшая, притихшая, будто с похорон близкого человека.

Мама Нина ни о чем не спрашивала, начала молча припасать на стол. Помалкивал и отец, понимавший, что случилось нечто из ряда вон выходящее.

В ответ на немой вопрос мамы Нины Наташа пояснила:

— Он любит другую.

— Он что тебе об этом сказал? — лицо мамы Нины покрылось малиновыми пятнами.

— Нет... Но я видела... своими глазами.

— ?

— Его жена Таня...

— Но она умерла!

— Сегодня — вторая годовщина, и он пригласил меня на кладбище.

Нина Ивановна с облегчением вздохнула:

— Человек, умеющий преданно любить, — такая редкость в наш век.

— Он всю жизнь будет любить только ее.

— Как умершую. Что же тут естественного? А тебя, не менее преданно, как живую.

— Нет, мама... Таня для него не умерла. И никогда не умрет.

СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР

Сентябрь в тот год оказался месяцем сюрпризов. Первая половина была удивительно теплой: температура воздуха до тридцати градусов, вода в Азовском море, как утверждало местное радио, двадцать четыре. А двадцать седьмого — мороз девять градусов. И предупреждало метеобюро, да как-то не верилось: циклоны — антициклоны... Одни уходят, другие приходят... И было ясно, что по вине этих «распоясавшихся в небесах хулиганов» синоптики снимают с себя всякую ответственность за свои прогнозы.

Наступила очередная эпоха повального гриппа: больницы переполнены, кондукторы, продавцы и прочие официальные лица — в марлевых масках, спрос на горчичники — как на червонное золото в зубопротезных поликлиниках. Словом, невообразимое! Воды в домашнем водопроводе почти нет, едва капает, газ в конфорке едва теплится. В доме Пахомовых — аврал: Нина Ивановна переворошила шкафы, извлекая зимнее. В ход пошли шубы, шапки, шарфы, сапоги.

За три морозных дня новоявленная зима успела всем осточертеть. Когда пошли дожди и вновь потеплело (до пятнадцати градусов), Наташа с удовольствием сменила тяжелое пальто на куртку, затем куртку на плащ, хотя ради этого ей довелось выдержать затяжную войну с мамой Ниной.

Город ожил. Но розы поникли, мороз обил их. В поле пропали помидоры, последние огурцы. Мороз прихватил свеклу, морковь, капусту. Облисполком мобилизовал на уборку, увы, с запозданием, всех, без кого в те дни мог как-то обойтись Донецк: смычка города и села пришла в действие.

В магазинах — бери не хочу — бурые помидоры с почерневшими боками, матово поблескивающая зеленым, примороженным, пускающим слезу листом капуста. Запасливые хозяйки, принимавшие участие в уборке овощей, везли эту капусту домой сетками и мешками, видимо, им в порядке оплаты за работу выписывали ее по себестоимости.

«На солку — годна. Надо только в воде подержать, пусть отойдет».
Нина Ивановна стонала:

— Теперь в магазинах ничего порядочного не возьмешь, сплошная гниль, а на базаре частник уж не упустит своего.

Прохор Николаевич, как всегда в подобных случаях, сердился:

— Надо держать собственный огород, а мы от дачи с виноградником и то отказались, заявив, что лучше три раза к маникюрше, чем один раз в сад на свежий воздух, — ворчал он. — А имей профессор Пахомов с супружницей и с «чадицей» соток пять земли в собственном владении, как бы сейчас на всеобщей беде заработал!

— Тебе бы, Прохор Николаевич, волю, ввел бы ты для женщин обязательную трудовую повинность, — не без сарказма заметила Нина Ивановна.

— Для домохозяек, — уточнил он, — особенно именитых, как при военном коммунизме для буржуев. Во имя сохранения фигуры мы совершаем подвиги, которым могут позавидовать космонавты: мы готовы всю жизнь питаться кузнечиками или ежедневно восходить на вершину Арарата. А стоит взять в руки лопату, и у профессорской жены за одно лето решатся все проблемы по сохранению спортивной формы, тонуса и вкуса к жизни. А еще удивляемся! «На базаре втридорога». Я бы на месте частника до неба поднял цены, может, тогда к горожанам, как в годы войны, вернулась бы любовь к земле.

Мама Нина в такие моменты умолкала, зная, что возражать Прошеньке бесполезно. Он, выросший в деревне, сел на любимого конька: взаимоотношение города и села.

* * *

И в то же время трехдневные заморозки явились своеобразным обновлением: городские газоны неожиданно «помолодели», трава стала изумрудной, клены начали быстро одеваться золотом и тихо, торжественно сбрасывали широкую, разлапистую листву на тротуары и скверы. «Золото» собирали в последние осенние букеты прохожие, все — от мала до велика.

Наташа по пути на завод набрала в сквере букетик из пяти листьев. В такую лирическую пору она напрочь отвергала троллейбусы и трамваи как средство передвижения.

Едва за проходной Наташа повернула в сторону цеха, сразу попала в расколесованное болото. Натаскали «КРАЗы» и «МАЗы» со стройки стана глины, размесили ее на асфальте.

Стоит Наташа, как витязь на перепутье. Окликает ее Кедрач:

— Наталья Прохоровна, давайте вернемся к проходной, оттуда по шпалам.

«И в самом деле...»

Она — по рельсу, он — рядом. Как школьники. Объявился в Наташе хулиганистый мальчишка. Хочется выкинуть что-то озорное, такое, чтобы обратить на себя внимание всего света. С высокой крыши спрыгнуть, что ли... или остановить идущий навстречу маневровый паровоз, упершись в его стальной лоб руками.

Это погожий день виноват в игривом настроении. Солнце — ласковое, теплыми руками по лицу гладит и нашептывает непонятные слова на своем языке, которые заставляют сердце замирать в предчувствии чего-то хорошего, желанного.

Бежит Наташа по рельсу. Колыхнет ее — тут же появляется надежная опора — широкая ладонь. Наташа прекрасно понимает, что Глеб чутко караулит момент, когда ее шатнет на рельсе. И ей нравится играть — «Ой, упаду» — с этим уравновешенным, не очень-то разговорчивым человеком.

Есть в Глебе Кедраче... отцовское начало, что ли? Нечто вызывающее доверие. Это чувство родилось у Наташи после их совместного спуска в «преисподнюю».

* * *

Шестьсот кубов — это много или мало? В эпоху космических масштабов, сверхзвуковых скоростей, когда в ходу звучные миллиарды и триллионы...

Словом, в наше время дырка в земле глубиной двенадцать метров не поражает грандиозностью. И даже если увидишь собственными глазами цифры 7x7x12, и то останешься равнодушным к факту. Надо самому спуститься на дно железобетонной посуды, надо надышаться до одури кислотовато-затхлым воздухом, надо сомлеть от страха перед темнотой и неизвестностью, чтобы почувствовать (и уверовать), что ты угодил в тартарары, в гости к самому сатане.

Когда строительство «гидросоли» законсервировали, резервуары по требованию хозяйственного Руфимова накрыли специальными железобетонными плитами, в которых оставили люки.

Тетя Фрося легко отвернула в сторону двухпудовую заслонку.

Глеб засветил шахтерскую лампу, и Наташа заглянула вниз.

«Ух ты!» Пахнуло холодом и... чем-то специфическим, кисловатым, вроде бы в лесу разворотили огромную муравьиную кучу.

Глеб шутливо перекрестился и начал забираться в люк. Где-то там, вдоль стены, шла железная лесенка. Он нащупал ее ногами и сказал:

— Скользящая.

Долго, очень долго метался во тьме, удаляясь, луч шахтерской коногонки.

— Наталья Прохоровна! — загудела, забубнила «преисподняя». — Давайте! Только осторожнее. Наденьте рукавицы, иначе обдерете руки — скобы проржавели.

Усиленный пустотой голос рокотал, как трубный глас, разрушивший Иерихон, один из древнейших городов Палестины.

Надев рукавицы, которые заводскому спелеологу пожертвовала тетя Фрося, Наташа с цепкостью обреченного ухватилась за сильную, упругую руку Куренной и неуклюже сползла до пояса в люк. Ноги долго болтались над пропастью, не находя опоры. Но где-то же были скобы-лесенки, на которых повис Глеб.

По всему, физиономия растерявшейся вконец Наташи отражала всю гамму ее чувств. Лизавета, с удовольствием наблюдавшая за происходящим, не без ехидства посоветовала:

— А ты, Прохоровна, думай не про свою укороченную жизнь, а о героях. Вот наши хлопцы из Красного Лимана, Гутченко и Покальчук... За год, поди, до Саши Матросова заткнули собою амбразуру. Одну вдвоем. Чула про такое? Вначале добрался до окошка в дзоте Гутченко. Кинул гранату — не помогло: косит и косит «шмайзер» мальчишек. А им — по семнадцать. Губы — не целованы, на таких даже пушок не растет. Тут Гутченко — в амбразуру, словно в переполненный трамвай.

— Чтоб ты, Лизавета, язык откусила и проглотила. Нежеванным, — возмутилась тетя Фрося. — Такое человеку под руку! Две-

надцать метров пустоты под подошвами, а ухватиться толком не за что. В прошлом году глядела я: скобы поросли ржавой шкурой, выкручиваются из-под руки, словно гадюка из-под палки. Ты, Прохоровна, — с доброй материнской тревогой пояснила она сменному инженеру, — рукавичек не жалеи, ошелуши ступеньку-то перед тем как довериться ей.

— Нет у тебя, Фрося, заботы о человеческой жизни: рукавичкой наградила! Сорок шесть ступеней, пока брезентовой тряпичей ототрешь до блеска, три дня и три ночи закончатся. Тут бы проволочную щетку или наждак...

В голосе Лизаветы жила неприкрытая издевка. Над осторожностью Наташи, над сомнениями, зелеными тенями жившими в ее распахнутых глазах. Отступить было некуда. И все-таки, болтая ногами в поисках спасительной ступеньки-скобы, поросшей ржавой шкурой, она на какой-то миг позавидовала тете Фросе и Лизавете, оставшимся на земле, где было солнечно, радостно. Струсила? А кто в этом признается даже себе? Насторожилась перед неизвестностью...

Снизу тянуло кисловатым холодом.

«Фу, какая мерзость!» — словно бы окунулась душа в липкую сырость.

Кедрач поймал ее за сапог и поставил ногу на круглую железную ступеньку, подсказав:

— Справа у вас под рукой скоба.

От мягкого голоса заботливого человека пришло успокоение.

Прощупывая острым лучом угрюмую, замшелую стенку, Кедрач сказывал:

— Шлакоблок местами обсыпался: гидроизоляцию в свое время не положили. Когда убедились, что воздух подать не удастся, махнули на все рукой. А жаль. Сейчас реставрация влетит в копейчку.

Два шага вниз — осмотр стены, три ступеньки миновали — беседа по истории «гидросоли». Бригадир щадит сменного инженера: уж такие скользкие ступеньки! Схватишься за круглую железку, а она норовит осклизло вырваться из руки — столько на ней ржавчины.

Наташа два сезона ездила в Новосибирскую область со студенческим стройотрядом. И была там «своим парнем»: месила раствор,

подавала кирпичи, укладывала на крыше доски, готовила обед, колола при необходимости дрова. Кормила собою гнуса и комара. И во всем этом видела какую-то романтику.

А тут, в этой преисподней...

Глянула вверх — и... вновь отсырела душа. Люк — где-то в поднебесье крохотным квадратиком, который на добрую половину заслонила собою любопытствующая тетя Фрося.

Наташа в тот момент готова была понять и воспринять как свою собственную тоску человека, который уходит в ночь, в пургу от жилья. Оглянулся, увидел затуманенное метелью окошко. И оно-то, крошечное, — из куска льда. Горит в зимовье плашка с ворванью, тлеет фитилек из пеньки... Для человека в этом окошечке — весь мир: с любимой женщиной, с друзьями, с надеждой на возвращение к ним, со страхом затеряться в яростной замети снежинкой.

— Тут надо прыгать, — сказал Глеб, — сантиметров семьдесят не хватает лесенки до дна.

Наташа судорожно ухватилась за ступеньки. Опоры не было, она развела руки. И... попала во что-то мерзкое. Хряснуло под сапогом, поплыли ноги в разные стороны.

— Ой! — завизжала в ужасе Наташа.

Но Глеб подхватил ее под руку:

— Вы встали на лягушку. Здесь у них — земля обетованная.

Он чиркнул раз-другой лучом коногонки, искромсал темноту под шершавой, облупившейся стенкой. Там кипела, ворочалась, дышала живая лава.

И в самом деле лягушки, да такие огромные, хоть во Францию, в лучший ресторан.

Наташа даже додуматься не могла, как лягушки попали в тщательно закрытый резервуар. Чем живут? Что едят?

Когда вылезли на свет божий, Наташа рассказала тете Фросе о необычных жильцах «гидросоли». Та не удивилась:

— Чего пустовать помещению? Лягушки в нем, как на курорте: зимой — не холодно, летом — не жарко. Вот только чего лопают — ума не приложу. Но жизнь — она такая... Однажды по телевизору передача была: в какой-то там Африке... Ныне понаоткрывали африк! И южная, и западная... Словом, жабы приноровились добывать для

себя воду из прокаленного до невозможности воздуха. Вот бы нам таких в дело! — мечтательно заключила тетя Фрося. — Заготавливали бы пермутитную без всякой извести и соли.

Глеб пошутил:

— Тетя Фрося, ты же тогда лишилась бы работы.

Куренная покачала головой:

— А ты покумекай: кто-то должен пестовать тех пермутитных жаб. А у меня опыт: девять сынов на ноги поставила да Луку Степановича воспитала в семейном духе. Когда прибирала к рукам, на себе женила, он был невозможный до невытерпки: кобелиного гонору! Чуть что — топ ножкой: «Я мужик али хто?» Отвечаю: «Когда лезешь в бутылку без надобности, ты «али што», а когда не мучаешься дурью, ты — голова всему дому, защитник жене и опора детям». А счас мово Луку — хоть на ВДНХ и выдавай самую знатную медаль: «Наилучший муж и отец во всем Советском Союзе».

Она щедро, по-детски рассмеялась, довольная шуткой.

* * *

Путешествие на дно «преисподней» породило тревогу: резервуары — главный компонент «гидросоли» — всего лишь дырка в земле. А еще надо решить проблему проблем, на которой споткнулся автор предыдущего проекта: воздух для взмучивания рассола.

Ответ на эту задачу Наташа нашла в докторской диссертации Мозжухина, который разработал проект мощного автономного гидрокомплекса для стана «3200». Возводится мощная компрессорная. И, казалось бы, чего проще: достаточно проложить по целинной земле воздушный став — тысячу двести пятьдесят шесть метров — и пусть бурлит себе на здоровье в холодном кипении тузлук. Но! Время! Жизнь наша соткана из минут, из секунд, из мгновений. Они могут быть радостными, желанными, дающими крылья для большого полета, могут быть горестными, унижающими, уничтожающими... Но те и другие уходят, выщипывая свое из того, что отведено судьбою каждому. Компрессорная стана «3200» — объект далеко не основной и в соответствии с проектом за него примутся в самый последний момент, а пустят только через три года. Три года в летоисчислении дипломантки Пахомовой — седая вечность! За три

года можно закончить аспирантуру и защитить кандидатскую диссертацию, можно выйти замуж, нарожать детей и после этого разойтись.

...Выходит, профессор Пахомов прав: «гидросоль» — дохлое дело, а дипломный проект Наташи — незрелая фантазия девицы, далекой от жизни.

«...Обнадежила! Тетю Фросю с Лизаветой! Себя!»

«Чертов Арзамас Руфимович! Втравил! Да и тихоня Кедрач хо-рош!»

Собственно, при чем тут Глеб Кедрач? Разве не предупреждал он, что «гидросоль» — ходячий анекдот! Предупреждал! Но — ни слова о времени! А три года — это тысяча с лишним дней! Столько у Наташи уйдет на то, чтобы увидеть в натуральную величину свой студенческий проект. А когда же все остальное? Когда жить? Творить хотя бы на уровне Мозжухина или отца? Когда любить? Это тоже нужно! Может быть, в этом первейшая обязанность человека... Не строить трехсотэтажные небоскребы, а любить, не титан добывать на Луне, а любить, не моря искусственные городить, распалая себя мыслью, что мы побеждаем и покоряем природу, а любить, ибо человек с точки зрения вечности не владыка и не царь, а семя Земли, и является он на белый свет, чтобы породить себе подобных и продлить тем самым жизнь.

Главное! Самое важное — что? Что?!

...У каждого мгновения нашего бытия — свое Главное. Приспело время, и женщина должна родить, сталевар — выпустить плавку, крестьянин — убрать хлеб, профессор Пахомов — дать жизнь замкнутому водному циклу на Донцеком металлургическом, Наташа — оживить «гидросоль», убитую равнодушием и подлостью.

* * *

Где Наташа слышала эту дурашливую частушку?

Вспомнила! В мае прошлого года провожали в армию молодых ребят. Часов в пять утра, а может, раньше... Идут они чинные, степенные, а вокруг них колесом — ряженые: кто кукарекает, кто щеглом высвистывает, а один дедок с лихими усами, закрученными

в острые стрелки, в офицерской, лихо сбитой на затылок полинявшей фуражке времен Отечественной войны, наяривал на гармошке и озорно припевал:

*Как купил я Машке ленту
И приколку для волос,
И вот с ентово моменту
Что-то вроде началось.*

Проснувшийся от озорного пьяненького гомона, будоражившего притихшую на зорьке улицу, Прохор Николаевич разворчался:

— Ведро воды, что ли, на оглашенных, авось поостынут горячие головы.

— У людей — праздник, — успокаивала его мама Нина. — Раз в жизни уходит парень в армию...

— Завели моду! — ворчал недовольно профессор. — Меня на фронт провожали, может быть, на веки вечные прощались: мать дошла до сельсовета, помогла котомку с тощими харчами на плечи забросить, а потом перекрестила и слезу ладошкой утерла. А сейчас уходит лоботряс, от которого поселку и девчонкам житья не было, в армию, где из него за два года человека сделают, родители от горя на стенку лезут: «Ах-ах, ох-ох, дитяtko неразумное от мамкиной юбки отрывают!» — и по такому поводу лишают жизни четырехпудового поросенка, изводят на самогон сто пятьдесят килограммов сахара. Гудит-мучается поселок три дня и три ночи, аж земля стонет, на разломы раскалывается. Как же, традиция! А если поскромнее — соседи осудят: мол, скупердяи, на роднулечку пожалели. И обходится родителям новый обряд проводов рекрута на службу в полторы тысячи, не считая убытков государству по причине прогулов на производстве сотрапезников. Через два года бравый солдат Перепелица-Бровкин вернется под отчий кров, родители уже шестипудового кабана лишают жизни, превращают в самогон двести килограммов сахара и две тысячи из семейной казны на «фу-фу»: то уже особая статья. Где, я вас спрашиваю, наша национальная бережливость! — возмущается Прохор Николаевич. — У нас в прапращурах — Иван Калита, мошна, собиратель! В Отечественную на бережли-

ности войну выиграли! Позже — разрушенное до кирпичей восставовили. А сейчас — как разбогатевший на военном подряде купчина: «Гуляй, православныя! Плачу за всех!» Цену хлеба забыли.

— Стареешь ты, Прохор Николаевич, — зевнула сладостно мама Нина, — ворчуном становишься. О чем у нас разговор шел? О русском характере. А разудалость, может, — его главная черта. Она одолела Гитлера в Отечественную, она вывела нас первыми в космос... И вообще, — глянула ласково на своего профессора, топтавшегося у балкона, и неожиданно закончила: — Иди-ка, сокол мой, подремли с часок, а то будешь весь день киснуть, как последнее моченое яблоко в бочке из-под капусты.

Ряженные с новобранцами к тому времени прошли, Прохор Николаевич поуспокоился.

А в Наташе поселился нехитрый мотивчик дурашливой частушки, которую она потом невольно напевала про себя почти всю неделю.

...Если попытаться проанализировать их взаимоотношения с Глебом, то «ентим моментом», с которого, кажется, что-то началось, была совместная прогулка по рельсам от проходной до цеха солнечным сентябрьским утром. Нет-нет, не то, что их в конце концов сблизило, а просто приемо-передаточные устройства души настроились на одну волну: у них появился интерес друг к другу, возникли причины для споров-раздоров, с чего, в общем-то, все и начинается. Люди, до этого чужие, притираются друг к другу, а у каждого свои углы и шероховатости, свои «люблю» и «не хочу», свои вкусы и привычки. А должны быть общие. Ну, не то, чтобы абсолютно общие, когда личность снівелирована до полного разрушения. Говорят же: два сапога — пара. Но один все-таки для левой, а второй — для правой. И люди: каждый вначале сам по себе, но вот появился у них общий множитель или общий знаменатель...

* * *

— Могу предложить два совета по цене бюро добрых услуг, — сказал Глеб, чутко сторожа Наташу, семенившую по рельсу и готовую в случае малейшей опасности принять помощь.

— Первый из них? — увлеченная акробатическим номером хождения по рельсу, легкомысленно спросила Наташа.

— Вытравить «гидросоль» из помыслов как явление.

Она на мгновение остановилась и с явным сожалением глянула на Глеба, вернее, на его макушку, реденько замаскированную светлыми волосами.

— Требуются доказательства, — понял ее Глеб. — Если дипломатка Н. П. Пахомова проявит инженерный и организаторский талант конструктора баллистических ракет Королева и устранит десяток «если», которые непременно встанут у нее на пути; если ее проект окажется достойным нашей эпохи; если она сумеет доказать, что «гидросоль» — не анекдот; если выбьет смету, а под нее — финансирование, а под финансирование лимиты на дефицитные материалы; если в век недостатка рабочей силы найдет строителей; если уломает главного проектировщика стана согласиться на подключение химводоочистки к новой компрессорной и так далее и тому подобное... то через три года авось и забурлит рассол под напором воздуха. А... через два года после этого начнет действовать «замкнутый цикл» профессора Пахомова, и тогда «гидросоль» инженера Н. Пахомовой окажется чем-то вроде воспалившегося аппендикса, и тут уж хирургического вмешательства не избежать. Вывод: послать к чертовой бабушке — госпоже ведьме — уважаемого Арзамаса Руфимовича с его дурацкой затеей оживить дважды похороненную «гидросоль».

Наташа лениво хлопнула в ладоши.

— Прекрасная речь! Цицерон и Кони в гробу перевернутся от зависти. Руфимову через год на пенсию, так что его можно и к бабушке-чертовке. А как быть с тетей Фросей и Лизаветой? А как быть с теми миллионами, которые, по официальной статистике, работают на вспомогательных участках министерства черной металлургии, где применяется ручной труд? И это при том, что народному хозяйству страны на текущую пятилетку не хватает тридцать два миллиона рабочих рук.

А Кедрач только улыбается в ответ, растягивая губы пирожком, будто премию получает за рацпредложение.

— На этот случай второй совет из серии бюро добрых услуг: познакомиться с первоавтором мокрого содержания соли, моим другом Мокроусовым, про которого вы сказали: «по усам текло, а

в рот не попало» — и выцыганить у него черновики и расчеты. Что-то там явно устарело, что-то неприемлемо, но есть идея, привязанная к действительности.

Заскребли кошки острыми длинными когтями по душе самолюбивой Наташи. Она сошла с рельса и быстро зашагала по шпалам. «Пользоваться чужим трудом!»

Глеб догнал и пошел рядом, стараясь попасть в ногу, впрочем, ритм этого бега на короткую дистанцию задавали шпалы, их чередование.

— Еще со школьной скамьи нам претила мысль списывать, скатывать, шпаргалить, — заговорил он, угадав ее чувства. — Пусть ошибки, но свои собственные. Ошибки — главная школа человека. Через ошибки отдельных людей шло и идет человечество по пути прогресса.

— А вы хотите эту аксиому опровергнуть? — с вызовом спросила Наташа.

Он обезоруживающе улыбнулся.

— Но зачем изобретать велосипед, на нем надо ездить, купив в магазине или взяв напрокат в ателье «Бытовые услуги».

— Какая свежая мысль! — парировала Наташа. Она выразительно потянула носом воздух, давая понять, что у идеи бригадира слесарей... подозрительный запахок. — Почему-то человечество не довольствуется самокатом Артамонова, которому за гениальность изобретения батюшкой-царем жалована вольная, а постоянно что-то совершенствует: цепная передача на заднее колесо, пневматические шины, система свободного хода, наконец — форма! Спортивные, детские, женские, гоночные, тандемы, велоколяски... Сейчас мода — на велосипед с солнечными батареями. Словом, новое решение старых задач!

Они подошли к конторе цеха. Наташа глянула на часы. До цеховой планерки минут сорок пять, надо проведать своих на химводоочистке. Глебу — в «хламсарай», как называлась небольшая мастерская слесарей-сантехников.

Однако разговор остался незаконченным, и Наташа остановилась, ожидая резкого, может, даже грубого ответа на свое обвинение.

Но Кедрач неожиданно согласился с нею.

— Новое решение старых задач, — в раздумье повторил он. — Это вы хорошо сказали о нашей «гидросоли». Когда у вас выходной?

— В пятницу, — неуверенно ответила она.

И тут же вознегодовала. Как-то уж очень ловко... Ну, если и не обхитрил, то все равно обошел ее Глеб. А ей не терпелось сразить его: одним ударом, как казак тыкву на учении, только у-ух! — и надвое, и чтоб — с подпорки долой. А Кедрач своим вопросом сбил ее с панталыку.

— Значит, в пятницу? Ваш транспорт, моя инициатива, и мы отправляемся на раскопки древних остатков «гидросоли». В девять бы выехать, вполне подходящее время. А Мокроусову я позвоню, чтобы не получилось: «Приходите к нам чайком побаловаться, когда нас дома нет».

Наташа вспомнила о сыне Глеба: отец уедет в общем-то по чужим делам и оставит мальчонку одного.

— А как же ваш Шурик? Выходной отца, видимо, принадлежит сыну.

— Шурка у меня космонавт, хоть на три года на орбиту запускай: тоска одиночества его не берет, обязательно найдет занятие. Сейчас собирает транзистор. Схему взял из журнала, но усовершенствовал. Надоест возиться с паяльником, возьмется за книгу. Недавно удивил, прочитал «Историю пугачевского бунта» и говорит: «Стоящая книга, не то что «Капитанская дочка». Там все ненастоящее: встретила Маша добренькую царицу, пожаловалась ей, и та сразу решила, что Гринев хороший-прехороший, а Швабрин — настоящая сволочь. Смешно читать про такое».

Наташе даже не поверилось: конечно, концовка у знаменитой пушкинской повести... со счастливым поцелуем. Но на это обратил внимание и отдал предпочтение документальной вещи... третьеклассник. «Типичная родительская болезнь: видят в своих детях вундеркиндов», — подумала она.

Но Глеб вновь угадал ее мысли.

— Нынешние дети! — пояснил он. — В пять месяцев плавают, как ихтиандры, в два с половиной года переключают телевизор в поисках мультфильма, в три — совершают кинопутешествия в разные страны, и нет уже для таких тайн на земле, в пять они

разбираются в марках машин и самолетов, в семь — с удовольствием смотрят фильмы про любовь, а в первом классе пишут девчонкам записочки: «Давай дружить как взрослые». Словом, дети эпохи НТР...

Наташа с любопытством глянула на Кедрача:

«А не глуп... Но уж такой... Ни то ни се... А коль рохля, то не женись на красивой, жизнерадостной резвухе, не порти жизни ей и будущим детям».

Вдруг в ней родилась «озорнинка», юркая, словно шарик ртути на полированном столе, искристая, будто капелька из Ниагарского водопада в солнечный день: «Вдвоем в машине... Останется ли Кедрач бирюком? Не зальется ли соловьем на типично дорожную тему: «одинок», «не понят», «ищу родственную душу». А она, Наташа, и есть его идеал, который он, мятежный, искал, слоняясь по белу свету.

«Я для вас, Наталья Прохоровна!..» — И многозначительное пожатие запястья руки.

По всему, она себя чем-то выдала. Может, «заговорили» глаза, может, что-то прописалось на лице? Но Кедрач вновь оказался провидцем.

— Наталья Прохоровна, обещаю в дороге вести себя скромнее монаха, давшего обет целомудрия.

Позже она убедится, что нельзя ей думать о нем в его присутствии, в такие моменты Глеб обретает дар ясновидения — неприятная для других, пугающая способность.

Но в тот момент она вспыхнула, обидевшись по-женски за то, что он проник мыслью в ее сокровенное.

— А я в этом и не сомневалась, — с намеком на его судьбу резковато ответила она.

Тонем, каким взрослый обращается к девчонке-капризуле, Глеб сказал:

— У меня есть талоны на бензин. Если потребуется...

— Не потребуется, — запальчиво ответила она, обидевшись, что он предлагает ей каким-то образом «финансировать» поездку. Однако тут же стало неудобно за резкость. Чего она ерепенится!

Но задевал душу чем-то Глеб Кедрач. А чем, Наташа пока понять не могла, вот и сопротивлялась неизвестно чему. Может, его тихому,

неприметному на первый взгляд обаянию умудренного жизнью степенного человека?

* * *

На химводоочистке — как погожей осенью на пляже, когда отдыхающие знают, что ласковое тепло в этом году — последнее, и жадно наслаждаются благодатью.

Вера Уварова подстелила фуфайку, осталась в легкой кофточке-безрукавке и выгревается в затишке под крепостной стеной цеха. Лизавета и подавно как на пляже. Подставила ласковым лучам черное, словно обуглившееся тело. И даже тетя Фрося, исповедующая истину, что жар костей не ломит, одета легко, по-летнему.

При появлении сменного инженера она расправила фуфайку, лежавшую рядом, и сказала:

— Приземляйся, Прохоровна.

— Настроение у вас! — с невольным упреком заметила Наташа, отыскивая глазами лопаты и кайла. Но инструмента поблизости не было.

— Бастуем, — лениво пояснила Лизавета. — Как в Польше. Пока Руфимыч не обеспечит спецодеждой, пусть сам «сушит» и «моет» воду.

Наташа поудивлялась: «Спецодежда — вся в наличии... О чем еще речь?»

— Развели слесаря петергофские фонтаны, — пояснила Лизавета, — без зонтика там нынче делать нечего.

— Слушайте ее, Прохоровна, — растолковала разморенная теплыню тетя Фрося. — Прошлой смене досталось: большую регенерацию отмучали перед тем как нам заступить, так что часа три можем курортничать... Тебя Руфимыч допытывался.

Черед полчаса цеховая летучка. Выяснив положение дел, Наташа обошла службы, заглянула на разгрузочную площадку. Соли было в достатке. Правда, из-под серой расплывшейся кучи пробивался родничок... А мокрая соль, известно, раза в два тяжелее сухой, так что намантулишься, пока на две регенерации накидаешь в бункерок, но все равно кайловать «пик имени тети Фроси» не придется.

Обошла цех. Вот уж права Лизавета: петергофские фонтаны да и только: сочится, брызжет на стыках, будто их расшатало землетрясением. Куда смотрят слесаря со своим бригадиром! Пройтись по отделению — и то нужен защитный комбинезон аквалангиста. А работать!

Наташа явилась в контору с агрессивным намерением разделить нерадивых слесарей.

Подзапоздала. В красном уголке необычнолюдно. За столом президиума восседает раскрасневшийся, какой-то очень оживленный Руфимов и еще двое. Одного Наташа знала: злой, вечно недовольный всеми рыжий начальник железнодорожного цеха Геракл Онуфриевич, которого в быту зовут Геннадием Андреевичем. На заводском селекторе его вечно крыли в хвост и в гриву за то, что нет вагонов, нет цистерн, не привезли вовремя металл, балласт, кокс, флюсы. За глаза рыжего ангела звали Козлом, имея, видимо, в виду козла отпущения, на которого все шишки валяются. Наташа в душе сочувствовала этому человеку

Третий в президиуме — этаким спелым помидорчик: кругленький, тугой, розовый. Глаза масляные, волосы уложены модным парикмахером и, Наташа могла побожиться, мыты красящим шампунем.

Кто такой?

Она в ту пору не могла еще знать, что это родной брат Глебовой жены Клавдии, которому суждено сыграть немаловажную роль в судьбе Наташи Пахомовой.

Он сидел в начальственной позе, полуобернувшись к залу. Левая рука — на спинке дряхлого соседнего стула, правая — на столе. Холеная, ухоженная, как у стареющей актрисы, пальцы этак несходительно выбивают по столу что-то бравурное: «Тор-р-еодор, сме-елее в бой! Тор-р-еодорppp! Тор-ре-е-одорppp!»

— Арзамас Руфимович, время. Время! — постучал по часам «спелый помидорчик».

Руфимов поднялся:

— Товарищи, за минувшие сутки мы с вами сработали очень плохо. По причине подачи нестандартной воды мартеповцы на двух печах запоролы плавку. Справедливую претензию предъявляют нам и прокатчики. Давайте разберемся в обстановке.

Сидевший рядом с Наташей немолодой бригадир с участка газоочистки доменного цеха пробурчал вроде бы про себя, а на самом деле достаточно громко, чтобы услышали в президиуме:

— Четверть века все разбираемся и разбираемся... Когда же начнем собираться, сводить все до кучи? А то однажды сдадут тебя в утиль за некомплектностью.

И тут вскакивает этот мужчина-красавец. Импортной четырехцветной авторучкой по полупустому графину: тюк-тюк!

— Товарищи, надо понять обстановку, сложившуюся на заводе. По вине вспомогательных цехов доменщики, мартеновцы и прокатчики задолжали родине шестьсот семьдесят тысяч тонн металла. Это преступление, товарищи. Скажу жестче: минус в шестьсот семьдесят тысяч тонн — это экономическая диверсия!

«Пустьшка», — решила Наташа. Поняв, что ничего существенного этот холеный красавчик не изречет, спросила соседа:

— Кто такой?

— Не зна-аешь? — удивился тот. — Егор Миронович Клепанбык — вечный заместитель коммерческого директора. Двоих при нем посадили, а он все сбытом заворачивает. Э-э, девонька, ты, может, свое счастье обминула, не познакомившись с таким известным в бабьем кругу человеком. Приглянешься, он к твоим ногам небо нагнет.

— А три вагона сухой соли он достать может? — спросила Наташа, чувствуя в немолодом усатом бригадире невольного союзника.

В больших карих глазах бригадира зажглась лукавинка.

— Самолетом с Красного моря привезет.

Бывает же, с первого мгновения первой встречи западет человек в душу, и потянет тебя к нему, будешь о нем думать, вести с ним мысленный разговор. А бывает, при одном виде тебя наизнанку выворачивает. Ну что плохого ей сделал этот лохотенный, напомаженный Егор Миронович с удивительно звучной фамилией Клепанбык? (Есть в Донбассе речушка с таким названием.) А вот не терпится Наташе как-то задеть заместителя коммерческого директора, осмеять перед всеми, что ли...

Когда он закончил свою длинную тираду-воззвание и сел на стул, довольный собою, убежденный, что поразил всех блистательной проповедью, Наташа встала.

...Вдруг в ней зазвучали слова, с которыми отец обращался к Оборошину, и не только слова, но интонация: не хватает руды и кокса, людские резервы — на пределе. Ей захотелось с той же легкостью и логичностью, с какой отец развенчал Оборошина, свергнуть с престола этого Клепанбыка.

— Егор Миронович, — как можно спокойнее начала она, — вот вы сказали, что по воле вспомогательных цехов ДМЗ недодал родине шестьсот семьдесят тысяч тонн металла. Но только ли вспомогательные цеха виноваты в случившемся? Не влияют ли на нашу работу и те объективные причины, которые названы в решении ЦК: выдыхаются старые рудники и шахты. Туманна перспектива с рабочими кадрами. Если в прошлую пятилетку народное хозяйство страны получило одиннадцать с лишним миллионов рабочих, то в нынешнюю — и четырех не наберется. Но эти причины родились не сегодня, они дают чувствовать себя уже несколько лет. Так вот: какие меры принимают дирекция завода и партком, чтобы ослабить вредное влияние этих причин на судьбу ДМЗ, на судьбу тридцати пяти тысяч трудящихся?

Каким действенным оружием порою оборачивается неприкрытая демагогия в борьбе с маховыми демагогами, болтунами и выскочками!

Егор Миронович поднялся из-за стола. Растерянный. Гуляют по холеному лицу бурые пятна. Озирается по сторонам, ища поддержки у Руфимова, у присутствующих в зале. Нервно ощупал карманы пиджака и брюк, достал большой клетчатый платок, вытер вспотевший нос.

— Конечно, — негромко, заискивающе произнес он, — объективные причины существуют, недопоставки кокса, руды, особенно окатышей, имеют место. Чтобы ликвидировать прорывы в снабжении, мы посылаем толкачей. Можно смело сказать, что это особая служба на заводе, — высоким, почти девичьим голосом заговорил он. — Но дирекция завода и партком, — многозначительно поднял он палец, — обращают ваше внимание, товарищи, на, так сказать,

скрытые резервы. А впрочем... с кем я разговариваю? — вдруг спохватился он.

— А вы не знаете? — почти искренне удивилась Наташа. — С трудящимися, а точнее — с инженерами и бригадирами одного из вспомогательных цехов, по вине которых ДМЗ недодал родине шестьсот семьдесят тысяч тонн металла, что является экономической диверсией.

— Наталья Прохоровна! — застучал Руфимов ладошкой по столу. — У нас же здесь не студенческое научно-техническое общество, где решаются глобальные проблемы человечества двадцать второго века. Мы — производство, и нашим богом является план. Вчера, сегодня, завтра... Каждый день, каждый месяц. Так что давайте по существу.

Но эти же слова говорил Оборощин, оправдывая свою «водобоязнь»: мол, только тронь старье — и три года не спрашивай план с завода.

«Его величество План!»

— Уважаемая Наталья Прохоровна, — заговорил Клепанбык, — вы, по всему, в наших заводских краях человек новый и не можете знать, что с тридцатью тысячами трудящихся из тридцати пяти, от имени которых вы сейчас говорили, Жора Клепанбык знаком лично! Еще босотой мы, поселковые огольцы, на территории завода гоняли тряпичный мяч, собирали металлолом, купались и ловили рыбу в запрещенных местах: градирнях и отстойниках. В школу, из школы — через завод, в магазин — завода не обминешь. Первую зарплату я получил в шестнадцать лет здесь, в цехе водоснабжения. А вот с вами встретился впервые, поэтому и спросил: с кем разговариваю. А вы не поняли сути. Русский язык богат оттенками. Но вы не отчаивайтесь, у вас еще все впереди: и с заводом познакомитесь, и с его людьми, и... с русским языком.

Собравшиеся в красном уголке оживились, перебранка их взбодрила. Но вряд ли они были на стороне новенькой. Сколько их, таких крикливых, было до нее! Месяц-другой... И кто их после этого видел?!

Отстегали Наташу привселюдно. Она-то думала — фанфарон, а этот самый Егор Клепанбык для многих — свой парень. И не глуп.

Закипело все в Наташе.

— Я, конечно, на заводе новичок, всего лишь студентка на практике, в должности сменного инженера, и многого не понимаю. А у вас такой опыт... Поделитесь: как пермутировать воду, если нет соли. В институте учат в отрыве от практики... Конечно, если уж очень прижмет, то... есть «пик имени тети Фроси». Кайлуют его женщины, — сделала она ударение на этом слове, вспомнив утверждение бригадира участка газоочистки о популярности розовошекого Егора Мироновича в «бабьем кругу», — кайлуют до тех пор, пока у них на спинах не выступит соль. Мы ту соль собираем и используем для пермутирования.

Руфинов было вскочил, но заместитель коммерческого директора этак по-свойски прижал его плечо: мол, сиди, сам управлюсь.

— Вести провокационные речи кому бы то ни было рабочий класс нашего завода не позволит, — негромко, но с достоинством ответил Клепанбык. Выдержал паузу, подчеркивающую значимость сказанного им, и продолжил: — Как будущий инженер вы, Наталья Прохоровна, начинаете не с того. Настоящий руководитель умеет отвечать за все, что происходит на его участке производства. Мы ведем свое хозяйство в режиме жесткой экономии. И тут порою случаются определенные нестыковки, когда спрос опережает предложения. Поэтому дожидаться, когда дефицитное подадут вам на тарелочке с голубой каемочкой, не приходится. Проявите инициативу, настойчивость, тогда у вас появится необходимое. Согласен, что условия хранения соли в отделении неблагоприятные. Но почему надо кайловать? Рыхлите с помощью взрыва, поставьте экскаватор, словом, товарищи руководители, не ищите крайнего, а, засучив рукава... — На примере своего пиджака он показал, как надо это делать. И сел.

Сосед Наташи, бригадир отделения газоочистки, вновь проворчал вроде бы про себя, но услышал его весь красный уголок:

— Эх, Егор Мироныч, золотые твои слова. Да кабы посчастливилось экскаваторишко на них выменять, пушай самый никудышный... ржой заеденный... А уж наш кудесник Лука Степаныч, учитель твой слесарный, довел бы его до ума.

Кто-то в зале хихикнул. Но тут вскочил начальник транспортного цеха, да так резво, словно его в одно место с лета ударила рассердившаяся оса:

— А вы берете соль, которую вам дают? — визгливо закричал он на Наташу, хлопая ладошкой по папке, лежавшей перед ним на столе. — Что вы делаете с грузом! Это же разбой! Вас надо судить! А ваша смена, товарищ Пахомова, вообще поставила рекорд. Мировой! — Он долго рылся в своих бумагах и, наконец, нашел нужное: — Вот! Двадцать шестого в вашу смену поставили три вагона с солью, а разгрузили их только вчера. По двести сорок часов простоя! А завод по вине таких, как вы, разгильдяев и демагогов платит железной дороге многотысячные штрафы и остается без вагонов.

— Не на чем вывозить готовую продукцию, — весомо подтвердил заместитель коммерческого директора, ведающий сбытом. — Это преступление, товарищи, которое, к сожалению, не нашло должной оценки ни со стороны администрации цеха, ни со стороны партийной организации.

Наташу такая несправедливость окончательно вывела из себя. Она гневно крикнула начальнику транспортного цеха:

— С каких это пор полувагоны у вас стали называться вагонами? И что в них было? Разве соль? Папа!

* * *

Локомотив тихонько, словно бы краденое, оставил на разгрузочной площадке три полувагона и укатил. Тетя Фрося, видевшая это с верхотуры химводоочистки, разыскала Наташу и предупредила:

— Прохоровна, звони диспетчеру завода и Руфимычу, пусть дадут людей на разгрузку: опять полувагоны. Стенки мокрые, аж осклизли, словно пол в старой бане, видать, мыли дождики по дороге нашу соль.

За время работы на ДМЗ в смену инженера Пахомовой только однажды подали соль. И все получилось как-то само собою: словно по щучьему велению появилось четверо мужиков. Кажется, их прислали из мартеновского цеха... А может, из прокатного. Кто прислал? По какому обязательству? Дело ладилось, и Наташа в подробности не вдавалась.

И когда тетя Фрося ее предупредила: «Полувагоны, стенки мокрые», — она просто не почувствовала приближения беды, уж так ее тогда закрутили обязанности сменного инженера, «упехталась», ноги подкашивались.

Шла третья неделя преддипломной практики. И каждый день на простеньких примерах убеждал студентку, что она — великолепнейший образец Профана Патентованного. К примеру, как закрыть наряд... Как оформить заявку... Что делать, если звонит знаменитый сталевар Овечкин и... мать-перемать: «Почему качаете горячую воду? Мне тут не яйца всмятку, а контрольную плавку варить!»

Ты — старшая в смене, отвечай за всех: и за отсутствующего Руфимова, и за себя, и за прошлую смену — это они такую воду пустили в систему. И не жалуйся, а исправляй, делай-делай. Если бы не ангелы-хранители тетя Фрося с Лизаветой и Вера Уварова, стала бы сменный инженер Пахомова всеобщим посмешищем. Наломала бы дров... на всю губернию хватило бы.

Завод жил самостоятельной, не понятной студентке-практикантке жизнью.

Не три месяца, а годик бы в цеху после второго курса: знай какую специальность выбрала. В институте уж такую романтику развели: айсберги, дающие воду пустыням, опресненные моря, замкнутые циклы на вредных производствах, охрана окружающей среды, человек и экология!!! А в цехе четвертой категории — «пик имени тети Фроси» и яростная брань знаменитого сталевара, которого не поставишь на место: мол, как вам не стыдно, вы же разговариваете с молодой женщиной. Плавка идет не по режиму: пропадает металл! И выше этого только рождение человека и его смерть, так что пережуй, милая, злые слова доведенного до крайности человека и сделай все, чтобы у него не было причины звонить тебе.

В общем, затурканная Наташа не придавала значения предупреждению разнорабочей Куренной. Спихватилась, когда сдавала смену.

Руфимова не нашла, диспетчер завода пробурчал: «Позвони через полчаса».

А через полчаса она была уже в бане... Вспомнила о вагонах лишь тогда, когда миновала проходную. Вернулась. Начальник смены, из пьянчужек, куда-то ушел. Наташа предупредила машиниста грей-

ферного крана, мол, вагоны с солью прибыли. «Передай сменному!» — «Да чтоб ему повылазило! Сам увидит!» — огрызнулась девчонка-машинист, явно недовольная своим сменным инженером, который чем-то успел обидеть ее.

На следующий день Наташа пришла на работу, а вагоны стоят, словно их приварили к рельсам. Но теперь она вроде бы за них лично не отвечала: видели их начальники двух предыдущих смен, опытные инженеры, видел Руфимов.

Около одиннадцати часов молоденький милиционер привел каковую-то орду бродяг. Спросил:

— Пахомова?

Наташа подтвердила:

— Она самая.

— В ваше распоряжение до семнадцати ноль-ноль. Для трудового перевоспитания, — отрапортовал представитель власти.

— Что я с ними буду делать? — взмолилась Наташа.

— Какие-то вагоны разгружать, — милиционер попросил расписаться в книге учета и ушел.

Их было девять человек. Она не знала, как к ним обращаться, что говорить. Заросшие грязной, уродующей лица щетиной, словно таежные бродяги из золотоискателей-неудачников. По годам, можно сказать, ее сверстники.

— У нас тут три вагона с солью, — пролепетала Наташа.

— И по сколько в каждом? — попросил уточнить один из «святой» девятки.

Ух, какая похабная физиономия, не приведи Господи: нос картофелиной, густо усеянный «ростками», мясистое лицо затянато чернотой, словно бы обгорелая стерня, зубы мелкие, порыжевшие от табака, глазки маленькие, непонятного цвета: как будто обмакнули их в пригоревшее репейное масло.

Наташа чистосердечно призналась:

— Не знаю. Начнете выгружать, увидите.

Носатик клыкасто ощерился, изображая милую улыбку, и доверчиво пояснил:

— Нам работать, гражданочка, так что надо знать объемы. Как же вы будете выписывать наряд?

«И в самом деле, как?» — растерялась Наташа.

— Я посмотрю накладную, — пообещала она.

— Вот вы сходите к нормировщику, справьтесь по накладной, доложите нам. Мы люди сознательные, газеты читаем, так что знаем, что такое прогрессивная организация труда: это бригадный подряд. Вы говорите, сколько стоит, а мы, если сойдемся в цене, определяем сроки.

— По «Миронычу» — на рыло. С закусью, — уточнил длинный, как жираф.

Наташа поняла, что над нею элементарно издеваются.

«По «Миронычу»... С закусью...» Ее осенило, что никаких нарядов закрывать не придется, видимо, завод за проделанную работу как-то расплачивается с милицией. А уж та — сама, если положено...

— Как вам не стыдно! — возмутилась она. — Вторые сутки простаивают три вагона! Вы знаете, во что это обходится заводу и государству? — И продемонстрировала все свое знание темы. Особенно упирала на совесть и сознательность.

Гоп-компания слушала ее пламенную речь, раскрыв рты. А когда она выдохлась, носатый вдруг схватился рукой за щеку, будто у него разболелся внезапно зуб, закатил к небу глаза, выворотив смешно и страшно белки:

— Ай-яй-яй-яй...

И вся гоп-компания повторила, как припев:

— Ай-яй-яй-яй... — захлопав себя по щекам.

— Шестьсот тысяч тонн металла недодаем родине! — возмутился носатик. — По рублю, это сколько, Гоша? — обратился он к смуглому (грек или армянин?) рослому парню.

— Полмиллиона и еще сто тысяч, — лихо ответил тот.

— А по червонцу?

— Шесть миллионов... — Гоша испугался собственного вывода, чиркнул ребром ладони по кадыку и вывалил язык. Большой и красный, он доставал почти до подбородка.

«Повешенный!»

— Но цены на топливо и металл недавно подрегулировали, так что в один червонец тонну не уложишь. Помножь на пятерочку!

— Тридцать миллионов! — восторженно воскликнул Гоша. — Мне бы! Накупил бы коньяку «Наполеон» — сосудик двадцать «ре». Это — полтора миллиона бутылок. Если по десять в день... — Он на мгновение призадумался и тут же выдал решение: — Сто пятьдесят тысяч дней, или четыреста одиннадцать лет. Не проживу столько! — вздохнул Гоша.

— А ты корешей пригласи, поможем, — долговязый начал вычислять по пальцам. А остальные смотрели этот спектакль с явной заинтересованностью и влюбленностью в актеров. Вычислил. Поднял в экстазе руки с растопыренными пальцами и завопил:

— За пятьдесят один год управимся!

Носатик возмутился:

— Конченный ты человек, Гоша, да к тому же сибирский валенок по части экономики. Продавать металл — все равно, что топить электростанцию сотенными. Его надо вначале пустить в дело! Шестьсот тысяч тонн — это триста тысяч легковых машин, с запчастями. Если по десять тысяч каждая...

— Три... миллиарда!!! — Гоша вытер рукавом вязанки вспотевший лоб. Он, кажется, уже не притворялся, цифра действительно его удивила. Он повалился на колени и простер руки к небу. — Братья тунейдцы и алкоголики! Это не я нанес народу вреда на три миллиарда! Честное слово, не я. У меня и ума бы не хватило. И власти у меня такой нет, чтобы столько добра под корешок.

Носатик назидательно продолжал:

— Что по поводу шестисот тысяч тонн загубленного металла должен сказать виновным генеральный прокурор?

Гоша встал по стойке смирно, руки по швам и, артистически имитируя грузинский акцент, выпалил:

— Генеральный прокурор сказал бы: «Дорогой, не можешь варить металл — пили дрова».

— Кому бы сказал эти мудрые слова гражданин генеральный прокурор? — теперь и носатик уже пытался говорить с грузинским акцентом. Но он был актер совершенно иного амплуа.

— Гражданин генеральный прокурор сказал бы эти слова всем начальникам ДМЗ, полуначальникам и четвертьначальникам, — кочевряжился Гоша.

— А вы, гражданка Пахомова, кто? Четвертьначальника или уже полуначальник? — спросил ее носатик. Он был сама вежливость и элегантность.

Наташа взорвалась:

— Да как вы можете!

Девять здоровых лбов, упиваясь безнаказанностью, открыто издевались над тем, что было свято для Наташи Пахомовой с пеленок. А она была совершенно бессильна. На разгрузочной площадке — как в глухом лесу. Кричи «караул», но кто услышит! Даже если кто-то подоспеет, что он может сделать? Хамство, увы, не наказуемо.

Она еще никогда с подобными типами не соприкасалась, они жили совершенно по иной морали, оценивали жизнь по иным, чем Наташа, критериям. Слова, святые для нее, — «совесть», «честь», «родина» — вызывали у них гомерический смех.

Четыре года она изучала в институте научный коммунизм, политэкономия, философию, научный атеизм. Писала доклады и рефераты, до хрипоты спорила с однокурсниками по проблемам: личность и общество, роль свободного времени в воспитании гармонически развитого человека, женщина и ее роль в семье, «человек — это звучит гордо»... Всегда у нее было свое мнение по затронутым темам. Однажды даже на экзаменах она осмелилась заявить преподавателю философии, что в вопросе происхождения предрассудков (мол, достались нам в наследство от прошлого) он стоит на позициях метафизики, а на самом деле предрассудки, присущие нам, порождены, увы, нашей действительностью, и в этом суть диалектики.

Но хоть бы однажды кто-то из мудрых оговорился: мол, есть рядом с нами не мифические, а реальные... Ну кто они? Как их назвать?.. Одним словом, граждане... (Слово-то какое хорошее об них испоганили!)

Нет, они не вынырнули из морской пучины. Их давно заметили. Был чудесный фильм «Операция «Ы»». Новелла «На стройке» — о пятнадцатисуточниках. Герой — некий хулиган Федя. Все смешно, все неопасно: завернул его в рулон обоев студент-практикант Шу-

рик, высек розгами — так и решили авторы (сценарист с режиссером) социальную проблему.

А сменный инженер Наташа Пахомова не имеет права на «конкретные действия», в ее распоряжении только хорошие слова. Они же тут бессильны и бесполезны, о чем еще две с половиной тысячи лет тому назад предупреждал всех знаток человеческих пороков вольноотпущенник фракиец Эзоп, а двадцать три века спустя — дедушка Крылов:

*А я бы ритору иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб он речей не тратил по-пустому,
Где нужно власть употребить.*

Но что нам мудрость веков и предков! Мы сами с усами!

«Переработаем пададь на мыло и отмоем черного кобеля добела!»

Но сильна природа своим постоянством, и Наташе все же придется работать с «гражданами»... Но как убедить тунеядца в социальной значимости и личной пользе общественного труда? Каким образом его встряхнуть, мобилизовать, перевоспитать за десять минут?.. Психологи, где вы, отзовитесь, посоветуйте! Социологи, не прячьтесь за общие цифры благополучной статистики! Наталья Пахомова имеет дело с совершенно конкретными людьми, в конкретной ситуации. Хорошие слова: «Установить внутренний контакт» — поберегите для вашей диссертации.

Носатик с похабной физиономией, человек явно не глупый, продолжал глумиться над Наташей:

— Гражданка Пахомова, вникните в ситуацию: коллектив, где две тысячи коммунистов, пятнадцать тысяч комсомольцев, сорок тысяч членов профсоюза, я уже не говорю о десяти тысячах инженеров, о Героях Соцтруда, лауреатах и орденосносцах, валит план. Единственная надежда этой армии лучших людей нашего общества — девять алкоголиков и тунеядцев, которых в ваше распоряжение и прислали органы правопорядка.

Наташа понимала одно: нужно действие, чтобы заткнуть этот фонтан красноречия, действие мгновенное и внушительное, как...

землетрясение. Но в ее распоряжении не было никаких потусторонних сил вроде доброй феи, осчастливившей Золушку. Она должна была все необходимое для... созидающего катаклизма найти в себе.

Оглянулась. Под глухой, почерневшей от времени непогоды стеной химводоочистки лежали две лопаты. Туда! К ним! Схватила одну и, зажав, как винтовку балтийский моряк из кинофильма «Мы из Кронштадта», ринулась на носатика. Вот когда покинула его самоуверенность. Маленькие бесцветные глаза вдруг расширились, просветлели. В них ночным мотыльком мелькнул страх. Носатик даже вытянул руки вперед, защищаясь.

В эти протянутые руки Наташа и всучила лопату:

— В вагон! И — разгружать! — приказала она властно.

Кое-кто из гоп-компании захихикал, видя, как струхнул ватажок.

Тот уже вновь был повелителем. Сунул лопату Гоше и кивнул на вагоны.

Гоша стрижом взлетел наверх. Увиденная картина произвела на него потрясающее впечатление. Просвистел какую-то мелодию. Затем спрыгнул вниз и пошептался с носатиком. Тот пошел в наступление на Наташу:

— Вы за кого нас принимаете? Мы — советские граждане, а не американские негры-безработные! Где бахилы? Где рукавицы? В вагонах — рапа, а мы — в тувельках.

Наташа растерялась:

— Но где я вам возьму сию минуту девять комплектов спец-одежды?

— Но зачем же «сию минуту»! — удивился носатик. — Мы — сознательные, подождем сколько надо. Только не забывайте, уважаемая, мудрых слов, записанных в новой Конституции: здоровье трудящихся — народное достояние.

Наташа готова была расплакаться:

— Но вы же знали, что вас ведут на работу! Почему не отказались там, на месте? А здесь увидели женщину и решили поиздеваться!

Носатик скривил кислую мину, покачал стриженной под нулевку головой и, обращаясь к своим дружкам, которые таяли от удовольствия, сказал:

— Нас здесь не понимают!

— Не понимают! — заголосили они вразнобой.

Носатик повернулся к Наташе. Глаза жесткие, взгляд требовательный:

— В общем, так: приглашайте заводского инженера по технике безопасности и представителя МВД. Я вижу, советские законы по охране труда в этом цехе отменили. Но существует социалистическая законность, к защите которой мы и прибегаем.

Общий язык с этим демагогом и его гоп-компанией нашла не Наташа Пахомова, руководитель работ, а разнорабочая тетя Фрося.

Она о чем-то пошептала с носатиком, потом что-то сунула в руку Верке, и та ушла. А «граждане» принялись разгружать первый вагон. Сколотили слани, кинули их на мокрую соль и... обошлись без бахил и рукавиц.

До двух они работали довольно усердно, хотя не так-то легко было ковырять лопатой слипшуюся соль. Она коровьими лепешками шлепалась о бурт старой, почерневшей соли и стекала остывающей лавой на рельсы.

Смена у Наташи кончалась в три часа, в половине третьего — «граждане» пошабашили, получив с тети Фроси две бутылки водки.

— В семнадцать за нами придут, надо до этого времени управиться.

Первый бой пьянству дал вавилонский царь Хаммурапи почти четыре тысячи лет тому. Его закон гласил: «Если виноторговец разрешает в своем помещении скандалить пьяным, он подлежит смертной казни». «Если женщина — жрица храма — зашла в помещение, где продают спиртные напитки, ее надо сжечь на костре».

В Афинах за появление на работе в пьяном виде должностных лиц тоже приговаривали к смертной казни.

В республиканском Риме категорически было запрещено употребление спиртных напитков гражданами до тридцати лет, а преступления, совершенные в пьяном виде, карались особенно сурово.

После рождества Христова горьких пьяниц уже не топили, на кострах не сжигали и на кол не сажали. Но если все меры общественного воздействия не помогали (содержание в тюрьме на пище святого Антония, «воспитание» палками и «перевоспитание» плетя-

ми), то алкоголику отрубали палец на ноге, на «выдающемся» месте ставили клеймо и выгоняли за пределы отечества.

Во времена, более близкие к нам, наказания для выпивох носили уже чисто воспитательный характер (что не стыдно перенять и лечебно-трудовым профилакториям): больного помещали в изолированное помещение и до отвала кормили яствами, щедро приправленными водкой. И так до тех пор, пока поклонника Бахуса при одном только запахе спиртного не начинало выворачивать наизнанку.

В те же приблизительно времена (шестнадцатый век) в Европе появились первые «пятнадцатисуточники». Пьяницу, подобранного на улице или увезенного из общественного места, на следующий день выводили на центральную улицу и, обеспечив метлой, заставляли наводить порядок на мостовой. Совочка при этом не полагалось, доводилось полагаться на собственные руки.

* * *

Словом, граждане тунеядцы и алкоголики принялись делить «добычу», а возмущенная инженер Пахомова принялась за Куренную:

— Тетя Фрося! Они же — больные, а вы алкоголикам — водку!

— Да какие они алкоголики! — удивилась та. — Алкоголики — это которые денатурат жрут, пьют эфир, закусывая зубной пастой и глушат яблочное вино «Смерть мухам». А водку употребляют все порядочные, и потом: сколько им досталось? По сто граммов на работягу. С этакой малости пьян не будешь. Это, можно сказать, для трудового энтузиазму, вместо спецовки: нужен мужику сугрев на мокрой работе.

Наташа не нашлась что возразить.

Она не спросила, где тетя Фрося взяла деньги на угощение «граждан», в тот момент ей это в голову не пришло. И только через два дня случайно довелась, что химводоочистка скинулась — по рублю со сменного человека. Инженера Пахомову внести пай не просили.

А ночью ударил мороз: мокрую соль в вагонах заковало, заблокировало рельсы, где скопилось выгруженное месиво.

* * *

Наташа совершенно не чувствовала за собой вины в простое вагонов с солью, наоборот, она готова была выступить в роли пострадавшей... А начальник желдорцеха взыскивал за все именно с нее:

— При чем тут спецодежда? При чем погода? — негодовал он. — Смерзается соль в вагонах? Стройте камеру пропаривания. Половина соли остается на стенках? Ставьте вибратор. Я, что ли, буду за вас налаживать ваше производство?

К удивлению Наташи, за нее вступился заместитель коммерческого директора. Встал из-за стола, чуть опершись на широкое плечо Руфимова, с которым перед этим о чем-то шептался:

— Товарищи! Товарищи! — начальственно окликнул он оживившихся в зале. — Тишина и спокойствие. Разберемся. Начальник железнодорожного цеха совершенно прав: простой вагонов — государственное преступление, которое подпадает под соответствующую статью уголовного кодекса. Но одно непонятно: почему уважаемый Геннадий Андреевич выбрал в качестве отрицательного примера студентку, которая проходит у нас преддипломную практику? При чем влилась в коллектив ДМЗ не сторонним наблюдателем, а принесла свое изобретение — насос, работающий в тяжелой среде. Это очень нужное заводу изобретение, товарищи! На этом ее пытливая мысль не остановилась, с помощью руководства цеха и партийной организации она взялась за решение проблемы «гидросоли», на решающем участке отделения химводоочистки мы наконец-то механизуем трудоемкие процессы. Нам бы на завод побольше таких инженеров, как студентка-практикантка Наталья Прохоровна Пахомова! — патетически воскликнул он.

«Пахомова...» — вот и ответ на вопрос, почему столь резко изменил свое мнение Клепанбык. Дочь профессора, консультанта Минчермета.

Что-то горькое на душе. Уж лучше бы честил ее Егор Миронович за «провокационную пропаганду», чем вот так...

— Сломать человека — много не надо, Геннадий Андреевич, — продолжал заместитель коммерческого директора. — А еще обижа-

емся, что молодежь нас не всегда понимает. Тут любой на дыбы встанет: он к тебе — с открытым сердцем, предлагает свои рабочие руки, свое умение, а ты его шахтерским молотком — балдичкой по темечку. У меня как у представителя администрации создалось впечатление, что вы, Геннадий Андреевич, потеряли контроль над ситуацией.

Наташа диву давалась: оказывается, в зависимости от потребностей начальства любой факт можно дважды вывернуть наизнанку, черное назвать белым и заставить людей с этим согласиться, а они будут помалкивать в мокрую тряпочку. А кто знает, что они думают при этом о Пахомовой, о Клепанбыке, о попавшем впросак Геракле Онуфриевиче (ну и идиотское сочетание имени с отчеством!) и вообще о том, что такое хорошо и что такое плохо. Уж лучше бы объявили Наташе выговор за чертовы вагоны, и то морального ущерба причинили бы меньше.

— А где было все эти двадцать девять смен руководство цеха и, прежде всего, товарищ Руфимов? — неистовствовал Клепанбык. Маленькая хлипкая трибуна красного уголка была тесна ему, он вышел из-за нее и, размахивая руками, продолжал: — А где наши опытные начальники смен? Три вагона за десять дней могли бы обернуться десять раз, и цеха вывезли бы более тысячи тонн готовой продукции. Поэтому, товарищи водоснабженцы, вам надо серьезно решать проблему простоя. Надо работать, товарищи, шевелить мозгами, надо налаживать систему обработки вагонов в любых погодных условиях, а дядя к вам по этому случаю не явится.

Руфимов обиделся донельзя. Таким сердитым Наташа, пожалуй, его еще не видела. Вскочил, кулаком себя в грудь — бум! Загудел в красном уголке набат. Руфимов — все багровее! Надулся индюком, стал еще более круглым, зубы от злости лязгают.

— Цех получает в месяц двадцать вагонов извести и соли, и никто на это количество не будет строить пропарочную камеру и «опрокид» с вибратором. Это экономически себя не оправдывает.

«И выходит, — подумала с чувством обреченности Наташа, — бригада из «граждан алкоголиков в туняедцев» — вечное явление, и будут тетя Фрося с Веркой снабжать их для «трудового энтузиазму» поллитровками, купленными за свой счет».

И тут заместитель коммерческого директора сделал один неожиданный кульбит:

— Арзамас Руфимович, может, я в пылу полемики сказал что-то не так, извините! Три ваших вагона в общем балансе простоев по заводу — мизер, и вообще, причины простоев у вас постоянные, так что их надо, пожалуй, считать спецификой производства.

Вот тебе и на! Как говорится: «Здрасьте, я ваша тетя, приехала из деревни и буду жить у вас!» Зачем надо было огород городить!

— Товарищи водоснабженцы, — торжественно и радостно продолжал Клепанбык, — дирекция завода высоко ценит вашу трудную и нужную работу. Поэтому, — голос его поднялся до небес и зазвенел там июньским жаворонком, — принято решение наградить ваш коллектив ценным подарком: кабинетный гарнитур на тридцать предметов индийской работы: черное и красное дерево, инкрустированное яшмой и другими декоративными породами. Признаюсь, я готовил этот гарнитур главному инженеру, а он приказал: «Отдайте в какой-нибудь цех». И вот я у водоснабженцев, в родном коллективе.

Громко захлопали, кто-то, из озорников, даже крикнул: «Ура!» Клепанбык цвел и благоухал. Руфимов, не привыкший к таким моментам, засмутился:

— Мы, конечно, благодарим администрацию в лице товарища Оборощина и Клепанбыка за такой подарок. Но... — он пожал плечами: — Тридцать предметов! Гарнитур индийской работы. Где его ставить? Во всей конторе и то не уместится. А кабинет у меня — двенадцать квадратов.

Заместитель коммерческого директора не мог позволить кому бы то ни было испортить праздник, который он так ловко организовал. Поднял руки, призывая к тишине.

— Товарищи водоснабженцы, выдам секрет: вам выделяются деньги на новую контору. С бытовками, с красным уголком на сто пятьдесят мест. Ну и с кабинетом начальника цеха. А пока гарнитур может постоять в упаковке. Берите, помните мою доброту!

Клепанбык жаждал аплодисментов и благодарности, он их получил сполна.

«Ради этого Егор Миронович и не позволил начальнику желдор-цеха устроить ледовое побоище, — догадалась Наташа. — Если бы кого-то казнили с отсечением головы, праздника в цехе не получилось бы!»

А на душе у нее все равно осталось что-то гаденькое.

* * *

На химводоочистку она вернулась удрученная, отягощенная неведомыми ей раньше заботами. Легла на плечи огромная ответственность за то, что происходило рядом с нею. Конечно, она всегo-навсего исполняющая обязанности сменного инженера... Закончится практика...

Но эти трусливые мыслишки лишь усугубили чувство неловкости, которое она испытывала в тот момент и перед тетей Фросей, и перед Лизаветой, и перед своей бывшей соученицей Верой Уваровой.

«Курортное» время еще не закончилось, и смена выгревалась под стенкой в затишье.

— Премию, что ли, выписали? — поинтересовалась Лизавета. — Такая вся... Словно бы светишься.

— Кабинетный гарнитур индийской работы, тридцать предметов. Черное и красное дерево, инкрустировано яшмой. Поставят Руфимову в апартаменты, — ответила Наташа.

Лизавета недоверчиво спросила:

— Импортный, стало быть? Никак наш благодетель расстарался, Егор Мироныч.

— Он самый. — Наташа подивилась догадливости Лизаветы.

— Только Руфимычу ставить негде. Разве передаст для сохранности к нам сюда, на химводоочистку. Место благодатное, мух нет, не засидят мебели, — язвила Лизавета.

— Будто бы дают деньги на новую контору. С бытовками, с красным уголком, — почему-то начала оправдываться Наташа.

— Ефросинья Андреевна, какой год обещают нам новую контору? — спросила Лизавета товарку.

— Андрюшка мой тогда дифтеритом маялся, стало быть, лет десять. Но тогда про бытовки и красный уголок речи не было.

— А кто посулил строительство? — поинтересовалась Лизавета. — Руфимыч?

— Нет, Клепанбык.

— О, это мужик серьезный, слов на ветер не бросает, считай, что года через два справим новоселье.

«А пока?.. Какая-то нелепица с этим гарнитуром», — подумала Наташа.

Усевшись на фуфайке поудобнее, тетя Фрося спросила:

— Цеху награда, а ты, Прохоровна, чтой-то не бьешь в ладоши на радостях?

— За простой вагонов меня надо было бы отдать под суд, да молодость пожалели, — ответила та с горечью.

— Э-э, Прохоровна, взялся за гуж — не говори, что не дюж, а груздем нарекли — полезай в кузовок. Это первая твоя обида на работу... Дай Бог, чтобы не последняя... Лет этак через десять вспомнишь о первой и заулыбаешься, такой она тебе покажется милой: это же твоя молодость.

Наташа присела было к стене на солнышко, ей хотелось послушать тетю Фросю, которая по случаю свободного времени была настроена на мудрый разговор, но тут появился Кедрач.

— Наталья Прохоровна, разговор есть...

Он почему-то предложил ей подняться на плоскую крышу вздыбившейся химводоочистки, куда вела широкая массивная лестница с высокими каменными ступенями.

Крыша — это часть цеха, здесь начинались пять бассейнов, дно которых лежало ниже фундамента.

Голубоватая вода величаво-спокойна. Она почти вровень с краями осклизлых, замшелых от времени бассейнов: ни бортоограничителей, ни предохраняющих перил. Солнце подсветило воду, зажгло голубизну, подчеркнуло бездонность.

В невольном почтении остановилась Наташа у одного из бассейнов. «Бездна!» Замерло сердце, будто она подошла к карнизу высотного здания и заглянула вниз, а там, на дне глубочайшего каменного колодца, копошатся крошечные человечки...

— Хоть бы какой-то бордюрик, — невольно сказала она. — А то поскользнешься, нырнешь и... ухватиться не за что, кричи — никто не услышит.

— Говорят, в одном из этих бассейнов Воинова утопила фрица, — пояснил Кедрач.

Наташа вспомнила рассказ тети Фроси о Лизавете.

«В одном из этих...» Она растерянно разглядывала голубые чаши. Стало как-то не по себе, такое чувство охватывает всегда, когда ты неожиданно подходишь к чьей-то могиле.

Захотелось поскорее уйти отсюда. Она вопросительно глянула на Кедрача. Тот ждал ее реакции. Мягко улыбнулся.

— Обернитесь.

Он был Волшебником Изумрудного города: перед Наташей открылась поразительная панорама... Завод-рабочий и город-труженик...

В представлении студентки Пахомовой завод и город были два существа, в общем-то, ничем, кроме вынужденного соседства, не связанные. Более того, завод мешал городу. Эти вечные рыжие султаны над домами и мартенами... Эти грюкающие и лязгающие составы, которые оттяпали у отдыхающих лучшую часть пляжа...

А взглянув на них (на завод и город) с высоты, она поняла, что Донецк — это и есть они оба вместе.

Они — вросли друг в друга... Они, как две руки, сцепленные пальцами. Город вплеся в завод парками, скверами... Гигантской пиалой — стадионом. А за ним известный всей стране по телевизионным передачам террикон — «пятая трибуна», где обычно собираются ярые поклонники «Шахтера». Чуть левее стадиона — вздернутой тульей военной фуражки — цирк, еще ближе — крыши жилых домов, отражающие радостное, почти счастливое солнце. Дома-девятиэтажки поднялись на месте заводского карьера, где когда-то брали доломитный известняк для мартеповской шихты.

А завод предложил городу белую чашу мемориала погибшим в годы Отечественной войны, выводок домен, смахивающих издали на шахматные туры, приземистый мартеповский цех. Но глубже всего завод вписался в город строительной площадкой будущего стана «3200». Даже в масштабах огромного завода и выглядевшего бесконечным города новый цех был весьма приметной величиной. Застывшими сусликами у норки — башенные краны, жуками-копушами — громоздкие самосвалы, серыми полями — железобетонные панели и блоки, готовые к делу...

— Что за идея пришла вам в голову — повздорить с Клепанбыком? — спросил Кедрач.

Она пожала плечами.

— Сама не пойму. Физиономия мартовского кота. И вообще... Мужчина, посещающий женский салон красоты.

— Не следует наживать врагов там, где надо искать помощников и союзников.

— Мне с этим Егором Мироновичем детей не крестить! — резко ответила Наташа, которую начал раздражать Кедрач: «Ну какое его дело!»

— Да как знать, может, и доведется. Клепанбык в условиях ДМЗ — личность приметная. На редкость коммуникабельный человек. И это во многих случаях делает его незаменимым. К примеру, вам потребуются цельнотянутые стальные трубы для воздушного става. А фондов на «гидросоль» никто не выделит, доведется строить хозспособом. Я не удивлюсь, если вам, организатору и вдохновителю стройки, доведется доставать тампонажный цемент для гидроизоляции резервуаров через... мастера салона красоты, который обслуживает заместителя коммерческого директора ДМЗ.

— А не проще лечь с этим заместителем в постель, и будут все лимиты? — взорвалась Наташа, вспоминая свой разговор с одним из старых рабочих во время планерки.

Кедрач оставался спокойным:

— Я предлагаю будущему руководителю не в услужение идти, а стать полководцем, который владеет стратегией и тактикой и знает, что без правильно поставленной разведки и контрразведки сражения не выиграешь. У вас должны появиться друзья на всех решающих участках: в службах главного механика и главного инженера, вы должны стать «своим парнем» для снабженцев и оксовцев, для их друзей и... жен. В общем, ищите соратников и единомышленников, а дураки и супротивники сами объявятся.

Сидевший с Наташей на летучке мудрый бригадир участка газоочистки говорил о Клепанбыке: вечный заместитель коммерческого директора, двоих при нем посадили. И вот сейчас она вспомнила изрядно нашумевший в свое время случай.

— Года три тому, если мне не изменяет память, судили коммерческого директора ДМЗ. Какая-то такая задиристая фамилия на букву «Т». Торшевский, что ли? Он оказался шпионом, причем сразу работал и на Японию, и на Америку.

Кедрач весело рассмеялся:

— А что, Клепанбык подпадает под ваше представление «шпион»? — Но видя, что Наташа обиделась, перешел на более серьезный тон. — Коммерческий директор с задиристой фамилией на букву «Т» — Теодоровский. Он продал иностранцам коммерческую тайну. И хотя Клепанбык работал у него замом, к преступлению шефа отношения не имел.

«Коммерческая тайна...»

— Это как понимать?

— Установкой непрерывной разливки стали заинтересовалось девять капстран. Сколько слупить с господ капиталистов? Судилирядили и пришли к выводу: запросить три с половиной миллиона, ну а на худой конец — уступить за полтора. Так вот, верхний и нижний потолок цены — это и есть коммерческая тайна. Японцы за эту тайну подарили нашему коммерческому боссу видеоманитофон на восемь дорожек, американцы оказались щедрее — открыли на имя «друга» счет в швейцарском банке на десять тысяч долларов. А мы понесли экономический ущерб почти в четыре миллиона.

Наташа вспомнила то унижение, которое пережила, слушая, как гоп-компания тяжело и мучительно «сто два года» пропивала «миллионы», наглядно демонстрируя причиненный стране ущерб «нерадивостью начальников, полуначальников и четвертьначальников».

— Расстреляли? — жестко спросила она.

— Увы! По уголовному кодексу это всего лишь должностное преступление, именуемое взяткой.

Кому не известно, что чувство безнаказанности порождает убежденность, будто ради цели (японский видеоманитофон на восемь дорожек) есть смысл рисковать. Зато если операция пройдет благополучно, соседи и сослуживцы (особенно их жены и подруги) умрут от зависти: «Ни у кого нет, а вот у Теодоровского — свое кино на дому! И между прочим, есть такие пикантные моментики... из интимной жизни».

И никто из умирающих от зависти не спросит у гражданина коммерческого директора, на какие такие шиши он приобретает запонки стоимостью в восемнадцать тысяч рублей! Никто и взглядом не осудит «счастливчика», престиж владельца японского видеоманитофона будет в глазах соседей чрезвычайно высок, вызовет зависть к его возможностям выменивать у японцев видеоманитофон стоимостью в пятьсот пятьдесят долларов на коммерческие и технические тайны стоимостью в три-четыре миллиона рублей в золотой валюте.

— А чем мы с вами лучше Теодоровского? Парторг цеха рекомендует автору «гидросоли» заняться добычей стальных цельнотянутых труб через мастера салона красоты, где имеет честь делать прическу заместитель коммерческого директора, — саркастически заметила Наташа.

— Я с вами полностью согласен, — заявил Глеб. — Уголовный кодекс далек от совершенства. Я бы предложил: отработать в местах лишения свободы гражданину Теодоровскому до полного погашения причиненного убытка. Сам не справится — пусть подключаются ближайшие родственники, но я все-таки прошу вас воспользоваться моим советом: не оценивайте людей по их странностям и не превращайте возможных союзников в недоброжелателей. Да сопутствует вам удача на трудном пути руководителя! — Он вдруг взял ее за плечи, повернул лицом к заводу. — Взгляните на листопрокатный, на левый угол, — предложил он. — Наша ДНК.

Какие все-таки удивительные сюрпризы преподносит нам порою природа! На плоской железной крыше... утвердилось золотоволосое дерево: ядреное, пышущее здоровьем, густая, не выщипанная суховеями листва придавала ему круглую форму. На невидимых отсюда отвалах вылили шлак. Жидкое, рукотворное солнце окрасило на мгновение мир в свои огненно-оранжевые цвета. И дерево заискрилось, словно газовая свеча домны, словно костер из тяжелых бревен, который начал было затухать, но его потревожили. Дерево на крыше шевелило листвой, дышало, жило.

К нему был прикреплен на короткой палке скворечник. Но самое удивительное в другом: он был двухэтажным и оба этажа явно заселены. Отсюда не разберешь — скворцами или воробьями, но двухэтажный птичий домик — жилой.

Наташа в этот момент забыла обо всех неприятностях и обидах, которые доставили ей утренний наряд и тяжелый разговор с Глебом. Несправедливости в мире в тот момент не существовало, он был соткан из удивительной гармонии.

— Спасибо, — сказала она, показав на листопрокатный цех с деревом на крыше, на далекую стройплощадку стана, на город, побратавшийся с заводом, и уточнила: — За подарок. А то в каменном-то городе, в железных цехах забываешь, кто ты и откуда пошел человек.

Они постояли еще несколько минут, любуясь чудом. Кедрач предложил:

— Послезавтра к Мокроусову? В ваш выходной.

Она согласилась.

* * *

Отныне поведение Наташи, ее отношение к людям, к заводу, а особенно к материалу будущей дипломной работы вытекало из поведения Глеба Кедрача, из его отношения ко всему, что теперь ее окружало. И она начала ощущать... Ну как бы это поточнее определить... Не превосходство Глеба над собою, а свою вторичность по отношению к нему.

Во время поездки в Жданов это неприятное чувство обострилось. Наташа сидела за рулем. «Жигули» — машина скоростная, приемистая: чуть-чуть прижала — стрелка на спидометре за сто прыгнула: «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Черт поberi все!...»

Словом, Наташе нравилась быстрая езда. Она не умела плестись в хвосте у какого-нибудь лидера, в ней просыпался инстинкт гончей, и она (это у нее получалось как-то само собою) невольно бросала «Жигули» вперед: обогнать! Обойти! Не позволить маячить перед глазами.

По этой причине мама Нина почти никогда не садилась в машину, если Наташа была за рулем. Профессор Пахомов ездил размеренно и гордился тем, что за четверть века ни разу не был замечен

работниками ГАИ в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Она обогнала серую «Волгу» и, отрываясь от преследования, ушла вперед. Кедрач с легкой иронией сказал:

— В Калифорнии очереди за бензином — на неделю. А в Токио собрались главы правительств ведущих капиталистических государств: обсуждают пути снижения потребления нефтепродуктов.

Наташа, поглощенная своими мыслями, с недоумением скосила на него глаза:

— Я о скорости, — пояснил он. — Для «Жигулей» самая выгодная во всех отношениях — девяносто пять километров.

— Зачем же машине дали такие богатые возможности?

— Чтобы выбирать оптимальный режим.

— Я предпочитаю считать время, а не литры, — возразила она.

Кедрач показал на спидометр, глянул на часы и до Жданова ехал молча.

Но Наташа и молча ему возражала. Стрелка на спидометре металась от одной крайности к другой. И не то, чтобы трасса была загружена... Но все равно: шли встречные машины... На довольно протяженном участке ремонтировали дорогу... Какие-то повороты...

Когда въехали в город, Глеб вновь обратил внимание Наташи на спидометр и часы:

— Средняя — девяносто два километра.

И вот с тех пор ощущение вторичности, зависимости от Глеба Наташу уже не покидало. А примириться с этим она не хотела и не могла.

Встреча с автором проекта «гидросоли» прошла, как говорится, в дружеской обстановке.

Мокроусов вначале поудивлялся, что кто-то проявил интерес к его «оскандалившемуся» много лет тому проекту, а потом передал «наследнице» все, что было в его старых архивах.

Казалось, только бы радоваться, но ощущение окрыленности, которое порождает удача, не приходило. И виноват Кедрач, который умел быть правым во всем, даже в мелочах.

Возвращались — уже вечерело... Из лесных посадок, с полей не убранный кое-где кукурузы, из балочек лазутчиком выползала тем-

нота. Она еще не поднялась на дыбы, не застила — не затянула собою фиолетовую полоску неба. Шоссе посерело, стало узким. Уходящий в иное время к горизонту дальний край, к которому ты мчишься со скоростью ста двадцати километров и не можешь достичь, вдруг рывком приближается к тебе. Вот он, всего в нескольких метрах, хотя по-прежнему недосыгаем.

Наташа включала фары и выключала их, но от этого дорога не становилась яснее, надежнее. Перешла на подфарники и ориентировалась больше по каменистой бровке, которая хоть чуточку отличалась от беспросветно-серого асфальта.

Используя свет встречных машин, Кедрач часто посматривал на часы. Наташа понимала: отец волнуется. Сын вернулся из продленки и сейчас в квартире один. Глеб говорил: «Шурка у меня — мужик самостоятельный». Но ребенок остается ребенком. Да еще мальчишка. А не вздумается ли ему поиграть в пожарников и развести посреди комнаты костер? Бывали случаи...

И в том, что отец — в машине, в шестидесяти километрах от дома, а сынишка сиротствует в пустой квартире, Наташа сейчас винила себя.

Желая до предела сократить срок разлуки отца с сыном, она все глубже и глубже вдавливала педаль акселератора.

Сто двадцать... Сто сорок...

— У меня создается впечатление, что мы спешим на собственные похороны, — проговорил негромко Глеб.

Но в Наташе уже жило неумное желание доказать этому человеку...

Что доказать? Она даже самой себе не могла ответить на этот вопрос. Но в той битве умов, знаний, интеллект, которую будущий инженер вела с бригадиром бригады слесарей цеха четвертой категории, Наташа пока не выиграла ни одной, даже самой крохотной, незначительной стычки...

И вот первое — скорость. Она ее всегда любила, шалела от вида неумолимо, неотвратимо бросающейся под колеса серой ленты дороги. Дорога и ты! И ничего иного нет: ни неба, ни встречных машин, ни опасности, живущей в их стремительном сближении с тобой. А Кедрач осторожничал, сдержанно, по-мужски проявляя эту черту характера.

«Победа! Победа!» — ликовало сердце, когда Глеб попросил сбавить скорость.

Наташа была великодушна, она отпустила педаль, мотор недовольно запротестовал.

Вовремя. А не покоришься Наташа Глебу Кедрачу, что было бы с ними?

По глазам резанул острый луч. По остроте и беспощадности света Наташа поняла: боковой прожектор. И вторая реакция: «Не пьяный ли? Почему умышленно слепит?»

Этого сомнения в себе и в водителе встречной машины оказалось достаточно, чтобы чуть рвануть руль вправо.

Машина перескочила неширокий пологий кювет и, выпорхнув на другую сторону обочины, врубилась в молодую посадку.

Водитель всегда успевает подготовиться к встрече с такой ситуацией, ему есть во что упереться: руль, педали...

Залязгало! Заскрипело! Зазвенело.

«Приехали...»

Страх пришел к Наташе мгновением позже. Фары погасли. Ее и Глеба окутала зловещая темнота. Чувство виновности и угнетенности усиливала внезапно наступившая тишина. Первая мысль: «Глеб! Молчит! Не шевелится!»

Она лихорадочно нащупала кнопку и включила свет в салоне.

Кедрач зажал рукой лоб: сквозь пальцы пробилась струйка крови. Почему-то черная...

— Глеб Игнатьевич! — это со страхом.

— Бровь... На ринге по такому поводу засчитывают поражение.

В машине была аптечка. Мама Нина снаряжала ее с особой тщательностью и на все случаи жизни.

Перевязывая пострадавшего, Наташа касалась его головы, и страх, родившийся в первое мгновение, проходил. «Жив».

— Подташнивает?

— Нет...

— Только бы не сотрясение.

— Да не должно быть...

Глеб вышел, осмотрел машину.

— Разбита левая фара. Помято крыло. Фару заменим. Крыло — отрехтуем. Ваш Слава Бобренок — кудесник по этой части. «Родная» краска найдется?

— Наверно... — Наташе было стыдно за все, что произошло. — Надо посмотреть в гараже.

— Но за рулем место займу я. А вы — на правах почетного пассажира. И не обижайтесь на мою настойчивость, Наталья Прохорова.

Она хотела возразить: мол, я водку не пила, — но чувство вины заставило ее промолчать. Она пересела на заднее сиденье.

* * *

Для того чтобы въехать в город, надо было миновать родину осенних туманов — просторную лощину, откуда начиналась трехкилометровая лужа, носившая «ужасно современное» имя — Донецкое море. С высоты пологого холма, южный склон которого распахал пригородный совхоз, на въезжавших не без удивления глядели разноцветными глазницами-окнами девятиэтажные дома, в которых жили рабочие хлопчатобумажного комбината, совершенно нового для Донбасса предприятия. А лет пять-семь тому, чтобы добраться до первых домов-хибарок, надо было ехать минут десять от границы города, обозначенного железобетонной стрелой с буквами «Д», «О», «Н», «Е», «Ц», «К».

Автотрассу расчленил надвое широкий газон, на котором, вытеснив все живое, прочно обосновали свои поселения, смахивающие на доты, плакаты монументальной пропаганды. Наташа пыталась прочитать, но глаза не успевали пробежать по тексту одного, как на нее устремлялся, требуя к себе внимания, другой. В памяти оставались лишь цифры «40», «5»... и непонятные аббревиатуры и сокращения — «тыс. тн», «млн. тн». Лучше бы какие-нибудь картинки...» — подумалось ей.

— Заедем к одному деятелю, — сказал Глеб, молчавший всю дорогу с тех пор, как сел за руль. — Может, разживемся фарами.

Наташа не возражала, ей в тот момент, в сущности, было все равно, куда и зачем ее везут: какая-то вязкая, словно густеющий резиновый клей, апатия держала все — мысли, чувства...

Машина шныряла по узким переулочкам-загогулинам старого шахтерского поселка, утопавшего в садах, которые быстро обнажались, роняя себе под ноги сбитую недавними морозами листву.

Глеб куда-то ушел, предупредив: «Поскучайте в одиночестве несколько минут».

Вернулся обескураженный:

— Отдал на днях последнюю. Но знает какого-то Левана, у которого имеется комплект фар и подфарников на «Жигули». Боюсь только, сдерет этот абрек шкуру...

— Деньги у меня есть, — быстро ответила она. Поставить в гараж «Жигули» с разбитыми фарами и помятым крылом — значило создать прецедент, способный довести отца, любившего свою машину нежно и преданно, до инфаркта.

— Просил наведаться часика через полтора. Может, пока заскочим ко мне? Тут недалеко. Шурка нас попотчует чайком. Прихожу с работы, он и ужин сварганит, и знатный чаек заварит. А гостей любит! В одиночестве засиделся и рад живой душе.

Наташа не возражала: чашечку чайку покрепче... согреться, а то душа поотсырела за эту дурацкую поездку.

Поднялись по скрипучей деревянной лесенке на второй этаж. Ступеньки были необычно высокие, ногу приходилось задирать чуть ли не к подбородку. Затем непомерно широкая дверь, а за нею — коридорчик, утесненный стеллажом с книгами под потолок.

— Шура! — с внутренней теплотой окликнул Глеб. — Встречай гостей.

На порожке комнаты появился худенький белобрысый мальчишка в желтенькой майке-безрукавке. Остренькое личико, синюшные губы, рученьки тоненькие, совершенно бесформенные: такие подошли бы деревянному человечку Буратино.

— Знакомься, — предложил отец. — Наталья Прохоровна. Можно проще — тетя Наташа.

Мальчонка вскинул на нее выразительные голубые отцовские глаза. Вначале они были светлыми, чистой воды, но вот начали темнеть. Белесые брови нахмурились и прописались, а то до этого их было почти не видно. Наташа инстинктивно почувствовала, что не понравилась мальчишке.

— Здравствуй, — она протянула ему руку, как взрослому.

А он рывком, словно бы обжегся, убрал свою за спину.

— Зачем ты ее привел? — жестко спросил он отца, обвиняя того в преднамеренной измене. — У меня есть мама.

Наташа дернулась, как от хлесткого, неожиданного удара. Ей бы — в дверь и на улицу. За руль и жать на педали, мчаться прочь отсюда со скоростью обреченного, не обращая внимания на опасные повороты.

Да и у Глеба состояние — не лучше. Ошарашен отец: он так нахваливал своего сына, его гостеприимство.

— Шура! Мы с Натальей Прохоровной работаем в одном цеху... Я тебе еще утром говорил, что поеду в Жданов к дяде Вите. Возвращались, случилась авария: нас ослепила машина, и мы врубались в посадку. Мне обещали достать фару... Надо выждать часика полтора. Вот я и пригласил Наталью Прохоровну к нам, пообещал, что ты угостишь чайком.

Кедрач оправдывался перед малолетним сыном, словно перед ревнивой женой, и чувство вины Наташи от этого усугублялось.

Саша был неумолим:

— Если вместе ездите в Жданов, то и пейте там свой чай и свою водку! — он шмыгнул за дверь. Щелкнул два раза замок. Мальчишка заперся.

— Вот так пироги! — вырвалось у обескураженного отца.

Наташа хотела уйти: «Да пропади пропадом эти фары! Домой!» Но Глеб взял ее за руку, как-то уж очень нежно и преданно заглянул в глаза:

— Шура меня приревновал к вам, причем не на шутку. Значит, он почувствовал в вас что-то особенное. Не обижайтесь на него.

Конечно, не обижаться же на выходку мальчишки с... ущербной психикой: нет матери, это же ущербная судьба! Наташа представила себе, что вдруг однажды не стало мамы Нины... Она взрослый человек, в общем-то, с независимым характером, ощутила вокруг себя пустоту... А тут — ребенок, который нуждается в ласке, в заботе... И каким бы превосходным ни был отец, матери он не заменит.

Наташа начала успокаиваться. Глеб привел ее в крохотную, уплотненную до предела нехитрой мебелью кухоньку и начал колдовать над чаем. А она думала и думала о Шуре, вернее о его «выбрыке». Почему так болезненно воспринял мальчик ее появление? Чужая тетя? Но разве никогда к Глебу Кедрачу никто не заходил? Что Шура увидел особенного в ней? Почему выделил из всех?

Кедрач по-хозяйски наливал в красивые, чуть щербатые по краям чашечки севрского фарфора чай, а Наташа с нескрываемым любопытством рассматривала Глеба.

СЮРПРИЗ ИМЕНИННИЦЕ

Обходная, а в просторечии «бегунец», — это такая справка, в которой двадцать три раза написано, что ты не проходимка, то есть никаких книг библиотекам не должна, в профкоме и парткоме — не должна, на складах — не должна, в кассе взаимопомощи — не должна, не брала, а следовательно, возвращать тебе нечего и увольняешься ты почти честным человеком. Почему «почти»? А вдруг ты назанимала уйму денег у своих товарищей по работе?!

Бегая из конца в конец огромного завода, выстаивая «хвостики» и ожидая нужных людей, Наташа чувствовала, что у нее за спиной остается нечто очень важное... Может быть, юность? (Студенческие годы?) И хотя ей предстояло заниматься еще целый семестр, сдавать экзамены и госэкзамены, защищать дипломный проект, то есть связи с институтом продолжают, но, как ни парадоксально, все это уже принадлежало прошлому. А она в мыслях и чувствах вся устремилась в будущее, в то время, которое наступит после получения диплома.

И все-таки какая это благодать — не спешить на смену, где довелось бы «выколачивать» из кого-то нерасторопного извести и соль, уже не надо ругаться с электрослесарями: дескать, грейферный кран остался без электрозащиты, и тут недалеко до беды; больше не доведется добывать в соседних цехах отбойные молотки, чтобы расковырять «пик имени тети Фроси». Осталась в прошлом гопкомпанья — этакий гнойный нарыв на том месте, что пониже

спины. Душа и память вычеркивают из своих поминальных списков страшное, как раковая опухоль, явление — Теодоровского с его видеоманитофоном, приобретенным в обмен на предательство интересов родины. Вот только Глеб Кедрач со своим Шуркой остаются в памяти тревогой.

Нежится Наташа в постели, купаясь в теплых волнах ленивого блаженства.

За окном — лютый.* На «флейтах водосточных труб», на проводах, натянутых ветром и морозом, словно струны гавайской гитары, в окнах, заклеенных аккуратно пластырем, метелица высвистывает озорной мотивчик сочинения самого «музыкального» месяца года.

Мама Нина два раза легонько стукнула в дверь, предупреждая о своем появлении, и тут же вошла, внося сладковато-приторный запах косметики. Поцеловала дочь в щеку.

— Кого приглашаем?

Через пять дней у Наташи день рождения. По традиции сей семейный праздник в доме Пахомовых отмечался торжественно.

Для мамы Нины это особо приятные хлопоты.

По ее убеждению, тонус праздника зависит от «подбора и расстановки кадров». И тут дело не в возрасте, а в так называемой коммуникабельности, способности к общению, в том интеллектуальном уровне, который хотя бы на время порождает общие интересы между студентом Славой Бобренком и главным инженером завода, умницей Григорием Григорьевичем Оборозиным.

Словом, атмосфера должна быть достаточно демократичной. Вино не только на общем столе, но и как бы случайно оказавшееся на серванте или на ломберном столике. Сигареты. Нечто экзотическое — вроде «Мальборо» или «Зодиака». Забавы, периодически встряхивающие всех. Споры на животрепещущую модную тему, с интеллектуальным уклоном: «Моральная сторона пересадки сердца», «Выращивание человеческого зародыша в лабораторных условиях», «Народонаселение и распределение продовольствия на земном шаре»... «Соль, сахар и гипертония» — но это уже для тех, кому за сорок. На крайний случай можно подбросить собравшимся тему

* Лютый — так по-украински называется февраль.

«Снежный человек» или «Бермудский треугольник», но это только «на крайний случай», как и легенда об очаровательном ихтиозавре Несси из горного озера Лох-Несс. Дело в том, что в ожидании чуда живут лишь люди среднего возраста (женщины — бальзаковского) да школьники. На думающую молодежь сказки навевают скуку, как разговоры дилетантов на специалистов.

Говорят, на именины не приглашают, но Нина Ивановна умела вовремя напомнить, этак невзначай, кому нужно. Приходили обычно институтские, в основном, страстные поклонники «Антошки», где два года царствовала старостой Наташа, кое-кто из «нужных» людей, ну и завсегдатаи «пятниц» мамы Нины — аспиранты кафедры профессора Пахомова, вчерашние его ученики

Так было вчера и позавчера, так было всегда, сколько помнила себя Наташа. Но есть великие события в жизни земли, человечества, каждого из нас, которые меняют представление о добре и зле, о целесообразности и бесполезности. Они, события, дают нам даты, от которых начинается новое летоисчисление. Историки говорят: «до новой эры», «до Октябрьской революции», «после Великой Отечественной»... В жизни Наташи эпохальным событием стала «гидросоль» с ее героями: тетей Фросей, Лизаветой, Глебом Кедрачом, с Руфимовым...

— А не пригласить ли заводских, с химводоочистки? — предложила она. — Этакая свежая струя в привычно-семейном обществе.

Нину Ивановну эти слова поразили, как Господнее наказание:

— Кого именно?

Наташа в пику матери, со злым озорством начала перечислять:

— Веру Уварову — ты ее знаешь по школе. Так и осталась хохотушкой. Она теперь — Решетняк. Ее с мужем. Тетю Фросю. Того богатыря, которая считает, что разнорабочая на своем месте нужнее для производства, чем главный инженер завода вместе с генеральным директором. Обаятельная женщина, мать девятерых сыновей.

— Надеюсь, сыновья не того возраста, с которыми приходят на именины? — поинтересовалась Нина Ивановна.

— Именно того: двое. Один — женат, второй, к сожалению, в армии, остальные — не в зачет. Так что она пожалует только с мужем, Лукой Степановичем. Он в моей смене работал слесарем.

Затем — Лизавета Воинова — женщина оригинальная, можно сказать, бывшая партизанка, это она сбросила оккупанта в бассейн.

— Ах-ах, бесподобное украшение именин! С каким удовольствием доктор Мозжухин послушает анекдоты подзаборного пошиба в исполнении этой пикантной особы. А королем вечера, само собою, будет твой консультант по дипломной теме, этот слесарь... как его... — мама Нина защелкала по-цыгански перстами, артистично демонстрируя, как трудно ей вспомнить фамилию.

Наташа услужливо назвала:

— Глеб Игнатьевич Кедрач.

— С женою, — досказала мама Нина.

— Без.

— Ком-па-шечка! — процедила Нина Ивановна.

— Но если мои гости, — подчеркнула Наташа интонацией, — на моих именинах тебя не устраивают...

Мама Нина поняла, что решение дочери окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Последнее время она перестала понимать Натулечку и начала побаиваться вот таких стычек, заранее зная, что дочь настоит на своем. Что можно было бы противопоставить сатанинскому упрямству Натулечки? Скандал? Но к чему он приведет? К еще большему отдалению, к еще большему непониманию друг друга.

Нет-нет, мама Нина не сомневалась, ее дочь — не из худших: в кутежах участия не принимает, глупостей себе не позволяет, и хочется надеяться, что не позволит. А то ведь нынче в моде полное раскрепощение. Стоят двое на троллейбусной остановке — ему шестнадцать, ей на годик поменьше — и целуются, как в кино: со вкусом, со знанием дела, будто они в ночном парке, в заброшенном, одичавшем уголке. И делай вид, что не замечаешь, иначе эта современная Джульетта такую характеристику тебе прилюдно выдаст, что волосы вмиг поседеют, потом им не поможет импортный краситель.

Говорят, что за границей нравы еще более упрощены. В Англии есть какой-то парк, где молодежь занимается «практической любовью» прямо у всех на глазах. Кто-то из «стародумов» — депутат палаты общин — потребовал от правительства издать Биль, запре-

щающий «скотство, оскорбляющее человеческое достоинство». Но тут же выступила женщина, тоже депутат, и громогласно заявила: «Прогрессивные люди Англии не позволяют покушаться на свободу личности».

У нас, слава Богу, до этого уровня «свободу личности» не усовершенствовали...

* * *

На следующий день Наташа побывала на заводе, в свою смену. Двух недель не прошло, как она рассталась со всеми хлопотами, неприятностями и нервотрепкой, которая называется «участок химводоочистки», а встретила тетю Фросю и Лизавету — что-то подступило к горлу, будто после долгой болезни увидела весеннее солнышко. Прибежала Вера Уварова — даже расцеловались.

— Умереть можно! — тараторила она, сверкая на радостях глазами. — Придем! Обязательно.

— И без опозданий, — подтвердила Лизавета.

В общем-то у Пахомовых считалось хорошим тоном прийти в восемь, если тебя приглашают на семь, то есть дать хозяйке час форы на то, чтобы привести себя в порядок. Гостей обычно ждали до девяти, кто приходил в половине десятого, считался опоздавшим. Успевшая поднять пару тостов компания начинала громко возмущаться пришедшими. Одни кричали: «Штрафную!», другие — «Оштрафовать — кроме минеральной ничего не наливать». Сходились в одном: наказать виновных, а выбор меры предоставить хозяйке. Та отпускала гостей с миром — усаживала на приготовленные для них места за столом.

Впрочем, первыми в назначенное время явились не заводские, а ребята из «Антошки» во главе со Славой Бобренком. Слава — в новом черном костюме, рубашка — белоснежные вершины Гималаев.

— Нина Ивановна, вы меня узнаете?

— Слава! Вы настоящий принц на коронации.

— А вот корона для принцессы! — он извлек из сложенной пакетом газеты листок плотной гербовой бумаги, смахивающий на облигацию. — Диплом на изобретение насоса оригинальной конструкции, способного работать в тяжелой среде! — Славка поклонился

Наташе. — Уважаемый соавтор, примите в качестве подарка от коллег по «Антошке» диплом, выписанный на ваше имя!

Это был действительно королевский подарок. Наташа захлопала в ладоши, словно девчонка, получившая заветную куклу.

— Славка! Какой ты молодец! Какой молодец! — она расцеловала его.

А он, смущенный, красный, словно свежий кирпич из печи-сушилки, искоса глянул на Нину Ивановну, на ребят из «Антошки».

В качестве его адъютантов пожаловали два Вовки: Слынько со Слынюком, фамилии которых вечно путали все, и долговязый очкарик Артур Утятин-Загорский.

— Коллеги! — предложил Утятин-Загорский. — По поводу диплома, усиленного поцелуем, старосте «Антошки» наше коллективное «ура»!

Они взялись за руки, словно детишки в средней группе детсада, которых воспитательница сбила в круг, или разгулявшаяся компания, исполняющая танец «сиртаки», и вполголоса прокричали троекратное «ура».

Мама Нина расчувствовалась, у нее на ресницах, прилипнув к густой туши, застыли янтарные слезинки. Она расцеловала Славку и спохватилась:

— Я же еще не готова к приему гостей! В халате! Прическа! И вообще...

Впрочем, Нина Ивановна всегда и каждое мгновение оставалась женщиной, которая не прочь пококетничать, если есть перед кем. Прическа у нее была в полном порядке, уж личный парикмахер Фрида постаралась: натуральный «сессон».

— Нина Ивановна! — вполне искренне восхитился Славка. — Но вы в самой боевой форме!

— Слава, женщина всегда хочет того, чего у нее нет, чего она не может себе позволить по вине неумолимого времени и несостоятельности «личного» мужчины.

Она упорхнула.

— Ребята, пока гости «не соизволили», могу потешить музыкой. Есть «Смоки», — предложила Наташа. — Новая запись: «Жевательная резинка», «Иголочки-булавки»...

— Вперед, голодные, к магнитоле! — согласился долговязый Артур и на английский манер — одной головой — поклонился вначале Наташе, потом ребятам.

— А-а-а... мне, староста, на-надо с тобой про-про-консультироваться, — сказал, начав заикаться, Славка. И засмутился. Веснушки на курносом носу — полевыми ромашками. — Де-дело государственной важности.

Наташа, настроенная лирически, пригласила Славку к себе в комнату.

— Ты знаешь, что Мо-Мозжухе на ка-кафедру дали двух аспирантов? — взволнованно начал Славка.

— Нет, — призналась Наташа

— Он пред-предложил одно место мне, а дру-ру-гое приберег. Э-это его подарок тебе на именины.

— Правда?

— Я ви-вижу в этом пе-перст су-судьбы... Выходи за меня замуж.

Сказав, Славка сам удивился своей смелости. Стоит, тарачит на подругу глаза.

Удивил! Ошаршил!

Она не знала, что ответить. И не потому, что внутренне не подготовилась. Давно знала, что Славка по ней сохнет. И воспринимала это как нечто приятное, милое, пощекотывающее девичье самолюбие. Но не больше. Просиживали вечерами в библиотеке, ходили вместе в кино, когда удирали со случайных лекций, породили «Утенка»... Славка — друг, верный, надежный... Но не больше. (И не меньше.)

Сказать сейчас ему «нет» — значило обидеть, разрушить надежды, потерять что-то из той очень нужной дружбы, которая у них родилась за три года работы в «Антошке».

— Славка, милый... Замужество превращает любовь в обязанность.

Это была не отговорка, Наташа в нечто подобное верила. Видела, как все у других, читала... Вот, например, статья «Семья и любовь». У автора солидный статистический материал: десять тысяч опрошенных из тех счастливых, у которых в первые два года брак не распался... На вопрос: «Что вас удерживает в семье?» — 32 процента

ответили: «Развод — это такие хлопоты...» 31 процент заявил: «Дети (ребенок)». 27 процентов: «Идеалов в жизни не существует. А мы уже притерлись друг к другу».

И только 12 процентов из десяти тысяч «благополучных» супругов смогли произнести заповедное «люблю».

Впрочем, вся эта статистика и размышления к Славке сейчас не имели никакого отношения.

Славка побледнел, глаза растут, растут, уже — с блюдечко...

— Не подошел за-заика, — прохрипел он.

— Не то, Слава, милый, совсем иное... Просто... Ты не мой принц. Я тебя очень прошу: оставь мне свое «люблю» и возьми назад слова о замужестве. Прошу...

Она умоляла, она действительно хотела, чтобы он освободил ее от непомерной, непосильной ответственности...

Поверил...

— Беру... На-на время.

Под наплывом чувств признательности, она его вновь чмокнула в щеку.

— Мир? Дружба?

Он протянул ей мизинец, она прихватила его своим: это была святая клятва членов «Антошки».

— Идем к нашим... Только — нос морковкой к небу, и чтобы в глазах — озорнинки.

В зале на полную мощность ревела стереомагнитола: загадочная мелодия «Космического пульсара» Поля Мориа уносила слушателей в необозримые просторы Галактики.

— Мы проконсультировались, — сказал бодренько Славка.

Но никто из друзей внимания на него не обратил: Вовки Слынько и Слынюк — надежда Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института — резались в «синюху»: они по очереди подбрасывали щелчком спичечный коробок, лежащий на краю журнального столика, стараясь поставить коробок на ребро или на попа. Долговязый очкарик Утятин-Загорский с важным видом грача, вышагивающего по свежей пахоте, судил:

— Одно очко. Еще очко. Пять очков! Синюха! — И прокомментировал итог игры: — Так жадность фрэера сгубила.

В это время пробудились стоявшие в углу огромные часы — семейная реликвия Пахомовых. Густой, тягучий гул пополз по комнате.

— Упал седьмой час, как с плахи голова казненного, — сообщил Утятин-Загорский, возвращая на место привычным движением пальца сползающие с переносицы очки.

Над дверями свои два такта мелодии «Широка страна моя...» пропел звонок.

— Натулечка! — закричала мама Нина из своей комнаты. — Это кто-то из твоих аккуратистов.

Наташа распахнула дверь:

— Входите!

Первой у порога стояла полужнакомая ей женщина в огненно-рыжей длиннополой дубленке, которая делала ее высокой и стройной. На голове — меховой берет. «Цок-цок!» — сказали сапожки, переступившие порог.

— Наталья Прохоровна, мы, как и обещали! Кроме Руфимыча, у него сердце просит капитального ремонта.

«Лизавета!» Куда делась ее бледность, вселенская усталость, ставившая обиженную жизнью женщину злость. Брови — шнурочки, уходящие тоненькими «усиками» к ушам. Под большими жгучими глазами — тени французской косметики. Тонкие губы потеряли привычные очертания, как бы налились добротой, такими их сделала умело наложенная помада.

Тетя Фрося внесла довольно высокий фанерный ящик.

— Ставь, — распорядилась Лизавета, указывая царственным мановением руки, куда именно надо поставить ношу.

Тетя Фрося слушалась ее беспрекословно.

— С днем ангела, Наталья Прохоровна! — пробасила она. И тут же троекратно облобызала именинницу.

За женою вкатился в коридор Лука Степанович с баяном в руках. Шествие замыкал Кедрач.

Наташа в душе радовалась: «Молодцы!»

— А мы — со своей музыкой, — сказал Лука Степанович, ставя футляр рядом с фанерным ящиком.

* * *

Во время пребывания в заводском пансионате тетя Фрося все уши прожужжала соседкам по комнате о своем Луке Степановиче: какой он у нее замечательный и как это ей повезло в жизни. У Наташи тогда, естественно, сложилось убеждение, что Лука Степанович — мужчина под стать тете Фросе. А заходит она как-то на химводоочистку — тетя Фрося обедает. Расстелила на столике в дежурке серый платок: стоит на нем бутылка пива, лежат огурцы, помидоры, вареная картошка. Тетя Фрося рыбешку чистит. На лавочке возле «скатерти-самобранки» присоседился невзрачный мужичок. Росту — никудышного, волосы реденькие — лысина давно прорисовалась. Вот только нос — так нос. Есть на что посмотреть.

— Мой Лука Степаныч, — пропела радостно тетя Фрося.

Он поднялся с лавки. Вроде бы и не вставал — все того же росточка, как гном из андерсеновской сказки. Вытер руку о краешек платка, протянул Наташе.

— Наслышался от Фросеньки: Наталья Прохоровна да Наталья Прохоровна. А с вашим отцом знаком самолично: уважительный человек.

— Лука Степаныч, — пропела радостно взволнованная тетя Фрося.
— Чтой-то ты нынче соловьем засвистел. Приглашай-ка лучше гостью к столу.

Лука Степанович, прихватив пальцами кончик рукава фуфайки, смахнул со скамейки несуществующую пыль.

— Просю!

Он был галантен и добр. Не отозваться на эту доброту было просто немыслимо. Наташа села за стол.

Помидоры — объедение. Они пахли солнцем, ветром. Берешь в руку — пружинит упругий плод. А картошка! Во рту тает.

— Откуда такая?

— С Лукой Степанычем на своей усадьбе подняли. То его секрет. Он в огородном деле — Мичурин. У нас с ним все — самое-самое. Самая первая в поселке редиска, самые сладкие огурцы, самая урожайная картошка, самый большой дом, самая высокая антенна...

— И сыны, — вставил Лука Степанович.

Жила в светлых глазах тети Фроси бабья гордость, невольное желание похвастаться своим счастьем проявлялось в каждом жесте, в каждом слове. Защемило от непонятной, в общем-то беспричинной зависти сердце Наташи. Углядела Ефросинья Андреевна в жизни своего, единственного, очень нужного, отличила от других, не погналась за ростом, за внешностью, за положением, выбрала человека!

Тетя Фрося воркует:

— Чтой-то, Лука Степаныч, мы с тобою сегодня расхвастались!

— Расхвастались, да не забрехались, — и потчует Наташу дарами своего огорода.

Таким он и жил теперь в ее восприятии.

* * *

Гости прихорашивались перед трюмо, Наташа оглядывала их со стороны: «Одеты — вполне...» А Лизавета была по-настоящему красива в черном платье «миди», с юбкой восьмиклинкой. На шее — тяжелые самшитовые бусы, в три нитки, они ловко прикрывали собою слова: «Не целуй бес любви».

— Ефросинья Андреевна, доставай!

Тетя Фрося начала распаковывать ящик.

В коридоре появилась Нина Ивановна. Ах-ах, какая она была нарядная по случаю именин... Платье лунного цвета со смелым декольте, которому могла бы позавидовать первая дама губернаторского бала. Косметика и вкус, с которым ею пользовались, сотворили чудо, превратили сорокавосемилетнюю женщину в хрупкое, миниатюрное создание. На девичьих плечах Нины Ивановны — шаль струистого шелка: по зеленоватому полю прогуливаются павы в радужных переливах. Нина Ивановна любила, когда гости говорили ей с невольной завистью (женщины) или с восхищением (мужчины): «Ах, Нина Ивановна, голубушка, какая у вас необыкновенная шаль. Вы в ней — ни дать ни взять — студенточка второго курса».

Именно эта японская шаль и подсказала Наташе, что мама Нина нарядилась «невестой» не только ради именин, она задалась целью сразить заводских гостей дочери.

А увидела Лизавету, этакую царицу южной ночи: стройную, упругую, с жаркими глазами... Волосы — черный бархат — уложены в прическу «гарсон» — не менее модную, чем «сессон». Агатовые, в золотой оправе клипсы...

Нина Ивановна была всем этим по крайней мере озадачена. А Лизавета — к ней. Улыбается:

— Нина Ивановна, поздравляем вас с именинницей! Вы, должно быть, одна из самых счастливых матерей: такая дочь... Мы, — она кивнула на тетю Фросю, Луку Степановича, на Глеба Кедрача, на Веру с ее Петей — этаким русым Алешей Поповичем, — ее любим. И вот наш подарок имениннице...

Тетя Фрося откинула стенки ящика. Глазам присутствующих предстала необыкновенная ваза — высокий пенек... выкованный из листовой желтой меди. Можно было рассмотреть каждую чешуйку коры, каждый изгиб, каждый «мускул» пенька и почувствовать, какое красивое дерево когда-то росло на нем.

Вазу надраили до яркого блеска.

Лизавета извлекла из газеты пять сухих камышинок с темно-рыжими султанами и поставила их в вазу.

Мама Нина оценила подарок по достоинству: «Какой изумительный дипилон!»*

— Спасибо! — сказала она Лизавете. И это было сказано от всей души.

— Обратите внимание, Нина Ивановна, — ласково промурлыкал Лука Степанович, — на расписочку. — Он указал на нижний тугой сук, который бугрился под корой и, должно быть, уходил в глубину мощным корнем.

А там стояла дата и витиеватая роспись славянской вязью: «1897. Кострома. Н. Пахомов».

— Пахомов! — прочитал во всеуслышание Лука Степанович. — Возможно, что Николай. Не сродственничек вашего супруга, случаем, сотворил это чудо?

Мама Нина забыла о роли высокомерной шляхетной княгини, которую вознамерилась было сыграть перед заводскими друзьями дочери.

* Дипилон — в данном случае напольная ваза.

— Какая прелесть! — воскликнула она.

Ей для гостиной не хватало именно вот такой оригинальной вещицы, какой «ни у кого нет». Можно было при входе поставить фарфоровую вазу. И эти же пять камышинок... Или несколько веточек седого, нежного ковыля. Но фарфоровые амфоры и дипилоны были (или могли быть) и у Мозжухина, и у Оборощина, и у кого угодно. А вот выкованного из меди еще в прошлом веке костромским умельцем Пахомовым — ни у кого!

Нине Ивановне, конечно, приятно было бы при случае сказать гостям, демонстрируя дипилон: «Работа родного дяди профессора Пахомова». Но... Она знала, что Прошенька из курских хлеборобов, даже самых дальних родственников у него в Костроме не было и быть не могло, а городских в их роду, тем более искусных мастеров по металлу, не водилось. «Жаль... Очень даже жаль».

Когда подарок был вручен хозяйке, Лизавета представилась:

— Елизавета Ивановна, — и чуть поклонилась Нине Ивановне. Та невольно подала руку.

У Нины Ивановны рука белая, кожа нежная, сквозь нее просматриваются, как у ребенка, тоненькие небесные веточки-жилочки. С каким удовольствием Прохор Николаевич до сих пор целует эти руки!

У Лизаветы рука другая, жестковатая, кожа шоколадная, словно у курортницы, которая все лето провела на берегу моря. Это так отполировали кожу солнце, ветер и... соль.

Но при том при всем руки у Лизаветы на этот раз ухожены не менее старательно, чем у Нины Ивановны. Тонкие, длинные пальцы венчаются длинненькими ноготками, покрытыми неброским перламутровым лаком, а поверх него — искринки-блестки сиреневого цвета. Все в меру, все уместно — этакий крик-воплъ последней моды, французский двухцветный лак «Клема».

Елизавета Ивановна продолжала предводительствовать, она доложила хозяйке о каждом из тех, кто пришел с нею:

— Ефросинья Андреевна — самый незаменимый человек у нас на химводоочистке, правая рука директора завода по водоснабжению.

Тетя Фрося подошла к Нине Ивановне и сказала:

— С именинницей вас! Мы с Лукой Степановичем о дочке мечтали с первого дня, да не судилось пока.

— Глеб Игнатьевич — «золотой» человек, — продолжала Лизвета. — За свои изобретения имеет двадцать медалей червонного золота, которые завоевал на фронте женского здоровья. Вместе со знаменитым профессором Чайкой удивлял всех на заграничных выставках своими диковинами.

Глеба такое представление смутило:

— Елизавета Ивановна нас всех перехваливает, — пояснил он хозяйке, пожимая протянутую руку.

Лизвета царственно улыбнулась, как бы отделила от себя всю напраслину, которую здесь на нее возводили.

— Нашего Глеба Игнатьевича перехвалить невозможно. Полправды о нем расскажешь — люди за сказку примут. А почему? По внешности он уж очень неказистый.

Нина Ивановна оглядела гостя: «Действительно... Бог не расщедрился. Разве что глаза... И даже не сами глаза, а их взгляд. Уж такой грустный».

К величайшему удивлению Наташи, Лизвета умела говорить и нормальным русским языком без цветистых выражений. Веру Уварову она представила просто:

— Наша Верунька, — и ни слова больше, а вот ее мужа — велеречиво:

— Петр Павлович — самый голубоглазый человек на нашем заводе, подручный знаменитого сталевара Овечкина. Будущий Герой Соцтруда. А пока студент-заочник Ждановского металлургического института.

Голубоглазый подручный сталевара поцеловал руку хозяйке, да так ловко, будто три года в своем институте только в этом и упражнялся.

Словом, у мамы Нины — настроение приподнятое.

Пришла бывшая одноклассница — красавица Виктория, жившая в соседнем подъезде.

Среди учеников школы Виктория с пятого класса начала выделяться осведомленностью в вопросах интимной жизни взрослых. Это она принесла в шестом или седьмом классе затрепанную книжку «Нонкина любовь» с местами, обведенными красным карандашом. Книжка гуляла по рукам, и две «вкусные» строчки в ней подчеркнула

сама Наташа: «Солдат ушел. Нонка лежала в корыте, как в гамаке, смотрела на звезды. Ей было тоскливо и больно...» После десятого класса Виктория почти сразу вышла замуж, затем развелась и вот недавно расписалась во второй раз.

Пришла она без мужа.

Расцеловалась с Наташей, протянула ей книгу:

— «Анна Каренина», Сытинское издание.

Книга была огромная. Почти на каждой странице — иллюстрация. Краски сочные, будто их только что наложила кисть художника.

Наташа с гостями прошла в зал, где в это время царствовало затишье, даже магнитола не рычала.

Верка обрадовалась встрече с бывшей одноклассницей.

— Умереть можно! Виктория, ты... Настоящая королева красоты!

Она увидела огромную книгу в руках Наташи. Взяла ее. Но не ожидала, что та такая тяжелая, чуть не уронила.

— Ого! — и прочитала вслух дарственную надпись: — «Двадцать три — молодость уже позади. Наташа, полюби Анну за ее несчастную женскую долю».

Славка взорвался, словно ядерная бомба.

— Мы у-удивляемся, — начал он заикаться. — Откуда бе-берутся тунейдцы! Мы их воспитываем с помощью литературы и искусства. «Анна Каренина» — миллионными тиражами. Балет! Спектакли! Опера! Кинофильм! О чем? О бездельнице, которая бесится с жиру. Перед такими никогда не возникала проблема хлеба насущного, приобретения специальности, поиска крыши над головой.

— Славка! — ужаснулась Вера. — Анна не флиртвала, она лю-би-ла! Флиртуя, под поезд не бросаются.

— К черту такую любовь! — кипятился Славка. — Ей, видите ли, с-к-у-ч-н-о с умницей мужем. А такие, как Каренин, создавали великую Россию и держали ее на своих плечах.

— До двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года по старому стилю, — уточнил Утятин-Загорский.

Как только Славка начал предавать анафеме Анну Каренину и ее любовь, Наташа поняла, что он, в общем-то, клянет ее. «Отверженный мужчина!» Ей вдруг стало жаль его. У мужчины это чувство

(жалость) вырождается в презрение, а у женщины в... желание и необходимость пожалеть, приголубить, утешить, ну и... хотелось, чтобы этот щедрый, бескорыстный порыв не остался не замеченным, не отмеченным.

Пошли в ход журналы и газеты, которые Нина Ивановна разложила там и сям с «темами для беседы». И вдруг Виктория захлопала в ладоши:

— Какая прелесть! Нет, вы только послушайте! — Она держала в руках газету: — «Рай для женщин. Истинный рай для женщин — индийское местечко Ладаркх. Здесь у каждой представительницы прекрасного пола по три-четыре мужа. Они занимаются домашним хозяйством: стирают, готовят обеды, следят за детьми... Если кто-то из мужей провинится и попадет к своей жене в немилость, его без раздумий отдают в местный монастырь».

— Умереть можно! — воскликнула Вера, невольно беря за руку своего Петеньку. — И с одним-то не знаю, как справиться.

— А я хотела бы пожить в этом индийском местечке Ладаркх, — призналась Виктория с невольной, затаенной болью.

— Да тебе четырех мужей и на неделю не хватило бы! — прокомментировал в привычном для него «нигилистическом» тоне Утятин-Загорский.

Виктория, тяжело вздохнув, возразила:

— Ты, Артур, счастливчик, ты родился мужчиной, поэтому никогда не познаешь, как это унижительно зависеть от того, которого не любишь... И он тебя тоже. В день зарплаты встретились ему друзья, он приносит половину получки. И еще поймай момент, когда жалкие остатки можно будет забрать. Утром, больной с похмелья, кричит: «Опять по карманам шаришь!» И — в семь этажей, да так, что соседи слышат.

— И в самом деле, зачем же ты по карманам? — удивилась Вера.

— Иначе он и вторую половину спустит, а жрать ты ему все равно припасай. За какие шиши? Хоть себя продай... — разоткровенничалась Виктория.

Разволновалась, слезы едва сдерживает.

К ней подошла Лизавета. Властно и решительно приподняла за подбородок голову, заглянула в глаза.

— Мужичье таковское: позволь взять тебя за руку, вмиг оседлает и, словно черт, шею ногами обовьет. Но тебе ли ходить под седлом! Ты красивая, молодая. Бровью поведи, ножкой вовремя притопни, дай им почувствовать свою женскую гордость — и вмиг все мужичье припадет к твоим стопам, следы твоих ног будет целовать. Ты ручкой по щеке его похлопаешь, он на радостях все райские яблоки из божьего сада тебе перетаскает. Но только держи это хамье на расстоянии своей бабьей гордости и презирай. Презирай! Помни: ноги вытирают о тряпку, а коврами квартиру украшают.

И от этих грубых слов Елизаветы Воиновой вдруг расплакалась красавица Виктория. Почти навзрыд.

— Характера у меня не хватает. Как же, муж... Придет с работы голодный... — выдавливала она из себя.

— А ты наживай его, характер. Разозлился для начала. Милый-любый тебе — пощечину: мол, такая-сякая, опохмелиться не подносишь. А ты его — по физиономии ковшиком. Он тебя кулаком, а ты за кастрюлю с кипящим борщом: «Обварю, как курчонка!»

— Умереть можно! — вырвалось у Веры. — Да что это за жизнь пойдет! Уж лучше развестись.

— Оно, конечно. Коль дело дошло до кастрюль с борщом, лучше бы развестись. Только мы, бабы, порою дуры, все надеемся: «А вдруг образумится». А он однажды подтянет тебя к потолку, как мясник забитую корову, и начнет спускать шкуру... — Лизавета обняла Викторию за плечи, прижала к себе, словно малого ребенка. — Девонька-бабонька, запасайся характером. Да помни, наше счастье не в Ладаркхе, где на одну — четверо приходится, а в собственном доме. Он и его дети...

Наташе было жалко бывшую одноклассницу и обидно за ее женскую долю: «Вот уж истинно — не родись красивой, а родись счастливой». А в чем оно, женское счастье? Конечно, не в Ладаркхе...

В коридоре звонок пропел свою мелодию. Нина Ивановна рванулась навстречу пришедшим.

— Прохор Николаевич!

На пороге гостиной вырос отец. Шаляпинским басом пророкотал, обращаясь к молодежи:

— Добрый вечер, потомки!

В руках у него были белые калы. Они затмили собою корзину искусно, почти по-японски, с настроением, выложенных цветов, которые принес Оборощин, и скромные, выросшие в оранжерее при искусственном освещении розы, затухающими угольками красневшие в бледной, тонкопалой руке Мозжухина.

Проход Николаевич подошел к дочери, поклонился, как мушкетер даме, поцеловал руку и передал цветы.

Это было так неожиданно и прекрасно, что все заплодировали.

Наташа поцеловала отца в холодную щеку. Она уловила тонкий запах февральской метели и в каком-то новом необычном свете увидела отца. Она вдруг поняла, за что мать так преданно любит его — огромного, нескладного...

Отец вернулся к дверям, распахнул их.

— А вот и мой сюрприз.

Наташа ждала продолжения сказки:

— Вноси!

Порог переступил аспирант кафедры профессора Пахомова Юра Смычок.

На широких плечах ладно сидел кримпленовый, в бордовую елочку, пиджак. Рубиновый галстук — в золотистый горошек. Стрелка на брюках — хоть карандаши затачивай. «Платформы» — в нефтяных разводах.

В объятиях Смычок держал какие-то кубышки в тонких бумажных пеленках. Одну из кубышек он поручил Прохору Николаевичу, другую на вытянутых руках преподнес имениннице, в последний момент ловко сорвав с нее мягкую салфетку!

— Наташенька, для вас — этот ананас! Специальным самолетом из Экваториальной Африки.

Наташа с благоговением держала отцовский сюрприз. Пальцы воспринимали упругую шершавость и прохладу иноземного плода. Наташа вдохнула тонкий незнакомый аромат, напоминавший одновременно чем-то дыню и апельсин. Взглянула на отца, который торжествовал.

— Спасибо, — сказала она ему.

И этот человек-глыба счастливо засмеялся. Он радовался, как ребенок.

Экзотические фрукты заняли почетное место на праздничном столе.

Общее впечатление точнее всего, пожалуй, выразила Верка:

— Ой, девочки, конец света! В самом деле африканские? — спросила она Смычка.

Он повел плечами, принял величественную осанку буддийского ламы, снисходительно разъяснил:

— В советских субтропиках ананасы не произрастают. — Многозначительно поднял короткий толстый палец, покровительственно, чеканя каждый слог, произнес: — Ди-а-лек-ти-ка!

Шиковый парень, как звали Смычка в институте, взял на себя роль тамады. Это у него получилось естественно, непринужденно.

Видимо, считая, что место королю бала рядом с королевой, он деловито попросил Артура подвинуться и сел рядом с именинницей.

— Наташенька, вы не против?

Если бы она даже возразила, он бы все равно не пересел.

— Именинница просит наполнить бокалы, — объявил Смычок.

И все сразу поняли, что в присутствии этого человека нельзя не налить, нельзя не выпить.

За столом оживились. Тонко запел хрусталь. Под ложками и вилками позвякивал японский фарфор. Гости запасались обильной закуской.

Смычок встал, дождался, когда за столом воцарилась тишина, и траурно начал:

— Выпьем! Выпьем за гроб нашей именинницы, — и замолчал, чуточку привстав на носках, будто собирался взмыть в небо.

Вера выронила вилку, и она упала на фарфоровую тарелку. Это было как выстрел над самым ухом морозной ночью.

— Конец света!

Шепот, как вскрик, разбудил всех. Нина Ивановна встала. На ее щеках разгорелись кумачовые пятна. Натужно крикнул Прохор Николаевич.

И вот тут-то Смычок закончил тост:

— Выпьем за гроб именинницы из досок столетнего дуба, который будет посажен этой весной. — Он протянул Нине Ивановне на

большой квадратной ладони два заранее припасенных желудя. — Передаю на сохранность.

Шквалом прошел всеобщий вздох облегчения. Нина Ивановна осторожно, словно яйцо без скорлупы, взяла длинными пальцами два отполированных светло-коричневых орешка и нервно рассмеялась:

— Ну и шутник вы, Юра.

Проход Николаевич шумно восхищался:

— Ай Смычок! Ну молодец, разыграл. Так выпьем за этот столетний!

Нина Ивановна, забыв о всех своих болезнях, залпом осушила бокал шампанского. Наташа почувствовала, что и ее мучает жажда.

Шиковый парень внимательно следил за тем, чтобы тарелка именинницы не пустовала. Но прежде чем предложить ей, скажем, салат, он пробовал его сам, затем обращался к хозяйке дома:

— Нина Ивановна, вы — кудесница! Только однажды я пробовал нечто подобное. Это было в «Метрополе».

Начались танцы. Смычок увлек Нину Ивановну, и они запрыгали под ритмичную финскую мелодию «летки-енки». Нина Ивановна разругалась, похорошела, словно ей было не более тридцати лет.

Глядя на расшалившуюся мать, Наташа подумала, что, пожалуй, истинным сюрпризом отца был этот франтоватый аспирант, а не заморские диковинки.

И хотя все внимание гостей было отдано ей, имениннице, Наташа не могла избавиться от ощущения, что за нею наблюдают. Обернулась и увидела Мозжухина, стоявшего в одиночестве у окна. Виталий Никифорович смотрел на нее какими-то уж очень странными глазами: озабоченными и грустными. Она подошла к нему, легонечко пожала руку повыше запястья, решив, что он, предпочитающий тишину и милого собеседника повальному веселью, не нашел себя на именинах, словом, «отбился от стада».

— Потанцуем, — предложила она.

Виталий Никифорович положил ей руку на талию. Наташа ощутила волнуемое тепло этой руки и с невольным удивлением подняла глаза на профессора. Тот был возбужден: глаза жаркие, смотрят на нее не мигая.

И чутье женщины ей подсказало: сейчас он скажет «люблю»... Признание, которого она так ждала несколько месяцев тому назад.

Но даже запоздалое признание человека, к которому ты благоволишь, волнует.

— Я хочу сегодня просить у Нины Ивановны вашей руки...

Она представила, как это произойдет. Он остановит всеобщее веселье, подойдет к раскрасневшейся, помолодевшей хозяйке и скажет во всеуслышанье... Мама Нина возьмет его за руку, Натулечку за руку, театрально соединит эти руки и позовет Прохора Николаевича: «Отец, благослови». А потом расцелует троекратно дочь и будущего зятя. Она не сможет скрыть своей радости: «Наконец-то!»

...Все бы хорошо, если бы... не Славка Бобренок, который три часа тому сказал ей: «Выходи за меня замуж». И получится, что Наташа отказала ему только потому, что есть Другой! Она знала, что профессор Мозжухин сделает ей предложение и... предпочла обеспеченного «старичка».

Все было проще, честнее, но эту простоту и честность она доказать не смогла бы — Славка ничего не спросит, не потребует объяснений, он лишь подумает... А если Наташа примется ему объяснять, то попадет в сверхдурное положение.

— Вы единственная, кто может заменить мне Таню, — пояснил Виталий Никифорович, почувствовав ее колебание.

«Заменить Таню...» Вот в этом весь Мозжухин, его мужской эгоизм. Но почему Наташа должна кому-то кого-то заменять! Она хочет быть сама собой, она имеет право быть единственной и незаменимой, как и любая женщина, обладающая чувством собственного достоинства.

— Виталий Никифорович, вы мой самый добрый, самый надежный друг. Но... не слишком ли мы торопим события? Таня еще очень много занимает места в вашей душе. Не будет ли новой избраннице там тесно? Женщины болезненно ревнивы, особенно к тем, кто превосходит их в чем-то. Вы хотели бы увидеть во мне Таню. Не разочаруетесь ли вы, убедившись со временем, что я совершенно иной человек?

Он остановился как вкопанный. Потом взял Наташу за руку и отвел к окну. Там они и стояли, не смея глянуть друг на друга.

— Может, вы и правы, — признался Виталий Никифорович.
— Время — наш союзник.
— Значит, вы мне не отказываете?
— Нет-нет... Но пока...
— Спасибо, — он погладил ее руку, которую держал, и повторил:
— Спасибо. — Постоял, потоптался и решил: — Я, пожалуй, пойду...
Мне лучше уйти...

Она не сомневалась, что, придя домой, он вновь достанет заветный альбом с фотокарточками погибшей и будет терзаться сомнениями... Но он должен был пройти через эти муки.

— Я провожу до дверей...

— Да-да, я по-английски, не предупреждая хозяев...

Он ушел тихо и неприметно. А Наташей овладела лирическая грусть. Стоя у окна в кухне, откуда была видна входная дверь, она готова была убедить себя, что поступила с Виталием Никифоровичем несправедливо и жестоко. «Не любя, он бы руки не просил...»

* * *

К удивлению Наташи, Лизавета оказалась в застолье полезным и нужным человеком: она умело помогала Нине Ивановне заменить приборы, вымыть хрусталь (чего мама Нина никому никогда не доверяла), выставить на столы воду, предложить гостям очередное блюдо, расхвалив его, — словом, это был совершенно не тот человек, с которым Наташа когда-то отдыхала в заводском пансионате, а затем работала в цехе четвертой категории на металлургическом заводе.

А как Лизавета плясала цыганочку! Глеб сказал Наташе:

— Попросите, пусть с выходом.

Лука Степанович с чувством собственного достоинства взял в руки баян и... Лизавета пошла по кругу, потом зачастила, дробно стуча по полу каблуками.

Прохор Николаевич притопывал и разбойно, в два пальца, посвистывал да покрикивал:

— Рас-ступись, православныя!

Мама Нина всю жизнь боролась против «мужицких» замашек Прошеньки. Она любила компанию интеллигентную, разговоры

тонкие, негромкие. И даже студенческая бригада Натулечки не нарушала эту идиллию, а лишь наносила на нее узор современности. Заводские были из иного мира, уж очень земного, грубоватого. Этот баян... Эти таборные пляски в квартире... Внизу живут соседи. Каково им! Вколачивает ловкая Елизавета Ивановна острыми каблуками гвозди в темя уставшим от чужого похмелья... И профессор туда же...

...Кто-то щедрой пригоршней сыпанул под ноги сбитым в неширокий круг гостям самшитовые бусины. Деревянными градинками зашлепали по цветному паркету кубики и треугольники. Люди невольно шарахнулись к стенам, к дивану — «полосатому тигру». Вырвалось дружное «ах». Баян замолк. Наступила вязкая, недолгая тишина.

Лизавета инстинктивно пощупала шею. Бус не было: нитка повалась.

Первым нагнулся, чтобы собрать россыпь, Оборощин. За ним — Славка. И все остальные. Лизавета тоже собирала. Только Нина Ивановна чуть отступила в сторону, освобождая место для ретивых.

Наташа ненароком перехватила ее взгляд и догадалась, что мама Нина довольна случившимся конфузом. Она чисто по-женски торжествовала над поражением другой женщины, завладевшей было всеобщим вниманием, привораживавшей Прошеньку природной несдержанностью в проявлении таборных инстинктов. Глаза Нины Ивановны мудро прищурены, чуть дрогнули тонкие губы. Выражение торжества на лице в тот момент можно было принять за сочувствие...

Видимо, это настроение Нины Ивановны уловил и Смычок. Он не бросился, как другие, ползать по полу в поисках разбежавшихся по закоулкам бусин, подошел к хозяйке и остановился рядом с нею.

Он рассматривал Лизавету, которая нагнулась, впился глазами в ее смуглую шею. Пухлые губы шевелились, как у первоклассника, который еще не умеет толком читать. И вдруг Смычок просиял. Глянул на Нину Ивановну, показал глазами на Лизавету.

— «Не це-луй бес люб-ви», — громко, во всеуслышанье по слогам прочитал он, привлекая к себе внимание.

Как в тот момент дернулась Лизавета!

Вначале обеими руками прикрыла шею. Затравленно оглянулась. Сквозь смуглую кожу пробился румянец. Затем она одернула на шее платье, стараясь прикрыть им надпись со стороны спины. Но уж слишком смелое было декольте, нечем «зашторить» синие буквы. А Смычок, к тайной радости хозяйки, продолжал балагурить:

— Елизавета Ивановна, тут у вас ошибочка, — потыкал он толстым сильным пальцем в свою шею. — «Не целуй — запятая — бес любви». Так сказать, просьба к бесу, ведающему любовью, чтобы он не искушал невинную. А если без запятой, то надо не «бес», а «без» — дескать, не целуй, не любя.

Слова Смычка оказались волшебными. Услышав их, Елизавета в мгновение ока преобразилась. Смущения как не бывало. Лицо осветила сатанинская ухмылочка, черные глаза по-рысьи сузились, вспыхнул в них зеленый огонек.

— Никакой ошибочки, Юрий Юрьевич, — сказала она с сарказмом и открыла для всеобщего обозрения шею. Проплыла по кругу, расширяя его, утесняя гостей. Позволяла присутствующим полюбоваться шикарным произведением тюремного художника. Вновь остановилась перед Смычком, нахально, в самое лицо ему улыбнулась. — Сроку на запятую не хватило: на волю выпустили.

Смычок не ожидал такого отпора, он ведь намеревался доставить легкое удовольствие Нине Ивановне и всем. Вспыхнул:

— Елизавета Ивановна... Я не хотел... вас обижать.

— Юрий Юрьевич, полноте-ка, — вдруг заокала Лизавета. — Вы по жизни еще мелко плавааете, чтобы Лизавету Воинову смутить или обидеть: это вы других хотели мною потешить. — Она легонечко скользнула пальцем по синей змейке из букв, коснулась верхней перекладины креста, видневшейся в разрезе платья. — А хороша работа, не правда ли? Ма-а-стер!

Ошарашенный ее наглой откровенностью, Смычок обомлел. На лбу и мясистом носу — крупные капельки пота. Глаза лубяные тарашит:

— Елизавета Ивановна!

Но она резко оборвала его:

— А чтобы любопытство вас и других... — она глянула на Нину Ивановну, — не заедало, повинюсь: срок-то я отхватила... милого

побрела, — она резко чиркнула ребром сухощавой ладони по кадыку. — Чулочки с меня снимал, да ласковых слов при этом не приговаривал.

Наташа вспомнила толстые рубцы-шрамы на правой ноге Лизаветы. Ей стало стыдно за маму Нину, за себя, за всех присутствующих. Она возненавидела в тот момент Смычка и готова уже была крикнуть ему: «Вон отсюда! И чтобы твоя нога не переступала порог этого дома!»

Она решительно шагнула к аспиранту Юрочке. Но ее легонько остановила Лизавета. Глянула в глаза, чуть-чуть покачала головой — «Не надо» — и обратилась к гостям:

— Что же это мы веселье забыли! — Вновь озорная, искрометная. — Юрий Юрьевич столько хороших тостов произнесли, а за бабью долю именинницы запомнили.

Она прошла через распахнутые настежь двери в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Взяла высокую бутылку с пшеничной водкой, налила до краев два фужера.

К ней подходили. Ее окружили.

Она подняла фужеры. Как только держалась в них водка, налитая по самую кромку!

— Юрий Юрьевич! — она протянула фужер своему обидчику, улыбаясь по-женски озорно, призывно.

Он взял. Озирается, не зная, как вести себя.

Лизавета подошла к Наташе:

— За твоего лебедя... Говорят, если охотник застрелит лебедушку, лебедь от тоски взойдется в небо, глянет оттуда, с высоты, на землю и, сложив крылья, — камнем вниз. Вот Фрося своего лебедя выгладела. Лука Степаныч дому — глава, всякому делу — хозяин, детям — отец, Ефросинье Андреевне — утешитель. Так за твоего бела лебедя! — обратилась она к Наташе.

И потеплело у той на сердце, и защекоталось в горле.

А как цвела в тот миг тетя Фрося, а как гордился собою и своей Ефросиньюшкой смущенный Лука Степанович!

Лизавета прикипела к фужеру. Радужно играл резными гранями хрусталь в ее руке. Она пила мелкими глоточками, она наслаждалась, словно бы это была не водка, а сок манго. И при этом глаз со Смычка не спускала.

А он все стоит и озирается. Но нет в зале сочувствующих ему, даже Нина Ивановна прячет глаза, долу их опускает.

Лизавета высосала водку. Поигрывает пустым фужером, вертя его в пальцах.

— Перевелись нынче мужчины! — это она в адрес Смычка.

Прохор Николаевич расхохотался:

— Ну что, Юра! Пошел по шерсть, а вернулся стриженный.

Тут Смычок открыл рот и просто вылил водку: она забулькала в горле, как в узком сосуде. Лихо это у него вышло.

А Лизавета все поглядывает на него с издевкой, поигрывая пустым фужером. Но вот сдавила его! И тут же фужер начал проседать, скользить в руке. Задержался, зацепившись было краешком о подушечки ловких пальцев и — грохнулся об пол. Мелкими брызгами рассыпался хрусталь по цветному паркету. Это был фужер из чешского сервиза.

— За бабье счастье...

В иной момент Нина Ивановна при виде этого в обморок бы упала, а тут и не шелохнулась: на Смычка смотрит — осмелится Юрий Юрьевич последовать примеру Лизаветы, грохнет свой фужер об пол (за женское счастье Натулечки) или спасует?

...Не посмел... Поставил фужер на край стола.

Лизавета взяла вилку и, придерживая ее манерно, двумя пальчиками, наколола грибочек. Он был крохотный, рыжеватая шляпка уместилась на двух рожках, а на два других ее уже не хватило.

Лизавета протянула грибочек Смычку:

— Загрызите, Юрий Юрьевич, чтобы дома не журились.

Он взял вилку из ее рук, откусил дольку — краешек от крохотной шляпки. Старательно пожевал и вернул оставшийся кусочек вместе с вилкой озорной женщине, вежливо при этом поклонившись:

— Благодарю за угощение, Елизавета Ивановна.

— Умереть можно! — воскликнула Вера, выражая всеобщее удивление. — Наташенька! — она бросилась к имениннице. Поцеловала ее в щеку. — Желаю тебе выйти замуж еще в этой пятилетке!

Утятин-Загорский прокомментировал:

— Будущую Нобелевскую премию уважаемая нами Наталья Прохорова меняет на синтетический фартук владычицы кухни.

— Женщина, даже лауреат Нобелевской и Ленинской премий, — остается женщиной, — мягко возразила ему Нина Ивановна.

Вера простодушно сказала:

— И правильно! Я сейчас даже и не представляю, как это я могла жить на белом свете без Пети, без сыновей. Их у нас двое, — объяснила она, обращаясь к Нине Ивановне. — Юрий и Герман, как первые космонавты. Затем будет Валентина, потом — еще...

— Так наказать себя! — воскликнула не без внутреннего содрогания красавица Виктория. — Тебе, Вера, этого соревнования не выиграть.

— А мы еще посмотрим! — вдруг сказал голубоглазый молчун Петя.

Лизавета громко рассмеялась:

— Верка! Молодец! Бабья гордость — в мужике и в детях! Если жизнь пойдет, как ее строит нынешняя интеллигенция — на двоих одну ляльку — выведется наша нация! Лука С-с-тепанович! — крикнула она. — С выходом!

Хлопнула в ладошки раз, второй, приглашая и других принять участие в этом развлечении. Притопнула и поплыла по комнате.

Казалось, она не прикасается к паркетному полу. Руки — крылья просыпающегося по утру лебедя: то поднимаются в плавном изгибе, то уйдут вниз.

Но ритм нарастал. Лука Степанович «подсыпал и подсыпал». Зачастили каблуки в дробной чечетке, заметались плечи, изнывавшие от жажды любви, они спешили на свидание с сильными руками.

Лизавета остановилась перед Смычком. Будто на месте — только туфли о паркет шаркают. Но вся дрожит от возбуждения, дразнит, зовет. И уже нельзя было удержаться от того, чтобы не броситься с головой в этот омут, который она сулила.

Все хлопают, притопывают. Кто-то уже слегка посвистывает, будто стесняется.

Заложил Смычок в рот четыре пальца и так «прижал», что Нина Ивановна уши пальчиками заткнула. А он присел и огромным прыжком вырвался на середину круга. И пошел мелким бесом вприсядку вокруг Лизаветы. Но что ему ноги?! Разве могли они выразить всю его удаль, желание носиться метелью вокруг этой

неутомимой женщины! Он отчаянно колотил себя по коленям, по пяткам, по груди, вскрикивал при этом от острого удовольствия и присвистывал.

И уже все приплясывают, стоя на месте, выкомариваются, да еще никто не решается выбраться в круг, где мечутся черная молния и вездесущий рыжий дьявол.

Зазвенел в коридоре телефон. По традиции этого дома трубку первой поднимала мама Нина.

— Глеб Игнатьевич... вас.

Кедрач поспешил на зов.

Лука Степанович перестал играть. Лизавета в тот же миг остановилась. Медленно сходило с ее лица озорное вдохновение.

Оглядев Смычка, она сказала:

— А ничего парнишка. Способный. Мог бы еще согдиться!

А тот стоял и цвел от счастья, будто бы удостоился высшей награды.

Вернулся Кедрач:

— Нина Ивановна, разрешите уйти.

— Что такое? — спросил Прохор Николаевич, который был еще весь под впечатлением огненного спора Лизаветы и Смычка.

— Полиспасный блок на кране полетел. Запасного нет.

— Никаких аварий! — категорически заявил Прохор Николаевич. — Нинок, запи дверь, а ключ — мне. До утра никого не выпущу.

Зная натуру Пахомова, Оборощин начал уговаривать:

— Прохор, не бузи. Оставим мартены и домны без воды...

— Черт с ним, пусть идет, — согласился неохотно Прохор Николаевич. — Если уж так незаменим наш Глеб Игнатьевич... Сейчас такси закажу.

— Дежурную машину диспетчер выслал, — пояснил Кедрач.

— Машина? — переспросила тетя Фрося. — Лука Степаныч, может, и мы... Дежурная — до дома довозет.

Прохор Николаевич запротестовал:

— Лука Степанович, батенька, не поддавайся на провокацию! Ефросинья Андреевна! А с кем я буду танцевать «барыню»? Лука Степанович, «барыню» можешь?

— Можно и «барыню».

— Давай!

Наташа вспомнила о сыне Глеба — Шурке.

— Глеб Игнатьевич, не попрощавшись со мной, не уходите!

Она метнулась к себе в комнату, где, ожидая очереди, стояли лакомства, приготовленные Ниной Ивановной для сладкого стола. Свернула из целой газеты огромный кулек и начала горстями сыпать туда печенье, шоколадные «орехи», конфеты. А сверху — полторта.

Кедрач был уже на пороге, окруженный гостями, которые не хотели с ним расставаться.

— Глеб Игнатьевич, Шуре от именинницы...

Он сказал «спасибо», крепко пожал ее руку.

Глеб ушел, провожаемый всеми присутствующими. Наташа прошла на кухню, где из окна было видно, как Глеб выходит из подъезда. Неподалеку стояла бортовая машина, «будка», полкузова которой было затянуто фанерой. Машина-развалюха честно служила цеху, она развозила по территории завода слесарей и подручный материал.

Прежде чем сесть в кабину, Глеб обернулся — видимо, заметил в окне Наташу — и помахал ей рукой.

Наташе почему-то стало грустно. Странное дело, она не замечала Глеба весь вечер, а когда он уехал, почувствовала, что у нее отобрали что-то нужное...

Впрочем, это чувство владело ею недолго: вот скрылась машина за углом... и Наташа, услышав, что кто-то за ее спиной постукивает ложкой о тарелку, обернулась. Елизавета пододвинула к себе тарелку с салатом оливье и ела его ложкой, словно борщ в рабочей столовой.

— стакан-то пшеничной сдуру тяпнула, — повинилась она перед Наташей. — А водочка компанию любит. — Она постучала ложкой по краешку тарелки. — Как там чувствует себя мой ухажер? Тоже хлобыстнул без закуски и перед этим не пропускал рюмочек.

— Ничего с ним не случится, — ответила Наташа. Ей хотелось сесть напротив Лизаветы, выпить стопку водки и, взяв столовую ложку, наминать салат так, чтобы за ушами похрустывало.

— Способный парнишка, — заокала Лизавета, — далеко может пойти... Только подхалимистый и готов любую задницу лизать. Не ошибся бы при этом...

В словах Лизаветы жила доброта, она совершенно не осуждала Смычка.

Лука Степанович наяривал «барыню». Прохор Николаевич танцевал любимый танец далекого детства с тетей Фросей. И делал он это с чувством высочайшей ответственности.

— Именем новорожденной — за стол! — зашумел Смычок. — Где именинница? Кто видел именинницу?

— Иди, — послала Лизавета Наташу.

— А ты?

— Я тут... пока. Захмелела.. Мне бы ушиться... Только я Фросе слово дала: вместе сюда, вместе и отсюда.

— Умойся да полежи в моей комнате, — предложила Наташа.

— Так-то оно будет натуральнее, — согласилась Лизавета, тяжело поднимаясь из-за стола.

Наташа проводила ее к себе в комнату, раскинула постель.

Увидев возвращающуюся Наташу, Смычок поспешил ей навстречу. Он был, что называется, на подъеме. Улыбка — до ушей. Порозовел. Глаза от счастья влажные.

— Нашлась, — ответила она, невольно заражаясь смычковским оптимизмом.

Ей захотелось поозоровать над этим рыжим «неугомоной». А он, пододвигая Наташе стул, торжественно сказал:

— Следующий танец я бронирую за собой. — Он ничуть не сомневался, что так и будет.

Наташа вдруг почувствовала, что ей хочется выполнить его просьбу, прозвучавшую как распоряжение.

— Бронируй, — согласилась она.

И ждала, когда вновь включат магнитола. «Пусть всегда он звучит, пусть всегда он звучит этот вальс», — пел Муслим Магомаев.

Смычок потешал Наташу.

— Неделю тому шеф дает задание: «Юра, нужны ананасы. Хоть из-под земли». Прямой телефонной связи с президентом Гвинеи у меня нет. Но один человек в Министерстве иностранных дел — имеется. И вот я сажусь в самолет...

«Трепач!» — Наташа не без удовольствия слушала смычковские побасенки.

У нее было двойственное отношение к этому человеку. Он мало походил на ее идеал. Но было в нем нечто такое, что притягивало: напористость, с которой он шел к поставленной цели. Прощаясь в тот вечер, он перехватил ее тоненькую хрупкую руку повыше запястья, крепко пожал и прошептал почти на ухо: «Наташенька, я для вас сделаю все!» И хотя за этим «сделаю все» ничего конкретного не стояло, она вдруг уверовала: сделает. Что именно? Не так уж важно.

ОТ «А» ДО «Я»

Было когда-то хорошее русское слово «общительный» и второе, полужаргонное, «пробивной». Но чем-то они не устраивали эпоху НТР и появилось другое: коммуникабельный. Внедряют его в жизнь кандидаты всяческих наук, которые ударились в модную ныне социологию. Социология в конце двадцатого века — вездесуща, она старается сопоставить между собой даже по первому впечатлению несопоставимое.

«Люксембургский сад» в исполнении Джо Дассена и повышение производительности труда младших научных сотрудников НИИ.

Интерьер однокомнатной квартиры как важный фактор прочности молодой семьи.

Психологические особенности замкнутого коллектива.

А «замкнутый коллектив» — это Нина Ивановна, вступившая в должность добровольного редактора и консультанта по очередной кандидатской работе, рождающейся на кафедре профессора Пахомова, и соискатель ученого звания аспирант Смычок.

Юрий Юрьевич весьма высокого мнения о своей диссертации:
— Чуть расширить, и была бы докторская.

Научный руководитель работы профессор Пахомов оценивает заслуги будущего кандидата технических наук более скромно:

— Пора молодцу на свои харчи.

Оппонент, доктор технических наук Мозжухин, отдавал должное усилиям, затраченным соискателем:

— За пять лет работы над темой наш уважаемый коллега собрал довольно обширный материал.

Нина Ивановна была убеждена, что это, конечно не самая выдающаяся работа, родившаяся на кафедре профессора Пахомова, однако...

— Никто не утверждает, что Юрий Юрьевич — Эйнштейн нашего времени. «Теории относительности» в сравнительной характеристике систем, применяющихся в водоснабжении промышленных предприятий, он не вывел, но какова география исследуемого материала! Все промышленно развитые страны! Само собою, без «черных шаров» при голосовании у нас в институте не обойдется, но ВАК утвердит без проволочек: работа не лишена практического значения.

По части «географии» — это уже заслуга самой Нины Ивановны, владевшей виртуозно искусством перевода.

Смычок чувствовал себя именинником. И все, кто его видел в те дни, безошибочно определили, что они имеют дело с удачливым в жизни человеком.

Счастливчик Юрий Юрьевич после именин с явного благословения Нины Ивановны зачастил к Пахомовым. Наташа в душе посмеивалась: «самонадеянный наглец»!

В одну из пятниц вернулась позже обычного — сдавала дела новому старосте «Антошки». Потом зашли в кафе «Арктика», съели по две порции мороженого.

Дверь ей открыл Смычок. Шнурочек каштановых усов словно резиновый растягивается в улыбке. В серых, шинельного цвета глазах пульсирует радость.

— А мы с Ниной Ивановной заждались.

Мама Нина выплыла из кухни. Она придерживала на груди за бахромку японскую шаль, с напускной небрежностью наброшенную на плечи. Наташа поняла, что Смычок здесь на правах желанного гостя.

Можно сказать, что Нина Ивановна влюблялась во всех «своих диссертантов», в работы которых вкладывала душу, не считаясь со временем. Они и дали ей кличку: «мама Нина». Доведавшись об этом, Нина Ивановна умилилась. Прозвище ей понравилось, она увидела в нем определенный скрытый смысл. Вскоре и сама о себе стала говорить в третьем лице: «мама Нина», то есть та, которая насадкой-хлопотуньей ходит вокруг будущих светил науки. К этому положению и имени все привыкли — в институте и дома.

В представлении мамы Нины ее «цыплята», начиная с будущего кандидата технических наук Пахомова, были «замечательными», «талантливыми», «милыми» и так далее и тому подобное. Если собрать воедино все мысли, щедро вложенные мамой Ниной в две докторские (Пахомов, Мозжухин) и почти десяток кандидатских диссертаций, то получился бы солидный фолиант. ВАК вынужден был бы признать, что работа выполнена, так сказать, на уровне мировых стандартов, требований, положений, то есть присвоил бы соискателю степень в области технических наук.

И после защиты мама Нина продолжала опекать и любить своих «цыплят». Некоторые из них давно уехали из Донецка, но она не теряла с ними связи, на все праздники — по открыточке, на день рождения — телеграмму. Если «цыпленок» женился («диссертационных» дочерей у нее не было), то ее материнское чувство переходило и на новую родственницу. «Милая Светочка, берегите Коленку, он у вас талант!» А Коленка — первый ее «цыпленок» — членкорр сельскохозяйственной академии, специалист по проблемам химизации сельского хозяйства.

...И все-таки надо признать, что из всех своих подопечных Нина Ивановна особенно равнодушна была к Смычку. Впрочем, может, Наташа раньше вот так по-женски просто не обращала внимания на маму Нину? А может...

Взглянув с женским любопытством на раскрасневшуюся, словно девчонка, которую только что расцеловали, похорошевшую маму Нину, Наташа внутренне улыбнулась. Родилась игривая мыслишка: «...Э-э, Нина Ивановна, как мы... расцвели!»

...Мама Нина... Нина Ивановна... В каждой женщине, невзирая на возраст, живет Ева. А сорок восемь — это не сто тридцать, которые подарили прародительнице первую любовь. И не являемся ли мы все акселератами по отношению к Адаму и Еве?..

Смычок забрал у Наташи шубу, ловко пристроил на вешалке. Пока она снимала сапоги, расторопно подхватил тяжелый портфель и пенал с чертежами для дипломной работы, отнес их в комнату. Все у него получалось естественно, словно он проделывал это не однажды.

— Что ты так задержалась? — поинтересовалась мама Нина, когда они вернулись со Смычком на кухню.

— Низложили старосту «Антошки»....

— Давно бы пора! Защита на носу.

— Жаль расставаться... — вздохнула Наташа. — За три года сделано кое-что настоящее.

Смычок — сама галантность, помноженная на мужскую внимательность. Стул предложил. Рука у него сильная, есть в ее приятной жесткости некая неотвратимость. И вдруг подумалось: «А обнимается и целуется Юрочка, поди, со вкусом».

— «Игрушку» с участием Пьера Ришара видела? Шиковая вещь!

Наташа смотрела в оловянные глаза Смычка. Она думала о нем, но в каком-то абстрактном варианте... или в обобщенном. Он для нее не был конкретным мужчиной, которого можно как-то признавать или отрицать, он был «вообще», за исключением того момента, когда она ощущала прикосновения его ловких и сильных рук.

Смычок вел свое:

— На десять успеем.

Собачья преданность мужчины на первых порах льстит и... обезоруживает женщину. Это позже, наладившись и упившись такой преданностью, женщина впадает в скуку, ее тянет на какую-нибудь экстравагантную выходку, способную взорвать, уничтожить угодливость. Впрочем... мужчина обычно первым восстает против своего добровольного рабства.

— Куда? — не поняла она, с трудом возвращаясь из мира, созданного раздумьями.

— В «Шевченко»! — пояснил Смычок с невольным удивлением: мол, полчаса долдоню об этом, как же ты не соображаешь.

«Шевченко» — самый близкий и комфортабельный кинотеатр. В четырех залах, оснащенных мощными кондиционерами, способными поддерживать нормальную температуру и в февральскую заметную стужу и в июльский зной, демонстрировалось сразу несколько фильмов.

— Не хочется, — отказалась Наташа, чувствуя, что день утомил ее.

— Ты что! Завтра его снимают с экранов Донецка. Какому-то чинуше не понравился, а люди на него — валом, билеты на неделю вперед проданы. Представляешь, сынок миллионера, которому ни в чем нет отказа, принял живого человека за игрушку и потребовал, чтобы эту «игрушку» упаковали в ящик и доставили ему на дом.

— Какая-то ерунда! И правильно делают, что снимают глупистику с экрана, — решила Наташа.

— Ну ты даешь! Да это острая социальная сатира! Искусство должно отражать действительную жизнь, а не облизанную, словно леденец.

— Оборотины ходили, восторгались, — вспомнила Нина Ивановна, которая до этого случая всем и всегда твердила, что в искусстве полагаться на чужое мнение не стоит.

«Ах, где мои двадцать лет! Верните мне мою молодость!» С каким бы удовольствием Нина Ивановна взяла на себя все заботы дочери, ее усталость, отдав взамен полную свободу (домашней хозяйки), положение профессорши, которая умно консультирует диссертации будущих кандидатов технических наук, выбравших себе специальность «водоснабжение промышленных предприятий». Впрочем, очутившись на положении дипломантки, которая только начинает жизнь, возможно (да что там «возможно», вне всякого сомнения), и она не сразу бы поспешила в кино... если есть возможность показать, что ты уступаешь мужской настойчивости с явной неохотой.

— Я устала, — попыталась возразить Наташа, понимая, что против коалиции мама Нина — Смычок ей не устоять, и в кино все-таки придется пойти.

Смычок направился к телефону.

— Евгения Евгеньевна? Юрий Юрьевич. Бронирую за собой парочку на двадцать два, на двадцать один мы не успеваем.

Нина Ивановна захлопотала:

— Ты сегодня хоть обедала?

— Нет. Но посидели с ребятами в «Арктике», слопали по две порции мороженого: первая — за счет старосты (низложенного и коронованного), на вторую расщедрился Славка. Он — именинник: подал заявление в аспирантуру.

— А ты? — Смычок готов был возмутиться и в случае необходимости потребовать с виновного ответа, поставить к барьеру.

Виталий Никифорович предложил ей вакантное место на следующий день после именин. Заявление она, правда, еще не написала, подходящего момента зайти на кафедру как-то не появлялось.

...Эти несвоевременные признания в любви. Они уведут преданных друзей. Виталий Никифорович в недруги не записался, внешне

остался прежним: предупредительным, внимательным, почти влюбленным. Вот именно, почти... (Славка, так тот, несмотря на свое обещание, все-таки обиделся.) Вот только не могла теперь Наташа позвонить Мозжухину домой, мол, забегу на минутку. Что-то ее удерживало. Явись, как раньше, и невольно возьмешь на себя какие-то обязательства. Да и Виталий Никифорович уже не искал случайных, мимолетных, но столь желанных встреч по дороге из аудитории на кафедру или на лестнице перед лекциями. Он при обращении к ней стал тщательно подбирать слова, пропуская их через драгу осторожности

В общем, именины унесли из ее жизни нечто ранее совершенно неприметное, но, к сожалению, такое нужное, дающее ощущение земной устойчивости... Это была дружба (Славка сказал бы: «мужская»), за которой не стояли обременительные обязанности.

Вернуться бы в те беззаботные времена! Увы... «Времени заднего хода не дашь».

Тут-то и подвернулся Смычок с его настойчивой преданностью, мужиковатой прямоотой выражения чувств. В какой-то мере Наташа была даже благодарна ему, его присутствие помогло ей притушить тягостное состояние безвинной виновности.

На предложение Юрочки побеспокоиться о ее будущей аспирантуре она не прореагировала, сделав вид, что такого просто не было. «Посвящать в свои дела постороннего...» По всему, даже Нина Ивановна, симпатизировавшая бойкому аспиранту профессора Пахомова, и та не сочла нужным рассказывать ему обо всем: симпатия симпатией, но семейные интересы превыше этого. Нина Ивановна как человек вполне современный была отягощена множеством предрассудков, и один из них — святая вера в «сглаз». Поделись с иным (или с иной) радостью, позавидует и обязательно сглазит.

Маме Нине очень хотелось, чтобы Натулечка была более приветливой с Юрием Юрьевичем. Он так ее ждал! Так заботился о билетах! Так надеялся! Он вполне заслужил маленькое поощрение.

— Время еще есть, поужинаем, — предложила она. — За весь день — ничего, кроме мороженого.

Усадив женщин, Смычок принялся ухаживать за обеими:

— Разрешите?

— Юра, вам так трудно отказать!

Нина Ивановна пребывала в состоянии окрыленности, вот такой же молодой, счастливой она была, когда танцевала с Юрием Юрьевичем озорную летку-енку на именинах дочери.

— Настоятельно рекомендую к ужину «Птичье молоко» производства знаменитой Донецкой кондитерской фабрики. — Смычок шедрым жестом протянул коробку.

Видя, как дочь освобождает конфету от «золота», Нина Ивановна вздохнула:

— «Птичье молоко», «Золотое яичко», «Стрела» — куда все это подевалось! Без надежных связей и коробочки не достанешь. — Она явно работала на Смычка, стараясь обратить внимание дочери на лучшие его качества.

Смычок поспешил блеснуть знаниями по затронутой теме:

— Для какао нужна среднегодовая температура двадцать шесть градусов тепла, а влаги — до двух тысяч миллиметров. Но в Африке пять лет кряду не выпадало дождей: все засохло и вымерло, а в тропической Америке в разгар лета ударили морозы — минус семь градусов, словом, лет на десять мы остались без какао. Представляете, как подскочили на него цены на международном рынке!

— Да-да, ужасно, — согласилась Нина Ивановна. — Но почему бы все это не пояснить людям! У нас народ сознательный, и не было бы ненужных пересудов.

* * *

Когда они вышли из кинотеатра, улицы были дивно белы. Крупные снежинки опускались мягкими виражами и садились на столбы, на шапки прохожих, превращались в сказочных зверюшек. Какая-то парочка затеяла игру в снежки.

В Донбасс наконец-то пришла зима, неизвестно где болтавшаяся столько времени.

Смычок зачерпнул горстью снег и начал его жевать, да с таким аппетитом, что Наташе самой захотелось попробовать этого лакомства.

— Берендеево царство, — вымолвила она очарованно. Толкнула деревце, и на них со Смычком осыпалось белое искристое конфетти.

Смычок неожиданно чмокнул ее в щеку.

— Чего ты? — удивилась Наташа.

— Зима.

И она с этим согласилась.

Дышалось легко, дневные заботы улетучились. Не было той острой тоски, одолевавшей ее, когда она расставалась с ребятами из «Антошки» и когда не без угрызений совести думала об обиженных ее отказом Славке и Виталии Никифоровиче.

— До чего ж злой фильм! — вспомнила Наташа, с удовольствием скатывая снежку. — Оказывается, все мы игрушки в чьих-то руках... И, как говорил великий Щедрин, живем применительно к подлости. Но наступает момент прозрения, за которым следует бунт. Подлость вечна, но не бессмертна, и по мне — нет большего удовольствия, чем убить ее. Пусть она потом воскреснет в новом варианте, в ином обличье, но все равно найдется прозревший, который восстанет и снова задушит ее в отчаянии.

Смычок записал высокую оценку фильма в свой актив:

— А ты идти не хотела!

— По младости, по глупости.

— То-то!

Юрочка проводил ее до лестничной площадки

— Пожелай от меня маме спокойной ночи. Время позднее — заходить неудобно.

Наташа про себя отметила: «Нина Ивановна стала для него «мамой». Ловок парнишка! Видимо, считает, что стадию «мама Нина» он уже миновал».

Смычок взял ее руку. Наташа вновь ощутила приятную жесткость Юрочкиных пальцев, в которой жила некая неотвратимость. Она не стала разыгрывать из себя обиженную недотрогу, ждала, когда он сам, почувствовав границу дозволенного, отпустит ее.

Родители еще не спали. Отец, вернувшись поздно, ужинал.

Наташа подсела к столу:

— Голодная.

Мама Нина спросила, вкладывая в свои слова особый смысл, который должен был быть понятным только Натулечке:

— Как фильм?

— Наохотались вволю. Но если бы я была секретарем обкома, я бы не стала снимать его с экрана, просто не выпустила бы: беспощадно злой, мы же привыкли к пареной репе и вареной морковке. Французы поставили умный фильм, заставляющий думать. А Пьер Ришар в нем — вообще прелесть. Он бунтарь по натуре, ниспровергатель.

— Наташа, твой нигилизм меня пугает! — встревожилась Нина Ивановна.

Прохор Николаевич возразил:

— Появились у человека первые проблески собственных мыслей, мы его — в нигилисты. Пусть ошибается! Наошибается до тошноты и придет к правильному выводу.

Наташа с пониманием глянула на отца. Нигилизм — это отрицание всяческих культурных и моральных устоев, это разрушение до основания, до кирпичей наследия прошлого. А у нее в душе жила песня, и хотелось создавать, созидать. Причем немедленно, своими руками.

— Пойдемте, прогуляемся. На улице — снег. Слепим снежную бабу.

— Старое ведро есть в подвале. Морковкой магазин нас обеспечил, — согласился отец. — Только вот с угольками затруднение при водяном отоплении.

— Две картофелины, — подсказала Наташа.

Она чувствовала себя легко, словно была снежинкой, опустившейся тихо на землю.

И профессор Пахомов в первом часу ночи вместе с супругой и дочерью отправился в сквер имени Пушкина лепить снежную бабу.

* * *

Смычок был верен, предан, настойчив, ненадоедлив, умел быть нескучным и даже в какой-то мере необходимым. Если Наташа задерживалась в библиотеке или институте, он приходил ее встречать. В общем-то, у нее была горячая пора, и все-таки они ухитри-

лись однажды побывать в «Шахтерском» баре, где милые мальчишки-официанты в белых рубашках и черных галстуках-бабочках теньями скользили по паркету в сумерках полуосвещенного зала. Наташа с удовольствием тянула через соломинку фруктовый коктейль. Несколькими раз «посетили» кино, посмотрели в новом дворце молодежи «Юность» японскую эстраду. И как-то на все находилось время.

По возвращении Наташа каждый раз обязана была докладывать маме Нине обо всем с мельчайшими подробностями. Дурачась, она рассказывала «все-все» о второстепенном (второстепенном в понятии Нины Ивановны), к примеру, сюжет фильма или кто из известных артистов какие роли играл.

— В повтором — кинокомедия «С легким паром!» — Яковлев в роли Ипполита великолепен. Казалось бы, комедия положения, даже фарс. Но когда Ипполит при полном параде в зимнем пальто сидит в ванной под душем — это уже трагедия: у человека отобрали любовь. Мне его жалко до слез. Вскочила бы — и туда, в эту дурацкую квартиру, где истязают незащищенных.

Нина Ивановна терпеливо выслушивала все это, ожидая, когда Натулечка перейдет к лирической части. Но тут дочь (умышленно) становилась скромной и скороговоркой поясняла:

— Юрий Юрьевич просил пожелать маме милых сновидений.

Она не сомневалась, что родительнице приятнее было бы вместо «маме» услышать более нейтральное: «Нине Ивановне». В этих словах отсутствовало указание на разницу в возрасте. Но Наташе нравилось подтрунивать над матерью.

Выслушав доклад дочери о «культпоходе», Нина Ивановна в ответ сообщала какую-нибудь новость о Смычке.

— Юриной диссертацией заинтересовались ждановцы.

Это значило, что она порекомендовала «способного и делового» Смычка кому-то из своих друзей, кому она в свое время оказывала подобную же услугу. Работу будущего кандидата технических наук уже прочитали и позвонили Нине Ивановне.

Она открыто благоволила дружбе Смычка с дочерью, но вряд ли считала его серьезным претендентом на руку Наташи. Виталий Никифорович — иное дело, а Юрочка...

Но если бы мы знали, где грохнемся оземь! Кто бы из нас не подстелил соломки.

* * *

Закончился март, начался апрель. Наташа привыкла к тому, что Смычок всегда рядом. Так привыкают к портфелю, с которым ходят на работу; к собственному подъезду, с вечно перегоревшей лампочкой, где ты знаешь каждую ступеньку; так воспринимают смену дня и ночи, появление по утрам в почтовом ящике газеты «Известия».

Но однажды вечером Смычка в скверике рядом с библиотекой не оказалось. Это было столь неожиданно, что Наташа застыла на каменных ступеньках и минуту-другую с беспокойством осматривалась: «Да куда же запропастился Шиковый Парень?»

Она медленно побрела восвояси, словно бы еще надеясь, что Смычок подойдет, хотя уже знал, что его сегодня не будет.

Дома мама Нина ей сообщила:

— Юра срочно уехал в Жданов, возможно, его диссертация найдет применение в жизни.

«Ну что ж, по всему, рекомендация мамы Нины сработала...»

* * *

Смычок в своем роде был гениальным человеком, он каким-то образом узнавал о событиях, которые еще не произошли, но обязательно произойдут завтра, послезавтра или в ближайшие дни.

Вернувшись из Жданова, он поспешил к Пахомовым. Весть, которую Смычок добыл, казалась ему весьма значительной и симптоматичной.

— Нина Ивановна, — прямо с порога огорошил он прелестную хозяйку, — представляете себе? На кафедру Мозжухина дали только одного аспиранта!

В иное время Нина Ивановна в подобном положении сказала бы: «Ах, Юрий Юрьевич, вы шалунишка». И, возможно, осмелилась бы даже свободной рукой чуть взбить его жесткую рыжую шевелюру. Но новость, которую он принес, грозила повлиять на будущее дочери... А в таких случаях Нина Ивановна превращалась в тигрицу, защищающую своего детеныша, то есть лирический момент отступал на второй план. Не отдавая себе отчета, она начала инстинктивно осторожничать. Сделала вид, что весть не представляет для нее

интереса: кафедра доктора Мозжухина, по существу, еще в стадии становления, так что несурязица в штатном расписании — дело естественное.

— Юрочка, лучше расскажите, как съездилось. Каковы перспективы? Мне обещали...

— Нина Ивановна! — воскликнул Смычок. — Неужели вы не понимаете! Вакансия — од-на! А претендентов — дво-е! Причем Бобренок ухитрился подать заявление, а Наташа тянет до сих пор. Зная щепетильность Мозжухина в таких вопросах...

Нина Ивановна легонько прикрыла пухлые, сочные губы Юрочки ладошкой.

— Оставим решать задачу с двумя неизвестными Виталию Никифоровичу.

Смычок невольно поцеловал ладошку:

— Чашечку чая... С дороги. У меня есть цейлонский.

— Нина Ивановна, вы очаровательнейшая из женщин.

Смычок гостил не менее часа: столько времени ему потребовалось на то, чтобы поделиться радостью поездки в Жданов. Нина Ивановна была самым внимательным и заинтересованным слушателем.

Но когда за аспирантом Смычком закрылась дверь, Нина Ивановна поспешила к телефону. Мозжухина она нашла в институте.

— Виталий Никифорович, мне только что сообщили, будто вам на кафедре утвердили лишь одного аспиранта. А кандидатур две... — и таким трагическим голосом: — Натулечка даже заявления еще не подала.

— Нина Ивановна! Успокойтесь! В конце концов не формальная сторона будет решать судьбу аспирантуры.

Он заверил вконец расстроенную женщину, что ему как руководителю кафедры ничего подобного не известно. Кстати, вчера вечером он имел пространную беседу с проректором по науке, обсуждали нужды и перспективу кафедры. Копылов и словом не обмолвился.

Когда Наташа появилась в доме, мама Нина ударила в набат:

— Ты представляешь ситуацию?

Наташа отмахнулась:

— Смычок двое суток пропадал в Жданове, к нам — с вокзала. И вдруг оказывается, что в делах кафедры сведущ больше, чем ее руководитель.

Но мама Нина была настроена иначе:

— Юрий Юрьевич знает, что эта новость касается прежде всего тебя, и выдавать слухи за абсолютный факт не стал бы.

В тот же вечер у нее состоялся разговор с главой семейства:

— Прошенька, ты слышал новость? — спросила она после ужина, когда сытый муж чуточку разомлел и, настроенный на отдых, благодушествовал:

— Какую? — спросил тот беззаботно.

— Виталию Никифоровичу на кафедру утвердили только одного аспиранта. Слава Бобренок успел подать заявление, а Натулечка до сих пор не нашла времени. И потом, эта «гидросоль»... Хорошая дипломная работа должна стать основой для будущей кандидатской. Вот у Славы — готовая тема: производительный центробежный насос «Утенок». Но мы же сами с усами! — Она упрекала дочь, а заодно и Мозжухина за то, что те в свое время не посчитались с ее мнением.

Нина Ивановна, известный специалист по кандидатским диссертациям, не была удостоена доверия познакомиться с дипломной работой дочери. Она знала о работе Наташи в общих чертах, все с чужих слов. Однажды она спросила Мозжухина:

— Виталий Никифорович, а может Наташина дипломная лечь в основу будущей кандидатской диссертации?

Мозжухин смутился:

— В известной мере...

— А поконкретнее. Да или нет?

— Нина Ивановна, в науке порою невозможно ответить ни «да», ни «нет». Но в принципе хорошая диссертация должна иметь или научно-практическое значение, или поднимать какие-то фундаментальные, чисто теоретические проблемы науки, вы это прекрасно и сами знаете. Есть еще один вид диссертаций — компилятивные, когда кандидат в кандидаты смело переписывает к себе в работу умные мысли других, которые он нашел в различных источниках за годы бдения по библиотекам.

Мама Нина была потрясена:

— Как я поняла, Наташина дипломная ничего «не имеет» и «не поднимает». Почему же вы, друг семьи, любимый наставник, не помогли правильно сориентироваться своей ученице?

За этими словами стояло другое: «...Хочется надеяться, что личная судьба Натулечки вам не безразлична!»

Мозжухин поспешил оправдаться:

— Но эта тема позволяет ей расширить кругозор, наладить нужные связи, увидеть жизнь в диалектическом развитии, уверовать в неизбежность прихода НТР в самые захолустные уголки современного производства, которое, увы, не всегда развивается гармонично. Знакомство с дисгармонией развития дает ей рабочую злость в борьбе за передовое. А без этого чувства не может быть ни толкового инженера, ни тем более ученого.

А Нина Ивановна так надеялась на здравый смысл Виталия Никифоровича! С Прошенькой говорить на эту тему было бесполезно. Он убежден, что молодой ученый должен повариться на производстве, так сказать, нюхнуть пороху и пыли. Да и у самой дочери отец-профессор не пользовался непререкаемым авторитетом. (Может, потому что в своем отечестве пророков нет?) Иное дело Мозжухин. (Нина Ивановна прекрасно знала, что Наташа изредка проведывает Виталия Никифоровича и они иногда ходят в кино.)

— Мне хочется воскликнуть: «И ты, Брут!»

Мозжухин доказывал:

— Понимаете, Нина Ивановна, работа Натальи Прохоровны — одна из самых интересных в группе...

— «Одна из...» А предпочтение вы все-таки отдаете Славе Бобренку с его «Утенком»!

— Но Бобренко — это действительно талант! Вы сами говорили: Кулибин плюс Королев, — оправдывался Мозжухин. — И я, Нина Ивановна, честное слово, в этом не виноват, — попытался отшутиться Виталий Никифорович. Но, понимая, что Нине Ивановне сейчас не до шуток, он поспешил перевести разговор в более строгое русло: — Я уверен, что дипломная работа Натальи Прохоровны найдет свое практическое применение.

* * *

«Доискались! Доприменялись!» Теперь, когда надо выбрать одного из двоих...

— Если идешь в большую науку, цени каждую минуту и не распляйся, — сетовала мама Нина на упрямство дочери.

Вот уж в этом Прохор Николаевич был полностью согласен с супругой: «гидросоль» — латка на кафтане, который давно пора распустить на тряпки. И весьма возможно, что проект «гидросоли» года на три отодвинет осуществление давних планов профессора Пахомова внедрить замкнутый цикл на ДМЗ.

— «Сорок тысяч пачек соли!», «Штырь имени Глеба Кедрача!» — с саркастической улыбкой начал он. — Словом, эмоции на экспорт! А пора бы знать акселератам: то, что годится для профсоюзного собрания, когда знаешь наверняка, что прежний председатель не угодил и его переизберут, совершенно не подходит для науки. Она предпочитает точный расчет и обоснованные выводы.

— Как вы мне надоели с вашими нравоучениями! — вырвалось у Наташи. — Не мешайте мне ошибаться! Не мешайте страдать от своих ошибок! Если тебя водят на помочах, ходить не научишься!

Мама Нина, оставаясь на высоте своего положения, промолчала в ответ на злую реплику дочери.

— Прощенька, поговори с Копыловым... Если Юрий Юрьевич прав, — перевела она разговор.

Наташа понимала, к чему клонит мама Нина. Славку Бобренка... куда-нибудь на «ячь», а единственное место — ей, доченьке уважаемого профессора, за которую столько ходатайств.

— Начинать свою жизнь с хождения по костям друзей! — рассердилась она и ушла к себе.

Мама Нина прислала к ней на успокоительные переговоры отца. Тот пришел, сел на краешек кровати, поцеловал в плечо. Какой-то очень неуклюжий — это от внутренней стесненности.

— Сколько помню, Юрины новости всегда подтверждались... Но в этот раз он явно что-то поднапутал... — Отец виновато улыбнулся: он сожалел, что не может в данный момент быть полезным дочери, и начал утешать: — В конце концов, что, мир на этой аспирантуре клином сошелся?

Наташа любила отца со всеми его странностями и увлечениями. Все-то в нем было большое, особое: голос, мысли, восприятие мира. Людей и себя он всегда оценивал по большому счету. И сейчас не требовал от нее, чтобы она мелочилась, пошла на поводу у обстоятельств.

Она очень хотела, чтобы ей в жизни встретился такой же, как он: честный, наделенный чувством юмора, умеющий восхищаться, как мальчишка, негодовать открыто, любить преданно.

Она поцеловала отца.

И больше на щекотливую тему они не говорили.

* * *

На следующий день во второй половине дня Наташу пригласил к себе Мозжухин.

Она разволновалась, решив, что разговор пойдет об аспирантуре, гори она огнем. На кафедру зашла — ноги подкашиваются. Стоит высокий, чуточку сутуловатый Виталий Никифорович, улыбается, как в добрые старые времена (до объяснения). В руках у него красная папка. Наташа ее сразу узнала: дипломная работа. Первый вариант...

— Наталья Прохоровна, я давал вашу работу на рецензию главному инженеру ДМЗ Оборощину. Вот заключение. Он считает, что это именно то, что нужно участку химводоочистки сегодня: без остановки производства, без особых капитальных затрат решается узловый вопрос, — Мозжухин пожал ей руку.

Слышать такие речи приятно, но почитать самой, когда тебя расхваливают, — особое удовольствие.

Мозжухин протянул ей папку:

— У рецензента есть дельные замечания.

О чем разговор! Конечно, она учтет! И замечания Григория Григорьевича Оборощина и других рецензентов и консультантов, лишь бы они были на пользу делу.

«Победа! Победа!»

Первая! Самая важная! Будет еще всего вдоволь: удач и неудач, но эта первая победа запомнится на всю жизнь.

При Мозжухине смотреть рецензию Наташа не стала. А выйдя из кабинета, уткнулась в раскрытую папку.

За этим занятием ее застал Славка Бобренюк.

Заглянул через плечо и на ушко так ласково:

— Поделись радостью первооткрывателя.

Наташа обхватила его за плечи, закружилась.

— Ты что? — удивился он. — Обнаружилась бабушка-миллионерша, которая перед смертью завещала внучке состояние? Или Наталья Пахомова нашла эффективный и дешевый способ очистки сточных вод от мыла и стирального порошка?

Наташа раскрыла перед ним красную папку:

— Оборощин рецензировал проект: намерен предложить его заводу.

— В таком случае с тебя причитается... обед в студенческой столовой — я без гроша.

Тоном купца, который в пьяном похмелье, обрадованный барышами, кричит: «Бочку рабочим вина выставляю и недоимки дарю», Наташа сказала:

— Угощаю! Борщ, котлеты с макаронами «рожки-ножки» и компот из сухофруктов.

— Так чего же мы медлим? Вперед! К заветной цели!

После обеда, так сказать, на сытый желудок, Славка вдруг совершенно по-новому оценил ситуацию:

— А твой Оборощин — хитрюга. Глеб рассказывал: за химводоочистку завод слушали на бюро горкома. И всыпали по тридцатое февраля: какая-то коллективная жалоба аж в Москву. На том бюро Григорий Григорьевич и прикрылся твоим проектом: «Принимаем меры, вот подключим к делу молодых специалистов». — И вдруг заговорил словами профессора Пахомова: — Теперь поставят латку на старую свитку и отпишутся: «Постановление бюро выполнено». А нужна ре-во-лю-ция! Старье перепахать и на обновленной стройплощадке — по последнему слову инженерной мысли, обгоняя время!

До этого момента Наташе казалось, что она... ну, если не подвиг совершила, то сделала нечто выдающееся. Славка не чесал пачки соли «Экстра» о штырь системы Глеба Кедрача, не кайловал «пик имени тети Фроси», не перелопачивал по пятнадцати тонн соли за смену. Поэтому Славка — максималист, ему подавай революцию: все

устаревшее, отжившее свой век — на снос. А где взять время и денюжки на новое, на это перевооружение?

— Современному производству нужны суперсовременные вспомогательные цеха! — выступал Славка, будто призывал к восстанию. — Без этого не получишь высококачественного металла. Япония купила патент на нашу установку непрерывной разливки стали. Поставили свою электронику, отрегулировали режим. И что же! Вот почитай! — Славка совал Наташе в руки еженедельник «За рубежом». — За восемь лет они на восемьдесят процентов снизили энергозатраты на производство тонны стали. Вдумайся в эту фразу! На восемьдесят процентов! Наше изобретение! Один из авторов — твой Оборощин. А теперь предлагает «гидросоль». Смешно! И преступно! Наступает эпоха роботов с каучуковыми мускулами и с интегральной схемой пятого поколения в голове. Хватит нам прибедаваться! Пора уже научиться спрашивать с себя по большому счету: четвертое поколение выросло при советской власти, а мы все еще свои недодумки и недоделки валим на дедуню-царя — мол, такое худое наследство оставил.

Как всегда, в таких словах Славка был прав, но и, как всегда, впадал в крайность.

— Какую тему для будущей диссертации ты намерена взять? — неожиданно спросил он.

У Наташи какой-либо конкретной темы еще не было. Она вспомнила вчерашний переполох в доме по поводу новости, которую принес Смычок, и совершенно иными глазами взглянула на хорохористого Славку. «Из-за какой-то случайности может круто повернуться вся судьба человека...»

— Вначале бы диплом получить...

— Нет-нет! — стоял Славка на своем. — В науку надо идти со своей темой, с четко выраженной жизненной позицией. Я считаю, что на сегодняшний день для думающего человека нет более важной проблемы, чем защита окружающей среды от нашего коричневого невежества и зеленой тупости. Есть критический предел нашего вмешательства во владения природы.

Славку, что называется, понесло. В таком состоянии он не слушал никаких доводов. Надо было просто сбить его с толку и сменить тему. А это сделать не так-то легко.

— Без четко выраженной позиции, милый Слава, ходят только в кино на премьеру: чем она тебя порадует, не знаешь. Кстати, посмотри французскую комедию «Игрушка». Тема для докторской, правда, в области социальной психологии, на тему: «Разложение личности в результате эпидемии, называемой вещизмом».

— Не люблю, когда меня поучают!

— А когда учат? Пицца для ума...

— Вещизм — болезнь ожиревшего мещанина, мне она не угрожает.

Наташа почему-то вспомнила Глеба Кедрача и подумала, что по этой части (стойкий иммунитет против вещизма) они со Славкой братья-близнецы.

Славка — ниспровергатель авторитетов — иссяк, теперь с ним можно было говорить по-человечески.

Он взял у Наташи сумку, повесил себе на плечо. Было в нем сейчас нечто от озорного мальчишки. Наташа откровенно рассматривала друга.

Очень подвижный — живчик, говорят о таких. Вечно его посещают какие-то сверхгениальные идеи. И эта озабоченность «судьбой человечества» прорисовывается складочками-бороздками на высоком лбу. Но стоит Славке улыбнуться — а улыбается он щедро, будто дарит тебе полмира, пол-Земли, причем ту часть, которая на этот момент освещена солнцем, — и морщинки-«заботинки» исчезают. Славка — глазастик. Но не из тех, у кого «бельмы» с блюда. Глазастик — это лишь впечатление от встречи с его внимательными, можно сказать, мудрыми глазами.

— Чего ты на меня уставилась? — спросил он, ощущая в себе беспокойство.

— Любуюсь, — с милой женской откровенностью, граничившей с нагловатостью, ответила она.

— Нашла кем! — Славка смутился — румянец на всю щеку.

— Нашла... — а в голосе такой интим, такой призыв...

— Но... я не твой принц...

— Кроме принцев, на белом свете существуют королевичи...

— Знал одного... Бовою звали. — Славке было очень неудобно в этом мире намеков и обещаний, которые не исполняются.

Наташа в тот момент была близка к тому, чтобы рассказать другу о сплетне насчет сокращения мест в аспирантуру на кафедре Мозжухина, о реакции мамы Нины на сообщение Смычка. Ей хотелось надо всем этим всласть посмеяться, поиздеваться. Но не нашлось нужных слов, не родилась интонация-настрой, видимо, ирониию съела озабоченность: чертов вопрос с местами в аспирантуре по существу так и остался открытым.

* * *

Не проявился этот вопрос и по возвращении домой главы семейства.

Как только Прошенька переступил порог, мама Нина, само собою, спросила его:

— Что-нибудь насчет аспирантуры выяснил?

Он не сразу сообразил, о чем это она. А потом отмахнулся:

— Мне бы твои заботы.

Мама Нина, конечно, не могла позволить Прошеньке, чтобы он манкировал интересами семьи, так наплевательски относился к судьбе дочери.

— Прохор Николаевич, вы меня удивляете! — слегка повысила она голос, давая понять, как ей неприятно говорить с ним в таком тоне.

— У меня был ученый совет. Слушали кафедру.

— Совет! Благоприятнее случая и не придумаешь! Все — на месте. Надеюсь, ты догадался пригласить Копылова с женою к нам в гости?

— Не догадался!

Прохор Николаевич не любил такие разговоры. Но если мама Нина считала, что они необходимы, то избежать их не было возможности.

— На-пра-сно! — с чувством и с расстановкой прокомментировала она.

Мама Нина припасла на стол, когда пришел Оборшин.

— Гляжу — в окне свет. Прохор у стола топчется, думаю, дай загляну.

Григорий Григорьевич пришел явно с какой-то целью: принес бутылочку коллекционного шампанского, бутылку армянского ко-

ньяка пять звездочек. Марочных коньяков он избегал: «Слишком много в них дубильных веществ: печень надо щадить». Шампанское — Нине Ивановне. Коньяк — Прохору Николаевичу, а Наташе — три бледно-розовые розы. Из заводской оранжереи.

Прохор Николаевич обрадовался вторжению друга, которое извбавляло его (временно) от неприятных разговоров с женой о судьбе Натулечки-красотулечки.

— Пир на весь мир! — преувеличенно громко выкрикивал он.

Ну а для Нины Ивановны не существовало большего удовольствия, чем принять гостей, особенно таких как главный инженер завода Григорий Григорьевич Оборощин: умный, веселый, умеющий поддержать любую беседу и... очень полезный человек.

Во время ужина Наташа все время присматривалась к Оборощину, вспоминая Славкину характеристику: «Хитрюга».

Да, уж простачком главного инженера не назовешь даже по внешнему виду: этакий соблазнитель, начавший сесть. Нос — острый, глаза — острые, и весь — словно отточенная бритва. Любит подковырочки. А уж на рыболовно-охотничьей ниве у них с Прохором Николаевичем поддеть друг друга или устроить мелкий розыгрыш считалось даже делом чести.

Сели ужинать. Оборощин предлагает тост:

— Нина Ивановна, за ваши педагогические способности. Вначале вы из курского увальня выпестовали доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой, консультанта министерства, а теперь из дочери готовите главного инженера завода.

Мама Нина, опьяненная комплиментом, почти все слова Григория Григорьевича приняла за чистую монету.

— Я не знаю случая, когда главным инженером или директором такого крупного завода как Донецкий металлургический назначили бы женщину, — ответила она.

— Это только потому, что мужчины опасаются деловой конкуренции... Но жизнь требует светлых мозгов... Вот в Англии на должности премьер-министра кого только из мужиков не пробовали! А когда сели в экономическую калашу, то вытаскивать оттуда туманный Альбион поручили женщине.

— И она пустила страну по миру, — в тон заметил Прохор Николаевич.

— У меня такого впечатления от Англии не сложилось, — возразил Оборощин. — Англичане педантичны, хотя и обладают хорошим чувством юмора, экономны, скромны. Если вы пригласили в гости троих, то приготовите, считая себя, четыре куриные ножки, обязательно все правые, чтобы никому не обидно.

— Все четыре — от одной и той же курицы, — съязвила Наташа.

— Как от одной, — уточнил Оборощин. — Это обеспечивает стандарт. Были бы ваши денежки. Конечно, слупят. А вот фрукты — дешевые, особенно бананы. Причем спелые, копейки на наши деньги, и связками: снабжают бывшие колонии бывшую метрополию.

— А безработные?! — воскликнула Наташа. — А расстрелянная Ирландия!

— Наталья Прохоровна, — хитро улыбнулся Оборощин, — добрый англичанин считает, что политика — дело политиков, а он стремится жить по закону: «Моя хата с краю, я ничего не знаю». На английском это звучит так: «Мой дом — моя крепость». И потом... хаять за глаза женщину, даже если она и премьер-министр! К лицу ли мужчине? Впрочем, мы отвлеклись от генеральной темы: Наталья Прохоровна в должности главного инженера ДМЗ. Потолкавшись среди людей, поднабравшись уму-разуму... Думаю, справитесь.

— Нет! — ответила она, заряжаясь игривым настроением Оборощина.

— Почему?

— Я не металлург, не доменщик!

— Э-э, отважный солдат России, а где же наш маршальский жезл? Через двадцать лет всеми видами металлургического процесса будет руководить АСУ. Сырье, режимы, сроки плавок — все возьмет на себя. И единственной нерешенной на уровне НТР останется проблема водоснабжения... Уж слишком она будет зависеть от природных условий. Так что главным инженером завода назначат специалиста именно этой отрасли...

— Я подумаю над вашим предложением, — согласилась Наташа, невольно улыбаясь. — У меня впереди обещанные двадцать лет... Но условие: налаживайте АСУ. Вот в Японии ваша УНРС сэкономилась восемьдесят процентов энергоресурсов на производстве стали.

— О чем разговор! Установку непрерывной разливки стали применили, конверторное производство внедряем, хотя и не первыми, зато научившись на горьких ошибках соседей. Перейдем на бездомный процесс переработки руды. Домны как морально устаревшее оборудование спишем, на их месте построим бассейны замкнутого водяного цикла. А на месте мартеновского цеха — заводской сквер. Что вы предпочитаете увидеть в заводском сквере: тую или испанский дрок?

— Пихту. Если верить журналу «Здоровье», пихта очищает воздух лучше всяких ионизаторов. — Наташа глянула на маму Нину, основного и единственного в семье Пахомовых читателя этого популярнейшего журнала.

Наташе в силу ее молодости и отменного, унаследованного от Прохора Николаевича здоровья, медицинские знания по лечению гастритов, камней печени, ишиасов, радикулитов и прочих популярных болячек были пока не нужны. А Прохор Николаевич считал любимый журнал Нины Ивановны вообще вредным и губительным.

«На месте соответствующих органов я бы его запретил, он же издается за деньги ЦРУ! — грубовато вышучивал он свою незабвенную. — Для подрыва здоровья трудящихся. Получив уйму знаний, особенно по части диагностики новых болезней, человек невольно начинает искать сферу их приложения. Лежит он вечером и прислушивается к себе: где в нем что-то булькнуло, скрипнуло, отдало, засаднило... «Ой, у меня «хиромантоз». Глядишь, сверхбдительность и подарит ему какую-нибудь модную болячку.

— Выручила ты меня, Наташа, — признался довольный Оборшин. — Подозреваю, что это Воинова всех взбаламутила: в ЦК — коллективное письмо.

Он передал ей конверт. Наташа раскрыла письмо. Напечатано на машинке (копия).

«До каких же пор будет продолжаться это положение! В космосе металлургический завод открыли, варят космонавтам неведомые доселе металлы. А на Земле недоумков развели. И кто-то из них счел наш цех делом четвертой категории. Но если не дает химводоочистка хорошей воды, как это случалось уже не однажды, и всякие хитрые УНРС и ЭСПЦ тут же замрут. Неспроста же завод задолжал стране

670 тысяч тонн металла. Заместитель коммерческого директора тов. Клепанбык утверждал, что все это по вине вспомогательных цехов. Словом, едем в будущее верхом на лопате. Начальству, может, и виднее, где беда начинается, где кончается, но рабочему за такие «успехи» больно и стыдно».

И — восемнадцать фамилий. Первые: Е. Воинова, В. Решетняк... Словом, вся химводоочистка, три смены.

— А почему вы решили, что закоперщик Воинова? — поинтересовалась Наташа, возвращая письмо.

— Лексикон ее. Да потом... мы кое-какую информацию собрали — так сказать, побеседовали с недовольными.

— Ну и... приняли меры к жалобщикам? — взъершилась Наташа.

Оборошин улыбнулся:

— Воинова прямо сказала: «Дальше химводоочистки не пошлете, меньше лопаты не дадите». Она когда-то была сменным инженером. И справлялась. Да характером с начальником цеха не сошлась. Это было еще до Руфимова.

— Воинова? Вот это новость.

— Закончила наш политехникум. А характера и организаторских способностей ей не занимать. Но выдержки не хватило: одного слесаря, пьяницу и лодыря, по вине которого произошла авария на кране и тетю Фросю обрывком каната стегануло, лопатой так отходила, что он неделю в больнице отлежал. В суд на нее подавал, да Куренная ему — встречная иск, так и замяли дело. Воинова пришла и партком да так и заявила: «Развели недоумков и паразитов!»

Наташа вспомнила летучку, на которой Клепанбык «благодетельствовал» Руфимова кабинетным гарнитуром, и ей почему-то стало весело.

— А Егор Миронович действительно выступил с тезисами: «шестьсот семьдесят тысяч тонн металла недодано родине по вине водоснабжения, а это — экономическая диверсия».

— За свои «тезисы» он попал на бюро горкома в именинники: выговор с занесением. Вашему покорному слуге, — поклонился Оборошин, — тоже с занесением, за недостаточное руководство технической политикой; секретарю парткома — без занесения — за недостаточный контроль. И если бы не проект инженера

Н. П. Пахомовой «гидросоль», то полетели бы головы, и первая — начальника цеха водоснабжения. Но мы вовремя прикрылись надежным щитом: «Думаем, беспокоимся, принимаем меры». Бюро горкома учло наше заверение и... установило сроки. А поскольку письмо группы рабочих отстающего предприятия находится на контроле в ЦК, то поворота назад с «гидросолью» быть уже не может.

Наташа невольно вспомнила, как «чехвостили» на коллегии министерства директора ДМЗ. (Отец рассказывал.) «Сорок восемь процентов основного оборудования безнадежно устарело морально и физически. Силовая установка в цехе блюминга трудится с 1902 года».

Оборошин, вернувшийся с этого совещания, мрачно шутил: «Современной бы технике такую рабочую гарантию».

Проход Николаевич на чем свет костил начальство: «Не говорю уже о маленьком, но даже у большого министерства нет никакой технической политики. На местах вопят: «На старье Японию с ФРГ и США — не обгонишь! Нужно оборудование, способное работать на три порядка быстрее и точнее». А из министерства окрик: «Не способны руководить на современном уровне, так и скажите. Незаменимых людей нет». Возвели демагогию в ранг технической политики и строчат отчеты: «По сравнению с Америкой и Японией у нас темпы роста...» И цифиры! Этими «темпами» отгораживаемся от реальной действительности. А нужен конечный результат с учетом мирового уровня. Что же получается? Директор ДМЗ в компании с главным инженером — круглые идиоты и не хотят менять силовую установку на блюминге, которая «надежно работает с начала века». А каждая запчасть к этому ихтиозавру — на вес золота. На деньги, которые угробили на поддержание музейного экспоната только при моей памяти, можно было бы выстроить самый современный цех. Перепахать ДМЗ к чертовой бабушке на глубину десяти метров! Не латать, а строить! Не кричать по поводу «успехов века», а считать народные денежки, как это умели делать наши деды. Выгодно — это когда на пользу не дяде из министерства, а стране в целом».

Мама Нина, верившая в фатальную неизбежность глобальных событий, напрочь отвергала нигилизм профессора Пахомова. Она

была убеждена, что на государственной службе не может быть законченных дураков, и если кто-то (из начальников-руководителей) поступает именно так, а не иначе, значит, иного выхода нет: не враги же мы сами себе.

Прохор Николаевич, возмущенный женской логикой, шумел:

— Ты можешь надеть пальто, которого у тебя нет? А мы его надеваем. Досочинялись! Маркса с его экономической теорией отдали на откуп капитализму, для социализма он, видите ли, устарел. Деньги у нас — совсем не деньги. Себестоимость — цирковой трюк, цена — блеф в степени «эн» плюс-минус единица. Производительность по Марксу: прибыль, она же прибавочная стоимость, поделили на всех занятиях на производстве. А по нашей «новейшей» методе делим все затраты. И чем они выше на единицу продукции, тем лучше «для производительности». Надели ботинки на голову, а шляпу вместо носков и радуются: «у нас не так как у других». А государство живет только с того, что производит больше, чем расходуют. Если социализм по Ленину, это учтенная копейка, то коммунизм — это использованный с научной обоснованностью рубль.

В этот момент мама Нина подошла к своему Прошеньке и поцеловала его.

— Слава богам, что под твоим началом кафедра промышленной канализации, а не политэкономии.

Профессор Пахомов не мог согласиться с такой профанацией его идей.

— Гатим миллиарды на социальные и экономические выверты. Великое дело сотворили — перекрыли Кара-Богаз: «Озолотимся! Гребни химию роторным экскаватором! Черпай из Каспия черную икру». А мне: «Сверчок — знай свой шесток!» Ну и обезводили Среднюю Азию. Напоили до «невытерпки» Южную Украину и засадили миллионы гектаров. А какие пламенные речи мы производили по поводу: «оросим черноземы — хлеба некуда будет девать!» Теперь прикупаем у Аргентины и Канады, упрашиваем Америку. Да потомки проклянут нас за все это! Вот ты, потомок, — обратился отец к Наташе, — проклянешь мое поколение за разбазаривание воды и земли?

— Нет, — ответила Наташа, вспоминая, как тяжело переживает отец все, что имеет отношение к неразумному использованию воды.

— Проклянешь! — не согласился с нею профессор Пахомов. — Положишь зубы на полку, а все идет к этому, и проклянешь: «Дохозяйничались». «Горох — калорийнее и питательнее пшеницы», — об этом мы уже читали в газетах при Никите. И если вместо того, чтобы сгорать от стыда при мысли: на блюминге силовая установка работает девяносто лет, мы гордимся, дескать, все это время практически без аварий, доведется еще величать половику манной небесной.

* * *

«Прикроется хитрюга Оборощин твоим проектом, — говорил Славка. А главный инженер ДМЗ и не скрывает своих намерений: «Поворота назад с «гидросолью» быть уже не может».

Мама Нина в откровенности главного инженера Оборощина уловила некую опасность для судьбы дочери.

— Григорий Григорьевич, не темните... вы... со своим предложением... не по просьбе Виталия Никифоровича?

Оборощин явно не понял ее.

— Нина Ивановна, растолкуйте слаборазвитому, на какую просьбу доктора Мозжухина я должен откликнуться?

За маму Нину ответил Прошенька:

— Бабий переполох. Не обращай внимания.

Уходя, Оборощин обратился к хозяйке:

— Нина Ивановна, разрешите Натулечке-красотуличке проводить меня до калитки. Возвращение гарантирую в установленные сроки.

— Будете соблазнять своим заводом?

— Темой для докторской диссертации, — отшутился Оборощин. — На что уж Мозжухин сухарь от науки, и тот понял — настоящему ученому нужна хорошая производственная база. И вот результат: завод получает превосходный проект системы водоснабжения стана «3200», а Виталий Никифорович — докторскую диссертацию. Я приглашал его к нам в заводское НИИ... И есть кем руководить: пять докторов, тридцать семь кандидатов, не считая будущих. И скажу, Наташа, любой наш кандидат наук — человек дела, на сто очков форы даст любому доценту из политехнического института.

— Эх, батенька, — запротестовал Прохор Николаевич, — а руководителя хваленого НИИ ищите не меж своих докторов и кандидатов — в том же раскритикованном политехническом, и не среди металлургов, а зовете водоснабженца, то есть специалиста не по профилю.

— Умный человек в любом деле по профилю.

* * *

Дальше лавочки напротив подъезда они не пошли. Оборошин присел.

— Наташа, вы — человек рационального мышления, и я буду с вами откровенен, как мужчина с женщиной.

— Благодарю за комплимент, — ответила она не без иронии.

Уважаемый Григорий Григорьевич, видите ли, соизволили «очеловечить» женщину — разумеется, на словах, — приравнять к себе, существу высшему, недосягаемому. Ох уж этот чисто мужской эгоцентризм! Славка Бобренок, желая похвалить старосту «Антошки», обычно говорил: «А ты парень — из мужиков!» Взбалмошному, влюбленному в нее мальчишке Наташа еще прощала такое высокомерие, но умному, хитрому Оборошину, известному человековеду и женскому сердцееду, — не могла и не хотела.

А он сделал вид, что не заметил ее иронии, но невольно сменил позу озорника с рабочей окраины, который провожает девчонку до ее ворот, на более солидную, приличествующую его возрасту и положению.

«Дошло», — убедилась Наташа, получая от этого удовлетворение.

Оборошин улыбнулся:

— Знаю, что Мозжухин заготовил вам место в аспирантуре, а я все-таки приглашаю на ДМЗ. Руфимов — человек больной, тянет до пенсии. Наберетесь возле него уму-разуму. А диссертация... построив ЭСПЦ и стан «3200», завод вынужден будет начинать генеральную реконструкцию старой системы водоснабжения. Этот удав из семейства сетчатых питонов в образе консультанта минчермета уже проглотил зазевавшегося леопарда, я подписал проект реконструкции, так что есть где дерзать думающему инженеру.

Оборошин достал сигареты. Закурил. Он ждал ответа. Наташа молчала. Предложение Оборوشина было деловое и конкретное, оно в корне меняло тот план на будущее, который родился у нее под влиянием постоянных разговоров мамы Нины об аспирантуре.

Но было в предложении Оборوشина нечто заманчивое: конкретное дело...

— Я подумаю.

— Ну что ж, не буду мешать, — сказал Оборوشин. — Желаю вам полную меру мужества. Нина Ивановна почтет вас безумной — отказаться от аспирантуры на кафедре! А меня минимум на полгода отлучит от своего дома.

Он поднял руку, сжав кулак: «рот-фронт»... Впрочем, так приветствовали и гладиаторы выходивших на ристалище.

Поднимаясь по лесенке, Наташа чувствовала, что ее охватывает грусть. Не такая ли выжимала у нее слезу в Новосибирске, когда она, отработав лето в студенческом стройотряде, возвращалась домой. Стояли шумной компанией на сутолочном шумном перроне, а ей хотелось выплакаться. С чего бы? Ни в Новосибирске, ни в окрестностях у нее никого не было, и она была уверена, что уже никогда туда не вернется. Так почему же глаза наполнялись слезоу, будто сидела возле дымного костра, а ветерок тянул в ее сторону... Видимо, что-то близкое, родное оставалось на далекой земле. Может, четырехрядный коровник, который они построили? А может, луга, окружавшие бугор, где поднялось это сероватое здание? А может, далекие островки деревьев — колки? А может, небо?

«ПРОШУ РУКИ ВАШЕЙ ДОЧЕРИ!»

В доме — переполох. В одной руке у Прохора Николаевича флакон с валерьянкой, в другой — фужер:

— Я не считал, плеснул на глазок, но двадцать пять капель, думаю, есть, — басил он.

Мама Нина сидела на диване совсем убитая горем: осунулась, под глазами — синие подглазины большой нефритом.

Увидела Наташу и о лекарстве забыла:

— Представляешь себе, Юрий Юрьевич, оказался прав. Вы с Григорием Григорьевичем — за дверь, звонит Виталий Никифорович: «Нина Ивановна, вы — провидец, мне на кафедру утвердили только одну единицу». Я говорю: «Виталий Никифорович, надеюсь, кандидатура Натулечки — вне конкуренции». А он мнетя: «Понимаете, я должен подумать». Нет, он должен подумать, как тебе это нравится?

Наташе это понравилось. По крайней мере, Виталий Никифорович, проявивший мужество в столь щепетильном деле, весьма выиграл в ее глазах.

Новость, которая потрясла Нину Ивановну, не показалась Наташе такой уж трагичной.

— Нет-нет! — волновалась мама Нина. — Прошенька, завтра же переговоришь с Копыловым. Надеюсь, — с нажимом сказала она, — не возникнет никаких причин, которые помешали бы тебе это сделать. Существуют же в институте кафедры помимо Мозжухинской.

— Конечно, — согласился Прохор Николаевич с подозрительной легкостью. — Например, углеобогащение. Очень близкая по специфике. Угли моют водой, правда, не пермутированной.

Мама Нина такого издевательства вынести не могла.

— Оставь свои неуместные шутки. Пока экзамены аспирантов не прошли... Кстати, мог бы поступиться своими принципами и взять на свою кафедру.

Но тут уже Прохор Николаевич потерял чувство юмора.

— Оболтусов и олухов профессор Пахомов в аспирантуру не набирает, — патетически воскликнул он и многозначительно поднял палец, указывая им через потолок в необозримые просторы космоса. — Я веду работу с будущим аспирантом два года. И человек заранее знает, что я его беру. Так что у меня на кафедре случайных вакансий нет и быть не может.

Наташа в тот момент подумала о распетушившихся родителях. «Милые бранятся — только тешатся». Весь дальнейший ход событий она превосходно знала. У мамы Нины еще раз схватит сердце. Прохор Николаевич сразу утратит свою профессорскую воинственность, начнет пичкать и поить свою Ниночку разными таблетками,

каплями, затем вызовет «скорую», а когда та, сделав пару-тройку уколов, уедет восвояси, сядет в ногах у больной. Никаких слов извинения — только примиряющее молчание. Но «виновный» будет вздыхать, как паровоз, гладить огромной ручищей крохотную ручку жены, по временам целовать пальчики и вновь вздыхать. Она поцелует его в лоб, как повзрослевшего сына, который по утрам уходит на трудную работу, и предложит: «Полежи рядом». Да так, согревая друг друга, и заснут до утра.

А с рассветом мама Нина возьмет власть в свои руки, и Прошенька пойдет к проректору по науке Арсению Анатольевичу Копылову, с которым у него никогда не было приятельских отношений, и будет просить... Но просить и кланяться, по убеждению Прохора Пахомова, значит унижаться. А это для него — нож по сердцу. Даже ради дочери...

Наташе было жаль отца.

Она пожелала ему спокойной ночи, поцеловала в щеку маму Нину — все в лучших традициях дома Пахомовых.

— Утром схожу к Виталию Никифоровичу, — сказала мама Нина. — Все ему разьясню, он человек тонкой души, поймет нашу тревогу. — Она глянула на дочь и вздохнула. — Единственная к тебе просьба: будь в этом сложном вопросе стойкой до конца. Я против Славы ничего не имею, но... отныне у каждого из вас своя дорога в жизни.

Наташа представила себе, как мама Нина завтра ни свет ни заря поспешит к Мозжухину, перехватит его на пороге квартиры: она будет убеждать его «не губить судьбу одаренной девочки», она не раз всплакнет, расскажет, как всегда уважала Виталия Никифоровича и любила его — человека умного, умеющего понимать ситуацию. И он, мягкий и добрый, не выдержит этой осады, сдастся на милость победителя: «Нина Ивановна, я сделаю все, что будет в моих силах! Только как быть с Бобренком?»

У мамы Нины ответ на этот вопрос готов заранее: «Слава — талантливый мальчик, он свое найдет. Через год вернется в институт».

Мама Нина пойдет провожать Виталия Никифоровича. Возьмет его под руку и, счастливая, будет щебетать всю дорогу до института, расхваливая достоинства своего ненаглядного дитятка. Какой пыт-

кой обернется для Можухина неизбежный разговор со своим любимцем Станиславом Бобренком! Славке долго объяснять не придется, у него, как говорится, уши на макушке, и он поймет все с полуслова, поймет все так, как оно есть: готовят место профессорской доченьке. Утятин-Загорский непременно прокомментирует этот факт: «Само собою, мать-пенсиянка у тов. Бобренка и отец-профессор у тов. Пахомовой в нашем бесклассовом обществе стоят на равных (в числовом выражении...) социальных ступенях. Только каждый — на своей лесенке». Вспомнит он и о мере таланта. Тут уж Славик — вне конкуренции.

«До чего же дурацкая ситуация! Во имя своего будущего (пока еще туманного) надо непременно сделать гадость человеку, которого ты уважаешь и... любишь». Да-да, она Славку любит.

Вспомнила, как смешно, по-детски, он ляпнул: «Выходи за меня замуж».

Улыбнулась. Подошла к матери, обняла ее за плечи.

— Слава сделал мне предложение.

Новость была ошеломляющей.

— И ты... согласилась? — вырвалось у мамы Нины. Она сидела на диване, сжавшись в комочек. Подтянула колени к подбородку, обхватила их ломкими девчачьими руками: человек, раздавленный неожиданно свалившимся на него горем. — Виталий Никифорович мог бы составить тебе неплохую партию.

Наташа решила действовать против мамы Нины ее же оружием.

— Я тоже вначале так думала. Но потом прикинула: возраст. Разница в двадцать лет. А Слава молод, талантлив. В будущем — академик, в крайнем случае, членкорр. Лауреат Государственной премии. Возможно, что и Ленинской. Как человек — милый, общительный, чуточку взбалмошный: это именно то, что нужно женщине, чтобы не скучать с мужем. Через два-три года он — кандидат. Папа, как ты считаешь? — обратилась Наташа за поддержкой к отцу. Необходимо было, чтобы он ее поддержал. Неважно в чем, не имела значения и форма поддержки, главное — солидарность с нею, с ее словами, мыслями, с ее поступками и нацеленностью в будущее.

— Идей в его голове — на три диссертации хватит. Усидчивости бы такому...

— Обязуюсь привить ему сие полезное качество, — с легкой улыбкой сказала Наташа. — Это же в интересах семьи. — Последняя фраза была предназначена для мамы Нины. И вот уже в деловом тоне: — Еще через четыре года Слава — доктор.

— Э-э, сударыня, — возразил Прохор Николаевич, — доктор технических наук — это не блин на сковородке. Тут нужно пошевелить мозгами и не одни штаны протереть.

— Убедена, к тридцати годам Слава протрет свои штаны до состояния докторской диссертации. А умная жена в полезном деле — первая помощница.

Разговор соскользнул на тему «Роль жены в «остепенении» (получение ученых степеней) талантливого мужчины», а уж мама Нина в таком деле не то что собаку — двух волков слопала без соли и горчицы.

Ах-ах, как еще недооценивают женщину в наше время!

Прохор Николаевич в развитии проблемы вспомнил поговорку: «Где черт пасует, туда он посылает бабу». У мамы Нины, само собою, иные доводы: «Бог создал Адама из глины, а Еву — из адамова ребра, материала прочного, перспективного и благородного. Поэтому мужчина существо по природе грубое и... хрупкое, при столкновении с жестокой судьбой быстро раскисает или ломается. Женщина — создание возвышенное, совершенное, она легко адаптируется в самых тяжелых условиях. В общем, если бы вновь наступил матриархат, то человечество от этого только бы выиграло: самым престижным занятием стала бы любовь, а война — тягчайшим и позорнейшим преступлением».

Выступив на самую «злободневную» и любимую ею тему, мама Нина поуспокоилась, пообмякла, то есть созрела для серьезного разговора без этой милой импульсивности. Наташа выдвинула главный свой довод.

— Если Славу не примут в аспирантуру, он уедет по назначению в Чебоксары. Там молодым специалистам на первое время предоставляют семейное общежитие, а если рождается ребенок — однокомнатную квартиру.

— Какая ужасная перспектива! — мама Нина опустила ноги с дивана. Нашупала индийские туфельки, выполнявшие роль шлепан-

цев, обулась и принялась нервно пощелкивать суставами пальцев, выпрямляя и разглаживая их. — Общежитие! И как высший презент — однокомнатная малогабаритка при условии, если появится ребенок. Ты себе даже не представляешь, что такое ребенок в семье. Это бездна всяких забот. Молоко достань! Кашу свари! Пеленки постирай... Надо искупать! Надо вывезти малютку на прогулку на два часа. И с каждым днем этих забот все больше и больше. Начали резаться зубки — поднялась температура, расстроился желудок. Сам не спит, родителей мучает. Но еще надо ходить на работу. Когда же заниматься наукой? Нет-нет, уезжать тебе не резон. Мы тут всегда поможем. И не носить же малютку в ясли, где вечные карантинны.

Наташа готова была обсуждать квартирную проблему в Чебоксарах до бесконечности. Но Нина Ивановна всполошилась:

— Порядочный человек должен как-то поставить в известность родителей невесты!

— Тут виновата я: сказала, что заявление в ЗАГС подадим перед выпускным вечером, а до этого все должно идти своим чередом. Но коль тайна стала достоянием гласности... Славик придет к тебе завтра.

— Завтра! — мама Нина всполошилась. — Но... у меня ничего не готово! Так не делается. Это, по старой мерке, заручины... Надо пригласить ваших друзей, наших близких... Завтра! Голова кругом! Ну и денек! — она сжала ладошками виски, у нее началась мигрень.

— Никаких друзей! — запротестовала Наташа. — Будем подавать заявление в ЗАГС — другое дело. А пока... это всего лишь информация для размышления родителям, как сказал бы Штирлиц в подобном положении.

Мозг Нины Ивановны явно отказывался воспринимать такое обилие разнообразной и столь неудобоваримой информации. Растерялась.

— Ну что за молодежь пошла. Все как-то шиворот-навыворот. Самое серьезное дело в жизни женщины — замужество, и мимоходом. Но со Славиными родителями мы должны познакомиться. Это уж непременно.

— Из родителей у него — мать! Пенсионерка. По инвалидности.

— А отец?

— Сведения, которыми мать снабдила сына о родителе, уместаются в два емких слова: «Был... Некто».

— Надеюсь, что так называемый родитель не был хотя бы алкоголиком или эпилептиком, а у него в роду никто не страдал гемофилией.

— Надейся. Достоверно известно: коронованных особ в семье Бобренков не было, следовательно, гемофилийного наследства получить не от кого.

Вот так рушатся благородные надежды!

Мама Нина была поклонница старой, можно сказать, дедовской теории, которая точно и четко выражалась пословицей: «Яблоко от яблони недалеко падает».

Нина Ивановна училась на последнем курсе, когда с легкой руки тогдашнего светила сельскохозяйственных наук академика Лысенко началась опала на тех, кто пытался разгадать тайну наследственности: почему дрозофила рождает дрозофилу, кит — кита, человек — человека. В чем секрет механизма передачи наследственности?

Сам Трофим Денисович был глубоко убежден, что наследственное вещество, о котором повествует хромосомная теория, — мистический идеализм чистой воды. По убеждению президента Академии наук Лысенко новые виды жизни появляются только под воздействием внешней среды. Если бы в свое время предки льва питались сеном, то вместо хищника мы бы на сегодняшний день имели травоядного царя зверей.

Когда на всех перекрестках начали громить вейсманистов-морганистов, которые вместо того, чтобы решать насущные проблемы сельского хозяйства, «производят мух себе на утеху», секретарь комитета комсомола предложил студентке-выпускнице Нине Паховой выступить на идеологическом совещании молодежи района:

— Врежь с огоньком, по-нашему, по-пролетарски, мракобесам, всем этим вейсманам, менделям и морганам.

Но студентка пятого курса, которая времени в мединституте даром не тратила, прекрасно знала, что Грегор Мендель не только монах, но и крупнейший австрийский натуралист, Август Вейсман — немецкий естествоиспытатель, который умер в годы Первой мировой войны. Томас Морган — американский биолог, можно

сказать, наш современник, умер сразу после Второй мировой. Эти трое заложили основы современной генетики. Как же она, какая-то студентка, можно сказать, не читавшая всех их трудов, прослушавшая всего лишь обзорный курс, будет их критиковать?!

Нина растерялась. На четвертом курсе она делала доклад о механизме передачи наследственных социально опасных болезней и всю цитировала и немца, и американца. Конечно, в чем-то она и ошибалась (например, Август Вейсман считал, что никакие болезни передаваться от родителей детям не могут). Но в любом новом деле бывают ошибки, а в середине девятнадцатого века генетика еще не вылезла из пеленок.

— Они же не мух разводят, — пыталась Нина разубедить комсомольского вожака института, будущего стоматолога, — изучают механизм наследственности. У дрозофил — короткая жизнь, они быстро воспроизводят потомство.

— Ты что, не согласна с академиком Лысенко? А ты знаешь, что этих попов-монахов критиковал сам Клемент Аркадьевич? Может, и он для тебя не авторитет? А ты знаешь, что писал этому всемирно известному ученому Владимир Ильич? «Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за советскую власть». Личное письмо!

На комсомольском собрании института, где ее «прорабатывали», Нина сказала по наивности: «Владимир Ильич хвалил Тимирязева за книгу «Наука и демократия», а в ней о хромосомной теории наследственности ничего не сказано».

Ее недоумение сочли крамолой и исключили из рядов ВЛКСМ «за стремление остаться на платформе реакционного идеалистического учения вейсманизма-морганизма». Она обиделась и... перестала ходить в институт. Нина была в положении на седьмом месяце. Плакала. Прошенька успокаивал:

— Перестань расстраиваться, а то родишь какого-нибудь идиота, который потом с высокой трибуны будет поучать мудрых в том, в чем сам идеальнейший профан. Есть у нас такая любимая болезнь: мы порою служим не столько идеям, сколько их носителям.

В общем, решение в ученом мире проблемы наследственности стоило Нине Ивановне института и части жизни. От пережитого, что

ли, первый ребенок родился мертвым. Ниночка была потрясена трагедией. А потом потянулись годы болезненного ожидания: «Когда же наконец?» Но она не беременела. Врачи утверждали: «У вас все в порядке, вы только не нервничайте, а все решится само собой».

Но само собой ничего не решалось. Они с Прошенькой уже и смотреть друг на друга не могли спокойно: каждый считал, что «корень зла» только не в нем. И как компромиссное решение у Прохора Николаевича вызрела идея взять ребенка из детдома.

Нину Ивановну такое предложение повергло в тяжелый нокаут. Она была убеждена, что порядочная женщина от ребенка не откажется, даже если она одинока и родила от человека, который ее обманул. А непорядочные зачинают в беспутстве от пьяниц и наркоманов. Вложишь в такого душу, а лет к десяти определится: дебилный.

Может быть, и на этот раз сыграл свою роль стресс? Но после крупного разговора с мужем на тему «приемный ребенок», Нина Ивановна к своей великой радости почувствовала: «Свершилось!» Так появилась на свет Наташа. И после этого вновь — как отрезало, хотя второй ребенок (Прошенька бредил сыном) явно не помешал бы.

Конечно, если включить в перечень социальных условий лекции популярного лектора из общества «Знания», просторную комнату на две персоны в студенческом общежитии, разносортное обилие колбас в гастрономическом отделе, то надо признать, что все это очень важные факторы в формировании личности, но гены по ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота — хранилище наследственной информации и РНК — рибонуклеиновая кислота — распорядительница этой информации в формировании характера, по убеждению Нины Ивановны, играют куда более значительную роль.

И вдруг... об отце ее будущего зятя ничего не известно. Ну, ровным счетом, будто это пустое место. Нет, Слава — мальчик приятный во всех отношениях: веселый, отзывчивый, талантливый, в нем есть чувство уважения к труду, к старшим. Но неисповедимы пути твои, Господи: вдруг со временем обнаружатся тайные пороки, неизлечимые болезни, и все это скажется на детях; к примеру, Даунова болезнь — лишняя хромосома в двадцать первой паре. Ребенок — идиот.

«Коронованных особ в роду Бобренков не было». Утешила! Допустим, что гемофилию можно исключить. А какую-нибудь пикантную болячку? Кошмар, да и только! Собакам породу сохраняем, покупаем щенка — требуем свидетельства на предков до пятого колена! И такое нехлюйство, такое равнодушие, когда дело касается человека, будущего молодой семьи, их детей...

Но, поняв, что решение дочери окончательное, мама Нина промолчала.

— Позвони утром Виталию Никифоровичу, — сказала Наташа, решив сделать процесс разрядки необратимым. — Пусть не беспокоится. Только о будущей помолвке пока, мне думается, сообщать ему преждевременно.

Наташа вспомнила, как трудно готовился Виталий Никифорович произнести слова своего признания: эти его сухие, жаркие глаза, это обжигающее тепло мужской руки на ее талии... Она подумала, что маме Нине завтра предстоит не очень-то приятный разговор с Можухиным на тему: «Извините, погорячилась», и, не предупреди ее Наташа, Нина Ивановна, впав в протрацию, чего доброго, брякнет... Как отреагирует Виталий Никифорович? Не увидел бы в Бобренке счастливого соперника из тех, которых немедленно зачисляют в лютые враги.

Прохор Николаевич поцеловал жену и примиряющее сказал:

— Утро вечера мудренее.

* * *

Славка — сгусток энергии с положительным полем, всех, кто с ним соприкасался, он заражал оптимизмом. Увидишь его, одержимого очередной идеей, с какими-нибудь набросками в руках (толковых чертежей он никогда не делал, не хватало времени, все умещалось в голове), и сразу перейдет от него к тебе «чек», захочется непременно принять участие в осуществлении идеи, какой бы сумасбродной она ни выглядела, появится необходимость куда-то мчаться, кого-то уговаривать, что-то добывать, выпиливать, клепать, паять, высчитывать оптимальные режимы, чертить графики, выверять, налаживать, тратя на все это свое дефицитное время, отказывая себе в необходимом, забывая о сне, о еде, о свидании...

Оказывается, Славка подждал ее. Он — сплошное нетерпение. Увидел Наташу с высокого крыльца института — навстречу...

— Есть идея! — сует под нос журнал, прихлопывает по нему ладошкой.

— Славка, ты прелесть! — Она чмокнула его в щеку. И он сразу растаял, забыл о своих идеях.

— Эт-то тво-вое последнее сло-слово? — начал он заикаться на радостях.

— Железное!

В тот день Наташа была к Славке очень внимательна. На консультации они сидели вместе, в столовку — вместе. Она — с подносом впереди, он — за нею. Подошли к кассе, посчитали ей, Наташа и говорит, кивнув на Славку:

— Супруг заплатит.

Славка заплатил — глазом не моргнул, байбак эдакий, решил, что Наташины слова — студенческая шутка. (Она же не однажды выручала его в безденежном состоянии.)

В тот день Наташа чувствовала себя королевой. И был у нее свой д'Артаньян — преданный Станислав Петрович Бобренок. Она упивалась властью, но тонким чутьем, данным женщине от природы, угадывала пределы возможного, допустимого и необходимого. Да, женская власть должна быть необременительной, этакая желанная узда, без которой мужчина чувствует себя... голым на людной улице.

— Славик, а из тебя вышел бы неплохой муж, — высказалась она, когда они сидели вечером в библиотеке..

Вечерний Донецк в апреле особенно красив и мил. Воздух свежий, бодрящий, звенит в нем призыв весны ко всему живому и сущему: «Восстань!» Первой пошла в рост трава на газонах, вызеленилась пространными английскими коврами. Зелень тонкая, нежная. В местах зимних тропок, натоптанных детворой, которая любит ходить там, где не разрешается, перекопали и подсеяли. Недельки через две поднимется поросль.

Ожили и деревья, погнали листву, которая взъерошилась, не успев почувствовать землю, потянуться к ней всей своей легкой тяжестью: листочки словно бы порхающие перед летком пчелы...

Город в вечернее время поражает тишиной. Она осторожно поселяется на многочисленных площадях, на подступах к скверам и

паркам. Донецк — город молодой. Минувшая война всласть по нему потопталась, особо упорных боев не было, но фашистские саперы поработали старательно. Расчистив мусор, оставшийся от бывшего города, горняки, металлурги и химики воздвигли его заново, по последнему слову архитектурной мысли, на которую наложил отпечаток атомный век (угроза атомной войны). Улицы — просторные, добрая половина из них превращена в бульвары, которые славятся тополями, каштанами, яблоками-райками, вереском, а главное — обилием цветов. Но цветы — позже, сейчас их только высаживают рабочие «Зеленстроя».

Днем улицы Донецка перенаселены до безобразия: десятки, сотни машин. Они мчатся со скоростью, превышающей все правила уличного движения, на перекрестках перед светофором скрипят тормозами, повизгивают шинами. Если вдруг зазевался кто-то из водителей, так «подтолкнут» сзади или «въедут» в борт, что только стекла брызнут! Работники ГАИ в парках и других людных местах выставляют на всеобщее обозрение жертвы урбанизации: скомканные, как бумага для нужника, машины и мотоциклы. «Трое погибших...», «Семья погибла...», «Погибли...». Все охают, ахают, но количество несчастных случаев на дорогах города не уменьшается.

Впрочем, вакханалия на дорогах творится с 7.00 до 20.00 (по праздникам — круглосуточно). Почему? Люди спешат, спешат жить... потому и погибают.

На работу!

По пути в детсад...

С работы!

По пути в магазин, на базар.

Некогда! Всем некогда! На трамвайных и троллейбусных остановках — толчея. На автовокзалах — столпотворение. Такси нарасхват. Денег не жалеют, жизнь — ни в грош, единственная ценность — секунда, мгновение.

А после восьми вечера улицы Донецка отдыхают. Их охватывает нега. Прохожих мало. Разве кто на смену... Или домой. Горят фонари, накидывая на все, что прижато ртутным, чуть дрожащим светом к земле, легкую светлую вуаль. И сразу ты возвращаешься из предпоследнего десятилетия двадцатого века во времена, где

человек был гармоничной частью природы... Трава... Деревья... Небо в далекой вышине, звезды — чужие солнца разной величины, возможно, с обитаемыми планетами. Только мы, люди двадцатого века, никогда об этом не доведемся.

Наташа остановилась. Взяла Славика за локоток.

— Сейчас пойдем к нам. Нина Ивановна ждет. Ты у нее попросишь руки ее дочери.

— «Руки ее дочери...» — повторил ошарашенный Славка. — Твоей!

— Как медленно ты соображаешь для будущего академика. Ты просишь, а я думаю, выходить за тебя или нет, кочевряжусь.

Казалось, Славка проглотил целиком огромное яблоко. Глаза — навывкате, не может передохнуть. Наташа хлоп-хлоп ладошкой по его спине.

— В доме Пахомовых уважают традиции. И одна из них — матриархат в лице Нины Ивановны. Ты в прошлый раз сделал неправильный тактический ход, начал с невесты. А следовало вначале найти пути-дороги к сердцу Нины Ивановны. Учись у Смычка. Он каждый день интересуется здоровьем мамы Нины и толкует ее сны. Через день он проводит ее, забежав на чашку чая, приносит очередные десять страничек диссертации на вычитку.

Славка нахмурился, при имени Смычка его всего передернуло:

— Удивляюсь, что у тебя может быть общего с этим современным неандертальцем? Коронный номер Шикового Парня: на потеху подвыпившим девахам откупоривает пивную бутылку, скovyрнув крышку ногтем.

— Славка, — рассмеялась Наташа, — по утверждению Чарлза Дарвина, ревность превратила обезьяну в мужчину. Чтобы доказать сопернику свое право кормить избранницу мамонтиной, он превратил палку в палицу. И с тех пор женщину завоевывают, а не вымаливают у Бога или случая. Опять сошлюсь на Смычка, — дразнила Наташа друга. — Он свою Джоконду — на все кинопремьеры в удобное для нее время, он ее — и на заезжее варьете, он ее — и в кафе. Так у него — и результаты. А ты присох к «Антошке», и любимую хотел бы привязать, как бабушка козлика к колышку на полянке перед домом.

— Смы-смычок — ухарь, это по-понятно! — Славка был явно обижен. (А Наташа хотела, чтобы он разозлился и взорвался: стресс способен превратить пигмея в атланта.) — Но если бы ты в свое время не разводила теорий о принцах и принцессах, то сейчас не довелось бы вспоминать бабушкиного козлика, которого слопал волк-бьяка, не пожелавший стать вегетарианцем.

— Слава, Бог создал фемину для того, чтобы мужчине было не скучно, не поэтому ли настоящая женщина никогда не знает, чего она захочет через пять минут. Помнишь у О'Генри? Она сказала: «Хочу персик». Возлюбленный поднял на дыбы весь город, принес ей желанное. А она, зевнув, сказала: «Хочу апельсин». И в этом все мы, женщины. А ты ринулся бы на поиски райского плода?

— Зная характер «девушки с персиком», я бы уже во время первого рейда прихватил яблоко, кисть винограда, абрикос, айву, сливу и алычу...

— А любимая захотела бы ананас, — дразнила Наташа.

— Командировка в Ананасную республику, где правит диктатор Тыква, только после получения визы... — отшутился Бобренок. — И потом, засылать так далеко возлюбленного — непрактично.

— Любовь и практика — два «анти». Попытка сблизить их ведет к аннигиляции.

— Развела лирику на молекулярном уровне! — отмахнулся Славка.

— В таком случае — вперед, отважный претендент!

Уже возле калитки он вдруг остановился:

— Но... Что я ей скажу? У-у меня же ни-никакого опыта в таких объяснениях!

— Слава, что и как ты скажешь — это чисто мужская проблема.

— Но...

— Никаких «но»! Есть в жизни моменты, когда мужчина должен убить мамонта или погибнуть.

Славка совсем растерялся. На лестнице он сделал еще одну попытку отступить.

— Я твою Нину Ива-новну порою бо-боюсь! Лучше по-подадим вначале заявление в ЗАГС.

— Традиции дома, членом которого ты вознамерился стать, надо уважать, милый претендент.

Он тяжело вздохнул.

Они еще топтались у порога, когда мама Нина распахнула дверь.

— А мы вас заждались!

Мама Нина была одета очень скромно: ничего лишнего, ничего экстравагантного, то есть никаких пышных торжеств не предстояло — добрый домашний ужин на четыре персоны.

Проход Николаевич упрекнул дочку:

— Ожидая вас, с голоду можно умереть!

— Да мы — в библиотеке... — покраснел Славка.

— Наука юношей питает, а профессору подай нечто попитательнее.

Когда мыли руки, Наташа сказала:

— Вот сейчас и начинай. После ужина — неудобно. Угощают рюмочкой, и получится будто с полупьяну.

Славка кивнул.

Ужин был сервирован не в кухне — просторной и удобной комнате, где по вечерам собиралась семья даже в том случае, если приходили свои, а в гостиной. На столе — скромное изобилие и идеальный порядок: к каждой тарелке ножик и вилка — японский сервиз «для европейцев». По три разнокалиберные рюмки: для водки, для шампанского, для десертной воды. Слева под рукой — накрахмаленные салфетки.

Все это внушало уважение и создавало атмосферу торжественности.

— Нина Ивановна! Проход Николаевич! Я... лю-люблю Наташу и про-прошу у вас согласия...

Мама Нина, стоявшая возле стола, вдруг... прослезилась. Куда делась ее благоприобретенная интеллигентность! Промокает глаза салфеткой, оказавшейся под рукой. Она старается делать это осторожно, но все равно на целинно белой материи остаются черные полосы — тушь, предательски размокшая в слезах.

— Славик... Мы с Проходом Николаевичем всегда вас любили. Но Натулечка у нас одна... Уж вы ее берегите.

Наташе все это казалось смешным.

— Мама, современные мужья слишком уж рафинированные, поэтому функцию «оберегания» нынче берут на себя женщины, не

полагаясь на мужчин. Это называется феминизация современной семьи.

Нина Ивановна вконец растерялась, не зная, как на все реагировать. А Прохор Николаевич облобызал троекратно будущего зятя.

— Теперь в этом доме восстановится хотя бы арифметическое равновесие. А то две женщины вконец было заклевали меня.

— Бедняга! — к маме Нине возвращалась уверенность в своих силах и возможностях. — Заклевали его! Отощал вконец, того и гляди ветром в форточку вынесет.

Прохор Николаевич похлопал себя по животу и заготовал:

— Когда рядом есть единомышленник!..

— Неужели мы позволим Славе стать твоим единомышленником?!

Ужин затянулся, и Славу в общежитие уже не пустили бы. Мама Нина всю меру заботливости о членах семьи теперь перенесла на него.

— Или у нас негде расположиться?

* * *

Наташа спала беспокойно. Снилось стадо ужасно огромных трехруких гигантопитеков, о существовании которых она до сих пор знала лишь по статейкам в журнале «Наука и жизнь». Косматые, с плоской мордой, узкоглазые, они требовали от нее, чтобы она насшибала для них палкой с деревьев каких-то плодов, похожих на картошку. И она трудилась в поте лица своего. Но на каждый упавший плод бросалось сразу несколько волосатых великанов, начинали драку. На всех, конечно, не хватило. И тогда обделенные затеяли вокруг нее хоровод. Высоко и несуразно подпрыгивая, они неслись мимо нее кругом, все кругом.

Наташа просыпалась от ужаса. У нее стыли ноги и мерзла спина. Но стоило смежить глаза, и чертовщина вновь начиналась: рыча, обнажив клыкастую пасть, на нее шел плоскомордый урод с курносом до безобразия носом...

Это все ее так измучило, что она, проснувшись в очередной раз, решила уже не ложиться. Было еще темно, комнату, вернее потолок, освещали неясные блики уличного фонаря, отделенного от дома

тополом, который едва-едва шевелил первой листовой: дышал. И ритм «дыхания» отражался бликами на потолке.

Запахнулась в халат. В коридоре она задержалась возле трюмо.

По ту сторону зеркала стояла девушка в длинном голубом халате, по которому были рассеяны серебряные черточки и розы. У девушки был высокий (мужской) папин лоб с крутыми залысинами, негустые, соломенного цвета волосы, зеленоватые глаза, широкие папины брови, остренький носик и тонкие нервные мамины губы. Халат скрывал мягкую линию плеч, маленькую упругую грудь, четко очерченную талию и стройные ноги спортсменки.

«Дурнушка с хорошей фигуркой», — так она подумала о себе.

Заглянула в гостиную, где похрапывал «претендент».

Славка спал сном праведника в довольно странной позе, почти на четвереньках.словно бедуин на вечернем намазе, поджал под себя ноги и, стоя на коленях, ткнулся лбом в диван. Подушка лежала на полу, простыня, скрученная жгутом, откинута к спинке.

«Ребенок, настоящий ребенок...»

В Наташе проснулось материнское чувство: взять бы Славку на руки, уложить по-человечески, расправив простыню, вернув на место подушку.

Муж...

Замуж ей не хотелось. Побывать бы в невестах — иное дело. В белом платье до пят, длиннополюю фату несут за тобою две девчоночки тоже в белых платьицах, этикие ангелочки с белыми бантами в коротких косичках. Подкатили к площади, к памятнику Ильича машины, шафер — к дверце, распахнул. Но на дворе — лютый мороз. (Наташе хочется, чтобы был мороз.) Но невеста, как ни в чем не бывало, идет к памятнику. Поскрипывает под каблуками белых туфелек белый снег.

«Накиньте шубу! Накиньте!»

А невеста «величава, выступает словно пава».

И — ни слова в ответ на предупредительное ухаживание шафера, который суетится рядом, держа в руках дубленку.

Фотографы руки дыханием отогревают, аппараты за пазухой держат. «Щелкнули» новобрачных по разику-второму и опять за пазуху, чтобы мороз оптику не повредил. А невеста, все так же

степенно, не роняя достоинства, помня о торжественности момента, идет к машине.

И — все. Дальше идти по тернистым тропам испытаний для молодой жены Наташе совсем не хочется. И самое ужасное — роды. Она столько слышала разных побасенок, полуанекдотов и воспоминаний на эту тему, что ее всю передергивает при одном упоминании: «беременность», «роды».

Говорят, что в природе все целесообразно. Тогда почему кенгуру получила такое несравнимое ни с чем преимущество? Она рождает кенгуреночку двухнедельной крохотулечкой. А потом — в мешок, и вылеживается он там до полного созревания. Прекраснейший способ.

Наташа ребенка не хотела, даже мысль об этом была ей неинтересна. Не созрела! И это в двадцать-то три года! Двадцать три, считай, четверть века. В Древнем Египте женщина жила в среднем 22 года, в Древнем Риме — 20 (мужчины — 25), в Европе (шестнадцатый век) — те же 25, в России (до Октября) — 32. А Наташа Пахомова в двадцать три еще ни о чем серьезно не думает: все хиханьки да хаханьки. А вот Вера Решетняк все успела — два сына — и мечтает о пятерых.

* * *

После памятного разговора («диссертации пишутся не только в институте») Оборощин несколько раз звонил Наташе и все спрашивал:

— Не надумала?

Когда баталия с мамой Ниной за вакансию в аспирантуру поприхла, Наташа наконец смогла сказать:

— Давайте письмо.

Через неделю она была в деканате.

Наташу с этим письмом познакомил Мозжухин.

Пригласил сесть. Протянул фирменный конверт. Углядев два ордена, она сразу поняла: «запрос».

Ждала его, знала, что придет, но, увидев в руках Мозжухина конверт, как-то обмякла: оказывается, было в этом факте что-то особенное... В жизни сделан важный шаг. И бесповоротный.

— Наталья Прохоровна, поверьте, — сказал грустный, расстроенный Мозжухин. — Сожалею... Но, учитывая интересы кафедры, необходимо остановиться на кандидатуре Бобренка. Кафедра молодая, все в становлении, словом, человек с умными руками при светлой голове ей очень нужен.

— Увидеть, как оживает твой первый проект... — ответила она. — И потом, диссертации пишутся не только в институте. Ваша докторская тому пример.

— Да, да... Но мне так будет вас не хватать... — он чисто по-детски вспыхнул.

— Я еще вернусь, — вдруг пообещала Наташа, чувствуя, как комок горечи подступает к горлу, словно бы отвара полыни напилась.

Он верил и не верил вновь обретаемой надежде. Медленно исчезала из глаз грусть.

— Вернетесь? — переспросил Виталий Никифорович. — А я опасался, что вы меня не поймете... Я об этой чертовой аспирантуре. Она упрекнула:

— Как вы могли такое подумать!

Мозжухин положил перед ней несколько глянцевого белого листочков, протянул граненую авторучку с гравировкой «Юбилейная».

— Пишите заявление: «Прошу принять меня в аспирантуру...» Дату поставлю я сам, при okazji.

— Вот так сразу... — она растерялась от деловой настойчивости Мозжукина.

А он, воспрянувший духом, вдохновенный, был счастлив.

— Наталья Прохоровна, есть два подхода к решению проблем, волнующих человечество. Первый: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. И второй: не делай сегодня то, что можно отложить до завтра. Вы какой полярности придерживаетесь?

Наташе стало легко и весело.

— Способствующей развитию прогресса, — ответила она в тон Виталию Никифоровичу.

— Вот и напишем заявление, так сказать, впрок.

Склонившись над листом пронзительно-белой (финской) бумаги, напоминавшей заснеженную пустошь, Наташа подумала о Мозжу-

хине: «А о сватовстве Славика он, похоже, ничего не знает...» От этой мысли в душе утвердилось полное спокойствие. И с чего бы?

* * *

Наташа уговаривала маму Нину:

— Никому ни слова. Пойдут пересуды, начнутся расспросы... Ведь я пока предложение Славы еще не приняла. Он просил руки у родителей. Но последнее слово остается за невестой. Надумаю, подадим заявление в ЗАГС, вот тогда... А нам надо готовиться к госэкзаменам.

Мама Нина согласилась. Но, видимо, какие-то слухи начали по белу свету бродить. Первым на событие отреагировал Смычок, он перестал «забегать» вечерами на чашечку чая. Ни в кино, ни в кафе Наташу не приглашал. Встречая ее случайно в коридорах института, изображал из себя человека ужасно занятого.

— Защищаюсь! Дел — невпроворот. Вот прислали отзыв на реферат из Ждановского металлургического. Требуют! Нож к горлу: «Юрий Юрьевич, дайте нам вашу диссертацию — внедрим!» Звонит из Днепропетровска замминистра: «Юрий Юрьевич, уж не обижайте ждановцев». Как тут не согласиться! После защиты поеду к ним, присмотрюсь. Завод солидный.

Но одно право Смычок за собою все-таки оставил: он по-прежнему проводил Нину Ивановну, своего консультанта и доброжелателя. О Натулечке — ни слова. Разговоры вел о погоде, о «диссертешен», о киноновинках... Часто звонил, обычно в то время, когда Наташа и Прохор Николаевич отсутствовали. Мама Нина перестала информировать дочку о подробностях жизни милейшего Юрия Юрьевича.

Вначале осторожно, а последнее время все настойчивее она спрашивала Натулечку, когда они со Славой, наконец, решат проблему ЗАГСа.

Наташа отшучивалась:

— Спешешь избавиться от дочери?!

Мама Нина обижалась:

— Не говори глупостей!

Славка по этому поводу вообще молчал. На следующий день после «прошения руки», он было заикнулся, дескать, как по части заявления. Наташа смешливо ответила: «Не терпится?» И он с тех пор — ни слова. Во всем остальном Славка вел себя так, будто ничего не произошло и никакого «прошения» не было.

Одним словом — молодчина.

Наташа ждала, когда история с аспирантурой станет совершенно необратимой. И вот запрос!

Если бы Наташу пригласили в центральную научно-исследовательскую лабораторию ДМЗ, пусть даже младшим научным сотрудником (с окладом 90 рублей), мама Нина могла бы понять дочку: «Хотя и младший, но все-таки научный сотрудник...»

Но сменным инженером в цех четвертой категории! Наташа не сомневалась: прочитав заводское письмо, мама тут же позвонит Оборощину: «Григорий Григорьевич, уж этого-то я от вас не ожидала! Участок химводоочистки цеха водоснабжения — настоящая ссылка! И приглашаете туда отличницу, дочку вашего друга, которой гарантирована аспирантура!»

Наташа решила взять в соучастники неприятного объяснения с мамой Ниной безответного Славку.

Забегала утром за ним в общежитие — благо это через дорогу от учебного корпуса. Славка брился, натирая физиономию электрической бритвой.

Наташа, чмокнула его в щеку («Здравствуй!»), отправилась на кухню греть чай.

Он туда и пришел.

— Бойся Наташей, чай кипятящих, — произнес он с порога.

Она показала заводское письмо.

Прочитав его, Славка воскликнул:

— Не пойму одного, по-почему не-некоторые родители, особенно родительницы, видят в своих детях не-неможных дегенератов. Могли бы — женились за них и разводились, болели, старели и умирали.

Наташа с ним не согласилась:

— Милый мой Бова-королевич, ты недооцениваешь значение Нины Ивановны в творческой жизни Пахомовых. Ты привык видеть ее только в одной роли: гостеприимная хозяйка. Но главная обязан-

ность мамы Нины и ее призвание — это ученый секретарь доктора технических наук профессора Пахомова. Нина Ивановна далеко не профан в проблемах водоснабжения химических и металлургических предприятий, могла бы не хуже любого нашего доцента читать спецкурс. Она без словаря переводит для диссертантов кафедры статьи из немецких и английских научно-технических журналов. Я своему мужу таким надежным и верным помощником быть не смогу.

— Вычисленный тобою муж в этом не нуждается, — выпалил Славка.

— В талантливых помощниках все великие нуждаются. Вряд ли сумел бы глухой учитель-чудак из калужской провинции рассчитать формулу, которая вывела человечество в космос, не будь рядом с ним простой русской женщины Варвары Евграфовны — хранительницы его спокойствия, времени и благополучия.

Славка хмурится. Трет переношу:

— Я Ни-ину Ива-а-новну у-уважаю. Но нельзя же до неприличия о-опекать взрослую дочь! Да и мужа...

— Можно, Славка, можно! Женщины, не в укор мужчинам, бывают очень целеустремленными, особенно если одержимы навязчивой идеей, замешанной на чувстве любви или ревности. В сущности неглупый человек, она видит свое основное призвание, даже смысл жизни, в том, чтобы «вывести в люди» единственное чадо.

Наташа хорошо знала, что Славик все отношения со своей матерью отрегулировал давно и навечно. После восьмого класса пошел в профессионально-техническое училище, то есть на свои харчи. Там же, в ПТУ, закончил десятилетку с золотой медалью. Два года отработал в центральных электромеханических мастерских токарем. И в доме — старший: хозяин, мужчина. Мать его так и воспринимала.

— И что же тебе нужно от меня в данный момент? — спросил Славка.

— Не знаю.... Тоскливо, хочется излить душу. А ты — самый близкий друг.

— Душу ты излила. А дальше что? — жестковато спросил он.

Ирония — одна из форм мужской самозащиты от эмансипированной женщины, которая норовит свить из него веревочку.

— Надо предложить Нине Ивановне задачу, да такую, чтобы поглотила всю ее энергию, приковала к себе все ее интересы... И в кульминационный момент забот и хлопот я бы показало письмо.

— Стратег семейных контактов! — вновь ядовито заметил Славка. Наташа поняла, что он... «ей просто не доверяет».

«Взбалмошная идиотка!» — обругала она себя, каясь в содеянном, чувствуя, что теряет друга.

Как объяснить Славке, что она из самых благих побуждений затеяла эту «кумедь»? Поведай Наташа ему всю правду о своем замысле урезонить родительскую активность мамы Нины, чего доброго Славка помчался бы к Мозжухину: «Верните мое заявление! Восходить по трупам друзей...»

Так и она не намерена, вот и постаралась найти управу на материнский эгоизм.

Но тут ее поразила обиднейшая мысль: «А если бы фарс «Свадьба» разыграли с нею? Невеста — всем сердцем. А жених проводил бы любезную до ЗАГСа и заявил: «Пошутил. Тебе хотелось побыть минутку в невестах, примерить подвенечное платье — я доставил тебе такое удовольствие».

Что бы она? От стыда, от позора — перед родителями, перед близкими, перед всем белым светом... Попранная любовь! Осмеянная любовь! После этого топятся, вешаются, стреляются, одним словом, уходят из жизни или... уезжают из города.

Надо было сейчас во всем признаться Славке, чтобы прекратить это беспутство.

По всему, Славка и сам о многом начал догадываться. Этот ядовитый сарказм! Эта жесткость в словах, в интонации...

Но... если по сути, она же не говорила: «Я тебя люблю! Я готова связать свою судьбу с тобою». Или что-то в этом роде. Она сказала: «Начинай с мамы Нины, а я пока подумаю». И надумала: она его любит, как младшего брата: нежно и преданно.

Нет, не солжет она Славке еще раз. Не он сам — она толкнула его на «прошение».

«Славка, милый, ну нет во мне того, что ведет женщину к замужеству. По всему, еще не созрела!»

И этого не скажет: обижать полуправдой преданного друга, который тебя любит...

А что же, в таком случае, она скажет ему? Промолчать — не имеет права.

...Сколько их таких рассыпано по жизни: кажется обоим, что любят друг друга. А через какое-то время — душевное оледенение. И разбегаются, как векторы.

Ну почему они со Славкой не могут разойтись еще «до того»? Обязательно делать это сразу после свадьбы на посмешище кумушкам?

И это — не то.

«Блефуете вы сами с собою, Наталья Прохоровна. Нашкодили — имейте силы отвечать за содеянное».

— Вот ведь какая ситуация, — начала осторожно оправдываться Наташа. — Тянуло на завод. А тут еще Оборощин подсыпал сладкого яда, расхвалил проект. И захотелось самой внедрить его в производство. Но вначале надо было как-то нейтрализовать маму Нину.

Славка вдруг побледнел, как обезжиренное молоко с поэтическим названием (напиток «Молодость»), и сквозь сцепленные зубы процедил:

— А я передумал...

— Что передумал? — переспросила Наташа, холодея от предчувствия. А переспрашивать-то и не стоило. Неужели не ясно?

— Брать тебя замуж, — жестко растолковал Славка, сверля ее при этом острым взглядом.

Вот ведь какие мы! Казалось бы, осуждать друга за проявление чувства собственного достоинства она не имеет права. Корень зла в ней самой. Нет же! Обижается на что-то... На непочтительность, что ли? А почтительности в Славкином отношении к ней и быть не должно.

И вот прописался адрес обиды: «Передумал брать тебя замуж». Не жениться, а брать замуж. Брать — не брать, словно она вещь. Хочу — беру, хочу — забываю на лавочке, как старую прочитанную газету.

— По-подумал, — начал он заикаться. — В тебе мамы Нины — более половины. Сей-сейчас, по-о молодости не так видно, а с годами раскомандуешься до посинения.

Она верила и не верила. Хотела бы верить, что все так... Но не могла.

«Милый мой, Бова-королевич... Помогаете зарвавшейся сохранить хорошую мину при бездарной игре...»

Славка не выдержал своей придуманной роли и, извиняясь, пояснил:

— Мозжуха показывал твое заявление, на будущий год — ты первая кандидатура. И признался: «Она единственная, кто способен заменить мне Таню. Я живу этой надеждой».

Наташу поразила та жертва, на которую готов был Славка. В этот момент хотелось воскликнуть: «Ты настоящий мужчина!»

Но не имела она теперь права на эти слова, да и на многие другие: простые и хорошие, очень нужные. Увы, поставила себя в дурацкое положение.

И вдруг — возмущение. Это как девятый вал: «А меня спросили?! Поделили!»

— Уступил?

Славка покачал головой:

— Ты же всех водишь за нос, только Мозжуха еще не прозрел. Это была уничтожающая для женщины оценка. Вспыхнула, словно бы получила заслуженную пощечину.

Славка, вот этот мальчишечка, был мудр и прозорлив.

— Ты объяснись с мамой Ниной. Она женщина умная... — посоветовал он.

«Слава, умная женщина и умная мать — далеко не одно и то же», — подумала она.

* * *

На заводское письмо мама Нина отреагировала довольно спокойно:

— У меня — гора с плеч: с этим единственным местом в аспирантуре все так чудесно утряслось! Славик остается на кафедре, а ты получаешь тему для диссертации на заводе. Звонил Григорий Григорьевич, заверил, что материалом тебя обеспечит и ты свою кандидатскую сделаешь не хуже и не позже, чем Славик в аспирантуре. Правда, аспирантура — это углубление в науку, а завод — производство. Но наш профессор прав: у молодого ученого, хорошо знакомого с производством, перспектива роста шире. — Тут мама Нина

села на своего любимого конька: — Когда-то я тоже пожертвовала своим будущим ради Прохора. И не сожалею.

Мама Нина была убеждена, что истинное призвание женщины — семья. Это предопределено природой. И в этом плане женщина стоит на самом высоком пьедестале, недостижимом для мужчины. А излишняя эмансипация лишает женщину главного ее преимущества — женственности. И дело не в джинсах, не в прическе и даже не в сигарете, небрежно зажатой густо накрашенными губами, а в той роли, какую женщина играет в обществе, в жизни. Кто она? Хранительница очага или кукушка, подбрасывающая свое яйцо какой-нибудь глупышке-малютке, вроде малиновки?

Чтобы прожить жизнь вот так дружно, как она с Прохором Николаевичем, мужа мало воспитать. А это не менее трудно, но для личного счастья важнее, чем выпестовать сына или дочь. Надо с первого дня знакомства культивировать и формировать мужские вкусы так, чтобы твой избранник постоянно чувствовал, что ему Тебя не хватает, что Ты ему нужна всегда и всюду.

По мнению мамы Нины, в этом плане Слава Бобренок — материал, из которого можно вылепить превосходного спутника жизни.

«Фамилия у него, правда, не очень авторитетная для ученого или руководителя, есть в ней нечто уменьшительное, слишком ласковое. Может, примешь двойную фамилию? «Пахомова-Бобренок», — настаивала мама Нина свою Натулечку-красотулечку.

Наташа не стала разочаровывать родительницу.

От всей этой истории в конце концов осталась одна «бьяка»: Славка избегал ее, он даже в студенческую столовую старался попасть не тогда, когда туда шла «ударить по комплексу», то есть съесть комплексный обед, Наташа.

К Пахомовым совсем перестал заходить.

Мама Нина заметила эту перемену очень быстро.

— Что-то Славы не видно, — сказала она, умно скрывая свою тревогу. — Или какая кошка пробежала между вами?

— Ты знаешь, что не идет у меня из головы? Славка — совсем мальчишка... Ему бы моим братом быть. Однажды попытался поцеловать, ткнулся холодным носом в щеку, как теленок бабы Поли. Выйду за него замуж, чего доброго тут же начну мечтать о разводе,

— пояснила Наташа непонятные маме Нине взаимоотношения жениха и невесты, стараясь шокировать родительницу своим так называемым нигилизмом, чтобы уж раз и навсегда избавиться от недоуменных и постоянных вопросов. Вот уж истинно: сказал однажды неправду — и в следующий раз вынужден будешь солгать.

Не может она сейчас сказать матери, что сватовство Славы Бобренка — это чистый блеф ее сочинения.

Мама Нина не нашлась, что ответить, уж слишком откровенной и по-бабьи расчетливой выглядела дочь. «Господи, откуда у нее все это?»

На следующий день, снаряжая Наташу в институт, она приготовила солидный «тормозок».

— Славик совсем отощает. Подкорми.

Наташа поймала Славку при входе в аудиторию. Раскрыла его «торбу» с портретом Аллы Пугачевой и сунула в нее «тормозок».

— Мама Нина приказала «подкормить».

— Значит, ничего ей так и не сказала, — заключил он. — А я о тебе думал лучше. — Он вернул объемистый завтрак. — Извини, но так — честнее.

Наташе хотелось заплакать.

ДВЕНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ДЕВИЧЬЕЙ РАСТЕРЯННОСТИ

Ну и нюх у Смычка на новости! Вчера у Наташи со Славкой состоялось неприятнейшее объяснение («Так — честнее»), сегодня Юрий Юрьевич позвонил. Узнав Наташу по голосу, он поздоровался, спросил, как дела с дипломным проектом. Но это мимоходом, не требуя пространного ответа: ему не терпелось выяснить ее настроение. Он мог бы удовлетвориться одним словом — «нормально», но Наташа как-то помимо своей воли начала рассказывать об отзыве Оборощина. А потом упрекнула:

— Юрий Юрьевич, что, в городских кинотеатрах нет новинок?

Она впервые, да пожалуй, и в последний раз, назвала его по имени-отчеству.

Буквально через час окрыленный Смычок стоял на пороге, держа в руках три розы, вернее бутоны, которые к утру должны распуститься (в этом он копировал Мозжухина). Но для того бутоны были символом... нераскрывшейся, без времени увядшей жизни сына и жены.

— Наталья Прохоровна! Разрешите поздравить вас с блестящей дипломной работой. Она фигурировала в отчете парткома завода перед горкомом партии.

Смычок вновь стал ее вечерней тенью: в библиотеку — из библиотеки. В кино, на эстраду заезжих артистов... Вновь он заставлял Наташу переживать двенадцать мгновений девичьей растерянности. Облапит по-медвежьи в темном подъезде, сдавит плечи до хруста, задышит в самое лицо... Закружится от космической невесомости голова, обдаст сухим жаром и в безвольном подчинении упадут перебитыми крыльями руки, и захочется упругим, ловким ногам подогнуться в коленях. А потом, когда она будет открывать дверь, станет вдруг стыдно, и она даст себе слово прогнать Смычка прочь: «Нет-нет, это явно не принц, так, принцев дворник». Но на следующий день, когда Смычок появится на пороге и скажет: «В библиотеку идем?» — она не осмелится отлучить его от себя.

Мама Нина терпеливо ждала, когда доченька переберется.

Накануне выпускного вечера она осторожно спросила:

— Принято на выпускном быть в паре?..

Наташа прекрасно знала, кого имела в виду мама Нина.

— Ты не понимаешь роли Смычка при моей особе, — ответила она. — Его удел: кино, кафе-мороженое, если у меня есть время... Но появиться об руку с Юрочкой там, где будут солидные люди...

Девчонки-однокурсницы не однажды допытывались:

— У тебя что, с ним всерьез?

Выйти замуж перед распределением (получить свободный диплом, остаться в Донецке) — стало своеобразной модой среди выпускниц.

Наташа отшучивалась:

— Даже в резерве не числится.

Но она просто недооценивала способностей Смычка.

Перед государственными экзаменами к ней подошел Славка. Весь взъерошенный, растрепанный, словно старый мяч, которым сто лет играла дворовая футбольная команда, сует в руки Наташи полстранички, испещренной цифрами, исчерканной линиями:

— Горю. Нарисуй.

Это означало: сделай чертеж.

Ссора угнетала обоих. Наташа ловила себя на том, что ищет в аудитории или в столовой глазами Славку. Все хотела перехватить его взгляд. И однажды это удалось. Славка чувствовал себя виноватым. Засмутился и быстро отвернулся. Но тут же — зырк. А она на него глядит со звериной тоской и молит взглядом.

И на следующий день... Мельком, на одно мгновение, будто бы случайно, лишь бы глаза в глаза, и тут же отвернуться. А потом вновь обернуться.

Наташа понимала, что Славка лучшее ее, чище помыслами, благороднее душою. И она невольно тянулась к нему, как мотылек к свету. Только бы не обжечь крылья...

Она уже не однажды готова была подойти к нему и сказать: «Ну, дура я, набитая дура. Вот такие уж мы, бабы, крепки задним умом». Но теперь-то она понимала, что нельзя просить прощения за осмеянную любовь. Кровные обиды, они и есть кровные. На словах еще можно быть милосердным, мол, ладно, так уж и быть, а на сердце остается тяжелый черный камень. Как вот его сдвинуть?

Славка сдвинул, причем так, как никто другой этого сделать не смог бы: подошел и сказал: «Горю. Нарисуй». Так он обращался к ней и прежде, еще до глупой ее выходки.

Разве они раньше не ругались? Да по «Утенку» — война Алой и Белой розы шла. Как мирились? Один («кто поумнее на данный момент») из них протягивал мизинец. Надо было ухватить его и дуэтом проскандировать: «Мирись, мирись и больше не дерись». Так поступали все активные члены «Антошки».

Славка мизинца не протянул. Внешне, казалось бы, все осталось, как прежде: мир, дружба, но Наташа чувствовала, что между ними льдина. Тонкая, очень тонкая, но — вечная.

* * *

— Нет, вы посмотрите на Мозжуху! Расфуфыра! Распустил перья, словно индюшиный падишах!

— А профессор Пахомов каков! Ис-ко-па-е-мо-е!

— Каменный истукан, вырубленный аборигенами сарматской степи из глыбы серого песчаника!

Позавчера — милые преподаватели, вчера — Государственная комиссия, нынче — коллеги.

Защита проекта, сдача госэкзаменов, подготовка к выпускному вечеру вытравили из Наташиного сердца чувство безысходной тоски по поводу бездарно израсходованных дней. (Тебе — уже двадцать три, а ты в жизни — ничто, абсолютный нуль!)

Смычок появился в банкетном зале за полночь, когда институтское начальство уже в основном разошлось, остались только свои. Все навеселе. Он вошел этаким победителем международных соревнований по классической борьбе. При виде Шикового Парня в светло-коричневом (шерсть с лавсаном, импорт — ГДР) костюме, в модняцких туфлях (полуплатформы в радужных разводах), ни у кого не могло возникнуть сомнения в том, что перед ними удачник, полный энергии, отличающийся отменным здоровьем. Чуть отодвинулся и пропустил вперед официанта-мальчика в строгом черном костюме, с неизменным галстуком-бабочкой, который оттеняет белизну рубашки. Официант нес поднос, уставленный бутылками. Жестом повелителя Смычок указал на столы, за которыми пировали выпускники, и зычно, заставляя обратить на себя внимание, распорядился:

— Рас-ставь!

Отыскав глазами Наташу, направился к ней.

Неподалеку от Наташи сидел подзахмелевший Славка и вдохновенно трепался на любимую тему: «Человек и среда».

— Природа — талантливый создатель, — выкрикивал он, стараясь завладеть вниманием Наташи. — У нее есть два гениальных изобретения, которые человек никогда не скопирует. Бессмертие клетки — исчезая, она дарит миру две жизни — и целесообразность всего сущего, этакий круговорот: каждое предыдущее служит пищей последующему. Без этого Земля задохнулась бы в смраде. А создан-

ные человеческим гением пластмассы не поддаются под действия великой целесообразности. Поэтому города превращаются в свалки пакетов, коробок и пузырьков, а моря и океаны — в помойку. Отходы надо полностью утилизировать!

К нему подошел Смычок, поклонился учтиво, вежливо спросил: — Сэ-эр, вы не будете возражать, если за вами поухаживают?

Славка, в душе презиравший Смычка, чуть отклонился, давая возможность Шиковому Парню подойти к столу, будучи уверенным, что тот намеревается наполнить его рюмку.

— Любезнейший!

Смычок подхватил стул и, приподняв его вместе с Бобренком, под общий хохот отнес в конец зала. Поставил к столу на свободное место, пододвинул прибор, положил на тарелку бутерброд с кетовой икрой, налил водки.

— Сэр, пожиратель пластмассы, приятного аппетита.

Славка взбеленился. Лицо покрылось бурными пятнами. Он готов был вскочить и тут же броситься в яростную атаку на обидчика, сцепиться с ним в смертельной схватке. Но Смычок прижал его плечо ручишей, придвинул к стулу и улыбнулся. Рыжий шнурочек усов растянулся.

Затем Шиковый Парень взял свободный стул, стоявший рядом, и торжественно, как церемониймейстер, обслуживающий царствующую особу в день ее тезоименитства, понес к Наташе. Раздвинул свободные стулья, свой поставил рядом.

Официант сменил ему прибор. Смычок не спеша приготовил закуску, налил себе водки.

— Юные кол-леги! — раскатился по залу его голос. — У меня, как и у вас, большая радость. Я, можно сказать, тоже выпускник: ВАК прислал на мою диссертацию отзыв, и, как вы сами догадываетесь, весьма лестный. — Смычок в этот момент был сама скромность. И, чтобы эту смычковскую скромность все почувствовали и прочувствовали, он сделал длинную паузу. — Надеюсь, что и у вас в свое время будет такой же повод для торжества, — заключил он. — Выпьем за надежду, что юношей питает.

Смычок привычно и уверенно брал на себя роль тамады.

Наташе было стыдно за все происходящее.

Но здесь была не та компания, которая с открытым ртом воспринимала бы шуточки и хохмочки Смычка.

— Не слишком ли много надежд? — бросил реплику Утятин-Загорский.

Воодушевленный поддержкой единомышленников, Славка пробурчал, да так, что было слышно всему залу:

— Да здравствуют доктора, которые пишут кандидатские своим пробойным аспирантам.

Смычок сориентировался мгновенно и парировал:

— Уважаемый пожиратель пластмассы, ну зачем же обижать таким нелепым подозрением руководителя вашей будущей кандидатской доктора технических наук Виталия Никифоровича Мозжухина?

«Нет, каков Смычок! — подумалось Наташе. — Не человек, а штопор: из любой пробки выкрутится».

Начались танцы. Вот в этом виде искусств Смычок мог потягаться с любым завсегдаем танцплощадок.

— Наталья Прохоровна! — он вышел из-за стола, галантно поклонился и подал руку. Сильную. Надежную.

«Как бы наши к нему ни относились, но в нем что-то есть», — невольно отметила Наташа, поднимаясь навстречу протянутой руке.

Во время танцев Смычок взялся обсуждать с нею проблему трудоустройства.

— Узнаю: место в аспирантуре отдано Бобренку. Почему обошли Пахомову, дипломный проект которой получил высшую оценку? Виталий Никифорович готовил место тебе, я же это знаю!

— Он сделал мне куда более лестное предложение, — дурачилась Наташа. — Возможно, я выйду за него замуж. Стану докторшей и профессоршей. Без особых хлопот. Правда, и Оборощин сманивает: предложил перспективное место. Вот и думаю, в какую сторону податься.

Смычок не знал: верить — не верить.

— При твоих-то способностях, да у Мозжухина на кафедре, ты бы кандидатскую сварганила за два-три года: тьфу — и делать нечего. А еще через год — доцент, и триста шестьдесят ре — в кармане. Ни клятая, ни мятая. А сменный инженер? Тазик слез и мешок матюков

каждый день. Академик Павлов по этому случаю говорил: «Нервные клетки не восстанавливаются». — Смычок многозначительно поднял толстый короткий палец, ногтем которого он лихо, на потеху публике, срывал с пивных бутылок упрямые пробки. — Ди-а-лек-ти-ка! — И рассмеялся.

А Наташа невольно отыскала глазами Славку, который, танцуя, азартно выкидывал разные коленца, выдергивался и извивался, словно змей.

Смычок проследил за ее взглядом. Он чувствовал свое полное превосходство над замухрышкой.

— Талантливый мужичок этот Станислав Бобренок... Лет за двадцать пять высидит микроб Бобрин, пожирающий пластмассу, и моль Станиславу, питающуюся лавсаном, капроном и прочими нейлонами. — Он остался доволен своей шуткой.

Наташе было неприятно такое разглагольствование Смычка в адрес Славки.

— Уважаемый кандидат технических наук, утвержденный ВАКом, через четверть века вы с гордостью будете рассказывать друзьям: «С академиком Станиславом Петровичем я из одной бутылки водку пивал-с!»

Бородатый «Иисусик» из эстрадного оркестра вопил: «Любовь нельзя купить». Образовалась обычная в таких случаях толчея. Как получилось, что Смычок задел Славку Бобренка, Наташа не заметила. Только тот ядовито прошептал:

— Кандидат... в лакеи при особе профессора, поосторожнее.

Танцевавшие рядом прыснули ядовитым смехом.

Смычок побледнел: лоб, щеки, породистый нос начали выцветать, словно бы из них выкачивали кровь. Потом насос, видимо, не выдержал, сломался: нос побагровел, на нем от внутреннего жара выступили капельки пота, глаза одичали, как у табунного жоака, которому поперек пути встал жеребчик-стригунок. Смычок потянулся рукой к Славке, поймал его галстук, накрутил на палец и подтянул к себе оскорбителя.

— Пожиратель пластмасс, а ну-ка почирикай народу: «Считайте меня подонком, который лягает своего учителя. Честное пионерское!»

Если я еще ляпну какую гадость, пусть меня перетрут в шаровой мельнице на тук».

Женщине в общем-то льстит, когда она становится яблоком раздора, но пьяные драки при этом, кому они понравятся!

Наташа вцепилась в смычковскую руку и почувствовала, как под ее пальцами бугристо перекатываются стальные, упругие мускулы. Она испугалась и громко визгливо заорала:

— Ты очумел!

Смычок отпустил галстук, схватил маленького тщедушного Славку за ухо, как нашкодившего кутенка, и повел к дверям.

Тот шел и извивался от боли.

Зал возмущенно загудел. Завизжал кто-то из девчонок:

— Да он же ему ухо оторвет, искалечит. Помогите! Мужчины, называется...

К Смычку метнулся долговязый очкарик Утятин-Загорский: он рубанул ребром ладони по бугристому бицепсу свежеиспеченного кандидата технических наук. Рука (лапища) одрябла и выпустила славкино ухо.

Смычок готов был разъяренным быком броситься на всех, кто его сейчас травил. Что там поближе? Тяжелая бутылка с шампанским? (Сколько раз в кино показывали, как такой проламывали черепа противникам!) Он мог схватить стул...

— Вон отсюда! — закричала Наташа. — Кто тебя сюда звал! — Она колотила кулачками в широкую грудь Шикового Парня, и грудь гудела, как старый колокол на ветру. — Он будет тут устанавливать порядки!

Она толкала и толкала его к выходу, пока они не очутились за дверями. И тут-то дала волю своим чувствам: со всего размаха этого самого Юрия Юрьевича — по щеке! По щеке!

Ей было стыдно, ей было обидно.

Смычок пятился и пятился.

— Ты что? Ты что?

Сколь жалок был этот развенчанный мужчина!

Наташу душили слезы: «Стыдно-то как!»

* * *

Диплом с отличием. Красная обложка. В нем два начала: прошлое и будущее. Недоспанные ночи, треволнения экзаменационных сессий, сиюминутные огорчения. Впрочем, в будущем — тоже: недоспанные ночи, из которых, возможно, будет складываться почти вся жизнь; маленькие обиды вырастут в большие. Маленькие — тебе лично, а большие — коллективу, в котором доведется работать. Ты будешь отвечать не только за себя, но за десятки, сотни других людей, а у каждого свой характер, своя судьба, свои горести, свои радости.

До пятого августа у молодого специалиста — отпуск. Мама Нина считала, что дочь переутомилась (бледная, как снятое молоко, подглазины), и ей нужно отдохнуть на Черном море. Непременно на Черном!

Проблему путевки помог решить Оборощин.

— Нина Ивановна, я лично и ДМЗ в целом в неоплатном долгу перед автором проекта «Гидросоль», так что в пансионат «Дончанка»...

Сборы в дорогу не долги. Наташа не из привередливых: два купальника (чтобы на смену), костюм для экскурсий, пару легких платьев... Но какие именно взять туфли? Что из платьев предпочесть? Даже цвет и форма купальника стали темой для острой дискуссии между мамой Ниной и дочерью

— В конце концов, кто едет отдыхать? — вопрошала резонно Наташа.

— Но канареечные цвета вышли из моды! И потом, бикини не создает эффекта таинственности. Если женщина, даже молоденькая, обнажена на девяносто девять и девять десятых процента, она лишается таинственности и превращается в живой манекен. Твоя фигура...

— Требуется рыцарских доспехов! Вот если бы у меня была грудь шестого размера...

Нина Ивановна восприняла слова дочери как некий упрек ей, родительнице, у которой бюст именно шестого размера, и это при девичьей стройности. Увы, у акселерации есть обратная сторона. Раннее созревание — это очки с детства, отсутствие молока у

молодой матери, а отсюда — «мода» на искусственное вскармливание. Нина Ивановна, слава Богу, — вполне нормальная женщина. Когда она кормила Натулечку, молока было — залейся, еще двум матерям, родившим семимесячных, хватало... Но зачем же упрекать в том, что щедро отпущено природой! (И чем она тайно гордилась.)

— Ты с матерью, как с подругой! Эта резкость... По-моему, я ее не заслужила.

Брать кримпленовое выходное платье Наташа отказалась наотрез:

— В июле — самые знойные вечера, а захудалый курортный городок — не Москва с ее театрами...

— Но вдруг... — настойчиво рекомендовала мама Нина.

— Никаких «вдруг». На вечерних сеансах в открытом кинотеатре курортники сидят, закутавшись в одеяла.

— Варварство!

— Пансионат — простота нравов: все свои, только никто друг друга не знает, как соседи в современной семнадцатизэтажке.

Когда чемодан, наконец, закрылся, безобидно и безопасно лягнув защелками, что означало временное перемирие, мама Нина мягко сказала:

— Юра звонил... Ему предложили необычную должность, хотел с тобой посоветоваться.

— Со мной?!

О событиях на выпускном вечере в ресторане «Юбилейный» она дома не обмолвилась. Но Смычок, само собою, проинформировал маму Нину: «Отвергнутый Натулечкой Бобренок оскорбил привселюдно имя профессора Пахомова. Нет-нет, никакой драки... Будущий аспирант Славик просто в несопоставимой весовой категории. А избивать слабых... Оскорбителя взяли за ухо, как собачонку, справившую свои делишки в неполюженном месте, и — за дверь».

В глазах мамы Нины, жаждавшей подвигов в честь женщины, Смычок предстал в образе рыцаря Ламанчского, который борется с великанами за даму сердца Дульсинею.

Когда мама Нина сказала, что Юрочка хочет посоветоваться, Наташа поняла: Смычок по части ее отъезда получил исчерпывающую информацию. Ей было неприятно сейчас слышать даже имя этого человека. Мама Нина все поняла и разговаривала о Юрии Юрьевиче уже только с Прохором Николаевичем.

— А он не дурак, ей-ей! — гудел тот. — Кандидатскую не успел толком свалить, на докторскую нацелился: «Я как Виталий Никифорович...» Только он переплюнул Мозжухина. Тот, будучи доцентом института, сделал работу для завода. А кандидат технических наук тов. Смычок вызвался возглавить один из отстающих участков производства. Трудолюбия и настырности ему не занимать, нюх на перспективу есть... Природный организатор. Так что не удивлюсь, если цех под его руководством выйдет в число передовых.

— Но почему вы оба относитесь к нему с таким предубеждением? — не выдержала Нина Ивановна тона, каким говорил ее Прошенька. — Порядочный, не глупый человек... Вполне современный. Со вкусом... Согласна, его кандидатская особой оригинальностью научных мыслей не отличается. Но сколько он перелопатил материала!

— Я же говорю, трудолюбия ему не занимать! — в тон ей ответил Прохор Николаевич.

Заведя разговор о Юрии Юрьевиче, мама Нина приятно разволновалась — на щеках румянец, в глазах блеск. Помолодела, похорошела.

Прохор Николаевич, восседавший в любимом деревянном кресле-троне, хитровато прищурился, чуть склонив голову, и стал похож на ушлого мужика из глухой деревеньки, который знает о присутствующих такое! Окинул Нину Ивановну взглядом с головы до ног.

— Мать, а ты еще вполне...

Нина Ивановна вспыхнула. По щекам пошли малиновые пятна. Лоб и нос побелели. Начала быстро-быстро поколачивать длинными пальцами по вискам, заставляя себя успокоиться.

— Твои плоские шуточки... — Вышла из комнаты. Величественная, словно королева, оскорбленная королем-грубянином.

— Как мы правду-то не любим, — проговорил Прохор Николаевич. — Только она, правда, от этого фигуру не теряет.

Смычок занял в жизни Наташи особую клеточку. Вначале крохотную, словно укол от булавки. Но постепенно Шиковый Парень отвоевывал и отвоевывал «жизненное пространство» у других ее привязанностей и симпатий. Он умел быть необходимым по мелочам: с удовольствием носил ее сумку в институт или из института, без внутреннего сопротивления мог позвонить: «Нина Ивановна,

бегу к вам на чаек. Что прихватить? Хлеба не нужно? Украинский, еще теплый». Без него Наташа зачала бы за рабочим столом. А он придет, бесцеремонно отодвинет в сторону книги, закроет газетой чертёж и скажет:

— Прощвырнемся?

И — на часок в парк, вокруг ставка.

В общем, она уже привыкла к мысли, что рядом с нею есть всегда некто, готовый служить ей верой и правдой, безропотно сносить капризы и выверты. В связи с этим в ней выросло и укоренилось ощущение личного превосходства над десятками, сотнями других женщин, которые, возможно, моложе ее, не глупее, и уж, конечно, красивее, но... у них не было вот такого преданного и покорного пажа-оруженосца.

Она нередко ловила себя на желании еще и еще раз убедиться в прочности своей власти над Шиковым Парнем. Но позволяя ему выполнять капризы, она тем самым брала на себя какие-то моральные обязательства. А Наташа хотела оставить за собою право на полную свободу.

Впрочем, «хотела» и «оставила» — далеко не одно и то же... Когда Смычок, очарованный первым снегом, под наплывом добрых чувств поцеловал ее в щеку, как-то неудобно стало разыгрывать недотрогу. Наташа сделала для себя открытие: она ждет мгновения, когда они зайдут в подъезд и Смычок властно, почти на правах собственника, остановит ее у нижней ступеньки: повернет к себе, сдавит плечи. И пойдут гулять по спине, неумолимо стремясь навстречу друг другу, широкие ладони. Губы найдут губы...

Двенадцать мгновений девичьей растерянности...

Наташа, возбужденная прощанием, поднимется к себе, медленно снимет туфли у порога, долго будет искать тапочки: поджидая, когда успокоится, когда щеки перестанут пылать.

«А целоваться, Наталья Прохоровна, ты, оказывается, любишь!»

За случай в ресторане она на него рассердилась, а... злости на сердце не было, никаких мстительных мыслей, просто запретила появляться в их доме — так сказать, воспитательный момент. Но он все равно бывал, правда, когда она отсутствовала. Мама Нина об этих посещениях Юрия Юрьевича помалкивала, Наташа делала вид, что ничего не знает и вообще «развенчанного мужчину» не приемлет.

...Конечно, если бы Юрочка сопровождал ее в поездке на Черное море, то взял бы полностью на себя оргхлопоты: билеты, такси, чемодан. По части бытовых моментов Наташа не очень практичная и взыскательная. Экономя время, она могла купить целую буханку хлеба и сетку кефира, чтобы потом пять дней быть свободной от магазинных обязанностей.

«Да таким хлебом грецкие орехи колоть!» — воскликнет, бывало, упрекая ее, мама Нина, постучав остатками буханки по краешку стола.

Наташа отмахнется: «Журнал «Здоровье» считает, что горячий хлеб вреден для желудка, нужно есть слегка подзаветрившийся, особенно женщинам, борющимся за стандартную фигуру».

...В общем, Смычок в хлопотной дороге летом на юг мог бы вполне пригодиться. Но... Наташа считала, что отлучение Шикового Парня как мера воспитания пока еще себя не исчерпала.

Когда встал вопрос о билете, она категорически заявила маме Нине:

— Никаких услуг от Смычка! Сама.

...Как плохо она знала жизнь города-красавца, сколь беспомощной оказалась при встрече с обычной действительностью!

Пришла с утра пораньше, чтобы занять очередь в железнодорожные кассы до их открытия (благо живет в двух кварталах), а там — толпа. Гудит ровно, привычно, монотонно, как хорошо отлаженный мотор крупного насоса.

— Кто тут последний на завтра на Сочи?

Ее подняли на смех:

— Милая! Билеты на юг летом продаются за сорок пять дней.

Она — к старшему кассиру:

— У меня — путевка.

— Надо было беспокоиться заранее...

— Но мне ее вручили вчера.

— Ничем помочь не могу.

Наташа испытывала чувство унижения, словно бы она попрошайничала под магазином: «Одолжите четыре копейки...» Разорвались привычные логические связи: право на отдых есть, а права проезда

к нему нет. Оказывается, о билете надо было думать в ту пору, когда она не могла о нем думать. (Диплом, защита.)

Но это уже частный случай из личной жизни молодого специалиста Н. Пахомовой, и к обслуживанию пассажиропотока в летний сезон Министерством путей сообщения никакого отношения не имеет.

«Господи, какая ерундистика лезет в башку. Какой недобрый советник досада!»

Мама Нина осторожно предложила:

— Я позвоню Юрию Юрьевичу...

— Не будем об этом!

Что ей претило? Смычок найдет «кадра», которому он помогал пристроить в институт чадо. «Кадр» по вечерам и праздникам играет в преферанс с заместителем начальника железной дороги.

«Степан Степаныч! Купейный до Сочи для нужного человечка».

«Для че-ло-веч-ка». Слово-то какое обидное.

И вот Степан Степанович отдает распоряжение в кассу брони:

«Придут от меня...»

О Наташе никто не вспомнит, для железнодорожного генерала она не личность, она лишь повод завязать деловые отношения.

А Наталья Пахомова, молодой инженер-технолог цеха водоснабжения участка химводоочистки, хочет быть человеком. Че-ло-ве-ком. Не частицей пассажиропотока и уж конечно не «кадром» для какого-то оборотистого дяди.

«Красавица Виктория!» Вот кто может помочь. Она работает в кассе аэрофлота.

Наташа была готова расцеловать бывшую одноклассницу, когда та пообещала:

— Может, что-то останется из брони обкома: прогноз погоды неутешительный...

Осталось.

Наташа явилась домой окрыленная.

— Лечу! — торжествовала она.

«Как мало надо человеку для того, чтобы почувствовать свою значимость, свое превосходство над другими!»

Мама Нина всполошилась:

— Самолетом?!

С недавних пор она стала яростным противником аэрофлота. У них в доме (через подъезд) молодая женщина отправилась с мужем в свадебное путешествие. Дичайшее происшествие: на лайнер налетели журавли, реактивный гигант-красавец упал в море. Через неделю родителям погибших прислали урну. Те вскрыли. Увы... Урна, можно сказать, была пуста. И с тех пор в доме Пахомовых даже говорить о воздушном сообщении считалось неприличным. Отец однажды попытался было превратить очередное табу в шутку:

— В конце прошлого века в Петербурге было всего два автомобиля. Передвигались они со скоростью пешехода. И все же столкнулись.

Нина Ивановна при этих словах вышла из себя.

Наташа решила не отступать:

— Лечу в шестнадцать десять.

Сигнал к действию заставил Нину Ивановну примириться с жестокой необходимостью.

В четырнадцать тридцать пропел свою мелодию звонок над входной дверью:

— Юрочка!

Смычок — с неизменной коробкой «Птичьего молока».

— В дорогу. Идеальное средство от укачивания.

— Спасибо. Предпочитаю леденцы «Пилот». — Но Наташе уже надоела роль ведьмы: билет она достала, самолюбие потешила.

Смычок — со своим транспортом. У подъезда стоял старенький «Запорожец» голубоватого цвета.

— Крошка Бэби в вашем распоряжении.

«Ну что ж, можно воспользоваться «лимузином» Шиковаго Парня».

К Смычку вернулась прежняя самоуверенность. Напыжился индюком. Чемодан подхватил, дверцу распахнул, поддержал за локоть, пока Наташа забиралась в низкий неудобный салон.

«Извините...» «Будьте добры!» «Пожалуйста!»

Смешно. И приятно. Это она его так вышколила.

«Дуры мы, бабы! «До» — воду варим из мужиков, а «после» — слезы льем. Ведрами».

* * *

Над городом, по-осеннему низко, — набрякшие дождем тучи. Одна из них напоролась на островерхую крышу высотного здания стройбанка. И вот уже разбиваются о лобовое стекло первые капли. Мелкие. Их почти не видно. Только след. Пятнышко. Первое, второе, сотое... Множество!

Рябит перед глазами дорога. Обогнать бы тяжелый, неповоротливый траллер, да не решается шиковская Бэби, жметя к бордюру.

Зачихала, словно «отхватила» свирепый азиатский грипп. И остановилась.

Смычок вспотел от переживания. Жмет, жмет на кнопку стартера. Тоскливо вздыхает мотор. Но что-то в «крошке» разладилось

Оба посмотрели на часы, затем друг на друга.

«Пятнадцать ноль две!»

«Кончается регистрация билетов, если... начиналась», — без особой тревоги подумала Наташа.

Смычок ковырялся в моторе. Дождь накрапывал и накрапывал. Потекли по толстому защитному стеклу мутноватые ручейки. Наташа наблюдала за извилистостью их русел, за неотвратимостью движения.

Наконец Бэби торжествующе взвыла и помчалась. Она юлила, отыскивая лазейку между машинами, пробиралась на перекрестках поближе к запретительной черте перед светофором, первой срывалась с места, стоило мигнуть красному глазу и появиться желтому. Она вся была во власти одного чувства: прорваться сквозь непогоду и поток машин, первой прийти к заветному финишу — доставить пассажирку по назначению и вовремя.

Ворожея бы сказала: «Напрасные хлопоты».

«Рейс «Донецк-Адлер» откладывается до 18.00 в связи с неприбытием самолета».

— Чашечку кофе?

— Можно.

— С коньяком?

— Горячее спиртное — не для меня.

— А шампанское из холодильника?

На круглом черном столе появились два фужера из столового стекла, на котором оставила приметные следы механическая посудомойка. Наташа невольно начала протирать фужеры мягкой бумажной салфеткой — экономными треугольничками.

Сильные, уверенные в себе руки Смычка нянчили сизую бутылку с черной, отороченной «золотом» этикеткой.

— Коллекционное. Уговорил буфетчицу, достала из спецзапасов.

Наташа видела, как он, перегнувшись через перила, что-то страстно нашептывал вертявой золотозубой тетке.

Бутылка чмокнула в опытных руках.

На толстом пальце Шикового Парня — перстень из белого золота. Радужно поблескивают грани мелкой насечки, завораживают, околдовывают непривычностью.

— Подарок Николая Николаевича. Привез из Америки, — со значительным и таинственным видом пояснил Смычок, перехватив взгляд Наташи.

И чего это вдруг какой-то Николай Николаевич станет ни с того ни с сего дарить вчерашнему аспиранту-переростку уникальное кольцо из особого, белого золота!

Нежно посмеиваются длинноногие бокалы при встрече друг с другом.

— Вернешься из Сочи — подадим заявление в ЗАГС. — Квадратная в ладони рука бережно легла на хрупкую девичью. Сигнально, призывно сжимаются пальцы. — Нина Ивановна проинформирована... Я ей благодарен... за все: и за помощь в работе над «диссертацией» и... за тебя, — доверчиво исповедовался Смычок, с чисто мужской эгоистичностью убежденный, что решает за двоих. — Теперь официально... Будем уважать обычаи отцов, — он как бы извинялся за столь несовременный обряд, мол, ничего не попишешь. Маму Нину на кауром не обскачешь.

Наташе отвечать не хочется. Правднее было бы молчать. Но поставил Смычок ультиматум: «да?», «нет?»... Сомнения копятя, копятя...

Матерости, которая нравится порою бабам, Смычку не занимать. Заботливый муж, не очень верный (при случае, в командировке). Зато — надежный, как дубовая свая, вбитая в глиняный грунт:

обеспечит, достанет. Даже птичье молоко, хотя бы в кондитерском варианте. Лет через десять — участник всесоюзных конференций. О нем будут говорить: «отличный организатор», «нужный человек».

Словом, мужик в расцвете сил. Как лихо от откупоривает пивные бутылки! Поддел пробку ногтем — и только «пфа»! А как он обнимается и целуется — голова идет кругом.

Почему-то особенно волнительны эти поцелуи именно в подъезде. Стоят двое... Тишина — дом уже спит. Откуда-то сверху, через пролеты, пробивается таинственный свет. Целует он тебя, прижимая жарко к груди, а ты, искоса так, поглядываешь на входную дверь: а вдруг кого-то из подзадержавшихся соседей принесет! Жутковато, а потому и сладостно.

Готова ли Наташа к решающему шагу? Двадцать три... Старая дева. Верка Уварова успела к этому времени родить двоих. А в двадцать пять будет намного труднее. В тридцать — почти патология. Так вот, если Наташа сейчас выйдет замуж, то, согласно теории мамы Нины (молодожены должны пожить в свое удовольствие лет пять, прежде чем решиться на ребенка, иначе быт заест их и они осточертеют друг другу, не успев привыкнуть), так вот, согласно этой теории Наташа сможет родить первого... только к тридцати...

Грустные размышления. Они, что ли, породили бабью злость на свою судьбу и на «проклятое мужичье», сказала бы Лизавета.

Как там в известной оперетте? «Частица черта в нас заключена подчас». В одно мгновение Наташина «частица» выросла до полнометражного черта. И вот подстрекает нечистый ее:

«Скажи ты Смычку «да».

«Зачем?»

«Интересно, что из этого получится».

«Какая-нибудь «бьяка» вроде той, что в истории со Славкой».

«В истории с Бобренком тебе загорелось побыть в очень хороших. Ты жила с тайной мыслишкой: Бобренко станет великим, мировая наука получит светило. И всю жизнь тебя будет греть: «Если бы не я...» Смычок — совсем иное дело, он далеко не так беззащитен, как Славка. Игра с ним в поддавки сулит тебе острые ощущения. Рискни, сядь в эти сани, и у тебя не однажды захватит дух на крутом спуске или на головокружительном повороте».

Нужно короткое слово «да»... Короче и эмоциональнее его лишь «я».

Впрочем, можно и ничего не говорить, стоит кивнуть или потупить стыдливо взор. И уж пусть Смычок воспринимает все, как ему заблагорассудится. Можно на две руки, в ожидании застывшие на черном пластике стола, положить третью. И это будет девичьим «да». Коснуться щекой щеки... Поцеловать в губы... Двое в аэропорту, кто обратит внимание на подобное?!

Смычок ждет. В серых глазах — тревога. Еще никогда Наташа не видела у него таких выразительных глаз. «Пощадите!»

Она медленно освободила занемевшую руку, придавленную тяжелой мужской ладонью. Взяла из коробки конфету.

— «Птичье молоко» — в таком изобилии!

Положила конфету на место.

«Рейс «Донец — Адлер» откладывается до девятнадцати часов тридцати минут в связи с неприбытием самолета».

Вовремя это сообщение! Можно не отвечать Смычку, а посудачить о погоде, похвастаться, будто своими фотографиями в журнале «Огонек», сделанными космонавтами: «Видно, как «варится» погода планеты». Можно поговорить о Высоцком...

Новый аэровокзал из стекла, бетона и пластика. Окна — недосягаемо высокие. Потолки — мозаичное полотно на тему: «Рабочий Донбасс». Залы — словно тренировочные поля стадиона «Шахтер». Но сейчас здесьлюдно, стоит шум, как в лесу, когда в кроне шалит ветер: аэропорт закрыт вторые сутки.

Наташу уже мучает озноб. Потеплело на душе от того, что неудобаримый разговор отложен на неопределенное «потом». Шампанское выпито, пришло ощущение своеобразной невесомости. Душа успокоилась. Смычок закрыл коробку с оставшимися конфетами.

— Чувствую, это не последняя информация диктора об отсрочке рейса. Пойдем глянем на крошку Бэби. Раскапризничалась. Ревнует к тебе.

Направились к выходу. Смычок обнял девичьи плечи. Вот так, принародно — впервые. Случись это на улице, Наташа мгновенно опротестовала бы подобную акцию. В аэропорту, где люди расстаются, может быть, на всю жизнь, желания сопротивляться, проте-

ствовать, негодовать не появилось. Она понимала, что его отношение к ней гораздо серьезнее, чем ее отношение к нему. Ей хотелось быть к Смычку более снисходительной, компенсировать, что ли, своим вниманием недостаток серьезных чувств: «Не стоит обижать влюбленного...»

* * *

Смычок копался в моторе, Наташа стояла рядом. Вновь пошел дождь, и они забрались в машину. Смычок осторожно, методично — один за другим — целовал ее пальцы...

И так до тех пор, пока не пришло время узнать о судьбе рейса.

Но если бы это не было приятно, если бы не таило в себе чего-то многообещающего, разве Наташа сидела бы не шелохнувшись? А она млела от непонятого предчувствия. Впрочем, если уж откровенно, как перед Господом Богом, то — ничего непонятого. Разве она не знала, ЧЕГО хочет Смычок, готовый расстелиться шкурой медведя у ее ног? Да это же было прописано на его поглупевшей физиономии, в его помутневших глазах, в каждом прикосновении горячих, чуть влажных рук. Даже голос изменился, как у волка, которому кузнец поставил медное горло. Юрочка не говорил — блеял: «Ребя-я-тушки, козля-я-тушки, отопри-и-те-ка, отвори-ите-ка... ваша папа пришла...»

И теперь только от Наташи зависит, как закончится сказка.

...Дойти до края! Заглянуть в бездну. Пусть замрет сердце! Пусть закружится голова... Познать непознанное, сделать открытие... Доведется прочувствовать...

Дойти до края преисподней и заглянуть в пропасть — дело нехитрое. А вот не сверзиться при этом...

То, что происходило со Смычком, отдавалось горным, каскадным эхом в Наташе: вся наэлектризованная, вот подключили к электрофорной машине и крутят, крутят...

Рейс отложили до двадцати одного сорока пяти.

— Хоть бы уж в какую-то сторону — поскорее.

Еще кофе. Еще шампанское. И вновь эти смычковские конфеты с символическим названием «Птичье молоко». Оба — и он, и она — внешне беспечные, внутренне настороженные.

В половине десятого аэропортовский диктор «обрадовал»: «Рейс откладывается до шести утра».

Чемодан — в камере хранения. Урчит надсадно Бэби. Чихает. Сердится.

Наташа — на заднем сидении. Почему она забралась сюда, вглубь берлоги? Предоставила Шиковому Парню самому принимать решение?

— Тут у меня неподалеку... тетка живет, — хрипловато поясняет Смычок, не оборачиваясь к пассажирке. — Гараж. Мастерская. Надо поменять карбюратор!

Милые мамы! Наивные папы! Доверчивые мужья... Не тешьте себя надеждой, что она стала жертвой обстоятельств, рабыней случая... Все проще, прозаичнее, естественнее.

Достаточно было сказать: «Мы не туда едем» — и потребовать: «Поверни». И пригрозить: «Или я выпрыгну на ходу...» И хотя из старого «Запорожца» на ходу выпрыгнуть не так-то просто, вернее, почти невозможно, но Смычок остановил бы или повернул.

Но в таких ситуациях молчат и едут, хотя сердце холодеет от предчувствия. Что в этом случае срабатывает? Неожиданное безволие? Или зов природы? Любопытство? В старину говорили: «Черт попутал». А как быть в наше время, когда черт остался лишь в некоторых словесных выражениях невыдержанных людей?..

Но самым странным, пожалуй, было то, что мнение о Смычке у Наташи даже в те минуты было прежним: этакая снисходительность, замешанная на невысказанном, на постоянно ощущаемом моральном (и пожалуй, умственном) превосходстве. Никаких «растаяла», «расчувствовалась»...

Крошка Бэби юлила по закоулкам шахтерского поселка. Дождь наливал колдобины и ямки густой патокой. Она взрывалась под колесами тягучими фонтанчиками. Ни зги. Где небо? Где праведный мир? Где ад? Лишь острые лучи фар предсказывают путь...

«Дурацкие обстоятельства: рейс отменили, Бэби раскапризничалась, к Смычку на дачу гораздо ближе, чем домой...»

Огромный дом пустынен. И не дом это вовсе — зимовье, вырубленное в ледяной скале потерпевшими кораблекрушение. Когда это было? В прошлом столетии? Кто они, первые обитатели ледяного

склепа? По-гиб-ли... Все до одного. И уже никогда человечество не узнает о трагедии, разыгравшейся здесь много-много лет назад.

Лязгает цепь, скользящая по длинной проволоке, разделяющей двор пополам. Рычит злой-презлой кобель размером с годовалого теленка. Лаять разучился — от злости подвывает.

— На место! — заорал Смычок и пнул подлетевшего пса в морду. Тот от обиды сплюнул, гавкнул: «Шляются разные...»

Пропуская Наташу на веранду, Смычок зашептал в самое ухо: — Это теперь и твой дом. Наш...

Его голос — словно капля, попавшая на горячую сковородку: шипит, мечется, ищет выхода, которого уже нет.

— С октября семнадцатого частная собственность не в моде.

Наташа говорит громко, словно чеканит. Она хочет перекричать леденящую тишину дома. Может, кто-то отзовется? Хотя бы эхо. Но гаснут звуки в ворсистых паласах и ковриках.

Щелкнул выключатель. Два невидимых луча вырвали из тьмы зеленоватый камин, прилепившийся в углу наподобие ласточкиного гнезда. Фанера расписана под брусчатку. На решетке — березовые полешки, покрытые лаком. Между ними — ленты. Заурчал моторчик, зашелестели пурпурные ленты, купаясь в красном свете, создавая иллюзию костра.

Два кресла — одно против другого. В левое он усадил ее. В правое опустился сам.

«А из камина идет тепло. Там, видимо, рефлектор».

Смычок начал было согреть дыханием озябшие пальцы Наташи. Но неудобно: далековато кресло от кресла. Встал на колени.

— Натулечка... — это шепотом, это мольба.

— Что? — жестко, непримиримо.

— Ты... мне очень нужна в жизни. Я тебя люблю.

— Банально, Смычок.

— Ты мне не веришь?

— Нет, почему же... Первый параграф ваших тезисов возражений не вызывает. «Нужна». Но при чем тут «люблю»? Социологи, поэты, юнцы и девицы всех времен и всех народов за три миллиона лет существования человека разумного не сумели расшифровать это слово. По всей вероятности, оно досталось нам от пришельцев из

мегалактики. «Подадим заявление в ЗАГС» — вот это современно, конкретно, двойному толкованию не подлежит.

Он растерялся, не зная, что предпринять. Поднялся с коленей. Топчется на месте. Нужно действие. Он это понимал. Но какое?

— Шампанского? Коньяку? Бренди? Кубинского рома? — он метнулся к холодильнику «Снайге», выполненному в дереве и по-хожему на модную тумбочку.

— Считаешь, что я недостаточно пьяна?

— Зачем же так, — поежился, словно его обдала ледяная струя.

Наташа чувствовала, что в ней накапливается раздражение. Лезет в башку, множит обиду банальщина: «Сколько глупышек и потаскушек побывало в ледяном доме? И каждая сживала в кресле у фальшивого камина. Ритуал встречи был тщательно отрепетирован: перечень вин — одна из психологических атак».

— Выключи свой идиотский камин!

Ее выводила из себя искусственность обстановки: «Эти извивающиеся в агонии ленты, эти березовые поленья, тускло поблескивающие старым лаком при свете красного фонаря».

Но красный фонарь, упрятанный на дно фанерного камина, оказывается, был единственным источником света в этом безлюдном доме, где пахло мышинным пометом и прелым пшеном.

...Что-то в этом роде, видимо, происходило у всех тех пятидесяти миллиардов землян, которые обитали на планете до Наташи...

Смычок целовал ее захлеб. Обычно от сильных рук, неумоимо уютживших хрупкие плечи, истомно кружилась голова и слабели ноги, готовые подогнуться в коленях, но потом, через двенадцать мгновений девичьей растерянности, возникало желание поозоровать, подурачиться: то ли замыкать на весь подъезд, то ли шелкнуть Смычка по породистому носу. А сейчас коленям некуда было подгибаться: Наташа сидела на диване, накрытом польским парчовым покрывалом. Заломило в висках, как с угарного похмелья...

Через обнаженное плечо пропахал борозду ребристый перстень белого золота...

* * *

Наташу душили слезы. Если бы Смычок накинул на нее теплый плед, перенес поближе к камину, источавшему тепло, усадил в кресло, вытер бы ладошкой слезы и, преданно уютившись у ее ног, которые бы она непременно подогнула под себя, начал шептать нежные слова, пусть даже это свое дурацкое «люблю», возможно, так мерзко у нее на душе не было бы.

А собственно, чего она ждала? Что вырастут крылья, и она взвоется в безоблачную высь?

Сколько читано?

«Любви все возрасты покорны!»

«Любить — это значит
до полночи грачьею...»

«За любовь человека не судят...»

— Бабы! Дуры, не верьте! Это все выдумали и сочинили мужики. Они даже сами не хотят, чтобы так было...

В пору было завывать: «Ограбили-и-и!»

Но никто никого не грабил, ничего себе не присваивал, просто был уточнен ответ на один нечетко сформулированный вопрос: «Ты меня любишь?» — «Дурак!»

«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» Четыре.

Это сигнал к отступлению.

Злорадствовали красные ленточки, сварливо, нудно гудел камин. Смычок одевался.

Шиковый Парень, переместившись к зеркалу, завязывал галстук:

— У знаменитого итальянского киноартиста Валентино было две тысячи галстуков. Он раздаривал их своим поклонницам. А когда умер, тринадцать из них повесились на этих галстуках в знак великой скорби.

В голосе Смычка жило неприкрытое торжество. И это взбесило Наташу.

— Ты таким способом не прославишься: у тебя нет двух тысяч галстуков.

Злые слова Наташи отскакивали от Смычка, как каучуковые шарики от бетонной стены. Он — само добродушие. Смычок оце-

нивал мир, исходя из своего настроения, из своих мерок: «Все — о'кей!» Поэтому он отказывал подруге в праве на обиду.

Подошел. Уже франтоватый, одет с иголочки. Насильно поцеловал, приподняв ее голову за подбородок. Хотел в губы, но Наташа дернулась. Ткнулся колючим шнурочком усов в щеку.

— Сейчас подам кофе. В лучших домах Лондона женщины пьют его прямо в постелях.

Скабрезная шутка.

Обидеть женщину, когда она, переполненная доверием, отозвалась на обещанную ей нежность, на ласковые слова, которые воспринимаются как клятва верности и, повинувшись вечному зову жизни, пошла навстречу его рукам... Его мольбе о спасении. Его губам и глазам. Его — «Я так хочу!» И осталась совершенно беззащитной, словно грудной ребенок перед вором... Обидеть такую женщину... у некоторых подонков считается великой честью. И если появляется возможность поведать таким же, как сам, о двенадцати мгновениях девичьей растерянности, уж тут он оденет свою фантастическую бывальщину во все цвета носатого какаду с Соломоновых островов.

Все, что окружало Наташу в ту пору, казалось ей шатким и зыбким.

Смычок подкатил к дивану небольшой передвижной бар. На нем — металлический поднос в манере «псевдопалеха»: алые розы по черному полю. Завтрак приготовлен ловко, умело. Желтые чашечки на желтых блюдечках. Желтый кофейник. Серебряные ложечки. Сахар с синеватым отливом. На фарфоровом желтом подносе — несколько бутербродов с красной икрой. Ободок на них из сливочного масла.

— Рюмочку для бодрости.

Он распахнул дверцы бара и достал пузатую, похожую на грушу, уже распечатанную бутылку.

Наташа увидела стопку ярко раскрашенных коробок «Птичье молоко».

«Дефицит в таком изобилии! — И вспомнила: — Тетка Юрочки работает на кондитерской фабрике...»

Хотелось одного — поскорее на свежий воздух. Но она пила кофе, жевала бутерброды. Это была своеобразная контрибуция за будущую свободу.

Смычок направился в гараж.

— Поговорю по душам с крошкой.

* * *

«Отдыхать по обязанности — удивительно нудная работа!»

Неделя прошла, как скучная лекция, которую никто не слушает. Наташа словно бы погрузилась в спячку. Не замечала голубизны теплого моря, не обращала внимания на ласковость солнца, оставалась глухой к доброте и радости людей, вместе с которыми ходила на пляж, ездила на экскурсии, ела за одним столом. При многолюдности, присущей большому пансионату, ее угнетало чувство одиночества. Даже читать не могла. Откроет книгу, уставится на страницу, но не понимает ни одного слова.

«Была бы Ихтиандром, скрылась бы однажды в набегающей волне и не вернулась бы на берег...»

Как это ни покажется странным, но Смычок с его дачей и крошкой Бэби не имел никакого отношения к ее настроению. Такого человека как Юрий Юрьевич отныне для нее просто не существовало.

Наташа, наверное, собрала бы свои пожиточки и вернулась восвояси. Но не так-то легко было выбраться с черноморского побережья: билеты заказывали в первый же день приезда на... последний день отдыха. Наташа тоже заказала. И деньги отдала. Впрочем, дело не в деньгах, но торчать неделю под дверями касс в Адлере... Одноклассницы Виктории там нет.

От неизбежной смерти, до которой ее довела бы зеленая тоска, Наташу спасла тетя Фрося. Заходит Наташа в столовую и видит... за соседним столом восседает улыбающаяся розовошекая великанша в легком, цветастом, как бабочка Бражник-мертвая голова, платье. Улыбка — до ушей!

— А я читаю бирочку на столе: «Пахомова Н. П.» и думаю: «Неужто это наша Наталья Прохоровна?»

«Наша...» Запершило в горле, зреет где-то там, под переносицей, слеза.

Тетя Фрося с ее житейской мудростью и простотой была самым нужным в ту пору Наташе человеком из всех четырех с лишним миллиардов жителей Земли.

Оказывается, тетя Фрося приехала с запозданием, билет не смогла вовремя достать, путевку ей вручили за день до заезда.

После обеда, приютившись на лавочке под тенистым платаном, они разговорились:

— С твоей легкой руки, Прохоровна, за «гидросоль» взялись, как за второй БАМ.

У Наташи не было столько доброты и щедрости, сколько у тети Фроси, она еще не научилась радоваться радостью другого, малознакомого, которого обычно называют чужим...

Узнав, что в комнате, где поселилась Наташа, второй день пустует кровать, тетя Фрося сказала:

— Попрошусь у главного к вам в комнату, все родная душа.

О своем пребывании в пансионате она рассказывала с юмором:

— В морской санаторий я попала по ошибке завкома. Мне бы какие грязи, чтоб сухожилия размягчить, а меня туда, где любовь нагуливают.

Левая рука у нее была изуродована: широкоую, квадратную ладонь перечеркнул багровый шрам, пальцы, можно сказать, почти не гнулись.

— За ножку схватилась. Вернулись тогда от вас, с именин, уже перед расчетом. Лука Степаныч почаяевничать захотел, но воды не было. Колонка замерзла. Я — за ведро и на стройку. Это через дорогу. Переодеться не успела: может, помнишь мое новое пальто с норковым воротником. Двести семьдесят рублей плачено: Лука Степанович на день рождения подарил... Нацедила воды, стою на наледи, танцую. Подходят двое. Мужикам не на что опохмелиться. «Тетка, не стыдно тебе таскать воду в таком пальто?» Один под мой рост, на метр восемьдесят четыре, правда, тощенький, жиденский. Второй чуток пониже, но поплечистее первого. С дрючком в руках. Я его, без размаху, ведром с водою под подбородок — хрясь! Только башмаки сверкнули. Вода, само собою, пролилась, меня обдало и горку у колонки полило. Мне бы пятки салом смазать да с места не могу двинуться — ноги в стороны разъезжаются. Второй — с ножом

на меня. Правая рука занята — пустое ведро держу: так я за лезвие схватилась левой. Страх силы помножил. Подтянула мужика к себе. Он ножом крутит, удобно ему, за рукоятку держит, а мне лезвие оставил. Грохнулись оба на лед. Изловчилась, мужика за уши, как пастух волка, — и мордой о горку, о горку! Он, бедняга, взмолился: «Убивают!» Явилась домой — ни жива ни мертва. Говорю Луке Степанычу: «В «скорую помощь» побегу жилки стачивать, а ты пальто застирай, пока кровь не скипелась. Засохнет, с ниткой сварится — пропала одежда».

...Наташа ничего о происшествии не знала. А могла бы! А должна была бы: хочет она или нет, но косвенной причиной всему — ее именины.

Удивляло и другое: для тети Фроси не существовало в жизни сложностей: все было понятно, просто. Она даже ухитрилась войти в беду грабителей: «Опохмелиться мужикам было не на что».

А Наташа, слушая рассказ, кипела:

— Вас пытались ограбить, покалечили... Ну хотя бы в милицию заявили!

У тети Фроси на это была своя точка зрения:

— Протоколами замучают, по судам затаскают. А так они свое получили. У того, которого ведром поддела, шея, поди, сантиметров на пять удлинилась. А второго мордой о горку потерла, без носа, думаю, остался.

* * *

Тетя Фрося переселилась в Наташину комнату. Молчать эта женщина не умела, так что Наташе стало не так нудно. Но жить беззаботно, как другие в пансионате, — море, столовая, вечером кино и легкий флирт, — она не могла.

Тетя Фрося заметила ее состояние:

— Ты чего нос повесила? — спросила она ее однажды. — Словно бы овдовела или любый покинул?

— Овдоветь не успела. Наоборот, один целую ночь уговаривал выйти за него замуж.

— Чем кончаются ночные уговоры — знамо дело. Но беда-то по нынешним меркам невелика.

— Да я не об этом... — Она вспыхнула. — Чего хочу — сама не пойму. Все кажется не главным, временным. Но должно быть у человека и что-то настоящее. Хотя бы несчастье... Вон как у Лизаветы.

— Ну, насчет несчастья ты, девонька, поосторожнее... Явится — не отвертись... А вот если... после уговоров сообразила, что не тот уговаривал, которого душа ищет, считай, что тебе повезло. ЗАГСом не связаны, детей нет — ищи свое... Хуже, если бы поумнела лет через несколько: и возраст не тот, и квартира держит, и от людей совестно... А уж если сыны пошли — сидеть тебе на семейной мели до конца дней. Какая и сорвется, а ты — обязательная.

* * *

В тот день Наташа часа два бултыхалась в море. Любила она, раскинув руки, неподвижно лежать на воде. Глаза прикроешь, и такое умиротворение охватывает — все невзгоды оставляют тебя, все желания улетучиваются. Остается одно — лежать вот так вечно: солнышко пригревает, волна убаюкивает, мелкие рыбешки, признав тебя своей добычей, пощипывают...

Дело шло к обеду. Наташа вернулась на берег. Выходит из моря — слышит: кто-то шлепает за нею по мелководью. Взял за плечи. «...Квадратные ладони... Короткие пальцы... И перстень...»

Она теперь узнает эти руки из тысячи других.

Думала ли она эти дни о Смычке? Точнее было бы сказать — не забывала. Он жил в ней: в ее изменившемся отношении к миру, к людям. Он заставил ее поумнеть, избавиться от детских, несвойственных возрасту заблуждений, которые долго и старательно приживала ей мама Нина.

Смычок остался верен себе: он любил эффекты.

— Мы же добрый час вместе купались.

Он был в модняцких плавках: двухцветные — огонь в ночи. На широком поясе — брелок в виде автомобильного колесика.

«Худосочные ноги при профессорском животике...»

Рядом с пестрым халатом Наташи лежал на желтом портфеле аккуратно сложенный костюм.

— Прилетел, — рассказывал Смычок. — Спрашиваю: «Где тут Наталья Прохоровна?» Вхожу в комнату — тетка, этакий атаман в юбке: Ефросинья Андреевна, я ее по именинам запомнил. Спрашиваю: «Где Наташа?» Она дает адресок: «Возле буев что-то недвижимое плавает». Ныряю, бултыхаюсь возле, а ты хоть бы ухом повела.

Он радовался встрече и не скрывал своей радости. Чмокнул Наташу в щеку.

— Тетя Фрося обед готовит: я привез все, что надо. Сейчас переоденусь...

Он взял костюм, туфли и направился в раздевалку.

Из раскрытого портфеля выскользнуло несколько небольших белых карточек.

«Визитки».

«Юрий Юрьевич Смычок. Кандидат технических наук, начальник цеха водоснабжения Донецкого ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции металлургического завода имени В. И. Ленина. Донецк, Артема, 7».

Наташа подняла карточки. Бумага плотная, вощеная. Карты-карточки тасовались легко, весело. А на душе у Наташи — черная ночь.

«Начальник цеха водоснабжения...» Вот по поводу какой должности собирался с нею посоветоваться Юрочка Смычок. Да не посоветовался, времени не нашел.

«Но как же Руфимов?»

А «гидросоль»?

Было в визитных карточках что-то «невсамделишное», игрушечное.

«Эх, Юрий Юрьевич, как вам не терпится в солидные-то люди выбиться!»

Вот когда пришло раскрепощение!

«Чудеса в решетке!»

Наташа положила визитки на прежнее место.

Смычок вернулся. Бросил небрежно в портфель плавки, извлек какие-то листочки.

— У меня — сюрприз! — он протянул листки Наташе. — Бланки заявления в ЗАГС. Прощение руки дочери Натулечки-красотулечки

у мамы Нины состоялось. Ты подпишешь, я отвезу, сдам во Дворец бракосочетания. Ты возвращаешься с курорта, и мы!..

Он хлопнул в ладоши, предвкушая удовольствие.

А физиономия! Это выражение поросычьей сытости!

— С чего ты взял, что я собираюсь выходить за тебя замуж?

Он опешил. Глаза поглупели: хлоп-хлоп веками.

— Но... — он осекся, вспыхнул.

«Смычок покраснел!» Сколько Наташа его знает, такого конфуза с ним еще не случилось.

— Не стесняйся, называй вещи своими именами, это упрощает сложности. После того, как я переночевала на твоей даче? Любопытно, сколько дурочек сиживало до меня в том удобном кресле у фанерного камина? — Она подняла руку с бланками заявления и выпустила их на свободу. Порхнув, они опустились на раскаленный песок... — Принес мне. Ценю. Но — увы... Работать в подчинении у собственного мужа... сменный инженер не может — по законоположению.

Она была жестокой, она хотела быть жестокой ко всему, что у нее произошло в ту нелепую ночь, когда отменили рейс.

— Наташенька! — взмолился Смычок, ошарашенный ее злостью, сочившейся из каждого слова.

— Наталья Прохоровна, уважаемый кандидат технических наук, начальник цеха водоснабжения. У вас есть список побед на лирическом фронте. Я начала свой. Надеюсь на солидное продолжение.

Он стоял молча, пошатываясь на тощих ногах. Затем трудно, постариковски, нагнулся, подцепил портфель и побрел прочь. Его ноги оступались на камнях.

ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ

Во всем мне хочется дойти
До самой сути —
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

Б. Пастернак

ПУЦЦОЛАНОВАЯ ТРАГЕДИЯ

Заводская больница — это городок из двух- и трехэтажных зданий, которые нашли приют в тенистом парке. На аллеях тихо, благостно, так и хочется сказать: «словно на кладбище». Но это не точно, неверно — здесь тишина живая. Просеянное через густую листву, сюда доносится мерное дыхание завода, нет-нет да и потянет дымком от домен или окрасит небо в радужные цвета семь сестер-близнецов — трубы мартеновского цеха. Больничный парк — царство цветов и птичьих голосов. Клумбы, на каждом перекрестке аллей — клумбы. Днем, приморенные жарой, розы и георгины не пахнут. Разве что призывно потянет медком от небольших белых цветочков-бантиков, которые в народе зовут «жабьими глазками». Но для того, чтобы оценить их, надо или сорвать былинку, или низко-низко поклониться ей. Впрочем, и этот скромный цветочек любит теплый вечер, как и ночная фиалка.

Наташа могла бы сказать о больнице: «райский курорт», Массандра местного значения. Но вот прошла обычный для поступающих на завод медосмотр, и на душе остался неприятный осадок, особенно от встречи с грубой, нахальной теткой-гинекологом. Конечно, здоровье трудящихся — национальное достояние страны, но... нельзя же оберегать его таким варварским, обидным способом.

Переступила порог кабинета, встревоженная специфическими больничными запахами, которые даже на здорового человека действуют угнетающе, еще не освоилась с обстановкой, а толстомордая тетя приступила к допросу:

— Сколько лет? Замужем? Половой жизнью живете? — привычно задавала вопросы гренадерского роста тетка, в общем-то, не обращая внимания на пациентку, — она записывала ответы в карточку.

Наташа обиделась, а обидевшись — взбунтовалась. В голове растревоженными пчелами гудят, мечутся дурацкие слова: «личная жизнь никого не касается», «права человека» и даже такие: «тайна переписки гарантирована Конституцией»!

Но какое отношение «тайна переписки» имела к обычному, продиктованному служебной необходимостью вопросу гинеколога?

И потом, чего она психует? Потому что у нее в прошлом были отложенный рейс, шампанское под конфеты «Птичье молоко», крошка Бэби, дача-зимовье?..

Но гинеколог не обиделась на взрыв девичьей ярости, тоном ворчливой матери ответила:

— Милая, за тридцать лет работы каких чудес только не видела! Мы, бабы, гордые да прыткие до поры до времени. А крутнет жизнь, проведет по переулочкам-закоулочкам — начнем кричать: «Помогите!» Взбирайся-ка на «голгофу», — показала она на гинекологическое кресло. — Посмотрю, с чем ты начинаешь работу в чертовой химводоочистке. В таком цеху каждая вторая мается бабьей хворью: сквозняки, вода... Оно как: сегодня — пятнышко, а завтра — болезнь, которая может сделать инвалидом.

И было в этом тоне, в этих словах такое сочувствие всем, кто работал на трудной работе, что Наташа вмиг остыла, забыв о своих обидах, и, стыдливо краснея, подчинилась врачу.

После заключения медслужбы — «годна» — следовало зайти в отдел кадров, но не терпелось повидать своих: тетю Фросю, с которой рассталась всего неделю тому назад, с Лизаветой, с Верой-удивляшкой, с Глебом.

Думая об этих людях, она приятно радовалась встрече.

Миновав ближайшую «комсомольскую калитку», то есть дыру в заборе, направилась к химводоочистке.

Легко взбежала на небольшой взгорочек — железнодорожную насыпь — и невольно остановилась, удивленная и очарованная. На месте «пика имени тети Фроси» матово белела высыпанная блина-

стым широким буртом соль. Подошла, нырком подхватила горсточку, и рука сразу учуяла приятную тяжесть. Пересыпала, словно крестьянин зерно первого обмолота, из ладошки в ладошку.

Над разгрузочной площадкой сооружали навес. Трое мужиков, вопреки правилам техники безопасности оголенные до пояса, шоколадные от загара, выкладывали шифер. Один из них лихо выбивал молотком озорную чечетку, вгоняя в податливую настилку гвозди. На фоне голубого истонченного солнцем неба верхолазы выглядели крылатыми тенями.

«Чудеса да и только! Соль — в полном ассортименте».

Но было чему подивиться Наташе и за пределами разгрузочной площадки. Вздыбившаяся огромным серым кирпичом химводоочистка потеряла привычный облик. Вот так неожиданно меняется женщина, которая наконец-то сделала прическу у модного парикмахера. В былые времена на дворовой площадке химводоочистки было безлюдно, как на Северном полюсе, — промелькнет какой-нибудь Амундсен-Нансен, и вновь на долгое время — никого. А сейчас, можно сказать, столпотворение. В один из резервуаров через ляду «заглянул», видимо, одолеваемый любопытством, «журавль» небольшой лебедки, чуть в стороне пустозвонно грохотала железная лохань смесителя, а рядом поднялась плоская горка силикатного кирпича. То там то сям копошилось по нескольку человек в коричневых касках и брезентовых спецовках.

— Ната-а-шка! — вдруг заорали с верхотуры химводоочистки. — Умереть можно!

Через несколько мгновений вырвалась из широких дверей Вера, сдергивая на ходу закрывавший нижнюю часть лица черный платок. Шаловливый ветер, как рыжее знамя, трепал негустые, уставшие под платком волосы.

— «Гидросоль»-то налаживают! — торжествующе протрубила она чуть ли не на весь завод.

Появилась Лизавета. Сдержанно улыбается. Цепко прихватила ловкими, гибкими пальцами небольшую руку Наташи, но пожалала мягко, без озорства, польхавшего черным огнем в бархатных глазах.

У Наташи под горлом зреют радостные слезы:

*Хотел бы иметь я в доме моем
Жену, наделенную здоровым умом.
Чтоб в дни неурядиц утешить умела;
Кошку-мурлыку, чтоб песни мне пела;
Друзей, не способных понять меня ложно.
Душе без тепла и любви невозможно.*

— Это все Лизавета, — радовалась бесхитростная Вера происшедшему. — С ума сойти! Как-то говорит: «Девчонки, сколько можно кайловать «пик тети Фроси»! Космонавты у Бога на седьмом небе конвертор задействовали, а мы не расстаемся с лопатой. Поможем начальству дозреть».

Лизавета ухмыльнулась

— Видела я, колотишься ты о наше дело, словно бабочка ночная, ухитрившаяся забраться под плафон. Думаю, надо порадеть человеку, а то потеряет веру, толкаясь между бюрократами, ну и подбила девчонок. Залили мы начальству сала за шкуру и скипидарчику в одно место, оно и проявило инициативу. — Лизавета кивнула в сторону резервуара, где шла работа.

Как «храбрец» из октябрят в грозовую ночь в пионерском лагере рассказывает страшную сказку, Верка исповедовалась громким шепотом:

— Подписывала я письмо, со страху умирала. Даже Петьке про нашу задумку ничего не сказала: он у меня строгий, в кандидаты готовится.

— Решили мужиков по скользкому делу не беспокоить, — пояснила Лизавета. — С бабы спрос короток. Чем ты нас с Фросей накажешь? Лопату отберешь? Чем напугаешь, если я служу химводоочистке тридцать лет с гаком! А с мужиком могут свести счеты. Лишится кормилец заработка, семья, дети пострадают. Вначале, — продолжала Лизавета, — я намеревалась передать наши соленые слезы кому-нибудь из корреспондентов, а в последний момент решила, что надежнее в Москву, в ЦК. — Она чуть прищурила правый глаз, тонкие губы — в саркастической улыбке, словом, хитро-ушлая. Да такая семь самых дошлых начальников вокруг пальца обведет, семь мужиков за пояс заткнет, семерых отстегает и плакать не позволит. — А из столицы запрос: «Неужели шестьсот

тысяч тонн металла недобрали по вине одного цеха?» А уж коль ЦК спрашивает, отвечать надо по делу, обстоятельно. Вот заводское начальство и помолодело, закрутилось по-комсомольски. С сотворения мира на ДМЗ считалось, что главное — металл, а вода — дело четвертой категории, люди, которые ее «делают», тем более не люкс, не прима и не экстра. А тут взялись за три месяца возвести на ровном месте Кавказские горы. За твой проект ухватились, как черт за грешную душу. Главбух, не моргнув глазом, деньги выделил, товарищ Клепанбык материалы раздобыл, даже какой-то особый цемент, который от времени и от воды только крепче стягивает. Бригаду строителей сняли со стана.

Так вот, оказывается, кому Наташа обязана тем, что ее дипломная работа из-под пера пошла в жизнь! А она-то думала...

С нескрываемым удивлением разглядывала Воинову.

— Лизавета Иванна, вам бы доверить переговоры по разоружению!

Лизавете похвала приятна:

— Если хорошие командировочные и со временем не очень жмет, мы бы с Фросей навели порядок среди боссов и лидеров...

Наташа вспомнила о жителях резервуара:

— А с лягушками что?

Вера прыснула — смех из нее так и рвался:

— Глеб Игнатьевич нагрел две бочки и вывез в какой-то ставок.

А которые остались, Лизавета с хануриками слопала.

— Как — «слопала»? — не поняла Наташа.

— Приходит один из бывалых, — рассказывала с улыбкой Лизавета. — А мы набиваем лягушками бочку. Он просит: «Уступите ведерко: Дюма, когда писал «Трех мушкетеров», только на лягушачьем мясе и сидел. Фосфора в нем больше, чем в рыбе: для осветления мозгов — первейшее дело». Приготовил рагу. Угостил. Вот в Китае удавов — за милую душу.

— С голодухи чего не съешь, — высказалась Верка. — У них каждый год по двадцать пять миллионов прироста: как-то прокормиться надо.

— Э-э, не говори, подруженька, про што не ведаешь, — возразила Лизавета. — Удав — еда императорская. А вот в Африке саранча идет за деликатес.

Верку от этих слов передернуло:

— В твоей Африке — пятый год недород, слоны и бегемоты, которые еще уцелели, в дистрофиков превратились, небось, при-
мешь саранчу за пирожное.

— А я бы попробовала, — заявила Лизавета. — Интересно. Не
сдохла бы, наверно. В крайнем случае вывернуло бы... Читала — на
каких-то островах из красного самого злого перца варят суп. На наш
желудок — ложка такого хлеба, и ноги вытянешь. Или, к примеру,
индийские ученые плавали на научном судне «Витязь», наши уго-
стили их украинским борщом. Так индусов от борща — наизнанку...

— Конец света! — вырвалось у Верки. — Так не подошел им наш
борщ!

Лизавета пожала плечами:

— Может, они йоги? Известное дело, йог лопает, в основном,
сырые овощи, вареного не любит, жареного вообще не признает.

— Ой, девчонки, а я люблю жареное мясо — умереть можно! —
воскликнула Вера. — А на одних сырых овощах и про любовь
забудешь.

— На овощах йоги живут вечность. Один век — человеком, вто-
рой — священной рекой, третий — быком. Это у них называется
сансара — перевоплощение.

— А если я не желаю ни рекой, ни быком! — запротестовала
Веерка. — Хочу сама собой. И чтобы Петька рядом.

— А перевоплощение зависит не от желания, а от жизни. Сво-
лочной мужик оборачивается цепным кобелем, обиженная люби-
мым — березкой, анонимщик — крысой, на которой студенты-
медики ставят опыты.

— Ты, Верка, обернешься колхозной лехой.

— Почему это? — обиделась та.

— Да потому что при жизни в нынешнем облике не успеешь
нарожать столько, сколько хочешь. А в колхозе будешь приносить
по пятнадцать сосунков три раза в году.

Вера обескураженно глянула на Наташу.

Уловив ее взгляд, Лизавета сказала:

— А Прохоровна — в тигрицу, которую приручат циркачи, или
в орла. И занесет тогда ее гордость на вершину Эвереста.

— А ты?! — с ревностью спросила Вера.

— Я? — Лизавета стала грустной. — В одуванчика... Рассеивает он себя легкими парашютиками по белу свету.

Глядя на Лизавету, гибкую, словно осенняя тростинка бархати-сто-коричневого рогоза, перенимая ее безысходную грусть по неиз-веданному, Наташа вспомнила, что когда-то Воинова работала на-чальником смены. Она никак не могла представить Лизавету в этой должности. Вот как охаживает лопатой выпивоху, по вине которого травмировало тетю Фросю, — увидела зримо, почти воочию. Вдруг до зеленой тоски стало жалко умную, измятую жизнью, словно лен на вальцах, женщину. Подумалось: ей бы судьбу — без оккупанта-наильника, без мужа-зверя, да по ее способностям — институт, академию... Быть бы тогда Елизавете Ивановне, к примеру, мини-стром. Сколько бы талантов подняли ее жертвенная доброта и отчаянная щедрость! И видела бы она тогда себя в ином мире не одуванчиком, который разлетается прахом при дуновении, а много-летней пшеницей, что кормит оголодавшее при неуправляемом росте человечество.

* * *

Картина восстановления резервуаров вблизи выглядела менее поэтично, чем со стороны. Две молодые женщины (одной — под тридцать, другая — лет на пять моложе), сняв спецовки, сидели возле смесителя и ели арбуз. Раскололи его ударом об острый угол лотка, и каждая занималась доставшейся ей половиной, с наслаждением выбирая сочную сердцевину. Заелись, как малышки-несмышлени-ши из грудной группы в яслях.

Чуть в стороне лежали толстые мешки из плотной коричневой бумаги. «Цемент». Поперек — напечатанная трафаретом черная надпись: «Пуццолановый».

Наташа уставилась на мешки, как на английское привидение. «Пуццолановый».

— Купить хочешь? — поинтересовалась та, что постарше, и озорно подмигнула: — Тут один частновладелец сватался: мол,

мешочек вместо приданого — и пожалте хозяйкой в дом. Мне, — говорит, — надо дождевой колодец зацементировать».

Женщины были озорные, в хорошем настроении. Переглянулись и рассмеялись, вспомнив «цементного» жениха.

Они не поняли Наташиной тревоги:

— Что же вы делаете! Это же никуда не годится! Пуццолановый действительно хорош на колодец, но рапа — не дождевая водичка, съест бетон за полгода.

Женщины перестали смеяться. Та, что постарше, внимательно оглядела захожую, затем понянчила в руке арбузную краюху и откинула ее в сторону.

— А где ты, такая умная, была два месяца тому назад, когда мы только начинали? Нам, считай, неделю возили раствор с бетонного узла, который работает на строительстве стана. — Она накинулась на Наташу, как на виновницу всех бед: — Вначале сделали затяжку, схватился бетон, мы его содрали отбойным молотком. Выгребли мусор на-гора, затем заново на этом твоём пуццолановом... А теперь что, прикажешь вновь вырубать?! — Она соорудила двухэтажную фигу и подсунула кулак Наташе под нос.

Лизавета принялась втолковывать:

— Чего ты завелась, милая подруженька! Человек только приступает к работе, откуда ей знать, кто тут портачил раньше.

— Сняли нас со стана! — шумела женщина. — Перебросили на этот шараш-монтаж... Там каждый месяц — премия! А тут — матюки! Зойка, — приказала она товарке, — выключи шарманку, — поднялась со смесителя и в досаде пнула его туфлей.

Наташу охватила тревога:

— А торкретирование* тоже на пуццолановом?

Действительно, дурацкий вопрос.

— Куда же смотрел Руфимов, который начинал все это? И новый начальник цеха хорош! — вспомнила она с неприязнью Смычка.

— Руфимыч смотрел в ту пору на кладбище, — ответила та, невольно хмурясь. — Как узнал, что все надо обдирать, так и схватился за сердце. Прямо от «гидросоли» — на носилки и в

* Торкретирование — особый способ нанесения штукатурки.

кардиологию. А мой плясун, Юрий Юрьевич, поднял тарарам насчет рядового бетона. Вызвал комиссию, сам товарищ главный инженер соизволили...

Наташа вспомнила последнюю встречу со Смычком, высыпавшиеся из желтого портфеля натуральной кожи визитки, писанные вязью, и поняла, кто виновник пуццолановой трагедии!

Туда! К этому самому кандидату технических наук! Схватить за ухо, как он когда-то Славку: «Кто-то там по технической неграмотности! А вы, уважаемый, — кандидат технических наук!»

Но у нее хватило здравого смысла не пороть горячку. Вначале надо определить объем работы!..

По просторным, удобным мосткам Наташа поднялась на горловину резервуара, по-прежнему прикрытую железобетонной плитой, и заглянула в широкую яду, через которую вниз тянулись кабели и шланги.

В ней еще от прошлого посещения, когда они побывали в этой мрачной преисподней — лягушачьем царстве — вместе с Глебом, жило ощущение хляби, гнили — словом, чего-то весьма неопределенного и неприятного. Но она увидела иную картину: вниз спиралью уходила дорожка из лампочек. Изобилием света, продуманностью, с которой кто-то из многоопытных развесил эти лампочки, резервуар напоминал главную улицу Донецка в День шахтера. Истошно, как сто циклопов, которым ловкий Синдбад-мореход ухитрился одновременно выколоть каленой клюкой все их сто глаз, выла цемент-пушка, вколачивая почти непрерывными лепками в стенку, затянутую мелкой сеткой, сероватую смесь. В резервуаре стояло легкое марево, как в ранний погожий день над тихой, млеющей на зорьке речушкой.

Если во время первого спуска резервуар казался бездонным, то сейчас поднявшийся вместе с рабочими полук укоротил его почти на две трети. Людей хорошо видно. Двое прилипли к цемент-пушке, а третий, присев на корточки перед нешироким лежаком, приткнувшись к стене, подогревал или варил что-то в литровой банке из-под консервов, зажав ее край плоскогубцами. На небольшой облицовочной плитке скромным синеватым пламенем горел-пузырился кубик сухого спирта.

Наташа ужаснулась: «Высохшая до звона сосновая опалубка, бочка с жидким битумом, жара. И — открытый огонь».

— Что вы делаете? — вырвалось у нее.

Но вой цемент-пушки заглушал все звуки. Обнаженный до пояса рабочий, как ни в чем не бывало, продолжал колдовать над едва приметным костерком из сухого спирта. Он отставил в сторону банку, накрыл огонь рукавичкой. Разлил в белые эмалированные кружки крепкий чай, протянул его тем, кто работал возле ревушего исчадия ада. Друзья-побратимы приняли угощение, а «чаевар» подменил их на посту.

— Не кричи, Прохоровна, — сказала Лизавета. — Ни черта не слышно, и потом, это не те ребята, которых можно «взять на бога»: по несколько крупнейших строек за плечами у каждого. В таежном пожаре не сгорели; в студеной Ангаре не утонули; длинным рублем, заработанным там, где Макар телят не пасет, не отравились; купаясь в спирте, рабочей гордости не пропили...

— Костер развели! Нефтяные испарения, сухая опалубка! От одного горячего духа вспыхнет — никто живым не выберется!

— А ты о них не беспокойся: правила безопасности есть писаные, а есть неписанные. По неписанным они возводили плотины на вечной мерзлоте, в трескучий мороз бетонировали опоры для мостов через сибирские реки.

Наташа еще во времена преддипломной практики поняла, что мир человеческих отношений (и страстей) гораздо сложнее гениальной истины: дважды два — четыре. Но пятнадцать лет (в школе и в институте) ее убеждали, что за пределами этой непреложной категории нет и быть не может жизни, что она (непреложная) впитала в себя всю сложность бытия. А эта категория, как теперь выявляется, в действительности скорее похожа на интегральный инвариант некоторой динамической системы или на дифференциал функций многих переменных...

Наташу охватила тревога: резервуар, восстановление которого практически заканчивается, не-при-го-ден для мокрого содержания соли.

Пока сделала триста шагов, отделявших резервуары от одноэтажного зданьца конторы цеха, поуспокоилась, вернее помудрела,

успела избавиться от детскости, которая знает только одну меру наказания обидчика — рукопашную. Шла и подбирала ядовитые слова, способные сразить кандидата технических наук Ю. Ю. Смычка.

Если бы по соседству лепились еще два-три таких же здания — замухрышки типа барака, Наташа наверняка ошиблась бы адресом: контора преобразилась. Ее побелили. И хотя рыжие пятна многолетних подтеков начали пробиваться наружу, все равно контора была неузнаваемой. Вечно расхлябанную, со щелями — хоть руку просовывай — наружную дверь капитально отремонтировали. Рядом с нею, на стене — солидный трафарет из толстого стекла: по черному полю — золотом: «Цех водоснабжения Донецкого ордена Ленина...» — и дальше все, как в визитке кандидата технических наук Смычка, только без домашнего адреса. Словом, солидно, с достоинством.

Чудо второе: перед обитой тускловатым дерматином дверью на положении личного секретаря — молоденькая, стройная, как лесная лань, девчушка лет восемнадцати. По всему, из вчерашних десятиклассниц, которая не очень-то усердно «грызла гранит науки» в стенах школы, вот и очутилась здесь (по настоянию папы-мамы зарабатывает производственный стаж). На полированном столике — тяжелая машинка «Москва» с огромной грохочущей и лязгающей, будто танк по брусчатке во время парада, кареткой. Рядом — тощая стопка «готовой печатной продукции»: приказы. Опечатки и исправления на белом фоне выглядят кляксами.

— Вы к Юрию Юрьевичу? — почти профессионально проворковала милашечка с большими светлыми глазами, заретушированными по последнему «воплю» косметической моды в синие цвета. — По какому вопросу?

Наташе стало вдруг смешно: «А личный цербер начальника цеха водоснабжения наверняка числится какой-нибудь лаборанткой».

— По поводу докторской диссертации Юрия Юрьевича, — вполне серьезно ответила Наташа. — Так и доложите.

На лице у девчонки — растерянность, не знает, как поступить.

На дверях в кабинет — трафарет: «Начальник цеха кандидат технических наук Юрий Юрьевич Смычок. Прием трудящихся по личным вопросам — среда и пятница, с 9.00 до 11.00».

«Нет, Смычок великолепен!» — потешалась Наташа. Она не стала дожидаться, пока девчушка-секретарь «соизволит»...

Бывшего руфимовского кабинета с облезлым потолком, помутневшими от вечной пыли окнами и прокопченным до неприличия огромным пятном за спиной у начальника цеха (следы общения Арзамаса Руфимовича с парторгом-бригадиром Глебом Кедрачом: постучит Руфимов ладошкой по стене, что означало: «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой», и Кедрач — на пороге), так вот этого знаменитого на весь завод кабинета не существовало. Отныне здесь все дышало свежестью. Окна, вымытые до блеска, словно бы распахнули глаза; потолок, оттененный синеватой белизною, сделал комнату высокой, а желтые с золотистыми проблесками обои наполняли ее солнцем.

Смычок сидел за огромным, под стать министру, рабочим столом, заселенным какими-то сводками, приказами, таблицами, газетами, телефонными аппаратами разных цветов. Он пододвинул к себе один из них и, прижав трубку к широкому плечу мощным боксерским подбородком, кого-то выслушивал. Разговор был не из милых. Смычок — в стадии молочно-восковой спелости: в маленьких помутневших глазах — буря.

Он показал Наташе на стул: «Садись, я сейчас!»

— Простите, с кем разговариваю? — наконец сумел он задать вопрос явно разъяренному собеседнику.

Наташа сразу узнала скрипучий, с хрипотцой вечного курильщика голос. «Дед Овечка». Она в свое время уже прошла через это унижение человеческого достоинства, когда тебя — по матушке, по батюшке, ко всем присным и многоэтажно, а ты не смеешь ответить, а ты не имеешь права бросить трубку, сказать: «Научитесь разговаривать с женщиной!»

Одолело любопытство: как же из этого дурацкого положения выпутается Смычок. А он краснел и бледнел, гуляли желваки на скулах. На лбу выступила капелька и заиграла всеми цветами радуги.

— Николай Авдеевич Овечкин! Как же! Как же! — с наигранной радостью заговорил Смычок. — Кто не знает на ДМЗ знаменитого сталевара, Героя Социалистического Труда, кавалера многих орденов, делегата партийного съезда! Чем могу быть полезен? Водой!

Стакан газированной устроит? Правда, не очень холодная. Что? Утопите меня в квасе? Благодарствую, у меня от кваса — изжога. Пермутитную? Тоже не пью. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, Николай Авдеевич, берегите свое и чужое здоровье. А, собственно говоря, кому вы звоните? Как сказали? «Мудаку?» Николай Авдеевич, вы, по всей вероятности, ошиблись номером: человек с такой фамилией здесь не работает.

Повесил трубку. Ему было жарко. Душно. Ослабить бы галстук...

Начальник цеха Смычок на своем рабочем посту при полном параде: в легкой, в коричневую искорку, приличествующей погоде и должности рубашке. Хоть сейчас на прием к председателю Совмина или в заграничную командировку, вот только наденет модный, с короткими рукавами пиджак, висевший на спинке стула за его спиной.

Надел, застегнул на обе пуговицы и только после этого поздоровался с Наташей кивком головы.

— Как нам порою еще не хватает культуры, — он широким жестом показал на обновленный кабинет, затем на окно, из которого была видна преобразившаяся разгрузочная площадка; легкий кивок в сторону телефона, вновь осатанело звеневшего. Смычок трубку не снял, лишь поморщился: ему было неприятно. — А мы с Глебом Игнатьевичем ждали вас. Дел — невпроворот. Наследство досталось далеко не образцовое. Двадцати четырех часов не хватает, чтобы заплатки ставить, а надо думать о перспективе. Теперь вы займетесь вашей «гидросолью»...

— Которую вы угробили! Сделать на пуццолановом цементе гидроизоляцию резервуара для раствора соли! За такой «смелый» эксперимент автору стоит присвоить звание доктора технических наук, — зло, с соленым подтекстом процедила Наташа.

Неистовствовал телефон. От долгого настойчивого звонка, казалось, даже аппарат раскалился до цвета свежей моркови каротель, но Юрий Юрьевич и не глянул в его сторону. Положил тяжелые руки перед собою на стол:

— Наталья Прохорова, я бы хотел вести наш разговор в более дружеском тоне и в рамках конкретности. Разберемся в обстановке, в которой все происходило. На строительстве стана — ответственный

момент: сдают помещение под монтаж оборудования. Но прораб вызывает бригадира и говорит: «Тут есть срочная работенка: резервуар под соль». Бригадир чертыхается, на чем свет костит «безмозглое начальство», но людей все же выделяет. Начались работы. Руфимов приболел, вы уехали отдыхать, словом, безвластие.

Наташа возмутилась. Кто ее упрекает? Смычок! В чем? В том, что она поехала отдыхать! А кто провожал ее в аэропорт? Допустим, Юрочка тогда о положении дел с «гидросолью» попросту не знал. Но когда он прилетел на взморье, привез бланки заявлений в ЗАГС, при нем были уже отпечатанные визитки: «начальник цеха». Руфимов находился в кардиологии, куда он попал, переволновавшись за судьбу «гидросоли». Тогда у тов. Смычка с языка сползали отнюдь не упреки, он уговаривал сменного инженера Пахомову подать заявление в ЗАГС.

— По трудовому законодательству выпускнику института положен отпуск, — с неприязнью пояснила она.

Смычок покачал головой: «Нет!»

— Наталья Прохоровна, но вы не просто выпускница, вы — автор проекта. Первый проект инженера Пахомовой! И вам бы надо было брать путевку не в санаторий, а на стройку. И по две смены кряду отдыхали бы на «гидросоли» от институтского академизма, вживались бы в производство. Ручаюсь, в первый же день вы, а не рабочие, запротестовали против рядового бетона. Знаете, во сколько обошлась заводу ваша приверженность к трудовому законодательству? В солидную копейку, не считая месяца бесценного времени. А моральный ущерб чем измерить? Мы, руководители, своей халатностью убиваем в рабочих веру в разумность происходящего, веру в нашу способность контролировать события.

Смычок, в общем-то, был прав. Именно это и уязвляло самолюбие Наташи.

— Есть проект! Бригадир с прорабом должны его придерживаться.

— Я внимательно изучал ваш проект: было время... пока обдирали бетон и очищали резервуар. Там сказано: «Стяжка и торкретирование на гидростойких цементах типа глиноземистый...» Я не специалист по бетонам, заглянул в справочник. «Гидростойкие цементы: пуццолановый, глиноземистый». Посоветовался со специалистами.

Говорят: «Быки» на Ангаре ставили на пуццолановом!» А там ледоходы! А там морозы и течение.

— Но там — пресная вода, а у нас — рапа в движении!

— Так бы и писали: «глиноземистый». А у вас «типа», и это дает право выбора.

— Но так, как у меня, принято писать в научных работах! «Типа глиноземистый» потому, что есть еще ангидридоглиноземистый.

— Все проще, Наталья Прохорова, — сокрушался Смычок. — Вы писали дипломный проект, и вам хотелось блеснуть ученостью. Но то, что хорошо для дипломной, порой не годится для рабочего проекта. Бригадир строительной бригады — человек захлопотанный, издерганный сложностями снабжения и разными неувязками, ему просто недосуг любоваться «научностью» проекта и решать наши с вами пуццоланово-глиноземистые ребусы. Ему нужна абсолютная точность. Никаких или-или! «Глиноземистый» — так и напишите, да еще подчеркните красным карандашом, а на полях поставьте знак восклицания: мол, следует обратить особое внимание.

Господи! Да если бы она знала, три бы восклицательных знака посадила на поля! Но ей никто не подсказал. Придавленная тяжестью обвинения, она вспомнила, как бегала в заводское ЦКБ, спорила с начальником группы и с копировщиками, которые требовали от нее каких-то упрощений, изменений, а она не соглашалась...

Впрочем, надо признаться, Наташа просто не дождалась последнего листа проекта и уехала на взморье: «горела» путевка.

— Работы на «гидросоли» надо немедленно прекратить! — решительно потребовала она.

— Увы, это теперь зависит уже не от нас с вами. Сроки, которые находятся на контроле у горкома, — это раз. А второе... Вы никогда не задумывались, почему наш цех стал пересильным пунктом? Работа непрестижная, зарплата мизерная, условия трудные, словом, цех четвертой категории. А «гидросоль» позволит повысить категорию. И тогда у Куренной в трудовой книжке вместо «разнорабочая» появится запись «оператор», рублей на пятнадцать увеличится зарплата. А там, глядишь, и премия появится. Под смену категории можно выпросить две-три квартиры. Цех более двадцати лет обхо-

дили всякими социальными благами. Почему бы той же Воиновой не дать однокомнатную? Кадровый рабочий, с четырнадцати лет... А она до сих пор в общежитии. Как же мы с вами можем лишать людей надежды и перспективы? И кто нам после этого поверит?

— Но совершается преступление!

— По халатности автора проекта, которая предпочла личные интересы общественным, и начальника цеха, который не до конца вник в технические детали. Мы с вами и будем нести за это ответственность.

Совершалась вопиющая несправедливость, а Наташа была бессильна что-либо противопоставить, более того, она сама была источником этой несправедливости! Какая-то хитрая западня, которую поставил Смычок. Да, он! Она в этом была абсолютно уверена.

Если бы у нее была закадычная подруга, которую можно было бы посвятить во все сокровенное, Наташа, наверно, могла бы сказать: «Он мне мстит за то, что я его, как приبلудного щенка...» Но не было подруги, а самой себе этих облегчающих слов она сказать не могла, так как в них было лишь полправды. А другая половина жила в справедливом обвинении: «Вам хотелось блеснуть ученостью». Проклятое «типа», эта двусмысленность... Всего лишь две секунды, необходимые, чтобы написать четыре буквы. Наташа любовалась собою, и... по самые лопатки обрезала крылья своей мечте, обкорнала надежды тети Фроси, Лизаветы...

Надо что-то срочно предпринять. Но что? Если для искупления вины необходимо взойти на костер, она готова!

Кто сейчас в состоянии ей помочь?

...Мозжухин? Поймет. Пожалееет. Посочувствует. Но не утешения искала Наташа.

...Христофор Павлович — вечный двигатель рационализаторской и изобретательской мысли ДМЗ? «Голубушка, — скажет он, — крепка Русь задним умом».

...Оборошин?

Кедрач! Вот кто ей нужен! Можно сказать, соавтор проекта. По щедрости души помог ей с идеей механического взмучивания.

Но есть ли выход из дурацкой ситуации, кроме неприемлемого: сдирать все второй раз — и... заново?

Неистово звонил телефон на столе у начальника цеха водоснабжения. Наташа не сомневалась: дед Овечка. Рвется договорить.

Но Смычок поднялся из-за стола:

— Чем еще могу быть полезным, Наталья Прохоровна?

— Благодарю и за то, что уже сделали... — она хотела сказать: «Для меня лично», но при их взаимоотношениях это прозвучало бы уж слишком двусмысленно. — Для «гидросоли», — закончила она.

— Давайте отложим разговор до завтра: утро вечера мудренее, — предложил он. — Нет желания пройтись по объектам, так сказать, поразмышлять о перспективе? Посоветовались бы...

Такого желания у Наташи не было.

* * *

Глеба она не нашла. Всеведущая Лизавета сказала:

— Шурку к бабушке повез.

Наташа удивилась: «К какой бабушке? Отец у Кедрача погиб на фронте, мать умерла от голода в моровом сорок седьмом». Медленно приходила догадка: «Бабушка — мать жены...»

Оставался единственный человек, который мог порадовать Наташе, — это Оборощин. Но в приемной главного инженера в образе миловидной секретарши сидел такой цербер — недремлющее око подземного царства, которого даже плиткой натурального шоколада «Наша марка» нельзя было умиловить. «Вы по какому вопросу?» Но по любому вопросу рабочих и рядовых инженеров она переадресовывала к главному диспетчеру: «Григорий Григорьевич на объекте», «Григорий Григорьевич занят» — это значит, что ранг звонившего недостаточен, чтобы разговаривать с «самим» главным инженером.

Как бы в таком случае поступила мама Нина? Позвонив в приемную, она бы интимно сказала неумолимой секретарше:

«Светик, звонят из квартиры профессора Пахомова. Григорий Григорьевич у себя? Он заходил к нам вчера вечером и просил позвонить после шестнадцати. Правда, я немного подзадержалась. На месте?»

Но если на бдительную секретаршу и эта атака не воздействует, мама Нина изничтожающе скажет:

«Запишите, милочка, пусть Григорий Григорьевич позвонит на квартиру научному консультанту министерства профессору Пахомову. Номер он знает».

Впрочем, хорошая секретарь-машинистка в курсе всех деловых и неделовых связей своего начальника и при необходимости сама подскажет нужный номер.

Наташа набрела на телефон-автомат и решительно вошла в будку. Вначале — 09, узнать номер приемной главного инженера... Затем уже...

Наташе повезло, трубку снял сам Оборощин. И по голосу — не сердитый.

— Григорий Григорьевич! — обрадовалась Наташа такой счастливой неожиданности. — Это я, Наташа Пахомова.

— Оформилась? — спросил он.

— Всеми документами обзавелась, осталось сдать в отдел кадров.

— Ты там не торчи у окошка, а прямо к инспектору по руководящим кадрам. Он в курсе. По просьбе нового начальника цеха решили определить тебе должность заместителя. Это для авторитета и в утешение Нине Ивановне. Зарплата сменного инженера. А заниматься будешь «гидросолью». Один из резервуаров заканчивают...

Наташа взмолилась:

— Григорий Григорьевич, я вам и звоню по поводу резервуара: он не пригоден к эксплуатации, у него практически нет гидроизоляции.

— Как нет гидроизоляции? Все по проекту. Я эти работы держу на контроле.

— Все укладки, стяжки и торкретирование выполнены на цементе, который не держит минерализованную воду. Я только что оттуда. Оборощин чертыхнулся.

— Может, подойдешь ко мне? Машину прислать?

— Не надо, я близко.

Минут через пятнадцать Наташа уже входила в просторный, как взлетное поле сельского аэродрома, кабинет главного инженера. Она попала сюда впервые. Ничего лишнего. Стол для совещаний (через весь кабинет) упирался в другой, почти квадратный, размером с

однокомнатную малогабаритную квартиру. Оба стола сработаны на заказ из ценных пород деревьев, а поверху — инкрустация: какие-то чудные восточные орнаменты, уж очень напоминающие каменные кружева самаркандского мавзолея Ишрат-хана. Полсотни стульев — под стать столу. Да... тот индийский гарнитур на тридцать предметов, которым Клепанбык наградил начальника цеха водоснабжения, явно «не тянул» против оборошинского. ДМЗ поставляет свою продукцию (о чем свидетельствовала карта, висевшая на стене: «Наши экономические связи») в сорок шесть стран, ста восьми фирмам, так что было где и кому заказать гарнитур для кабинета главного инженера.

В красном углу — несгораемый шкаф, тоже импорт, Япония. Напротив — огромные часы, еще более величественные, чем семейная реликвия Пахомовых. Ну и коммутатор, он же селектор, он же телевизор, позволяющий наблюдать за заторными участками производства.

Во всем чувствовалась солидность, масштабность. И Наташа вдруг начала понимать, что главный инженер Донецкого металлургического действительно очень занятой человек, а секретарь-машинистка, бдительно стерегущая его время, столь неприступна не по своей натуре, а в силу необходимости.

Оборошин сидел в кресле на резвых колесиках и беседовал с поджарым седеющим человеком в пиджаке черной кожи. На журнальном столике — две крохотные желтые чашечки на блюдечках цвета восходящего солнца. Чашечки — пусты. Оборошин курил любимую сигару, чадя едким дымом. Гость, по всему, не привыкший к столь крепкому удовольствию, нянчил толстую, как сосиска, «гавану», не прикуривая.

Оборошин мягко поднялся навстречу Наташе. Поцеловал руку, чего до сих пор никогда не делал — он знал ее с тех пор, когда основной формой ее одежды были ползунки, и поэтому воспринимал как девчонку.

— Вот и наш автор, легок на помине! — представил он Пахомову своему собеседнику. — Перспективный инженер. Закончила институт с отличием. Предлагали аспирантуру, но предпочла к нам на завод, где внедряется ее проект.

Гость поднялся резво, молодо, невольно толкнув юркое кресло, которое затанцевало на колесиках по зеркальному паркету. По-офицерски подтянутый, ловкий. Слегка поклонился:

— Заместитель главного редактора журнала «Промканализация и очистные сооружения» Сланцев Иван Степанович. Григорий Григорьевич убедил меня, что ваш материал на тему: «Повышение производительности труда в отделении химводоочистки в условиях ДМЗ» — это именно то, что ищет наш журнал.

Не выпуская руки, он подвел Наташу к креслу и помог «приземлиться».

Как мало надо женщине, чтобы она сменила гнев на милость!

Наташа явилась к Оборощину в самом воинственном настроении. Она должна была потребовать (именно потребовать) от главного инженера прекратить это вредительство (да, вредительство). Шла от будки телефона-автомата, поднималась через ступеньку по широкой, пологой лестнице, входила в кабинет — копила и копила неудовольствие, заранее, как заботливый хозяйственник топливо для рабочей столовой, припасала гневные слова. И... вмиг их растеряла, забыла... Нельзя же, ну просто неприлично начинать, можно сказать, узковедомственный, неприятный разговор в присутствии обаятельного, но в общем-то случайного человека.

Потускнули гневные слова, которые она взлелеяла.

Мило беседовали втроем. Иван Степанович намекнул, что публикация в специальном журнале — дело перспективное, когда-нибудь встанет вопрос о защите диссертации, так что пригодится.

Обменялись адресами, телефонами.

Проводив заместителя главного редактора к выходу и передав его с рук на руки своему шоферу, Оборощин вернулся к Наташе. Куда делась его приветливость! Плюхнулся в кресло напротив, ловко, привычно зажигая на лету газовую зажигалку. Прикурил погасшую было сигару от высокого, стройного огонька.

— Выкладывай свою бяку-кулебяку.

В его голосе жила гамма самых разнообразных оттенков: недовольство (ох уж этот скомороший переполох!), недоверие (только без паники!) и даже усталость (черт побери!)

К Наташе вернулось желание обвинять и взыскивать:

— Почему «мою»? — она имела в виду «бяку-кулебяку». — Выпекали коллективно, — и выложила все свои «пуццолановые» сомнения.

Оборошин слушал внимательно, порою что-то записывал на четвертушке листа, выхваченной из специальной пластмассовой шкатулки-хранительницы. Чертыхнулся.

— Да... предки наши были правы, утверждая, что спешка нужна лишь при ловле блох! Просил Мозжухина: «Пройдись по проекту поприветливее: запускаем в производство...»

— Но при чем тут проект, Григорий Григорьевич! — подивилась Наташа, обиженная в лучших своих чувствах.

— Проект, конечно, ни при чем, а вот точность формулировок...

«И Оборошин о том же!» Сам догадался или Смычок успел «проинформировать»? Проклятое «т-и-п-а!» В представлении Наташи начальник цеха Ю. Ю. Смычок был главным и, можно сказать, единственным виновником пуццолановой трагедии. Нет-нет, она с себя вины не снимала, восклицательный знак красным карандашом поставить на полях рабочего проекта следовало. Но она не знала этой специфики, и ей никто не подсказал. В институте такому не учат, а в справочниках и энциклопедиях не прочитаешь. А вот о том, что бетон на пуццолановом цементе держит только грунтовые воды, а никак не взмученную рапу — это кандидат технических наук инженер Смычок мог и должен был узнать, выяснить, вычитать, усвоить, запомнить.

С каким знанием дела, с какой убежденностью в личной правоте, с каким темпераментом мы порою перекладываем свою вину на других, награждая виновных и невиновных ответственностью за наши ошибки!

Об этом Наташа подумает позже. А в тот момент...

— Я не подозревала, что кандидаты технических наук могут быть элементарно технически неграмотными.

Оборошин посмотрел на нее с великим сожалением. Попыхтел сигарой, напустил горьковатого дыма. Он был тоже кандидат технических наук и мог ее реплику принять на свой счет.

— Наташа, — с легким сожалением произнес он. — Зачем же по своим — из обоих стволов да еще картечью? С Юрием Юрьевичем

вам работать. А это именно тот человек, который нужен цеху водоснабжения. Он за месяц сделал столько, сколько Руфимов за пятнадцать лет не успел. И дело не в том, что Смычок разворотил «пик тети Фроси» и Артемовск шлет ему соль вагон за вагоном...

— В обмен на уголок, — не удержалась Наташа.

— На швеллер, — уточнил Оборощин совершенно спокойно. — Как говорится, чем богаты. Конечно, в пределах фондов. Но кто мешал Руфимову использовать эти рычаги?

— Почему начальник цеха должен быть менялой и барыгой?! — подивилась Наташа.

— Не менялой, а организатором производства, — уточнил Оборощин. — И примите к сведению следующий факт: Смычок сумел заставить считаться с собою самых строптивых начальников ведущих цехов.

Наташа невольно вспомнила, как Смычок разговаривал с дедом Овечкой: вежливо, с достоинством, а потом положил трубку: «Человек с такой фамилией здесь не работает!»

Позже, на заводском селекторе, знаменитый сталевар скажет: «Мы варили марочную сталь, а по вине водолеев выпустили третий номер. На гвозди такую да на подковки! Я этому начальнику цеха звоню, объясняю, а он трубку кидает, разговаривать не хочет».

Смычок — по селектору на весь завод: «Николай Авдеевич, мне вы не звонили!» «Как — не звонил?» — взорвется дед Овечка. «Звонил какой-то хулиган, — пояснил Смычок, — выражался нецензурно, требовал Мудака. Я ему ответил, что человека с такой фамилией у нас в цеху нет. Я, правда, работаю здесь недавно, возможно, что еще не всех знаю...»

После такого селектора деду Овечке житья не стало — все, кто мог, подтрунивали над ним: «Николай Авдеевич, как фамилия того, которого ты искал у водоснабженцев?»

Минует месяц, пустят первый резервуар «гидросоли», перебои с пермутированной водой почти исчезнут, и придет знаменитый сталевар к начальнику цеха водоснабжения: «Ты уж извини меня, сынок, обмишурился я тогда... И правильно ты меня высек привселюдно. Да только не умею я варить сталь без острого слова... Пробовал: сразу марка снижается... Видимо, я человек из другого

века, не очень-то понимаю нынешнее время, нынешних людей. Вот мой подручный — Петька Решетняк... По старым меркам — молокосос из молокососов, А он институт кончает и по части, как варить сталь, не меньше меня знает. Правда, еще не все умеет. Хороший сталевар металл нутром чувствует, словно баба ребеночка, которого в себе носит. А это чутье приходит с годами».

* * *

— Но какое отношение сейчас это все имеет к судьбе резервуара? — воскликнула Наташа. — Уж так мы любим наводить тень на плетень в ясный день!

— ...«Замыливать глаза», «втирать очки», — продолжал Оборшин, — «водить за нос», «пороть хреновину»... Какие идиомы! Наталья Прохоровна! Мы не на митинге в защиту прав человека, у нас с вами — завод и его коллектив. Что предлагает заместитель начальника цеха, отвечающий за ввод объекта в установленные сроки?

Как это — «что предлагает»? И потом... «отвечающий за ввод объекта»... Нет-нет, она не согласна! Она явилась требовать! А ей предлагают отвечать.

Бремя ответственности! Нечто громоздкое, тяжелое... Бревно, полвека проболтавшееся в соленой воде! А тебе надо вытащить его на берег. Можешь волочить, катить, нести на руках, но обязательно извлечь из воды.

— Не честнее ли признаться в своей несостоятельности? — сказала она угрюмо.

— Признавайтесь, сорвите сроки пуска «гидросоли» — это будет ваш первый выговор. А у меня строгий с занесением уже есть, второй как-то без надобности.

«Чинуша! Карьерист!» — думала с неприязнью Наташа, глядя на худосочного Оборшина.

— Но пустить под «гидросоль» непригодный резервуар — преступление! — стояла на своем она.

— Не пустить «гидросоль» в отведенные сроки — еще более тяжкое преступление. Ваше инженерное решение в этой ситуации?

— Гидроизоляцию обновить. В крайнем случае, перейти на второй резервуар, а этот временно оставить.

— А материалы? Люди? Время? Наталья Прохоровна, завод — это реальность с сотнями разных «нет», «негде», «не хватает», «не дали», «не запланировали». С этим цементом... Люди подвиг совершили, добыв его. Звонит убитый горем Смычок. Заметь себе, человек официально еще не приступил к своим новым обязанностям. Но он не может оставаться равнодушным к происходящему, вот как ты сейчас: «Григорий Григорьевич, катастрофа! Стяжку делают на рядовом бетоне. В таком резервуаре только мусор хоронить. Нужен цемент, обладающий гидроизоляционными свойствами». И — конкретное предложение. Заметь себе, девочка, не дает другим наряды, а предлагает конкретный выход, хотя и не очень приемлемый, но зато реальный: нужный цемент есть в «Водоканалстрое». Но они раздевают догола, требуют профильный металл: уголок и швеллер. Один к четырем. В условиях, когда завод задолжал государству более шестисот тысяч, отдать дяде за карие глазки без нарядов и лимитов несколько вагонов профильного металла — это как раз та причина, по которой исключают его из партии со всеми вытекающими последствиями. Вызываю гения по части «достать» Клепанбыка. И — в ножки ему: «Нужен гидроцемент. На раскачку — двадцать четыре часа». Является на следующий день: «Есть тампонажный у «Геологоразведки». Требуют обсадные трубы и кровельное железо». И я из двух зол выбираю большее, подписываю наряды: «В порядке исключения, из брака...» А откуда тому браку быть! Первосортный металл! И знал, что найдется «добродей» и радетель за народное достояние, напишет анонимку, а то и десяток, во все инстанции.

Наташу ошеломило признание Оборощина: «Такие усилия и... впустую».

— Но достали не тот цемент, — она готова была разреветься.

Оборощин раздавил о гладкое дно хрустальной пепельницы окурок сигары. После этого пристукнул ладошкой по краю журнального столика. Взвинченный, готовый бичевать себя цепями, как правверный мусульманин в день святого очищения, выругался:

— Что цемент и металл! Я снимаю бригаду первоклассных бетонщиков с пусковой стройки. Представляешь, что это такое! Начальник штаба стройки — секретарь обкома. После одной из его «проработок» двоих нерадивых отвезли с инфарктом в кардиологию. Я показал ему письмо Воиновой, говорю: «И в самом деле — дикость! Заканчиваем суперсовременный прокатный стан, а главным орудием цеха водоснабжения остается лопата! Без «гидросоли» потеряем еще полмиллиона тонн металла». Словом, уломал. Как начальник штаба стройки, секретарь обкома дал добро на перевод бригады. А стан «3200» — это металл особого качества!

— Но резервуара нет!

— Есть! — жестко подвел итог спору Оборошин. — Не в идеальном виде — согласен. Но может работать. Полгода, говоришь?

— От силы месяцев восемь.

— Вот за это время под твоим руководством из второго резервуара сделаем образцово-показательный объект. — Оборошин протянул ей руку, предлагая мир.

Но любое перемирие она считала преступлением.

«Очковтиратель!» — подумала она.

— Резервуар к эксплуатации не пригоден!

Оборошин посмотрел на нее долгим взглядом. Подтянул к себе ларец, расписанный палехскими мастерами, — пляшет в снежной замети тройка жажущих безбрежной свободы донцов. Нажал скрытую кнопку, крышка мягко приподнялась. Взял перетянутую «золотым» пояском сигару. Понюхал со вкусом. Обрезал щипчиками конец.

— Набьешь ты себе шишек, пока обкатаешься, — не то осуждающе, не то с невольным восхищением заметил он.

— Но даже если обточат, словно шарик к подшипнику, — черное белым не назову!

Он ухмыльнулся, всосал через шоколадную сигару стройный огонек, поднявшийся над зажигалкой. Пахнул дымом.

— Может быть, мы начинаем стареть, когда теряем вот такую бескомпромиссность. Давят обстоятельства, и начинаешь к ним приспособливаться. — Проводив ее до порога, сказал: — Жду кон-

кретных предложений. Через двадцать шесть дней роди свою «гидросоль».

Очутившись в коридоре, Наташа рассердилась вновь: как ловко Оборощин ее выставил за дверь, взвалив всю ответственность.

Ну уж нет! Она в этой афере с резервуаром участия принимать не будет! Ишь! «Под твоим руководством, Наталья Прохоровна, сотворим образцово-показательный объект». А он при этом — в стороне! И уважаемый Юрий Юрьевич в случае чего — ни при чем! Нашли козла отпущения.

Надо было немедленно что-то предпринять: куда-то бежать, кого-то предупредить. Только пока она еще не знала, кого именно. Но как в таких случаях поступают героини кинофильмов? Они идут в райком или в обком партии и «выводят на чистую воду» бюрократов, чиновников, хапуг и прочих «мельников», льющих воду на мельницу империализма. У секретаря обкома, само собою, всегда находится время принять идейного борца за правду, за народ и взыскать с виновного.

Ничего иного Наташа не придумала. «Найдется управа на Григория Григорьевича!» — так или приблизительно так думала она, открывая стеклянную дверь, которая бесшумно и вежливо пропустила ее в здание горкома.

В тот день ей безусловно везло. Поднялась на второй этаж, увидела длинноногого поджарого парня — явного поклонника спортивного бега по утрам и игры в волейбол дважды в неделю, прямого наследника йогов, который принимает позу лотоса так же свободно, как иной садится за обеденный стол. В строгом черном костюме — и это в теплый день! Бордовая, в крупную клетку рубашка. Галстук затянут наглухо... Николай Яблочков. Три года тому Наташа приняла у него бразды правления студенческим научно-техническим обществом — «Антошкой». Слышала от своих, будто Яблочков работает где-то в партийных органах.

Обрадовалась.

— Николай!

Приглядевшись к ней, он по-отечески улыбнулся.

— Пахомова. Наслышан. Закончила с красным дипломом. Аспирантура?

Она покачала головой: нет.

— ДМЗ. Цех четвертой категории.

— К Руфимову?! — не поверилось Яблочкову.

— Руфимов в кардиологии. Его заменил кандидат технических наук товарищ Смычок.

Яблочков улыбнулся с чувством собственного достоинства, продемонстрировав великолепные белые, будто отлитые протезистом из японской керамики, из которой изготавливают реактивные моторы, зубы: «Милое дитя, кому вы говорите!»

— Начальник цеха — номенклатура райкомовская, но в свое время нам довелось заниматься бедами ДМЗ. Водоснабжение — заводская Колыма. Туда инженеров ссылали за тяжкую провинность. А Юрочка — добровольцем! И, самое удивительное, кажется, нашел свое место в жизни. Но ты-то чего?!

— «Гидросоль» — мой дипломный проект.

— Да уж нашумел тут Оборощин о талантах молодого инженера Пахомовой... Повезло ему, прикрылся твоим дипломом. У нас на контроле коллективное письмо. Хвастаемся: непрерывная разливка стали. А вспомогательные цеха запустили. Стратегия! Ну мы Оборощина и повоспитывали.

Яблочков был явно доволен собой, и Наташа подумала, что «выговор с занесением» удружил главному инженеру завода он.

Она понимала, что Яблочков «в борьбе с бюрократом Оборощиным» — союзник. Но что-то не устраивало ее в нем. Торжество над «врагом» за глаза? Эти экивоки, подвохи, подкопы? Она — за яростную, открытую атаку противника по всем правилам рыцарского поединка.

Наташа осторожно сказала:

— Меня тревожит судьба «гидросоли»...

Ну — и всю «пуццолановую историю», только в сдержанных тонах.

При первых же словах Яблочков отвел ее к столику, стоявшему в холле.

— Эт-то интересно! — Чутьочку нахохлился, наклонил голову. Засверкали карие острые глаза. И во всей фигуре высокого, художавого человека появилось нечто атакующее, пронзительное.

Выслушав взволнованную повесть, густо замешанную на горечи, Яблочков подвел итог:

— Как я понял, резервуар — липа девяносто шестой пробы?

— Месяцев восемь-девять поработает, — поспешила Наташа уточнить. Она хотела быть сугубо объективной. — За это время можно без спешки привести в порядок второй резервуар.

Она выдавала мысли Оборощина, с которыми была не согласна еще два часа тому, за свои и... видела в них чуть ли не панацею от всех бед.

Яблочков уже открыто торжествовал:

— Вот тебе и лауреат Государственной премии! Член ревкомиссии ЦК! Идем ко мне, — решительно пригласил он Наташу. — Изложишь все в письменном виде. Особенно этот деловой разговор с уважаемым Григорием Григорьевичем.

Наташа была не столь наивна, чтобы не понимать, что Яблочков хочет обзавестись документом против главного инженера ДМЗ, к которому он, инструктор горкома, особой симпатии не питает. Но если бы она сейчас отказалась «изложить на бумаге» все, что говорила, ради чего пришла в горком, то потеряла бы право считать себя принципиальным инженером и бескомпромиссным человеком, который может честно смотреть в глаза кому угодно: от Лизаветы до Оборощина, от инструктора горкома Яблочкова до Мозжухина, любившего говорить: «Инженер кончается не там, где ему не хватает знаний — их можно восполнить, а там, где он начинает жить «применительно к подлости».

Славка Бобренок в этих вопросах был еще более рьяным максималистом. Он утверждал: «Из ошибок рождается Истина, из подтасовки фактов — Подлость... которая, между прочим, может довольно щедро одаривать земными благами своих служителей».

Наташа шла сюда громовержцем. А взялась за авторучку, увидела белый лист бумаги, и... что-то засадило в душе. Как проверяют фарфоровую посуду? Чашечкой по чашечке — и раздается тонкий, отдающийся в сердце нежной песенкой шепоток. Но вот задрезжала, «закхекала» чашка: «Извините, — спешит успокоить покупателя продавец, — сейчас заменим».

...И у Наташи — через всю душу, наискосок — невидимая трещина.

Факты она отбирала осторожно, выверяла каждое слово.

Кто виноват — судить не нам.

Да только воз и ныне там.

Теперь она уже была согласна со Смычком: если бы не ее стремление «блеснуть ученостью!» И в самом деле, ну почему бы не написать: «глиноземистый!» А то вклеила это идиотское «типа».

Яблочков стоял над душою и инструктировал:

— Поменьше общих мест, побольше фактов. И выводы! Свое личное отношение к случившемуся: «Резервуар к эксплуатации не пригоден, а главный инженер ДМЗ!.. — и тезисы вашей беседы: мол, отчитаемся перед горкомом вместо «гидросоли» — дыркой в земле, а там видно будет».

...Господи! Как трудно, ну просто неумоготу предъявлять человеку обвинения в письменном виде. Когда с глазу на глаз, ну вгорячах: ты — его, он — тебя! Пошумели... Кто-то в чем-то прав, кто-то в полемике «подзагнул». А тут — по пунктам: а); б); в)... И каждый из них — приговор, который обжалованию не подлежит. Но «пункт» всего лишь формула, под которую еще предстоит «подставить» конкретность. Наташа ничего не подставляет. Яблочков требует: «Покороче! Покороче! Тезисами!» И она сама понимает, что всего не втиснешь... Руфимова отправили в кардиологию... Смычок не специалист по бетонам... На стане — ответственнейший момент стройки, а бригаду штукатуров все-таки перевели на «гидросоль»... Глиноземистый цемент — материал фондовый, и в магазине его не купишь, как буханку хлеба... Да ко всему — дурацкое «типа»... А у Оборощина — выговор с занесением в учетную карточку, а у инструктора горкома Яблочкова — на контроле коллективное письмо рабочих одного из цехов, по вине которого потеряно более шестисот тысяч тонн металла...

«Пункт» все беды приводит к общему знаменателю: «Намерение коммуниста Оборощина втереть очки горкому партии...»

А Нататаша с этим не согласна! Виновато в случившемся не намерение какого-то одного конкретного человека, а обстоятельство... Но факт остается фактом: резервуар непригоден.

Яблочков, взяв ее «докладную», быстро пробежал глазами содержание, удовлетворительно крякнул:

— Жди!

Какое это наказание: остаться в пустом, пахнущем бумажной пылью кабинете наедине со своими сомнениями!

«Как же мучается судья! — подумалось Наташе. — Каждый день кого-то обвиняет, укладывает человеческую жизнь в пункты и параграфы...»

Однажды Наташа оказалась со Смычком в случайной компании. Хозяин дома — судья, автор повести «Случай из практики». Неглупый человек, с юморком, говорил: «Главный советчик у нас — время! Будешь разводить антимонии, не останется времени на вынесение приговора. А людям надо еще отбывать срок, так что экономь минуты и секунды...»

Судья, на потеху компании, шутил. А что, если за этой шуткой стояла жизнь, суровая практика, злая необходимость?

«Виновен!»

Мудрая тетя Фрося (по поводу гоп-компании, которую милиционер привел на разгрузку соли) сказала:

«Все они — и кому «приляпали» пятнадцать суток и кому «приварили» пятнадцать лет — убеждены, что их засудили несправедливо, так как не разобрались в обстоятельствах».

У кого-то из сатириков, кажется, у Нушича, есть рассказ «Главный свидетель». Попала на тот свет душа закоренелого преступника. И предстала перед судом святого Петра. Куда душу? В рай? В ад?

«В рай!» — требует душа.

«Но ты — душа преступника!» — возражает судья.

«Но этого не доказал ни один суд на земле!» — выдвигает веские доводы душа.

«Пригласить главного свидетеля», — выносит постановление святой Петр — первый ключник рая.

Является Бог Саваоф.

«Это они не знают, — показывает он на судей, — а мне все известно: и что ты натворил, и почему. Вот укокошил старуху-ростовщицу. У тебя болела жена, умирали с голоду дети, а эта ведьма, можно сказать, ограбила тебя. Ты ее убил, но денег не нашел. Ты сорвал одну половицу, вторую, пятую... А деньги лежали под шестой».

«О-о! — застонала душа. — Дурак я был! В ад меня! И только в ад!»

«А если бы ты нашел богатство ростовщицы, то вылечил бы жену, спас детей и никогда уже не совершал бы преступлений. Тебя всю жизнь мучила бы совесть за то, первое, и ты бы отмаливал его, пока жил, и детям, и внукам заказал бы, — продолжал Бог. — Но ты денег не нашел... Жена у тебя умерла, дети пошли по миру, ты ожесточился, потерял совесть».

Душа, раздавленная правдой, воскликнула:

«О Боже! Если ты все знаешь, то почему не ты судья?!»

«Милосердие не позволяет».

Но что-то в этой притче Наташу не устраивало. Безответственность... Свидетелю легко: что знал — выложил. А каково судье? Если бы можно было обойтись без приговора! Но перед тобою две дороги: «да» и «нет», а путь один... или «да», или «нет».

Наташа — за «гидросоль»!

Вернулся Яблочков. Ничего воинственного, петушиного в нем уже не было. Сел за стол, осторожно опустившись на полумягкий стул, сконфуженно глянул на Наташу. Похлопал ладошкой по докладной, которую положил перед собою.

— Ты молодец, заняла в важном вопросе принципиальную позицию. Но в той ситуации, которая сложилась... — Он тщательно подыскивал слова, из двухсот тысяч имеющихся в словарном фонде русского языка, выбирал самые «круглые», хорошо обкатанные, способные при случае (или необходимости) податься в любую сторону... как футбольный мяч, за которым охотятся сорок четыре ноги. — Завод должен проинформировать горком, мы — ЦК... Впрочем, дело не только в том, чтобы доложить. Наследственностью управляем! Венеру сфотографировали «на паспорт». Вот-вот откроем на Луне металлургический завод, который будет производить железо, не поддающееся коррозии! И... лопата.

Бывает же! Человек говорит все по делу, чистую правду и только правду, а ты ему не веришь!

— Секретарь горкома посоветовал: «Верни Пахомовой докладную, пусть на досуге подредактирует... Может, к утру что-то станет не приемлемым для нее самой...»

Яблочков засуетился, словно бы сидел на чужом месте, а хозяин пришел. Начал выдвигать один за другим ящики стола, пересматривал папки. Вытряхнул из одной старые документы, положил в нее докладную — несколько листочков, аккуратно сколотых скрепкой (уходил к секретарю горкома — скрепки не было, это Наташа помнила хорошо), — и протянул ей.

Стало стыдно. Щеки, нос, лоб, мочки ушей краснеют, пламенеют. И с чего бы!

Схватила серую, из грубого ворсистого картона папку.

— Спасибо!

— Будь здорова, Пахомова! Не забывай нас, в случае чего — всегда поможем, посоветуем...

Но она была уже по ту сторону порога.

Не шла — мчалась по длинному коридору. Скорее! Прочь отсюда! По дубовым ступенькам каблучками-копытцами — цок! цок! цок!

* * *

...Внизу, посреди вестибюля, стоял и улыбался Глеб.

— Здравствуйте, Наталья Прохоровна!

Вот уж кого она менее всего рассчитывала здесь увидеть!

— Где же вы были, Глеб Игнатьевич? — вырвалось у нее. Подумала: окажись он вовремя на месте, может быть, она не побежала бы ни к Оборощину, ни в горком, и тогда ей не пришлось бы пережить все это...

— Шурку к бабушке на пару дней отвез.

В его иссиня-голубых глазах жили простота и щедрость.

...Ничего, родная! Успокойся.

Это только тягостная бредь.

— Резервуар под «гидросоль» непригоден, — призналась она в тяжкой вине.

— Уже слышан, — мягко ответил он.

«Наслышан? От кого? Когда успел? От Смычка? От Оборوشина? Еще от кого-то? Например, Лизавета...» Но это сейчас уже не имело значения: он рядом, он все знает и не позволит совершиться преступлению.

Глядя в глаза, Глеб взял ее за руку, как дочурку. Пришла та из детсадика и со слезами на глазах рассказывает «про несносного Юрку (или Сережку), который обидел ее, назвал рыжей задавакой». «Я же не рыжая, папа! Верно?! Я блондинка. И никакая не задавака. Это он — задавака!»

От теплой, по-мужски надежной руки к Наташе перетекало тепло, проникало в сердце и успокаивало.

Стеклянная осанистая дверь словно бы нехотя выпустила их на улицу. Постояли с полминуты на невысоком крыльце, привыкая к высоте темнеющего где-то в недостижимой выси неба, к нереальности света, источаемого ртутными светильниками, к воздуху, не сдавленному теснотой пыльных кабинетов и коридоров; они привыкали друг к другу, не переставая удивляться, будто бы впервые встретились, познакомились по объявлению в рижской газете «Брачные объявления».

Наташей вдруг овладело ощущение незыблемости Вселенной, ее беспредельности и устойчивости. Она уже не сомневалась, что в этом огромном вечном мире есть и ее место. Собственное, отведенное ей заранее. (Кем? Когда? Да не все ли равно!) Она не пылинка, которую гонит неизвестно куда разнузданный суховей, она че-ло-век! Она жен-щи-на!

Отошли в прошлое и выцвели обиды, терзавшие ее весь день. Даже странно было вспоминать визит к Оборوشину и эту дурацкую встречу с бывшим однокашником Николаем Яблочковым.

Вечер был добрый, ласковый, готовый растаять от нежности. Вокруг коренастого здания горкома — один из самых зеленых парков Донецка. Спустилась Наташа об руку с Глебом по приятно гладким ступенькам, выложенным нестирающимися шлакоситаллом, и сразу они очутились рядом с волшебным творением человека — каскадом

прудочков. Первый, совсем небольшой, строгой прямоугольной формы. Вода, заполнявшая белую изразцовую чашу до краев, и не шелохнется. Подсвеченная подводными, радужно мигающими фонарями, она выглядит ожившей сказкой. Не здесь ли живет владычица вод — золотая рыбка? Из первого прудочка вода беззвучно, словно бы во сне, переливается в следующий. И не слив это, а хрустальное чудо. Направо и налево от прудочка — негустая рощица. Тоже рукотворная. Пяток белоствольных, замерших в блаженной истоме березок. Чуть в стороне, ближе к дороге, где ходят голубые троллейбусы, устроилось несколько пихт и три кедра. Они еще молодые, совсем «детенки», им еще лет двести расти. Пахнули селом и еще чем-то родным до боли, до тоски. Вспомнилась бабушка Поля, которая говаривала: «Детонька, от любви не спрячешься, явится, разыщет — хоть за тяжелые gratы-муры посади красну девицу или добра молодца, на семь замков запри, стражей поставь... Душу не окольцуешь, она легкая, как вздох, как улыбка...»

Но при чем тут бабушка Поля? Сено виновато. Утром косилки-тарыхтушки состригли траву-мураву на изумрудной лужайке, а сейчас смуглая тетка в оранжевой безрукавке работника «Зеленстрой» вычесывала подвялое сено из зеленой стерни.

— Бог в помощь, — сказала ей шутливо Глеб.

Тетка, обрадованная возможностью передохнуть, улыбнулась. Зубы у нее неожиданно молодые: белые, один в один.

— Спасибо.

— Дайте грабельки! — попросил Глеб, не перешагивая зеленый бордюрик. — Сто лет с сеном дела не имел.

— Что уж тут осталось, — ответила тетка, но грабли все же передала.

Зашаркал Глеб деревянными граблешками. Ловко это у него получалось: накручивал и накручивал зеленую змею — валок, протянувшийся через всю поляну.

— Огонь в работе, — поделилась тетка в оранжевой безрукавке своим открытием, любуясь Глебом.

Она подошла к клумбе, посреди которой с чувством собственного достоинства стояли пурпурные гладиолусы. Срезала один, наверное, самый высокий и стройный, подала его Наташе.

— Ло-вок! — похвалила еще раз тетка Глеба. — И вот такой-то мужик из села сбежал! Да там бы ему цены не было!

Глеб выгреб зеленый валок на асфальт.

— Деревянные грабли в селе сейчас разве что в школьном музее увидишь, — озорно ответил он тетке. — А сама-то чего?

Она махнула рукой:

— Ненаглядный к шахте присох. А куда иголка — туда и нитка. — Она была довольна и тем, что ей вот так легко, весело помогли, и тем, что вечер изумительно мирный, добрый.

Лелея в руках высокий нежный гладиолус, подаренный кареглазой работницей «Зеленстроя», Наташа уверовала, что в жизни этой тети все добротно, надежно, вечно, как вечны этот кусочек парка... этот город... Глеб Кедрач.

По прошлым встречам Наташа была убеждена, что Глеб — из молчунов. А он, оказывается, говорун. И все о Шурке.

— Почемучка — в четырех-пятилетнем возрасте. А у моего Шурки это проявилось с задержкой. Слышу — в ванне возится. Набирает воду и спускает. Набирает и спускает. Что за притча? Заглянул: «Ты чего?» — «А почему вода воронкой закручивается и всегда в одну сторону?», «А почему для электричества нужно два провода? По второму возвращается то, которое не успели использовать? Или уже ничего не возвращается? И с какой скоростью оно бежит по проводам?»

Глеб говорил о сыне легко и охотно. Наташа вспомнила, что в прошлый раз мальчонка «не принял» ее.

— Мы с ним почему-то не поняли друг друга.

Глеб не согласился:

— Нет, дело в ином, он выделил Наталью Прохоровну из всех знакомых отца. Шестым чувством определил, что она не похожа на других. Особенная.

Когда тебя отличают от остальных, выделяют, это всегда приятно: тешит самолюбие.

«Странно, — подумалось Наташе. — И что он во мне особенного увидел». Было бы при ней зеркальце, она, не любившая этой процедуры, сейчас, пожалуй, глянула бы на себя.

Бродили по вечернему городу, сидели в скверике. Перебрались в парк. Но время неумолимо, а домой Наташе совершенно не хотелось. С Глебом было удобно и спокойно.

Не в этом ли изначальная суть мужчины? «Как за каменной стеной», — говорит пословица.

— В кино, на вечерний?

«Продлить свидание!»

Она покачала головой. Нет, в кино ей не хотелось. Сидеть бы на лавочке до утра, слушая Глеба, не вдумываясь в смысл сказанного им, а вот голос... Как далекая колыбельная песня...

— Ударим по мороженому? — уже совсем, как Славка, предложил Глеб. И тон Славкин, и слова...

— Устала за день от людей. Хочется уюта.

По женской части он был из тугодумов. Долго соображал, что бы еще такое изобрести.

— Не исключен кофе, с рижским бальзамом, с лимоном. Привезли килограмм из Москвы. Поймаем такси — и ко мне.

И хотя Наташа была далека от мысли побывать у Глеба — Шурка! — но сейчас поняла, что именно этого ей и не хватает.

* * *

Они выбрались на мощенную булыжником, поэтому выглядевшую допотопно улочку двухэтажных домов. Их слепили сразу после войны, когда еще о настоящем кирпиче, шлакоблоке, цементе, лесе речи не могло быть, а нужда на жилье — острейшая. Временки, сработанные на совесть, они оказались почти вечными. Угол осядет — сделают стяжку, поставят опорную стенку. Крыша просядет — пару балок заменят. Жили в этих домишках кадровые рабочие Донецкого металлургического, те, которые из династий. Заселили дома в сорок четвертом — в сорок пятом еще их деды и отцы, вернувшись из Нижнего Тагила, куда был эвакуирован завод, демобилизовавшиеся после фронта... Другого жилья в ту пору не было, а когда начал подниматься и хорошеть город, когда появились многоэтажные дома с горячей водой, с мусоропроводом, с магазинами на первом этаже, то они, кадровые, уже ни на что не претен-

довали: «У нас какое-никакое — есть. А другие — по две семьи в одной комнате. Придет человек с ночной — приткнуться негде».

— Справа два крайних окна на втором этаже...

Да, она догадывалась. В прошлый раз, возбужденная аварией, она входила в этот дом следом за Глебом, не обращая внимания на детали обстановки. Но ошибиться все-таки было трудно: дом — на два подъезда, на два этажа. Поднялись по скрипучей деревянной лестнице... Направо...

Звякнули в связке ключи:

— Прошу.

Глеб провел ее в крохотную, почти игрушечную кухню.

— Был обещан кофе, но лично я предпочитаю чай. По-японски. Если хотите почувствовать истинный вкус чая, то сладкое — лишь вприкуску. Сахар разрушает катехины — эликсир бодрости. А вообще в чае сто тридцать нужных организму химических соединений, семнадцать аминокислот, многие микроэлементы, даже золото.

Она улыбнулась: «Золото!»

— Конечно, не в размерах, пригодных для промышленной разработки.

Они расположились по разные стороны небольшого столика. Наташа не испытывала никакой затрудненности, словно бы провела в уютной кухоньке полжизни. Такую раскованность она обретала только рядом со Славкой, с которым можно было поговорить на любую тему, не опасаясь меры откровенности.

— Хочу есть, — сказала она Глебу.

Он вызвался приготовить салат. Набор необходимого находился в холодильнике. Наташа помогала чистить вареную картошку, резала зеленый лук и помидоры. Обязанности домашней хозяйки никогда раньше ее не привлекали, она считала их крайне обременительными. А сейчас почему-то испытывала особое удовольствие от того, что в нее в руках — нож, а пальцы липнут от вареной картошки.

«Неумеха», — подумала она о себе. У Глеба все получалось ловко, сноровисто.

Наташа удивилась своей мысли: «А что было бы со мною, если бы не встретила Глеба в вестибюле? Уму не постижимо!»

— Глеб Игнатьевич, а как вы очутились в горкоме? Вы же Шуру возили в деревню?

— Только порог переступил — звонок. Оборошин: «Пахомова сейчас в горкоме, ищет недостающий компонент для «гидросоли», помощи этому донкихоту выпутаться из дурацкого положения. Ухватилась за крыло ветряной мельницы, подняло ее вверх, висит вниз головой, чего доброго сорвется, а человек она стоящий, будет из нее толковый инженер».

«Оборошин!» Вот, оказывается, кто подарил ей друга, а Наташа думала, что случайность, которую называют судьбою.

«Помоги донкихоту выпутаться из дурацкого положения...»

— Почему «донкихот»? Резервуар в эксплуатацию непригоден!

— Увы... но в данном случае мы имеем типичный пример перехода количества в качество. После пяти лет каторги на студенческой скамье автор проекта отправился отдохнуть. Прежний начальник цеха в соответствии с неумолимым законом природы выбыл из строя. Новый, хотя и кандидат технических наук, но в бетонах разбирается в пределах справочника «Молодой строитель». Для «Спецстроя» наша «гидросоль» — гвоздь со знаком качества в новом ботинке. А ко всему — нет нужного цемента. Хоть днем с огнем ищи. Правда, если проявить инициативу в пределах, предусмотренных уголовным кодексом... Этакое «типа гидро» может появиться...

Горькая правда. Не от каждого такую выслушаешь, а выслушав, поверишь в собственную вину.

— Дичайшее нагромождение случайностей!

— Да нет, не случайностей, — не согласился он. — Выступая на суде в нашу защиту, нынешний Кони сказал бы: «Объективные причины». В приговоре значилось бы иное: «оплошность, халатность». Но нас с вами судило Дело, опирающееся на объективность и неумолимость природы. И его приговор обжалованию не подлежит.

«Неумолимость...»

Наташа вспомнила бабушку Полю. Перед смертью та говорила: «Вы не оплакивайте меня, я прожила много... Правда, не жила, а мучилась, но все равно славилась первую мураву и первый снег,

утреннее солнце и соловушку. А если я не умру, то кто-то не родится, у Бога в этом большие строгости, иначе не будет на земле порядка».

Мертворожденная «гидросоль»... Нагромоздились торосами далеко не случайные случайности. Неумолимость законов природы...

— Что же теперь? — вырвалось у озадаченной Наташи.

Глеб пожал плечами.

— В наличии — блин комом. Жрать нечего, а голод — не тетка...

Наташа вдруг почувствовала, что она замерзла, ее начал тряссти озноб.

— Может прикрыть форточку? — предложил Глеб, потянувшись рукой к окну.

— Это — нервы.

Он принес тяжелый серый свитер.

— Сейчас возобновлю чай.

Она с удовольствием влезла в мягкий, теплый свитер.

Но согреться все же не удалось, не помогал даже обжигающий чай. Наташа вдруг поняла, что ей нужно просто забыться, хоть на мгновение переселиться в страну чудес и добряков, где нет и быть не может пуццолановых трагедий.

* * *

За окном пробивался первый рассвет. Наташа глянула на часы — начало шестого — и принялась их заводить, с вечера забыла.

— Всю ночь просидели! — удивилась она.

Представила себе, что делается дома. Мама Нина звонит по всем больницам и милициям, ищет исчезнувшую: «Ушла утром и пропала!» Сразу тысяча самых мрачных предположений.

— Дома мои, наверно, с ума сходят.

— Конечно! Телефон в моей комнате.

Мама Нина отозвалась на второй звонок: значит, аппарат был рядом с нею, возле изголовья.

— Господи! — взмолилась она. — Что с тобою?

— Некоторые неувязки по проекту...

— Какой проект? Какие неувязки?

— Не по телефону же об этом. Скоро буду.

— Ночью? По городу — одна! Где ты? Я сейчас приеду.

— Меня проводят, — невольно грубовато разъяснила Наташа: опекают, как слепого на перекрестке двух шоссе.

Мама Нина долго молчала.

— Проводят... — в ее голосе звучали растерянность и страх.

«Мама... мама! Что ты знаешь о дочери-женщине!»

* * *

Для того чтобы сократить путь, они пошли через завод, который провожал их привычным гулом далеких домен, вскриками предупреждающих сигналов. На бешеной скорости по пустынной заводской дороге промчался самосвал. Все как всегда. И все — по-иному. Голос домен, от которого у Наташи обычно начинало ломить зубы, не казался уже противно-монотонным, не напоминал подвывание бормашины в кабинете зубного техника.

Они стояли на переезде в ожидании, когда проплывет состав с изложницами — высокими хранителями жидкого металла, и купались в тепле, которое те источали. Накрапывал дождь. Мелкий, словно туман. От такого нет спасения, разве что постоишь вот так рядом с огнедышащим составом, и тот превратит слякоть небес в приятную освежающую капель.

— В моей жизни был период, — рассказывал Глеб, — когда Оборощин сманивал меня в заводской НИИ руководителем группы. И тема интересная. В цистернах, в которых возят агрессивные жидкости, есть внутреннее покрытие. Если хотя бы на одном квадратном сантиметре оно не схватится с основой, считайте, что цистерна не пригодна к употреблению. Так вот задание: найти безотказный способ контроля. Я увильнул от НИИ, остался в своем цеху четвертой категории. И не жалею.

— А тема? — вырвалось у Наташи.

— Задачу мы решили, прибор создали.

«Может, в этом и есть сермяжная правда?» — подумала она, крадкой наблюдая за Глебом.

Проводив ее до подъезда, он сказал:

— Побегал. Но если это удобно, позвоню из дома, как там Нина Ивановна... Негодует, поди.

— Негодует, — согласилась Наташа.

Она поднялась к себе на этаж. Дверь открыла мама Нина, которая слышала, как дочь поднимается по лестнице. Глянула пристально на вернувшуюся. Вдохнула. По традиции поцеловала в щеку — ни слова упрека, ни одного «контрольного» вопроса.

В кухне накрыт стол.

— Есть хочешь?

— Не знаю. — Наташа чувствовала себя разбитой.

Из спальни донесся голос отца:

— Звоню Григорию: «Не подскажешь, дочь запропастилась».

Отвечает: «В горкоме, у секретаря, спасает меня от сверхстрогого выговора с отсечением головы». — Отец вышел из кухни, повязывая пояс тяжелого махрового халата. Он продолжал рассказывать: — Успокоил нас, — Прохор Николаевич кивнул на маму Нину. — «Если подзадержится, в милицию не звоните, она под надежной охраной». А то ведь мы валерьянку уже стопками, бром-камфару — пригоршнями, а бромферон — ложками.

Отец, как обычно в сложной ситуации, стараясь спасти дочь от чрезмерной бдительности мамы Нины, попытался все превратить в шутку: бромферон — это что-то вроде йода, один из его заменителей — ложками!

Но маму Нину беспокоило чрезвычайное обстоятельство: «Всю ночь... Неизвестно с кем, в какой компании...»

— Да уж охрана... куда надежнее, — съязвила она. — До утра, словно подследственную...

— Подзатынулось деловое свидание, подзатынулось, — согласился Прохор Николаевич. Глянул на часы. Зевнул: — Повалюсь еще. Может отпускник позволить себе?

— Позволяй, — отпустила его мама Нина.

Женщины остались одни.

Зазвенел телефон. Наташа, опережая маму Нину и тем самым нарушая традиции дома (к любому звонку первой подходит мама Нина), поспешила на его зов.

Да, это был Глеб.

— До дома не дошел, решил позвонить из автомата. Как Нина Ивановна? Не очень?

- Пока — не очень, за потом — не ручаюсь.
- Тогда доброго утра, доброго дня и доброго настроения.
- Спасибо.

Наташа поняла, что ждала этого звонка и огорчилась бы, если бы его не было.

Мать ее учила: «Никогда не раскрывай душу перед мужчиной до конца. Пусть он лишь догадывается о твоих чувствах, но не знает истинной привязанности. Самый порядочный из них может при случае воспользоваться доверчивостью женщины. Причем совершенно искренне».

Наташа не хотела перенимать опыт мамы Нины, не хотела следовать ее советам. Она сказала Глебу:

— Хорошо, что позвонил, иначе... я жалела бы.

О чем? О доверчивости? О том, что было, а главное, чего не было, но могло бы быть!

Когда она вернулась на кухню, мама Нина встретила ее долгим, пристальным взглядом:

— Он?

Это означало: «ночной охранник».

Ах, мама, мама, что ты знаешь про девичью любовь! Он! А ты спроси о его доброте, об умиротворенности, охватывающей тебя, если он рядом, всего через узенький самодельный столик на тесной кухне! Спроси, как он говорит и думает вслух, как произносит: «Наталья Прохоровна...»

— Догадываюсь, квартира у него есть, и с телефоном. Надеюсь, холостой?

Наташа готова была уже сказать: «Да ты его знаешь!», но последний вопрос мамы Нины вывел ее из себя.

— Женат. Есть сын. Жена в отъезде.

Маме Нине стало зябко. Поежилась. Сходила в спальню, набросила на плечи пуховый платок. Вернулась настороженная, заискивающая.

— Я тебя как женщина женщину понимаю... Одной скучно. Близкие — мать, отец — это совсем иной мир, нужен друг. Он молод, красив собою, душа компании. Потом вы оказались вдвоем...

— Он старше меня лет на десять. Совершенно невзрачной внешности. Песен не знает, танцевать не умеет.

Нина Ивановна посмотрела на дочь с недоверием. У нее были свои, прочно укоренившиеся представления о строении мира, о морали, о допустимом и запретном...

— Когда в жилах бунтует кровь, так трудно даются познания закона, что девичья скромность и женская верность — золотой фонд. Разбазарив его, мы довольствуемся мелкими купюрами эмансипации. А время их обесценивает, девальвирует, — вела свое мама Нина.

Наташе стало жалко верную хранительницу семейного очага Пахомовых.

Восстать бы Нине Ивановне в свое время против воздушного транспорта, и не было бы у дочери отложенного рейса. А мать тревожится по поводу совсем безобидной в этом плане «пуццолановой трагедии».

— Я всегда удивляюсь вашему с папой взаимопониманию. Наверное, это и есть любовь? — осторожно высказалась Наташа.

Нина Ивановна вдруг вспомнила. По лицу пошли гулять малиновые пятна: а казалось бы, вопрос проще и быть не может.

— Может быть... Быть может, это один из признаков любви. Но я — о тебе. Моя жизнь — в прошлом, твоя — в будущем.

— А что тебя беспокоит?

— Некая закономерность: глупости мы делаем почти всегда самостоятельно, по собственному почину, а расхлебываем с помощью близких, наделяя их своей болью.

Наташе хотелось поделиться сокровенным. Но... Всего рассказать невозможно, надо прожить ее жизнь, пройти через ее ошибки, через ее боль и радость, научиться думать, как она, приобрести ее вкусы, привычки, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Трое смотрят на весеннее небо. Один говорит: «Голубое». Второй подтверждает: «Да, голубое». Не возражает и третий. Но такая ли уж полная идентичность в восприятии ими голубизны? Один из них станет через пять лет близоруким, у второго разовьется дальность зрения, третий останется здоровым человеком. Чтобы понимать друг друга, люди договорились: «Вот такое небо считать голубым, а

десятиmillionную часть четверти парижского географического меридиана — метром».

Впрочем, вскоре выяснилось, что даже по этим, казалось бы, абсолютным истинам, есть несколько весьма авторитетных, но крайне противоречивых мнений. А что уже тогда говорить по поводу «люблю»?..

БУДНИ

Верка Уварова, мать двоих детей, ошалела от радости. Машет фуфайкой, как парижский коммунары на баррикаде красным флагом, и кричит на всю химводоочистку:

— Премия! Нам — премия! Умереть можно!

Лизавета — скептик:

— Ну и по сколько отвалили? Зонтик купить можно?

Если зайти на завод со стороны комсомольской проходной, то вдаль от основного производства — громаден домен, смахивающих на сказочных размеров люльку Тараса Бульбы, влево от мартеновских труб — семи сестер в цветастых оранжевых платочках — торчит высокое здание. Оно — словно гигантский кирпич, поставленный на попу. Это «быт». Здесь «делают» бытовую воду. На заводе тысячи рабочих. Их надо напоить, накормить, после смены вымыть. На их потребу — десятки столовых, сатураторных, бань. Этим учреждениям нужна вода. Но неизмеримо больше расходуют ее горячие цеха: доменный, мартеновский, листопрокатный, сортопрокатный, блюминг, установка непрерывной разливки стали — УНРС. Причем им нужна вода особой очистки — пермутированная.

К высокому, заносчивому «быту» приткнулось здание-уродец, похожее чем-то на стесанную бульдожьей морду, — «пермутит».

В систему химводоочистки входят еще два «ведомства» — это ледоделка по прозвищу «Арктика», где «варганят» лед для нужд завода, — едва ли не старейшая часть химводоочистки — и «Крым» — чердак, куда транспортерик-пыхкалка подавал соль. Оттуда, через бункерок, она скатывалась на «пермутит». Но вот уже более месяца

«Крым» бездействует. Наладили «гидросоль», и «Крым» остался без работы. Его пока не разоряют, так, на всякий случай: а вдруг «гидросоль» забарахлит? Гоняет рапу по резервуару огромный шнек — уж такая ненадежная механизация. Тетя Фрося свою работу в смене начинает с того, что подойдет к резервуару, прислушается. Пошумливает что-то «внутри», словно кто-то там тяжело вздыхает и похлопывает плоско огромной ладошкой по воде.

— Живе-ет! — радостно и протяжно отметит она.

— Живет, пока ржа не съест, — прокомментирует Лизавета. — Поставили хотя бы нержавейку, а то обычная железка. Рапа в два счета выявит все недодумки и недоделки. Не умеем мы доводить до ума хорошее дело, характера не хватает. Бились-колотились столько лет, а в последний момент — тяп-ляп! И «в дамках». Отрапортовали: «Раньше намеченного срока!» Премии-медали отхватили, в газетках похвалились, а после — хоть потоп!

— Ох и вреднющая ты, Лизавета! — добродушно упрекала тетя Фрося подругу.

— Ишь как мы правду-то не любим! — возражала Лизавета. — И думать о ней не смей! На брехне прожить — проживешь, а будущего не построишь. А хотелось бы хоть одним глазком заглянуть: как оно там.

— Не ворчи, словно голодная! — наставляла тетя Фрося. — Пусть полгода — но мое! За это время Прохоровна вторую половину «гидросоли» домучает, уже без этой болтушки.

Но Лизавета оставалась неисправимым скептиком:

— Я до тех счастливых времен не доживу, от ревматизма загнусь или от неразделенной любви к Юрию Юрьевичу зачахну.

Химводоочистка — это царство воды. Вода здесь живет в каналах, в трубах различных диаметров, в баках, в градирнях, в отстойниках, в котлах, в накопителях, в пробирках. Вода — под ногами, вода — над головой. Она клокочет, журчит, капает, капает... Из задвижек, заслонок, фланцев, пробивается на стыках. Кипит, пузырится и вновь капает, превращаясь в ледоделке в лед. Капелью умыт железный пол, затянутый ржавыми разводами, водяной пылью пронизан воздух.

Летом, особенно в жару, когда небо выцветает, блекнет, когда плавится асфальт и обалдевшие от духоты люди ищут хоть какое-нибудь укрытие от Божьего проклятия — убийственных лучей светила, химводоочистка — рай. Но зимою, вот как нынче, когда мороз градусов на двадцать, когда ветер — двадцать пять метров в секунду, химводоочистка начинает свистеть по-разбойничьи, истошно мычать, кудяхтать, сопеть, выть...

Водоснабжение — цех четвертой категории. Почему четвертой? Да потому, что есть третьей, второй и первой. Металлургический завод. Какая главная его продукция? Металл. Кому он идет в план? Доменному цеху, мартеновскому... Так вот, такие цехи и причислены к заветной для других первой категории.

Заветная! Доменщикам и мартеновцам — льготы. Длинный отпуск — им, путевки почти без лимитов в лучшие санатории и дома отдыха — им, пенсия в расцвете лет — им. Большая и лучшая часть заводской (и районной) доски Почета — им, благодарности и премии, ордена и медали — все им. Им! Им! А что цеху четвертой категории? Синяки да шишки. Кого зачислили на ДМЗ в «неприкасаемые», кроме цеха водоснабжения? Конный двор. Семь лошадок... Цех озеленения...

Обидно. Впрочем, к этой обиде давно все привыкли: так уж повелось испокон веку.

И вдруг премия! Да отродясь такого не бывало! Откуда ей взяться, если ДМЗ не выполняет государственный план — семьсот шестьдесят тысяч тонн металла задолжал Родине.

— Это все Юрий Юрьевич! — радовалась Вера. — Раньше нам премия шла от вала, а он добился, и теперь мы — по отгрузке.

— Завтра будет вал — исчезнет отгрузка, не угонишься, — скептически заметила Лизавета. — Что-то ты, подруженька, путаешь.

— Ничего не путаю, там, в конторе, приказ, — озорно ответила Вера.

Лизавета застегнула под горлом фуфайку, заправила под платок прядку волос.

— Своими глазами?

— Недоверок, — пробурчала тетя Фрося.

На дворе свирепствовал февраль. Снега не было, поэтому ветрище поднял к небу черное марево — это «метель» на донбассовский манер.

В поле сейчас — страсти-мордасти: тянет через шоссе мелкую обесструктуренную землю. Ветер разорывает пахоту, сдирая верхний слой, сметая его черными сугробами на обочины, в посадки.

Присосалась входная дверь, едва открыла ее Лизавета. Ворвался резкий, обжигающий ветер.

— Надень-ка фуфайку, пар костей не ломит, — сказала развеселившейся Вере Наташа.

— Если бы не твоя «гидросоль», кайловали бы мы сейчас «пик тети Фроси». Верно, девчонки? — радовалась Вера.

— Чем тешишься? — удивилась тетя Фрося. — Работу отнимают! Изменились условия, изменится и зарплата, тут уж нормировщик учтет.

— А что он учтет? Я — машинист крана. Мое дело — грейферовать известь и соль. А я бралась за отбойный молоток. Так это ж на общественных началах.

Вернулась Лизавета. Прикрывает рот рукавичкой от ветра.

— Девчонки! Премия по десять процентов. С чего бы? Кончилась четвертая категория, пошла третья. В приказе так и написано: «Оператору отделения химводоочистки Е. Ф. Куренной — восемнадцать рублей». Отобрали у тебя, Фрося, высокое звание — «разнорабочий».

Куренная верит и не верит.

— А я, признаюсь, девчонки, расставшись с лопатой-то, затосковала по настоящей работе, — призналась тетя Фрося. — Считаю, без малого четверть века с «подруженькой». Бывало, лягу спать — и словно в теплую купель нырнула. А теперь ворочаешься-ворочаешься, все чего-то не хватает, нудятся руки, нудится спина. На мово ненаглядного начала ворчать, чего отродясь не было. Не-ет, — философствовала тетя Фрося, — мне нужна рабочая работа, вот наладит Прохоровна свою «гидросоль», я с химводоочисткой расстанусь.

— Куда это ты сбежишь? — удивилась Вера Уварова. — Химводоочистка — крайний край.

— Э-э, не скажи, Верушка! Есть еще скраповый, где готовят железный лом для мартенов. На худой конец — в «Зеленстрой»: буду сажать цветочки, копать в земле.

— А помните, девчонки, — завела разговор Лизавета, — мы думали, на Руфимовиче мир клином сошелся. Тужили... Что же теперь будет? А плясун-то наш — башковитый мужик. Помяните мое слово, не засидится он на водоснабжении, заберут куда-нибудь в контору. Вы знаете, что он сейчас делает? Торгует клепанбыковский гарнитур на трубы для «гидросоли». Прохоровна, нужны трубы для второй очереди? А у мартеновцев труб в избытке. Вот и решил Юрий Юрьевич махнуть. Когда еще построят нам новую контору! А в кабинете начальника мартеновского цеха нашему гарнитуру как раз и место.

Не по себе Наташе от этой весте. Что-то деляческое, противное ее натуре... Конечно, трубы для «гидросоли» нужны, без труб не подашь ни воду, ни воздух... Но добывать их таким торгашеским образом!

— Прохоровна, Юрий Юрьевич тебя ждет, — сообщила Лизавета. — Доставь, грит, мне под ясные очи заместителя начальника цеха, я с ней буду совет держать, как пофасонистее премию раздать, чтобы цеху всю оставшуюся жизнь помнилось.

У Лизаветы вот так сразу и не поймешь, где она шутит, где серьезно... Конечно, Смычок уж сотворит торжество из первой премии, сделать из мухи слона он умеет. А причина налицо.

Впрочем, Наташа понимает, что она к Смычку несправедлива. Живет в ней некая обида. А на кого обижаться за ту дурацкую ночь, когда не работал Донецкий аэропорт? На самую себя...

* * *

Как оживала «гидросоль»?

Пришло три вагона из Славянска. Не полувагоны с открытым верхом, то есть без крышки, а настоящие вагоны, в каких положено возить соль. Сухая. Тетя Фрося заявила:

— Первый вагон — мой.

Воткнула свою подруженьку-лопату с заеложенной до блеска ручкой в белую стенку, и... потекла из вагона по желобу на транс-

портер крупка. Зашлепал шнек. Засопело, оживая, детище сменного инженера Натальи Пахомовой.

Вера Уварова восхитилась:

— Умереть можно!

У Лизаветы в руках оказалась припасенная заранее бутылка шампанского. Хрясь ею об угол резервуара!

— Ура-а! Жить нашей «гидросоли» сто лет!

Настроение у всех озорное, дурашливое. Верка Уварова обнимается с Лизаветой. Глеба обняла и расцеловала.

— А меня? — смеется Смычок. — Я что, рыжий?

Верка застеснялась было, покраснела. Лизавета подошла к Смычку, осмотрела его со всех сторон.

— Рыжий! В крапинку. А рыжие — по моей части. Верунька, считай! — И Смычка в самые губы.

Вера, как на свадьбе молодым, торопливо считала:

— Раз-два-три-четыре-пять...

— Лизавета, уймись! — упрекнула тетя Фрося подругу. — Озоруешь, как девчонка. А на пенсию собираешься.

— А чего мне на пенсии делать? — отозвалась озорно Лизавета. — Мух кормить? Луки Степаныча у меня нет, сынов не нарожала. Завод мне — дом и утеха. Здесь и ноги протяну, на смене, и похоронят Воинову за профсоюзный кошт.

— Берись-ка лучше за лопату да забирайся во второй вагон, — посоветовала тетя Фрося.

— Юрий Юрьевич, заказывайте тепловоз, через два часа вагоны можно будет забирать! — пообещала Лизавета.

К концу смены вагоны действительно были пустыми. Вера Уварова даже подмела их веником.

— Умереть можно! Что же мне теперь остается? Грейферовать известь. И все.

— Без настоящей работы потеряешь фигуру, и Петька разлюбит, — прокомментировала Лизавета.

На душе у всех — праздник.

По такому случаю в мастерской у слесарей на скорую руку накрыли стол.

— Юрий Юрьевич угощает за свои кровные, — сообщила Лизавета, взявшая на себя роль виночерпия. — Печеная картошка, соленые огурчики и сало — производства тети Фроси.

Смычок поднял стакан:

— За то, чтобы сдать «подруженьку» тети Фроси в музей. В одном институте соорудили комбайн для подбора сыпучих грузов. Небольшая, верткая штучка. Видел. На шести надувных колесах. Каждое крутится самостоятельно в какую надо сторону, так что в любом углу вагона развернется. Пообещали мне дать на испытание вместе с конструктором. Никто другой пока этой верткой штуковиной управлять не умеет.

— Юрий Юрьевич, вы золотой руководитель! Вам от бабьего племени тройное «ура»! — выразила Лизавета всеобщее восхищение новым начальником цеха. Но Лизавета была бы не Лизаветой, если бы тут же не подсыпала яду. Подняла стакан с пузырившимся напитком. Притворно вздохнула: — В рабочем помещении. В рабочее время. Ай, ай, ай. А доведаются в парткоме?

— Вы люди серьезные. Верю. Особенно вам, Елизавета Ивановна. Не подведете, — спокойно сказал Смычок.

Но пить он больше уже не стал, сославшись на дела, ушел.

— Нам больше достанется, — рассмеялась Лизавета.

И с этого момента она стала называть Смычка за глаза Юрочкой. А с ее легкой руки — и остальные. Нового начальника цеха признали по всем статьям, в него поверили: свой мужик.

После сабантуйчика Наташа с Глебом бродили по городу. Маршрут ими был изучен во времена прошлых прогулок. Часам к восьми вечера добрались до Глеба.

...Сидели на кухне, разделенные узеньким столиком. Хмельные без вина. Глеб целовал ее руки, лежавшие на столе. Он был нежен и молчалив. Вот так покойно, благостно Наташе никогда не было.

А если это состояние окрыленности и есть ТО, самое Главное чувство?

— Ну что мы мучаем друг друга? — воскликнула она. — Я, что ли, буду говорить за тебя «люблю»?

И он послушно, как ученик, повторил:

— Люблю.

...Это было ее счастье. Вне времени и пространства...

Наконец ей захотелось взглянуть на часы, но было как-то неудобно. Он понял ее и сказал:

— Четверть первого.

Он умел угадывать ее мысли, чувства, упреждать ее поступки. Раньше это настораживало и даже отпугивало ее. Отныне стало потребностью.

— Мама Нина, поди, разыскивает меня по всем моргам, — оправдала она свою невольную встревоженность.

Он встал, подошел к телефону. Наташа не сомневалась, что он набирает ее домашний телефон. Может, надо было запротестовать? Но она сжалась в комочек и молчала.

— Нина Ивановна? Извините за беспокойство. Мы сдали «гидросоль», и у нас — праздник. Наталья Прохоровна задержится, вы не беспокойтесь.

Он выслушал маму Нину и ответил на ее вопрос:

— Кедрач Глеб Игнатьевич. Она сама, если необходимо, позвонит позже. Нет-нет, она в полном здравии. — И повесил трубку.

Какое-то время оба молчали, скованные чувством неловкости.

— Напишу завтра Клавдии письмо, попрошу «волю».

— А если не согласится?

— Ей развод нужен не менее, чем мне: от второго брака у нее дочь.

— А почему она до сих пор не поставила вопрос о... свободе?

— Не знаю. Не интересовался.

— Эх, Глеб Игнатьевич, прикладываешь к женским поступкам свою, мужскую мерку. Не интересовался, как ей там живется. Не сожалеет ли о случившемся? А может, она не спешит получать от тебя волю на всякий случай?

— Что за чушь?

— В жизни все может быть... Женщина — это тысяча и одна загадка. Случается и такое: живет с одним, сохнет о другом, замуж выходит за третьего, изменяет с четвертым, а успокаивается с пятым.

— Я тебя не понимаю.

— А куда проще. Ты, сытый и довольный, звонишь посреди ночи матери твоей партнерши: «В морги не звоните, ее там пока нет. Мы тут загудели на радостях — есть причина». Нина Ивановна спросила:

«Кого благодарить за столь исчерпывающую информацию?» Ты ответил: «Кедрача Глеба Игнатьевича». Мама Нина задает наводящий вопрос: «А что, она сама-то позвонить не может? Почему по поручению, как на свадьбе Наполеона?» Мама Нина не сказала: «В стельку». Она человек интеллигентный. Но ты ее понял и успокоил: «Нет, пока она еще в здравии». И чтобы не последовало новых вопросов, повесил трубку. Что после этого подумает о своей дочери нервная впечатлительная женщина?

Глеб растерялся, сбитый с панталыку обвинением.

— Нехорошо подумает мама Нина о своей дочери и будет права, — досказала Наташа.

Глеб вновь снял трубку. Наташа остановила его:

— Какую дополнительную информацию ты намерен сообщить Нине Ивановне, которая сейчас обсуждает со своим горячо любимым супругом создавшуюся ситуацию?

— Что я люблю тебя, что мы любим друг друга и ты сейчас у меня.

— Блестящая идея! — с солидной долей скепсиса воскликнула Наташа. — Проще и надежнее упрятать будущую тещу в дом «хи-хи» и не придумашь. Но даже если этого в ближайшие полчаса не случится, все равно ваше имя в доме Пахомовых будет предано анафеме.

Не набрав номера, Глеб положил телефонную трубку на рычаг.

— А что же делать?

— Есть смысл вначале изучить нравы и обычаи, заведенные Ниной Ивановной в семье профессора Пахомова. Однажды изобретенные, эти обычаи незыблемы, нарушение их карается отлучением. А пока суть да дело — надо найти рациональный способ доставить Натулечку под ясны очи родителей.

— Такси?

— Не исключено.

* * *

Вскоре Глеб побывал в юридической консультации, и адвокат помог ему написать заявление о разводе.

— Дело, по существу, формальное, — заверил его юрист. — У вашей бывшей супруги ребенок во втором браке. Нужно лишь ее письменное согласие.

Письмо к Клавдии в Ростов-на-Дону ушло.

Глеб не стал дожидаться ответа. Однажды, когда Наташа была во вторую смену, он при полном параде, с букетом роз, пожаловал к Нине Ивановне на переговоры.

Глеб никогда не рассказывал Наташе о том унижении, через которое его провела Нина Ивановна.

Она оставила его одного в гостиной, а сама, извинившись, ушла переодеваться. Вернувшись, заявила, что вести серьезный разговор о судьбе дочери без Прохора Николаевича она не может.

Сидели часа два, ждали, когда вернется глава дома. Нина Ивановна настояла, чтобы муж принял ванну и оделся «для торжества». И только после этого сообщила Прохору Николаевичу о цели визита Глеба Игнатьевича.

Диалог состоялся чрезвычайно обидный для мужского достоинства претендента.

— Нынче как-то уж так повелось, что родителей извещают «после того»... А мы с Прохором Николаевичем поклонники старых основ морали. Но не будем об этом. Мы с вами, Глеб Игнатьевич, знакомы крайне бегло. Посему разрешите несколько чисто анкетных вопросов. Какой институт и когда вы закончили? Напомните.

— У меня — индустриальный техникум. Пятнадцать лет тому.

В ответ короткое, эмоциональное: «М-да!»

— И кем вы работаете, если не секрет?

— Нет, не секрет: бригадиром бригады слесарей цеха четвертой категории. — Глеб кипел, но сдерживал себя.

— Весьма почетная специальность. Рабочий — это звучит гордо. Награды, почетные звания у нас в стране кому? Рабочему. А, простите, сколько вам лет?

— Тридцать пять.

— Хочется надеяться, — язвила мама Нина при хмуром Прохоре Николаевиче, — что вы нормальный мужчина, следовательно, к этому времени успели обзавестись семьей или хотя бы подругой...

— Бывшая моя жена три года тому назад нашла свое счастье в Ростове, у нее есть ребенок.

— А у вас? Совместные дети?

— Сын. В пятом классе.

— А как он относится к вашей идее осчастливить его новой мамой?

— Надеюсь, что со временем привыкнет к Наталье Прохоровне и полюбит ее.

— А пока?

Глеб вынужден был промолчать, вспоминая, как восстал Шурка против Наташи в первый же день ее появления в их доме.

— Вот вы, Глеб Игнатьевич, и ответили на свой же вопрос: «Наше мнение о вашем предложении...» У вас пока что еще немало личных проблем, которые требуют своего решения. И потом, не буду кривить душой, скажу прямо: вы не единственный претендент на руку нашей с Прохором Николаевичем дочери. Я не хочу говорить предосудительно о вашей специальности. Вы, по отзывам, человек весьма одаренный в своей области, но согласитесь, что «профессор» и «доктор» в семье профессора и доктора технических наук звучит более привычно, чем «бригадир слесарей».

— Благодарю за наглядный урок, — поклонился Глеб и вышел.

О своем свидании с Ниной Ивановной он Наташе даже не обмолвился. Мама Нина о посещении Глеба Игнатьевича Натулечке-красотулечке — ни слова. Даже Прохор Николаевич, глубоко осудивший свою дражайшую «за дурацкий балаган, в котором ему была представлена роль глухонемого попугая», ни о чем не заикнулся дочери.

Наташа о случившемся начала догадываться много времени спустя. Глеб как-то чертыхнулся и обозвал свою Клавдию нелестными словами: «Чего она тянет с согласием на развод! И без того выходит, что я виноват на все четыре стороны!»

Одна сторона — Наташа, вторая — Клавдия, третья — сам Глеб. А четвертая? Конечно, мама Нина.

Но как бы то ни было, Нина Ивановна держала строгий нейтралитет.

* * *

С Глебом Наташе спокойно. Он обладал удивительной способностью умиротворять. Уходили тревоги, наливавшие днем душу ядовитой обидой и злостью, отступали в неведение разные «пуццо-

лановые трагедии», «бригады братьев-алкоголиков», которые могут безнаказанно издеваться над тобою, даже выцветали радости вроде такой: «Ваша статья в журнале «Водоснабжение и промышленная канализация» отмечена на летучке в редакции как одна из лучших в номере».

Где-то там, в неведомом прошлом, может, в эпохе неандертальцев, оставалась мама Нина с ее тяжелой любовью к чаду, отец с его вечными рассказами: «А вода в жизни человека...» Наступали сумерки, они с Глебом чаевничали на кухоньке, разделенные узеньким столиком. Шурка в такое время занимается в комнате отца, превращенной в мастерскую: скрипуче трет напильником по визгливой железке и воняет на весь дом канифолью. Если Наташа пришла к Глебу в гости, Шурка уединяется в отцовской комнате — это его молчаливое «фе» отцовой подруге.

И все-таки на душе у Наташи в такие мгновения — мир.

Оказывается, можно, не проронив ни слова, сказать очень многое. Сидит молчун. Смотрит на нее посветлевшими от добрых чувств глазами и... всю ее понимает, каждое ее желание, каждую ее мысль.

Мама Нина делает вид, что такого человека как Глеб Кедрач в природе не существует. Приходит дочь домой ночевать — и ладно. Задерживается? На то и работа...

* * *

Нет, все-таки несправедлива Наташа к Смычку. Сидит за большим, недавно реставрированным письменным столом человек, одетый безупречно. Темный, приличествующий рабочему месту костюм: этакое августовское ночное небо, по которому промчалась из небытия в безвестность звезда, оставив после себя едва видимый угасающий след. А рубашки и галстуки Смычок всегда умел выбирать соответственно. Выбрит до бархатистой основы. В маленьких глазах живет строгость молодого руководителя, которому не успела приесться его хлопотная неблагодарная работа.

Какой сыроежкой выглядел по сравнению со Смычком Глеб, сидевший на стуле за маленьким столиком, прижавшимся к огромному письменному. В просторной куртке из серого солдатского

сукна — спецовка для работников горячих цехов, — в неизменных джинсах.

Увидел Наташу, заулыбался застенчиво, готовый встать ей на встречу, предложить свое место. Чтобы он этого не сделал, Наташа быстро подошла ко второму стулу за маленьким столиком и плюхнулась на него:

— Вы меня приглашали, Юрий Юрьевич?

— Да. Вот мы с парторгом решили посоветоваться с вами по кадровому вопросу. Наш цех должен передать на стан «3200», на водоснабжение десять человек. От вашей смены предлагаются двое. Как вы смотрите на Решетняк? Молодая. Пошлют ее на курсы. Будет оператором. Перспектива — шестой разряд, зарплата до двухсот пятидесяти плюс премия.

Полоснула по сердцу острая тоска: Вера Уварова, «своя» еще со школьной скамьи. Наташа так и не может привыкнуть к ее новой фамилии: «Уварова да Уварова», а та уже пятый год замужем — Решетняк.

— Кандидатура — вполне, — коротко ответила Наташа.

— А Воинову — начальником смены. Вначале тоже на курсы. Затем на монтаж.

Это было полной неожиданностью. Нет, Наташа никак не могла представить себе Лизавету в роли начальника смены на объекте, где будет властвовать автоматика.

— У нее за плечами техникум и огромный рабочий опыт. Признаюсь, я чувствую себя перед Воиновой в каком-то долгу, будто виноват за все ее несчастья, — вел свое Смычок. — Убежден, ДМЗ потерял в ее лице талантливого руководителя. Поддержать бы ее в свое время, возможно, сейчас она уже была бы начальником цеха. И неплохим начальником.

Наташа невольно глянула на Смычка. Подивилась смелости его суждений. «А что, характера Лизавете не занимать!»

— Но согласится ли она?

— А это уже наша с вами задача подобрать кадры, подготовить их.

Глеб улыбнулся, расцвел добротой.

— Я с нею разговаривал. Сказала: «Не боги горшки обжигают».

Чувствовалось, что у Глеба со Смычком установился внутренний контакт. А почему бы ему не установиться? За полгода под «чутким руководством» Смычка цех явно изменился в лучшую сторону. Похоронен «пик имени тети Фроси», шламоотстойники перестали смахивать на старое болото, на очереди второй резервуар «гидросоли», замахнулся Смычок и на заводскую ледоделку, которую, говорят, капитально не ремонтировали чуть ли не с сотворения мира. Контору, смахивающую на тифозный барак времен великой разрухи, привели в божеский вид. И рабочие, и начальство поверили в нового начальника водоснабжения: цеху изменили категорию, дали премию...

Нет, напрасно Наташа так относится к Смычку: человек как человек и еще составит кому-то личное счастье.

— Наталья Прохоровна, теперь о вас. Составляем резерв руководителей. У нас с парторгом единое мнение: записываем вас на должность начальника цеха. Как вы на это смотрите?

Наташа вспомнила Мозжухина, разговор с ним по поводу аспирантуры с нового учебного года. Но в общем-то предложение ей польстило, правда, оно было полной неожиданностью. В отношениях с начальником цеха Ю. Ю. Смычком начальник смены Н. П. Пахомова была сухо официальной и сдержанной. Встретятся, вот как сейчас, по службе, все в Наташе настороже. Невольно ждет от кандидата технических наук какого-нибудь «финта».

В старые добрые времена у Юрочки была в ходу осточертевшая ей шутка: «Ты моя скрипка, я твой смычок». Но ушли в безвозвратное прошлое музыкальные сравнения, нынче в ее восприятии смычок происходил уже от другого слова: «смыкать» — постоянно дергать.

В общем, предложение Смычка не только польстило, но и смутило. В извинение за дурные мысли о Юрии Юрьевиче сказать бы: «Спасибо за доверие!» Но живет в бабе черт; в Наташе — полный чертячий комплект: с дородной грудастой чертихой и выводком голопузых чертенят. Сказала свое «спасибо», сказала. Но как? Молча, театрально поклонилась. Ее охватило сомнение в бескорыстии предложения: «А может, «резерв» — ловкий ход Глеба? Хочет привязать ее к заводу, то есть держать поближе к себе? А аспирантура...»

Но эти мысли были оскорбительными для Глеба: он ее понимал до мелочей, у них никогда не было двух мнений по главным пунктам жизни, в теоретические изыскания они и не углублялись: все было ясно и понятно без лишних слов.

— Вы же знаете, Юрий Юрьевич, я подаю в аспирантуру...

— Есть и заочная, — напомнил Смычок.

Наташа хотела знать, что думает по этому поводу Глеб. Но он полуотвернулся, давая возможность решать сложную проблему самой. А ей нужен был его взгляд, который бы что-то подсказал.

— Я подумую.

Это было и отказом, и согласием. Смычок же воспринял как согласие.

— Будущему начальнику цеха необходимо пройти школу работы с людьми. Руководитель, — продолжал вдохновенно Юрий Юрьевич, — для которого рабочий всего лишь привод к механизму, долго не наруководит. Можно навести палочную дисциплину, но все равно выйдут из повиновения: таков уж наш национальный характер. Человека надо заинтересовать, понять его душу, откликнуться на его нужды. Этому учит партийная работа. Вот годика два потрудитесь в нашем партбюро под руководством такого опытного парторга как Глеб Игнатьевич... На отчетно-выборном я лично предложу вашу кандидатуру.

Все правильно, все по делу, но как-то «заформалинено» до тошноты. Умеет же Юрий Юрьевич пускать пыль в глаза значимостью того, что он говорит, что делает.

Наташа подумала, что разговор закончен, можно будет уйти, избавиться от морального пресса, под который загонял ее Смычок при каждой встрече. Но вот она перехватила неожиданно острый взгляд Глеба и поняла, что он встревожен за нее, и, конечно, причина не в том, что ее запишут в резерв. Резерв пишут каждый год на все руководящие должности: от председателя Совмина до низового начальника. Да только нет жесткого расписания: кого, когда и куда выдвинут; прежде чем кому-либо «оказать доверие», надо освободить место. А за теплое место держатся обычно цепко... Впрочем, должность начальника цеха водоснабжения на ДМЗ теплой не назовешь ни в прямом, ни в переносном смысле. Сплошные

хлопоты: цех огромный, в основе его жизни больше, пожалуй, стихийного начала, текучесть кадров — рекордная на заводе.

— Наталья Прохоровна, мы с Глебом Игнатьевичем поздравляем вас с большой удачей: трубы для «гидросоли», считайте, у нас в кармане, — доложил Смычок.

— Махнули на мебельный гарнитур индийской работы, — с невольным осуждением сказала Наташа.

Смычок тонко уловил ее настроение:

— Да вот посоветовались мы тут с парторгом, с председателем месткома... Контору нам построят в лучшем случае года через четыре. И лежало бы добро по коридорам и ящикам, усложняя всем жизнь. И потом, гарнитур могли простым распоряжением передать мартеповцам. А тут мы с вами... производим перераспределение неликвидов в пределах завода — законная операция. Зато цех с трубами.

Смычок в душе гордился таким «гешефтом». Наташа понимала, что начальник цеха поступил по-хозяйски, но признавать за Смычком право действовать в аналогичных условиях так и впредь, не могла: «делячество».

— Мы с вами прекрасно знаем, что шнек — дело ненадежное. Нужен пневмовзмучиватель. И паротрасса не помешает, — вел свое Смычок. — Пар в зимнее время — спасение для химводоочистки. Да и летом... Ледоделку до конца не размораживали уже сто лет. А мы лед даем для сатураторных, для столовых. Санстанция своими требованиями к ледоделке нас уже замучила. И справедливо.

Наташа чувствовала, что от нее чего-то ждут. Оба: и Глеб, и Смычок. Втягивают в какую-то огромную «бяку» вроде «гидросоли». Смычок ходит вокруг да около, ожидая, что она возьмет на себя инициативу. Глеб вообще помалкивает. Но оба — в заговоре против нее. Она решила играть в молчанку. Хватит с нее инициатив, по младости — по глупости надела на себя хомут по имени «гидросоль». За два года кое-чему научилась.

Видя, что она не догадывается, Глеб заговорил:

— Наталья Прохоровна, в интересах производства надо бы... — он долго подбирал удобные слова и тщательно их выверял, прежде чем породить. Он знал взрывоопасный характер сменного инженера

Пахомовой. — Надо бы провести две... контрразведывательные операции. Мы уже прикидывали и так и эдак, кроме вас — некому, а вам это по плечу.

Наташа вначале было насторожилась: «Какие еще такие контрразведывательные операции?» Но тут же пообмякла: Глеб ее просил о чем-то очень важном... Смычок откровенно назвать все вещи своими именами не может.

— Ну-ну, договаривайте...

Глеб обрадовался. Вздохнул с облегчением: деловой разговор начался.

— За траншеей дело не станет: Юрий Юрьевич договорился с главным инженером ЖБИ, и тот пообещал экскаватор, вот чуть потеплеет...

Завод железобетонных изделий — сосед, через забор от химводоочистки. Рабочие ЖБИ вечно бегали на «пермутит» с ведрами по воду помыть голову. Вода в Донецке жесткая, вымоешь голову — и яичный шампунь не помощник, встанут волосы дыбом, как на бездомном кобеле, который всю зиму ночевал на свалке. Наверняка Смычок пообещал главному инженеру ЖБИ «вкинуть водогончик на три четверти дюйма» и подвести к соседской бане пермутированную воду.

Нужна точка подключения к водоснабжению стана «3200». Ее может дать только главный проектировщик этой системы Мозжухин. И только в том случае, если очень-очень этого захочет.

Глеб замолчал, ожидая реакции Наташи.

Мозжухин в ее представлении был образцом человеческого благородства и мужского достоинства. И втягивать его в какие-то цирковые номера по режиссуре Смычка...

— Глеб Игнатьевич, — резко ответила она. — Вы превосходно знаете мои отношения с Виталием Никифоровичем... И спекулировать на добром отношении друга (да, она в тот момент уверовала: именно друга, надежного, но незаслуженно забытого ею)... Вы меня извините!

— Не кипятись, — мягко сказал Глеб. — Никакая это не спекуляция, это — служение идее. Необходимо довести до ума твою «гидросоль».

— Давайте поставим этот вопрос официально перед руководством завода.

— Люди делятся на две категории, — в несвойственной манере виновато заговорил Смычок. — Одни ищут возможности выйти из трудного положения, другие — как оправдаться в сложной ситуации. И в этом плане давать наряды вышестоящим — метод не из самых популярных. Вот когда сделал все, что должен был и мог, а дело с мертвой точки не сдвинулось, тогда иди к начальству и требуй. Но обоснуй свое требование... У руководства завода и без нас хлопот полон рот. Вся четверка — генеральный директор, главный, партком и профсоюз — ездил в Москву, добивалась «регулировки» годового плана. Он не совпадает с нынешними возможностями ДМЗ на пятьсот тысяч тонн. А у министерства — своя задача, генеральная: наращивать выпуск металла в стране. А тут — снижение плана на полмиллиона тонн! И это в то время, когда пускают стан «3200». Ему на прокорм надо три миллиона тонн. Где взять? Своего — и половины нет...

Наташе стало неудобно за горячность. «И в самом деле...»

— Поговорить с Мозжухиным — не наша идея, — пояснил Глеб. — Так посоветовал Перпетуум Мобиле. Мы — к нему, дескать, повоздействуйте на Мозжухина — ваш любимый ученик, — а он говорит: «Мое влияние на Виталия ни в какое сравнение не идет с влиянием на него Натальи Прохоровны. Если она попросит, Мозжухин точку подключения для нас найдет и подскажет, как грамотно оформить проект подключения».

Перпетуум Мобиле — великий ценитель заводских талантов... Откуда ему знать, что доктор технических наук Мозжухин может, а чего не может...

Оказывается, знал старый профессор.

— Но получить точку подключения — это всего четверть дела, — с воодушевлением заговорил Смычок, почувствовав, что внутреннее сопротивление сменного инженера Пахомовой ослабло. — Надо прикинуть проект подключения и добиться от профессора Пахомова и главного инженера Оборощина, чтобы они узаконили наш замысел, то есть включили его в схему генеральной реконструкции водоснабжения завода. А генеральная схема уже утверждена во всех инстанциях.

Наташа превосходно помнила свои разногласия с отцом в оценке значения «гидросоли» для судьбы водоснабжения: не модернизировать, а списывать в утиль. «А вот в главном инженере Оборوشине поддержку можно найти!» — подумала Наташа.

— Но как же это я все сделаю? — удивилась она.

— Надо уловить подходящий момент, — предложил Смычок решение социальной задачи из серии квадратуры круга. — Прохор Николаевич — натура эмоциональная, у него все зависит от настроения. К примеру, на рыбалке после удачного лова, особенно, если он в этом виде соревнования одолел Оборوشина... И важно, чтобы при разговоре присутствовал Оборوشин. Начать издали...

— Но они на рыбалку с собою никого не берут! — воскликнула Наташа. — И я ни разу не просилась. А тут вдруг заявление: «Хочу!»

— Так это и превосходно, что никогда не просились! Значит, и отказа не получали! Я поделюсь с вами опытом «наведения мостов» с профессором Пахомовым. Я столько прочитал литературы по рыболовству, что могу консультировать даже министра рыбной промышленности. Эту литературу я передам вам, и вы сразу же Прохора Николаевича знанием тонкостей подледного лова. И напроситесь. А уж на рыбалке... — советовал Смычок.

Все это претило Наташе. «Подлаживаться таким образом к родному отцу!» Одно дело аспирант Смычок, который налаживал контакты с руководителем диссертации... Тут и «рыбные» приемы годятся. А Наташе чего лебезить?

* * *

Трубку подняла теща Виталия Никифоровича — Майя Дмитриевна. В иное время в подобной ситуации Наташа могла не отозваться на приветливое: «Алло, квартира Виталия Никифоровича слушает!» Почему? Казалось бы, и стесняться нет причин, ничего предосудительного в ее давней дружбе с Виталием Никифоровичем никогда не было. И это превосходно знала его теща. В институтские времена, да и позже, особенно после того, как они вместе с Виталием Никифоровичем побывали на могиле его жены и сына, Наташа забегала к Мозжухину на десять-пятнадцать минут. По студенческой глупой традиции (как же, я современная, эмансипированная,

а посему «бабушкины» — что прилично для девушки, а что не очень, — меня отягощают, лишают чувства свободы, закрепощают), одним словом, выкурить приличную сигарету... В присутствии Глеба она себе таких вольностей позволить не могла, да и не хотела, поэтому, когда их отношения определились, положила начатую пачку сигарет на полку, за книги, и с тех пор — ни-ни! Взбалмошная юность со всеми ее причудами осталась в прошлом.

Конечно, какие-то сдерживающие центры в присутствии Виталия Никифоровича в ней срабатывали. Но бравада брала верх. А он был идеальным собеседником, с которым можно посекретничать, пожаловаться на негармоничность устройства мира, посплетничать, как с закадычной подругой. У Наташи подруг нет и никогда не было. Она с детства была «своим парнем» во всех мальчишеских компаниях.

Виталию Никифоровичу в собеседники нужна была сверстница Тани, пусть не подруга, но хорошо знавшая ее, умеющая различать все оттенки его горя и понимать горечь его утраты, а при случае способная посидеть рядом, просто помолчать.

Первой о том, что у Мозжухина в больнице умерла жена, узнала мама Нина. Разволновалась, расстроилась. Она поручила Наташе сообщить Виталию Никифоровичу о случившемся.

Дверь оказалась незапертой. Осторожно постучала, никто не отозвался, и она вошла.

— Майя Дмитриевна! — негромко окликнула Наташа, проникаясь невольной робостью. И хотя она знала, что умершая еще в больнице, в морге, переступила порог ее квартиры присмирившая, растерявшаяся. Хотелось стать незаметнее, превратиться в комарика или в былиночку, чтобы улететь, оторваться от злой необходимости сообщить уважаемому тобой человеку недобрую весть.

Смерть подавляет нас своей неумолимостью и кажущейся нелепостью. Живому познать ее не дано, поэтому мы воспринимаем ее как тайну, о которой случайно доведались, и хотя в суть ее до конца не проникли, но, соприкоснувшись, приняли на себя тяжкую, придавившую нас ответственность.

— Майи Дмитриевны нет, — ответил Виталий Никифорович из глубины квартиры.

Наташа едва узнала, вернее, угадала столь знакомый голос Мозжухина: простудился человек, осип и обессилел, языком пошевелить не может.

Входит Наташа и видит: сидит Виталий Никифорович на диване. В ее восприятии он всегда был высоким, поджарым (неплохой игрок в теннис), а тут его словно бы попытались согнуть в колесо, не сумели и в досаде оставили благоую затею. Острые локти поставил на колени, согнутые прямым углом, держит большой цветной портрет веселой молодой женщины в пестрой, как радуга после дождя, кофточке. И беззвучно, скупно, по-мужски плачет. Он поднял на вошедшую глаза и не смахнул слезы, они катились горошина за горошиной.

Наташа в тот момент с невольным облегчением подумала: «Уже знает...» Это избавило ее от необходимости сообщать о трагедии.

Виталий Никифорович воспринял появление Наташи как нечто вполне естественное. Показал ей портрет и сказал:

— Все надеялась, что удастся спасти Никифора. И вот ни ее, ни его... — Он предложил стул. — Присаживайтесь, Наталья Прохорова... Майя Дмитриевна пошла ту-да... — и показала сухим длинным пальцем куда-то вверх. — А я пока здесь... Жду. — Он принял у Наташи плащ (на улице моросил мелкий дождь), отнес его на вешалку.

А когда вернулся, вновь взял в руки портрет и долго молча изучал его. И если бы Виталий Никифорович вооружился лупой и принялся исследовать портрет с ее помощью, Наташа в тот момент не удивилась бы.

— Все-таки как жестоко обходится природа с человеком, — заговорил Виталий Никифорович. — Дала разум, научила любить... Только для того, чтобы потом заставить страдать.

Ему надо было излить душу, облегчить это невыносимое страдание.

— Я был неисправимым холостяком... Мне все казалось, что я еще не созрел для семейных обязанностей. Хотелось попрочнее встать на ноги. Писал кандидатскую. Защищался... Потом искал тему для докторской. А шесть лет тому прихожу второго сентября на первую лекцию к новобранцам... увидел Таню. Она сидела за третьим столом

в левом ряду... И понял... Но три года лишь присматривался к ней. И постепенно начал осознавать, что моя жизнь без нее ущербна, что мне ее не хватает постоянно... Но и это еще не была любовь. А вот когда я понял, что и она мучается одиночеством и исцелить ее от этой муки могу лишь только я...

Первого сентября у студентов должен был начаться трудовой семестр... Таня перешла на четвертый курс. Я убедил себя, что тридцатого августа она обязательно заглянет на кафедру... Почувствует, что я жду ее... И решил: если придет, сделаю предложение. Она открыла дверь в одиннадцать ноль две... Я и говорю: «Танюша, познакомьте меня с вашей мамой». Отец у нее погиб в шахте... Это я знал. Она разволновалась, разругалась и отвечает: «Виталий Никифорович, я тоже вас люблю». Вот так просто все и решилось. Не правда ли, забавно?

Уж так забавно, что плакать хочется. И чтобы как-то спрятать непрошенные слезы, Наташа вдруг сказала:

— Можно я закурю?

Он засуетился, вернее, оживился:

— Пожалуйста, пожалуйста, — и с присущей ему предупредительностью принес пепельницу — большую хрустальную розетку, — курите, я открою форточку.

Наташе стало неудобно: она знала, что Мозжухин не курит и всегда ворчал на Славку Бобренка, когда тот, бывало, нагло глотает дыма до зеленых чертиков и жалуется: «Голова болит».

Но она все-таки закурила. Глядя на нее, Виталий Никифорович сказал:

— Жаль, что вы с Таней не подружились, она у меня умница, как вы, только из домоседок: в театр или в филармонию — и то лишь по моему настоянию.

Они не могли подружиться: совершенно разные по характеру. У Наташи в друзьях — ребята, те, которые «с мозгой», как Славка Бобренко, а мозжухинская Таня — тихоня, этакая кошечка, которая любила чтобы ее ласкали, а она мурлыкала. И потом — разница в годах: Наташа была на втором курсе, когда Таня заканчивала. Молодая, красивая жена молодого ученого, всеобщего любимца,

умницы Мозжухина, была в институте на особом положении — она ни на одно мгновение не забывала, кто ее муж, и умела тонко, без нажима напомнить об этом другим. Вот такой же, очень обособленной, не способной слиться с какой-либо компанией она приходила с Виталием Никифоровичем в гости к Пахомовым на вечера, организованные мамой Ниной. У Наташи ни разу не появилось желания как-то сблизиться с этой высокой, под стать своему Виталию Никифоровичу, стройной женщиной.

Майя Дмитриевна из больницы не возвращалась, и Наташа сидела у Мозжухина, не смея уйти. А тот все рассказывал и рассказывал о своей Тане и о сыне Никифоре. И вот что примечательно — Наташу все это волновало, ее поражала глубокая привязанность Виталия Никифоровича даже... к сыну, который умер, не успев родиться.

— Я — детдомовский, — пояснил он. — Отец мой — ученый, полярник, погиб в годы войны в экспедиции. Говорят, их поселок на каком-то острове расстреляла гитлеровская подводная лодка. А мать умерла в Ленинграде с голоду. И попал я в детдом под Новосибирском. В группе — сорок желторотиков. И знаете, о чем мы мечтали в те голодные годы? О братишках и сестренках. Мы их выдумывали, рассказывали друг другу истории о тех, кто нас любил и защищал. Я часто рисовал многоэтажный дом, а по дорожке к нему за старшей сестренкой идет целый выводок малышей. И... мы с Таней решили, что у нас будет много детей... А Никифор... ушел и ее за собой увел.

Позже, когда поостыли все хлопоты и заботы, связанные с похоронами, и Виталий Никифорович с головой отдался работе, чтобы забыться, его теща сказала Наташе: «Ты, девочка, ангел-хранитель при Виталии Никифоровиче: не твоя бы чуткость, не твое умение отвлекать его, он бы тронуться мог. Ты к нам почаще заходи».

Заходила, но вначале, до посещения кладбища, довольно редко. Правда, они виделись в институте. Ну и так иногда... Рядом с Виталием Никифоровичем Наташу осеяла легкость. Он умел слушать девичью болтовню. Ему можно было пожаловаться на то, что в продаже нет импортного вельвета (а всего бы метр двадцать на брюки), поругать институтские порядки, особенно «эту дурацкую затею со стройотрядом, где тебя обжуживают, как плантатор негра»,

а он ответит: «Вы — будущие руководители, должны на своей шкуре понять, как дорога рабочему трудовая копейка». Он был убежден, что страна наша — многих языков и великих культур, поэтому не к лицу нам ходить за океан по песни, но при всем при том он как знаток разбирался в «самой свежей» записи ансамбля «Бони М». А во время такого разговора-спора, когда один говорит-говорит-говорит, а второй в основном слушает, улыбается и лишь изредка ухитряется вставить слово-другое и тем самым поддерживает разговор, можно было выкурить сигарету — порок, преданный мамой Ниной анафеме.

Виталий Никифорович приходил к Пахомовым посидеть в кругу друзей, посмотреть с Прохором Николаевичем футбол или хоккей, посумерничать с мамой Ниной за чашечкой кофе. Иногда он звонил Наташе:

— В «Кристалле» в пятнадцать десять американский широкоформатный «Каскадеры»...

Это значило, что билеты уже куплены и он ее ждет.

Виталий Никифорович в знак особого доверия и расположения подарил Наташе экземпляр своей докторской диссертации, отпечатанный на машинке.

— Читать не обязательно. Но мне приятно осознавать, что моя работа — у вас.

Но она прочитала. Мозжухин — умница.

Чего не хватает человечеству в наше время для полного счастья? Соединенным Штатам Америки — уравновешенного президента и... арабской нефти. Китаю — противозачаточных средств (ежегодный прирост населения у них равен нашим потерям за четыре года Отечественной войны. И всех надо накормить, дать хотя бы по цинковке и горсти риса). Африке не хватает плодородной земли (пустыня ежегодно отбирает десятки тысяч гектаров) и дождей; Южной Америке — свободы. Обсели ее диктаторы и диктаторишки. Всем вместе — взаимопонимания и желания помочь терпящему бедствие. Глобальные проблемы можно раздробить, так сказать, «очеловечить», и тогда выяснится, что владелец «Жигулей» мечтает, чтобы бензин марки «А-93» был с доставкой на дом, доменщику снится «кокс по норме», горняку — рудничная стойка по габаритам,

лесовику — вагоны для вывозки деловой древесины, домохозяйке — мясо и творог по потребности. А вот по глубокому убеждению доцента Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института Ве-эН Мозжухина, главная проблема, которую предстоит решить человечеству, — это сохранение пресной воды. Уже пятнадцать лет ученые мужи и писатели с помощью «Литературной газеты» ведут яростный спор о том, на каком расстоянии от берега проходит граница деструкции экологических систем Байкала, в результате сброса ядовитых отходов БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) и СЦКК (Селенгинский целлюлозно-картонажный комбинат), а бумажно-химическое и лесное начальство и их подопечные с помощью Госплана продолжают экспериментировать над уникальной сокровищницей, ну как в той басне у дедушки Крылова: «А Васька слушает да ест». А Байкал, будущий пресноводный океан, берега которого расширяются по несколько миллиметров в год, — уникальное природное явление. Он хранит восемьдесят процентов запасов пресной воды у нас в стране и пятую часть мировых запасов.

Лет через тридцать имена этих экспериментаторов будут преданы анафеме как современных герастратов, их могилы огорожат колючей проволокой и поставят трафаретку: «Здесь похоронен преступно недалёковидный руководитель, который убил Воду».

Мозжухин предлагает экономить каждую каплю уже сегодня. На ДМЗ строят прокатный стан «3200» и два огромных электросталеплавильных цеха (ЭСПЦ) — необходимо дать им замкнутый водный цикл. Все подсчитано, учтено, спроектировано. Осталось внедрить в жизнь. Словом, дело за временем.

Наташа читала докторскую диссертацию Виталия Никифоровича с особым вниманием еще и потому, что ей в ту пору предстояло работать над дипломным проектом «гидросоль». В обоснование темы она взяла немало из того, что вычитала в докторской диссертации Мозжухина.

* * *

Майя Дмитриевна не одобряла студенческих замашек Наташи, но, зная, сколь привязан к ней сам Виталий Никифорович, встречала обычно гостью тепло и приветливо. Если Виталия Никифоровича не было, все равно, бывало, уговорит «заскочить на минутку». У нее обязательно найдется какая-нибудь «печенюшка» — кусок пирога с яблоками или самодельное печенье, которое тает во рту. Налет чашечку пахучего чая с лимоном или кофе приготовит.

А вот поди ж ты, не может сейчас Наташа спросить Майю Дмитриевну: «А где Виталий Никифорович?» Видимо, до сих пор мешала память о царственно-величественной Татьяне — дочери Майи Дмитриевны. Но скорее всего жило в ней сейчас чувство вины перед домом Мозжухина: она же там не была тысячу лет!

Майя Дмитриевна узнала ее по... молчанию.

— Наташенька, это ты? Виталий Никифорович пошел в детсад. Это у нас во дворе. Там праздник. День Советской армии. Он скоро вернется. Заходи. Ты откуда звонишь?

Наташа знала необычное хобби Мозжухина. Бывший детдомовец, он присох сердцем к детскому садику, размещавшемуся во дворе его дома. Двухэтажное здание ядовито-кирпичного цвета было обнесено чугунным забором. В пятидесятых годах процветала кампания по борьбе с заборами, которые якобы отгораживали от жителей города скверы, бульвары и парки. И вот какой-то авторитетный папаша распорядился, чтобы один из таких осужденных на уничтожение старинного чугунного литья заборов «подарили» детскому саду «Космонавты». Красиво.

Майя Дмитриевна не однажды рассказывала Наташе: «Эксплуатируют его в этом саду без зазрения совести. Главный Дед Мороз на Новый год — Виталий Никифорович. Клумбу вскопать и цветы посадить, качели, испорченные лоботрясами-соседями, которые по вечерам пьянствуют в тихом месте, отремонтировать... Звонят нашему профессору, как дворнику дяде Ване, который у них на ставке: «Придите!»

* * *

Наташа поднялась на пятый этаж в лифте. Кабина знакомая, приметная, на одной из стенок черной краской написано: «Валька дура!» А чуть ниже — желтоватым суриком, явно при помощи пальца, дан исчерпывающий ответ: «Сам дурак».

Тяжелая дверь лифта захлопнулась за Наташей с яростным лязгом. На площадке появилась маленькая, сутуловатая старушка в домашнем сатиновом халате, расписанном махровыми рыжими георгинами. Поверх халата — передник из сурового полотна, по которому вышиты крестиком какие-то цветочки неизвестной науке породы. Майя Дмитриевна поцеловала гостью в щеку.

Дом Пахомовых, возможно, был одним из самых хлебосольных в Донецке. Но у мамы Нины все затевалось с каким-то далеко идущим умыслом, в основе которого лежал тезис: «Принять нужного человека». А «нужные» — это и друзья Натулечки, и сотрудники кафедры профессора Пахомова, да и все остальные, кто переступал порог дома мамы Нины. И все-таки умысел в гостеприимстве мамы Нины был всегда.

А Майя Дмитриевна была хлебосольна в силу своей натуры. Не могла она быть другой — и все тут. Хлопотуша. Потчует яствами и воркует при этом.

Своим характером заботливой наседки теща Мозжухина напоминала Наташе покойную бабу Полю, беззаботные и тем счастливые времена безвозвратно ушедшего детства.

— Малина. Лесная, — угощала Майя Дмитриевна. — Сестра из Костромы прислала. У них в сусанинских лесах малина в этом году удалась на славу. Варенье из черной смородины тоже богато витаминами. Виталий Никифорович ведерко с базара принес. Но я люблю из крыжовничка с абрикосом.

Выставляет Майя Дмитриевна сладости, потчует ими гостью и вдруг ни с того ни с сего говорит:

— Выходила бы ты за Виталика замуж. Родила бы ему сына... На первый случай и дочь хороша. Говорят же: вначале — няньку, а потом — ляльку.

У Наташи от удивления — глаза на лоб. Уж такого предложения от мозжухинской тещи она никак не ожидала. А та продолжала:

— Вконец извелся... По вечерам запрется в кабинете, словно бы работает, а уж я знаю — Танины фотокарточки перебирает... Но не может человек жить одной памятью. Он в кабинете мучается, а я — по эту сторону дверей. За полночь. Выходит: с лица черен, глаза красные, словно в курной избе ночь просидел. А как-то звонит мне заведующая детсадиком: «Майя Дмитриевна, не заболел ли наш Виталий Никифорович? Гляжу: вцепился руками в ограду, прилип к чугунным финтифлюшкам лбом и на детей тарашится. А глаза стеклянные». Да я и сама примечаю. Приходят вечером за детьми. Они на площадочке играют. Ее из нашей кухни хорошо видно. Виталик может час простоять и не шелохнется: все смотрит, все смотрит... Выходи за него замуж, — вновь сказала Майя Дмитриевна. — Он тебя уважает. Позвонишь, бывало, что идешь, — засуетится, заволнуется, словно мальчишка.

«Выходи замуж...» Будто это так же просто, как снять с ноги надоевший за день сапог. У нее есть Глеб... Положит он руки на ее плечи, чуть придавит их тяжестью, и вмиг все в Наташе растает. Может ли вот так, чисто по-мужски, взволновать ее Виталий Никифорович? У него мягкие, очень женственные руки. Ему бы хирургом быть, делал бы безболезненные операции.

Жена... Какой бы была Наташа Мозжухину? Любовь уважением не заменишь. Вот на шее у Лизаветы тюремный художник выколол: «Не целуй бес любви». Без любви. Холодная. Чужая. Мужчина эту отчужденность почувствует сразу. А сердцу, а телу нужно тепло. Продрогнет душа, тоскующая о тепле. Другие в подобной ситуации ищут «тепло» на берегах южных морей, по курортам. Виталий Никифорович — не из тех. Просто он уйдет мыслями и чувствами в прошлое, где жива была его Татьяна. Память наша устроена так, что она отфильтровывает мелкие обиды, оставляя нам лишь радости. А иногда и наоборот.

...С нелюбимым — в постель. Он еще не прикоснулся к твоему телу, а тебя уже передергивает. Бр-р... Жить с нелюбимым, есть его хлеб, испеченный наполовину с горечью. Налетят сердце желчью. А ты терпи! Делай вид, что в твоей семье мир и благополучие. Иначе неприлично. А по глубокому убеждению Наташи, так называемый брак по расчету — узаконенная проституция.

Хотя в наш рационалистический век... Опубликовал же «Крокодил» поговорку-перевертыш: «Если нет возможности выйти по расчету, выходят по любви». И эту мерзость быстро подхватили: она прищлась по вкусу. Значит, для ее появления созрел морально-психологический климат, иначе она бы умерла на корню.

Выскочить замуж с отчаяния — один разлюбил, так назло ему — такой девичий фортель Наташа понять может. Но понять — это еще не значит одобрить. «Назло». Кому? Тому, кого рядом с тобою уже нет? А может, назло самой себе. Тебе жить с нелюбимым! Или развод исправит глупость, сотворенную в отчаянии?

Даже если бы у Наташи не было Глеба... Она уважает Виталия Никифоровича. И принести ему разочарование в смысле жизни...

— Майя Дмитриевна, вы же сами сказали: уважает. Для семейной жизни этого недостаточно. А любит Виталий Никифорович Таню. И только Таню.

У старушки навернулись слезы, она промокнула их передником, по суровому полю которого болгарским крестиком были вышиты неведомые ботаникам цветы.

* * *

Виталий Никифорович из детского садика пришел взволнованный, чем-то расстроенный. Протягивает Наташе две красные гвоздики и высоконогую белую калу. Подарок от детишек «дяде Виталику», поняла Наташа. Говорят, подарки не передариваются, но не принять цветы...

На помощь пришла Майя Дмитриевна:

— Пока суд да дело, поставлю в вазу, чтобы не завяли. Зимний цветок хлипкий, нет в нем жизненной силы летнего.

Виталий Никифорович взял руку Наташи в свои руки. Нежные, легкие ладошки-лодочки. Холодные. С мороза? Нет, пожалуй, они у него всегда были какие-то прохладные. Может, оттого что он их отморозил в детстве?

— Вы меня совсем забыли, — с невольной нежностью в голосе заметил он. И это был не упрек, а сожаление. — Но сегодня я вас ждал.

«Провидец», — подивилась Наташа.

Как в добрые старые времена, он понял ее немой вопрос.

— Позвонил Христофор Павлович, предупредил: «Подойдет к тебе надежда нашего завода Наталья Прохоровна, не обижай ее». Ну и вкратце: дескать, нужна точка для подключения водогона и паротрассы...

Наташа в душе была благодарна профессору Мобелю: ей теперь не надо ничего объяснять Виталию Никифоровичу.

В тот вечер к теме «Завод, химводоочистка, водогон и паропровод» они практически не возвращались, только в самом конце... Состоялось мирное чаепитие. В кондитерском арсенале Майи Дмитриевны оказался яблочный пирог, который она ухитрилась «сварганить» всего за полчаса. Наташа по привычке, уже забытой ею, уместилась в широком удобном кресле с мягкими подлокотниками, забравшись туда с ногами. Виталий Никифорович заботливо укрыл ее ноги серым, в круглую клетку пледом. Приятно было чувствовать вот такую постоянную заботу о себе. Здесь, у Мозжухина, она была центром мироздания, вокруг которого крутилась вся жизнь дома. У Глеба ее положение было иным — хозяйка, которая добровольно берет на себя все хлопоты о любимом и о его сыне. Быть повелительницей, которой все подчиняются беспрекословно, тоже приятно... Тешит женское самолюбие.

Квартира Глеба это... прихожая огромного мира, который здесь только начинался, а продолжался за стенами дома. Завод проникал сюда, в кабинет, превращенный в радиослесарную мастерскую. Здесь Глеб мастерил, изобретал, подгонял свои задумки.

Трехкомнатная квартира Мозжухина в доме со специальной улучшенной планировкой, рационально заполненная мебельными гарнитурами для гостиной, для спальни, для кухни, представлялась Наташе тихим островом в океане бурь. Не в таком ли мирке, ограниченном со всех сторон неодолимым морем, жил на необитаемом острове Робинзон Крузо, пока судьба не подкинула ему Пятницу? Здесь было тихо, спокойно, уютно. И как ни странно, привычно, будто и вчера Наташа вот так же сидела, забравшись с ногами в удобное кресло, заботливо укрытая мягким, теплым даже на ощупь пледом, и позавчера... И неделю тому, и месяц. Ей не надо было

поспешно изобретать тему для беседы, разговор протекал неторопливо, в дружеских тонах о давно знакомом, привычном, о ней самой.

— Ученому, да и руководителю, для успеха в жизни нужна биография. Возьмите за образец Прохора Николаевича, — говорил убаюкивающе Мозжухин, присоседившийся рядом с Наташей на диване. — В колхозе он — рационализатор. Затем — фронт. Потом — учеба. Работа на заводе. Защита кандидатской. Институт. Защита докторской. Естественно, что всеми фибрами души наш профессор связан с производством. Это и принесло им с Оборощиным Государственную премию.

Виталий Никифорович протянул Наташе газету «Правда». Страницка была расписана цветными чернилами: выделены абзацы красным, зеленым...

— Не читали Постановления ЦК и Совмина «О приближении науки к производству»? У нас в институте кое-кто всполошился: «Загонят теперь на заводы».

Наташа невольно подумала о Смычке: как он вписался в жизнь завода! Нужнейший человек! А в институте аспирант Смычок ничем особенным, кроме организаторских способностей, не выделялся.

— О Бобренке я не говорю, — продолжал Мозжухин. — Это особый талант. Ему бы еще чуточку побольше организованности, а то уж очень расхристан: за сто дел берется одновременно. Но у него золотые руки! А голова! Он уже сейчас столько выдает разных идей, что обработать их и внедрить может только специальное научно-производственное объединение... Вы, Наталья Прохоровна, много склада человек. Настойчивая, целеустремленная. И очень умно делаете свою биографию. Да, да, биографию надо делать. После института — завод. Вы пришли туда не праздным наблюдателем! Одобряю. И если хотите — горжусь вами.

Мозжухин вновь встал с дивана. Мимходом поправил уголок пледа на Наташиных ногах. Сходил к себе в кабинет, вернулся с красной папкой в руках: «Личное дело аспирантки Пахомовой».

— Напишем сейчас автобиографию, перечень опубликованных работ. У меня собрано три! Может, я где-то недосчитался?

Все верно: три публикации. По «Утенку»-насосу, способному работать в тяжелых средах, — в соавторстве. Впрочем, возился с

«Утенком» Славка Бобренюк, а она только подала идею «сифона», изготовила чистовой вариант чертежей да написала статью. Но все равно считается публикация.

Может быть, ей надо бы сказать Виталию Никифоровичу, что на заводе ее внесли в список резерва на должность начальника цеха? И она не отказалась. А теперь заполняет листок по учету кадров и пишет заявление с просьбой принять ее в аспирантуру. На станции.

«Измена! Измена делу...» Но где ее «дело»? В химводоочистке? Или на кафедре у Мозжухина?

...Если можно бы было прожить две жизни... Или вычленив из себя еще одну Наташу Пахомову... Одна на заводе, с Глебом... Другая закопалась бы в книги, в чужие открытия и находки.

И вдруг ей в голову пришла совершенно дурацкая мысль: если бы на пятом курсе она вышла замуж за Виталия Никифоровича, то не познала бы той любви, которая вяжет ее с Глебом.

Она закрыла папку, завязала тесемки. Все документы были уже оформлены. Осталось принести фотокарточку.

— Оставьте все это пока... у себя дома, не несите в институт, — попросила Наташа. И вышло это у нее жалобно-жалобно... — Позже, туда к маю, мы еще вернемся к этому разговору.

Милый Виталий Никифорович! Как он ее понимал! С полуслова! С полунамека!

Сразу же сменил тему:

— Вы как собираетесь вести водогон и паротрассу? Как говорят на Украине, «навпростець»? Через заводскую свалку металлолома?

— Ну да, — подивилась Наташа.

— Отношение автора проекта генеральной реконструкции водоснабжения ДМЗ профессора Пахомова к модернизации старой химводоочистки мы с вами превосходно знаем: враг отчаянный и давний. Но у вашего проекта подключить химводоочистку к системе водоснабжения стана «3200» есть более авторитетный противник: время. По генеральному проекту на месте склада металлолома в будущей пятилетке начнут строить новый конверторный цех. Стану «3200» нужен металл особой марки — с ниобиевыми добавками. Осваиваем север. И это не на одно столетие. Северу нужен металл,

который не боится шестидесятиградусных морозов. Так что если хотите заручиться поддержкой Оборوشина, ставьте вопрос о временке: мол, пока не развернулись работы по реконструкции водоснабжения старых цехов ДМЗ.

«Так вот что имел в виду Перпетуум Мобиле, когда говорил Смычку и Глебу, что Мозжухин подскажет, как грамотно оформить проект подключения!»

«Временка!» «Гидросоль» — первый резервуар, временное сооружение. И второй — тоже временка. Да и сама Наташа на заводе, выходит, временная (в красной папке — документы будущей аспирантки Пахомовой).

А что же у нее в жизни постоянное?

ДВЕ ЖЕНЫ ГЛЕБА КЕДРАЧА

К Глебу вернулась находившаяся четыре года в бегах жена Клавдия.

Собственно, дело не в том, что к мужу-рохле возвратилась погулявшая всласть супруга. Красавица Клавдия не первая и не последняя, кто, очутившись в критической ситуации, пытается вернуться в прошлое, теша себя надеждой, что там для нее сохраняется нагретое некогда местечко, дело было в том, КАК на все отреагировал Глеб.

Ох уж эти современные, так называемые му-у-уж-чины. Неспроста же в популярной секслитературе их «величают» партнерами!

Наташа понимала, что ее мысли несправедливы и злы, но избавиться от них, от таких, не было возможности да, пожалуй, и желания.

* * *

Они с Глебом сумерничали в крохотной кухоньке, где порядочную люстру не повесишь, иначе вечно будешь кланяться ей, пока однажды по забывчивости не боднешь. Протянуть бы Наташе руку — и вот он, выключатель. Это можно сделать, не вставая с табуретки, лишь повернись, и мир сразу приобретет привычные очертания.

Погожий вечер размыл весеннюю четкость линий. Небо над Донецком было пегим от звезд-веснушек. Весенний день угасает медленно, без охоты уступал место сумеркам. В такую пору включать свет как-то непривычно, хотя без света неудобно.

Поужинали. Мысли все — на лирический лад. Говорить ни о чем не хочется. Да и не нужны в такие моменты слова.

Шурка, как всегда в присутствии Наташи, чадил канифолью, что-то мастерил в отцовской комнате, превращенной в холостяцкое убежище, то есть в нечто среднее между книгохранилищем на три с половиной тысячи книг, радиомастерской, складом слесаря-монтажника и общежитием на одну раскладушку. Глеб все грозился купить гарнитур: мол, как только подадим заявление в ЗАГС... Но где бы он его поставил? Что бы убрал? Радиомастерскую? Библиотеку?

Во второй комнате бурчал телевизор: там ходили по мукам две сестры и их мужья — шла ...надцатая серия новой разрекламированной, но растянутой до безобразия, а потому скучной экранизации романа Алексея Толстова.

У Наташи родилась ленивая мыслишка: «Выключить бы... Все равно никто не смотрит». Но жаль было убаюкивающей неги, которая обязательно исчезнет, как только что-то изменится, зажгут свет, выключат телевизор, который никто не смотрит, перестанет пахнуть пряной канифолью, кто-то заговорит слишком громко...

...Глеб, сидевший по другую сторону узенького, специально сработанного для этой кухоньки «столешка», грел в сильных шершавых ладонях крохотную руку Наташи и в который раз уговаривал «отрегулировать взаимоотношения».

— Уж слишком неопределенно для нашего возраста.

Наташе вдруг стало весело, захотелось поозоровать. Она мысленно приклеила Глебу тощенькую бородку курянина времен Куликовской битвы, а себя обрядила в черный платок затворницы монастырского скита Корженецкой глухомани. И осталась довольна: по-детски, взახлеб, рассмеялась — охает, ахает, продохнуть не может, выступили на глазах бессильные слезы..

— Де-де-д Глеб... Ба-ба-бка Наталка! Ох! Хо! Ха-ха...

Когда тебе двадцать пятый, а ему тридцать шестой, «дед» и «бабка» — звучит вполне оптимистично.

— Сестренку бы Шурке. Заказывал...

При этих словах Наташа начала успокаиваться. Глянула на дверной проем (дверь сняли, она мешала холодильнику). Темный коридор перерезала светлая полоска, пробившаяся из комнаты. «Шура...»

Каких трудов стоило Наташе хоть как-то приручить умного и упрямого Глебова сына!

Мужчина убежден, что он сам выбирает себе спутницу жизни. Величайшее зазнайство, впасть в которое современному представителю сильного пола помогает достопочтенный отец психоанализа, специалист по женским истериям, первооткрыватель обезболивающего действия кокаина и религии Зигмунд Фрейд. Он убеждал всех (а себя, наверно, прежде всего): «Мужчина — это «я так хочу». Женщина — это: «он так хочет». Может, на заре славного двадцатого века так оно и было! Но в эпоху нравственно-творческой революции, когда женщина побывала в космосе... Женщина только делает вид, что ей доставляет особое удовольствие выполнять все его дурацкие капризы и идиотские прихоти, для нее это всего лишь прием, с помощью которого приводят к повиновению дикого слона. Вначале сделай вид, что он повелитель, пусть потешит свое тщеславие... А уж потом...

В общем, женщина всегда заранее знает, чего она хочет.

Вот так четко Наташа, конечно, не мыслила, когда впервые пришла в дом Глеба, но она знала, что сын для него — это вся жизнь и кое-что сверх этого. Как-то Глеб рассказал ей свою отцовскую одиссею.

«Шурка сделал из меня крупного специалиста-диагностика в области гинекологии. Я готовился перейти в новое качественное состояние: стать папашей. Благоверная передает записку: «Умру сегодня ночью». Справиться, почему именно ночью, а не вечером или утром, было не у кого, и я помчался в больницу. Молодые отцы — они все слегка чокнутые. Для объяснения им ситуации в приемной сидела специальная нянечка. Я — к ней, показываю записку: «Паника или действительно трудный случай?» Она отвечает: «Человека родить — это тебе не чурку от старой стойки отпилить».

А тут еще к какой-то покойнице пришли: операции не выдержала, троих малых осиротила. Слезы. Молитвы. Проклятья. Ну и у меня настроение соответствующее. В восемнадцать ноль-ноль нянечка закончила свой рабочий день, и окошечко закрылось до утра. И вот я возле той амбразуры заступаю на отцовское дежурство. Где-то до полуночи все было тихо и пристойно. А потом за окошечком забегали, засуетились... Кто-то через весь коридор кричит: «Умирает! За профессором машину послали?!» У меня в мозгах — записочка: «Умру сегодня ночью». Стучу в окошечко. Бегаю вокруг больницы! Ни у кого ничего не доведаться... Как под стенами осажденного девичьего монастыря. Словом, к утру — ни жив ни мертв. Голова, как шаманский бубен, во рту — словно в старом, затерявшемся в пустыне колодце. Вышел из «отцовской» приемной на улицу, думаю: подышу, покурю. Гляжу, а возле служебного входа — еще один ненормальный: в шлепанцах на босу ногу, в полосатых брюках, зарос рыженькой щетиной, как вечный узник. Спрашиваю: «Ты что? Из дурдома драпанул или тоже, — киваю на роддом, — прибавления ждешь?» А он мне: «Ты — Кедрач? Ну, заходи». Заводит в кабинет, открывает холодильник. Достает бутылку. Наливает две мензурки и ломает пополам бутерброд: кусок хлеба с больничной котлетой. «За две спасенные жизни!» — предлагает. Оказывается, сам профессор — Владимир Гаврилович Чайка».

Чайка! Какая жительница Донецка не мечтала попасть к этому кудеснику хотя бы на консультацию. Мама Нина, считавшая, что для поддержания здоровья и тонуса женщине после сорока (особенно, если она уже ближе к пятидесяти) нужны внимательный муж (в смысле мужчина) и опытный гинеколог, несмотря на феноменальную настойчивость и широкий круг связей жены профессора Пахомова, так и не смогла добиться, чтобы Владимир Гаврилович стал ее личным ангелом-хранителем.

...А слесарь-сантехник Кедрач со знаменитым медицинским светилом — приятели.

Глеб продолжал рассказывать о том, как они познакомились с Чайкой: «Он мне про то, как умирала молодая мать и погибал сын... С подробностями... А я, будто на проповеди у турецкого муллы:

ничегошеньки не понимаю. Прошу: «Владимир Гаврилович, переведите на русский или украинский». Он спрашивает: «Ты и в самом деле такой специалист по КИПам, как расхваливала жена?!» Отшучиваюсь: «Она мне пообещала: «Умру ночью» А со страху иная такого наговорит!» — «Не играй блазня, не довелось бы петь Лазаря! — отвечает профессор. — Твоя Клавдия двумя ногами была на том свете. Врачу-акушеру позарез нужен прибор, который позволил бы следить сразу за давлением, пульсом, температурой и мышечным напряжением». Отвечаю: «Все живое дает свои импульсы. Уловить их, рассортировать, измерить — и готов прибор». Только ведь сказка-то скоро сказывается, а дело порою так усложняется. Более года мы с профессором колдовали над этим прибором. Он уже было открестился: «Черт с ним, может, время такому не приспело». А я как вспомню, что Шурка вместе с матерью мог погибнуть, не родившись, только из-за того, что такого прибора у врачей нет, и начинаю все по новой. Особенно у меня не «выплясывалась» шкала мышечного напряжения. Где отметить красную черту, за которой для будущей матери начинается катастрофа? Все-таки в конце концов определились. ВДНХ отметила нас серебряной медалью. Брюссель оказался щедрее — за тот же прибор на международном симпозиуме гинекологов не пожалели «золота». Затем мы с профессором приловчились определять основные данные одновременно и у матери, и у будущего ребенка. Так появился «ДЧ-8» — «Датчик Чайки восьмиканальный». Профессор ездил с ним в Японию. Привез «золото»... конечно, не той пробы, которое годится на зубы».

...Словом, Наташа с самого начала понимала, что ей обязательно надо завоевывать доверие настроенного к ней враждебно мальчишки.

— Я для него за все это время так и не стала своей, — призналась она.

Но женщина остается женщиной... Сказано было с грустью, с невольным сожалением и все-таки не без тайного желания, чтобы тебе возразили, попытались разубедить, доказать, что ты не права. Мол, конечно, мамой он тебя пока еще не зовет и при твоём появлении на шею не бросается. В лучшем случае пробурчит «здрасьте» в ответ на приветствие... И... и... все-таки ты слишком сгущаешь

краски: ребенок привыкает. Уже не дерзит и не говорит, что у него есть «настоящая мама».

Но Глеб ее ни в чем не разубеждал — на эту тему уже говорено и переговорено, чего воду в ступе толочь! А как хочется женщине, чтобы каждую минуту, каждое мгновение она видела, чувствовала, словом, убеждалась в том, что ее любят, она — нужна, без нее не могут обойтись.

— Приходящую он еще терпит, — тихо, задумчиво сказала Наташа. — А у матери (или у мачехи, как хочешь называй) обязанности иные, чем у подруги, иная мера ответственности...

— Мальчишка признает твои права, как только поселимся под одной крышей. В цирк он с тобой уже ходит.

— Однажды, когда отца вызвали на завод, а билеты пропадали. Подождем... С годик, что ли... Освоим мы с ним кино, научимся смотреть вместе мультфильмы и... однажды он покажет тете Наташе дневник...

Наташе приятен такой разговор. Он похож на спортивную игру по строгим правилам. А результат — боевая ничья, как говорят радио- и телекомментаторы.

Наташа, собираясь восвояси, бывало, скажет:

— А собственно, чем ты, Кедрач, недоволен? Подруга или, как ты выражаешься, приходящая жена — это необременительно и вполне современно,

— Я, Наталья Прохоровна, старомоден, — ответил невесело он. — В трамвае на площадке не целуюсь на зависть ворчливым пенсионеркам, лавсану предпочитаю шевиот, четырехкомнатной квартире с паркетными полами на девятом этаже — скромный домишко, под окнами которого хотя бы пара яблонь и несколько абрикос. Запах свежевспаханной земли мне милее самых роскошных французских духов.

— А живешь ты, Кедрач, в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома, и перед твоими окнами не яблони, а сарай для угля... Как в грузинском тосте: «У меня есть желание купить машину «Волга», но нет возможности; у меня есть возможность купить велосипед, но нет желания. Так выпьем, — она приподняла

чашку с остывшим чаем и легонечко чокнулась с чашкой Глеба, — за то, чтобы наши возможности соответствовали нашим желаниям...»

— А может, наоборот? — спросил Глеб. — Чтобы наши желания соответствовали нашим возможностям?

Она не согласилась:

— Эх, Глеб Кедрач, был ты минималистом, таким и отойдешь в мир иной. А по мне, если пить, то только водку, а любить, так уж красотку, обругать, так сгоряча, рубануть, так уж сплеча. Ну, назови твою самую заветную мечту. Совершенно несбыточную, сверхфантастическую! Хочешь, я подарю тебе все реки Земли, моря, озера, вечные льды, подземные океаны, дожди и росы с туманами?! Ты будешь Главным Хранителем Воды и Генерал-Водолеем! Но с одним условием: для нашего металлургического завода — росу с горных лугов. И — по потребности! Чтобы к химводоочистке никаких претензий не было даже со стороны деда Овечки.

В ответ на заманчивое предложение Наташи принять пост Генерал-Водолея Глеб едва приметно покачал головой: «Нет!» В уголках рта собралась гармошка мелких морщин. Глаза погрустнели.

— За это я тебя и люблю, — сказал он, чуть прикасаясь пухлыми добрыми губами к ее руке.

— За что же именно? — она потребовала уточнения.

— За щедрость. Я бы принял назначение Генерал-Водолеем и дал бы ДМЗ росу с альпийских лугов вместо пермутитной воды. Но в таком случае химводоочистку закроют за ненадобностью, а заместитель начальника цеха эН-Пе Пахомова останется без работы.

Наташа уже не на шутку рассердилась:

— Ну можешь ты хоть однажды подняться в облака на крыльях мечты?

— А мне и на земле хорошо, — возразил он не без скрытого смысла. Смотрит на подругу, ждет... Вот вздрогнули готовые схлестнуться густые пахомовские брови, в зеленоватых глазах начали вспыхивать синие зарницы, как в августовском предвечерье, когда степь, ошетилившаяся стерней, затаилась в ожидании грозы и дождя. Но дозреть недоразумению до гнева Глеб не позволил, мягко dokonчил фразу: — Рядом с тобой.

Наташа не приняла предложения о мире.

— Эх, Кедрач, Кедрач! Уж такие твои жизненные вершины низенькие, общедоступные... как городской парк для туристов... Не потому ли одна жена от тебя ушла — не совсем, другая пришла — тоже не совсем.

Второй год они знают друг друга. Наташа ни разу не видела Глеба рассердившимся, обидившимся, возмущенным.

Мудрый человек, который никогда не ошибается потому, что... прежде чем отрезать, он не семь, а десять раз примерит, пересчитает, наметит... и отложит на утро, чтобы вчерашние расчеты хотя бы мельком просмотреть еще раз. Как называют того, кто всегда и во всем, во всякой мелочи прав? Праведником. А праведники — бррр! — это приторно, будто торт с кремом на маргарине «Турист», съеденный натошак.

И вот такого несуразного, порою нудноватого, Наташа все же любила, предпочитая другим. А другие были: серьезные, перспективные... А поди ж ты! Говорят же: любовь зла, полюбишь и козла.

Глеб и сейчас не взорвался, не обиделся на ее недобрые слова, понял, откуда это у нее.

— Нам хочется сыграть в «серединку», и мы ищем партнера, — сказал он так, будто разговаривал с девчушкой-капризулей.

— Хочется! А ты не можешь доставить женщине удовольствие увидеть себя взъерепенившимся. Понимаешь, что баба бесится, сама не зная чего, тебе бы кулаком по столу, да так, чтобы посуда заплясала, и голосом, в котором переливами звучит инструментальная сталь: «Не дури, женщина!»

— А зачем? — удивился он. — И без стали в моем голосе звуковой фон в Донецке выше санитарной нормы.

Он взял ее руку, прижался щекой к ладошке. Наташа успокоилась, как девчушка, которая было потерялась в толчее вокзала, изревелась от страха, от одиночества, а вот мама нашлась, взяла ее на руки, прижала к груди, приголубила... Никто на белом свете не умел так, в одно мгновение, укротить взбеленившуюся Наташу, дать ей отраду, как Глеб. Вся муть в душе осела, словно шлам в отстойнике-осветителе.

В общем-то, такой «взбрык» — это ее реакция на быстротечное время. Десятый час, пора восвояси... И рождается где-то на самом

дне души чувство протеста. Вот сейчас она глянет на часы. Глеб все поймет и поднимется из-за стола. А ему бы — ее в охапку и погрознее: «Никуда не отпущу! И сегодня! И завтра! И во веки вечные!»

Не схватит. Не воспрепятствует. Он пойдет провожать. Есть время — пешком. Это часа полтора. Если засиделись, зачавничались, как сегодня, — на трамвае.

— Демократический вид транспорта, — скажет Глеб, останавливаясь на пустынной остановке, — три копейки — и на другом конце города.

А ей уже осточертела эта его «острота»...

Но в трамвае она вновь успокоится. Сидя рядом, прижмется к его плечу доверчиво, притихнет. А он перехватит руку и начнет ласково поглаживать пальцы. Тут уж Наташа совсем растает. Ехала бы вот так в пустом трамвае по темной окраине рабочего города через заводские и шахтные поселки до конца жизни, только бы Глеб был рядом и теплыми пальцами поглаживал ее холодную руку.

Но у трамваев есть конечные остановки...

В подъезде, перед витой деревянной лестницей, Наташа чмокнет Глеба в щеку чисто по-дружески, скажет: «Пока». И побежит, поспешит... Ладошка, хранящая тепло его губ, — по отполированным дубовым перилам, как ползунок по кривошипу. Вверх! Вверх. И пока она допрыгает до дверей, рука забудет его последний поцелуй.

Когда за Наташей закроется входная дверь, Глеб выйдет на притихшую, безлюдную в эту пору улицу, перейдет на другую сторону и будет ждать на тротуаре, пока кухонное окно не озарится светом.

Наташа специально отодвинет занавеску, чтобы Глеб мог ее видеть. Он прощально поднимет руку и, помахав, легко побежит к трамвайной остановке.

В кухне, на столе, запоздавшую ждет ужин, накрытый скатеркой. Наташа сдернет ее и, откусив яблоко, громко обращаясь к приоткрытой в гостиную двери (далее — комната отца с матерью), скажет: «Спа-си-бо!» — как дети в садике после обеда.

Мама Нина останется довольной. Она ведет с Глебом тайную заочную войну за влияние на дочь. И вот это «спасибо» — признание

одной из ее побед: «Мать остается матерью, сколько бы этих... увлечений не было».

Наташа перенесет к себе в комнату телефон, начнет раздеваться, думая о Глебе: он живет в ней, в ее ощущениях, даже когда его нет рядом.

А если ты его видишь, ощущаешь его дыхание на своей руке, на щеке, на груди, слышишь негромкий умиротворяющий голос, если ждешь встречи с его ласковыми добрыми губами, то зачем о нем думать? Он — реальность. А когда его нет, он — мечта, он тот, о ком тревожатся, тот, будущему свиданию с которым радуются. Он в твоих мыслях, в твоих надеждах. А мечта всегда воспринимается острее действительности, при соприкосновении с нею сердце может почти замереть, а может сорваться в бешеный галоп: сто пятьдесят ударов в минуту, будто ты прошла десятикилометровый кросс и установила мировой рекорд.

В общем, расставшись с Глебом, Наташа начинает чувствовать, что ей чего-то не хватает. Его голоса... Ляжет. Возьмет книгу и все время краешком глаза будет наблюдать за часами, лежащими на пуфе: через тридцать-сорок минут...

Глеб доберется до своей остановки и, если мальчишки-радиолюбители не раскурочили телефон, не выломали мембраны...

Второму звонку прозвенеть она не позволит, рывочком подхватит трубку.

— Спокойной ночи, мой генерал, — скажет с мягкой иронией Глеб.

— Приятных снов и озарения к утру, — в том же озорном тоне ответит Наташа.

После этого она выключит торшер и, завернувшись в одеяло с головой, будет метаться, выкатывая удобное логово, внутренне успокоенная, умиротворенная.

* * *

В тот вечер все было как обычно. Сумерничали, сморенные расслабляющей негой от сознания, что одни во Вселенной (именуемой кухней). Рука — в руке. Он чуть подался вперед, и твоя щека уже чувствует тепло его дыхания. Нет, что ни говорите, но в кро-

хотной (хрущевской) кухоньке есть своя прелесть для влюбленных: она сближает в прямом и переносном смысле...

— Не пойму, что там с Клавдией? — начал Глеб. — Может, ее уже убили?

Он добивался ее согласия на развод, написал несколько писем. Но ни на одно не получил ответа. Не выдержав неизвестности, Глеб послал в Ростов-на-Дону по адресу своей бывшей благоверной телеграмму с оплаченным ответом. Позавчера пришел ответ: «Клавдия Мироновна Кедрач по адресу... (такому-то) не проживает». И какая-то совершенно не понятная подпись.

Столько времени Глеб по вышеназванному адресу посылал Клавдии посылки, а Шурка письма... И вдруг — не проживает.

— Съезжу. Выберу время и махну в Ростов. Нужна ясность, нужно согласие на развод.

Настроенная благодушно, Наташа сказала:

— Давай съездим в мой выходной. Возьму у отца машину... Триста пятьдесят километров — не круг.

Глеб был благодарен ей за понимание его тревоги. Прижался губами к ладошке.

— Ты у меня молодец!

— Скажи еще: «Свой парень!» или «Настоящий мужик!»

— Нет, я, правда...

По ту сторону входной двери (слышимость идеальная) женщина певучим голосом сказала: «Сюда, сюда...» Кто-то что-то поставил. Тяжелое. По лесенке отбили чечетку мужские туфли на каблуках. Внизу, под окнами, хлопнула дверка, взревел мотор, и машина укатила.

Еще ничего сверхъестественного, казалось бы, не произошло... Вот только пальцы Глеба, легонечко накрывшие руку Наташи, лежавшую на столешке, как-то настороженно напряглись и сразу поостыли. И Наташа поняла: «Клавдия».

В следующее мгновение кто-то вставил ключ в замочную скважину, легко, привычно повернул его.

К замку полагается три ключа. Один — у Глеба, второй — у Шурки, который во время нередких вызовов отца на завод оставался хозяином в квартире, а третий — у... Клавдии. Четыре года тому она

поехала на курорт по путевке, которую ей раздобыл через заводской профком муж, да так уже и не вернулась...

Глеб изготовил для Наташи еще один ключ, но она практически не пользовалась им. Если и зайдет без Глеба, то только для того, чтобы несколько минут побыть вместе с Шуриком, как-то приучить строптивного мальчонку к себе, да и самой привыкнуть к обязанностям женщины, которой предстоит заботиться о сыне любимого человека. Но в этом случае она ключом не пользовалась, а звонила. Шура открывал дверь. Наташа буквально врывается в квартиру, не позволяя мальчишке усомниться в ее праве бывать здесь. Лихо здоровалась с ним, подставив открытую ладонь. Шурик хлопал по ней.

— С голоду не помер? — спрашивала она, прорываясь к кухне, где в общем-то и окапывалась.

— Пока жив, — отвечал с отцовской интонацией двенадцатилетний Александр Кедрач.

— Скоро родитель вернется, — растолкует Наташа цель своего визита, доставая из сумки продукты и запихивая их в холодильник. — У него сегодня «запарочка».

— Есть каша, — поясняет Шурка, привыкший к тому, что у отца на хлопотной работе вечно «запарочка».

— А мы пир организуем.

Против пира Шурка ничего не имел: поесть вкусенького... Каких-нибудь слоеных пирожков с мясом или баранью отбивную, в которую вправлено ребрышко, и ты, когда ешь, держишься за него, как за палочку мороженого «Эскимо».

Наташа старалась втянуть неразговорчивого, бирюковатого мальчонку в круг хозяйственных интересов: «Поставь на плиту воду в алюминиевой кастрюле», «Почисти-ка луковицу», «А где наша мясорубка?» И между этим — о школе, правда, не конкретно об уроках, а так, в общем: «Как олимпиада?» Шурка любил математику и увлекался физикой, принимал участие в городских олимпиадах. «Норма», — ответит он отцовой подруге, не пуская, в общем-то, ее в свой сложный внутренний мир.

Мальчишка все время помнил, что у него есть «настоящая мама». Он вытирал пыль с ее портрета, висящего в «ее» (теперь уже его)

комнате над «ее» (теперь уж его) кроватью. Он писал ей письма, поздравляя со всеми праздниками: с Новым годом, Днем Советской армии, с Восьмым марта, с Первым мая, с Днем Победы... Ну, и с днем ее рождения — 28 августа... В ответ получал небольшие посылочки, в основном, со сладостями и игрушками: луноход, работающий от батареек, «стреляющие» автоматы. А в прошлом году, по случаю перехода в шестой класс, — железную дорогу с тремя крохотными зелеными вагончиками и красным электровозом. Луноходы и прочие хитрые игрушки любознательный мальчишка вскоре разбирали на составные части, а вот железную дорогу берег и умножал: копил деньги и покупал вагончики, тепловозы и рельсы. На Новый год, вместо елки, они с отцом на всю квартиру смонтировали железную дорогу и с удовольствием гоняли по ней составы...

Если уж откровенно, то Наташа постоянно чувствовала, что есть на белом свете женщина, которая родила Глебу сына... Не это ли и было одной из причин, почему она так и не отрегулировала до конца свои взаимоотношения с Глебом... не говоря уже о его сыне.

Клавдия... Наташа невзлюбила это имя. Возможно, такова реакция невольной соперницы? Но скажи ей кто-то подобное, возмутилась бы... «Беглая... жена — моя соперница! Три ха-ха!!!»

Себе она объясняла все иначе: Клавдия... Мужское имя. Жесткое, какое-то... лающее: «Клав-клав!» Оно вызывает неприятнейшие ассоциации. Клавдий Нерон — печально знаменитый император, половой маньяк, гомосексуалист, убивший брата Британия, мать Агриппину, двух жен — Октавию и Пoppею Сабину, философа Сенеку, поэта Лукона, писателя-историка Петрония. Он казнил сотни знатных римлян и тысячи рабов... Словом, Клавдий... А тут — К-л-а-в-д-и-я... Нет-нет, никаких сравнений и сопоставлений, простое совпадение имен. Наташа прочитала книгу о Клавдии Нероне, и с тех пор имя императора-садиста и убийцы стало у нее ассоциироваться с человеческой мерзостью. История знает немало примеров, когда имя становится нарицательным. Хам — один из трех сыновей Ноя. Макинтош. Многие ли сейчас еще помнят, что это фамилия шотландского химика, изобретателя непромокаемой ткани?

Словом, Клавдия была еще по ту сторону закрытой двери, она лишь вставила в замочную скважину ключ и повернула его, а Наташа

уже ненавидела эту... даму всеми фибрами души, сознательно и подсознательно, отныне и во веки веков, ненавидела в каждом движении, в каждом вздохе, в любом еще несказанном ею слове. Ненавидела, как может ненавидеть одна женщина другую. У мужчин подобное чувство грубее, примитивнее и дальше «жажды крови» (встретить недруга в темном переулке, «дать ему» или нечто в этом же варианте, в этом плане, в этом духе) не уходит. А для женщины, тонкой натуры, в ненависти к другой — сто тысяч оттенков! Репинская палитра красок, гамма переживаний, достойная великого Чайковского: от телячьего восторга (по поводу) — до глубочайшего уныния (возможно, и безо всякого повода).

И вот дверь открылась. Наташа сидела к ней спиной. Но даже если бы, как Глеб, сидела лицом, то в тот момент все равно ничего бы не увидела: входная дверь была за поворотом, в конце коридора. Наташа услышала, как певучий, с мягким выговором голос сказал:

— Проходи, Леля, проходи...

Глеб встал — нет, пожалуй, вскочил...

Рука вошедшей привычно, по-хозяйски, нащупала в темном коридоре выключатель. Свет ослепляющее ударил по глазам невольной обернувшейся Наташе.

В узеньком коридорчике стояла рослая, статная, красивая... Словом, природа щедро отпустила Клавдии всего, чем славится мать рода человеческого. Даже, пожалуй, кое-что и в запас, как говорится, на вырост. Впрочем, это на вкус Наташи, которая в свои двадцать пять выглядела подростком. А у мужчин своя, специфическая оценка особенностей женской внешности. Большие подвижные карие глаза Клавдии при пышной, уложенной на затылке калачиком косе цвета свежей пшеничной соломы, поражали своей... неожиданностью, привораживали. Это Наташа почувствовала на себе сразу. Густые черные брови — размашистым крылом сокола-сапсана, сочные губы — цвета знаменитого мичуринского гибрида вишни-черешни «ширпотреб черная».

Наташу остро, больно кольнула ревность. «Породистая», — дала она общую оценку бывшей жене Глеба.

И все-таки главным героем вечернего явления была, пожалуй, не красавица Клавдия, а девчушка лет двух с половиной в зебро-

полосатом шерстяном пальтишке. На голове капроновый, в серый горошек бант. Премилая пухляночка: мамини губки-вишенки надула, чуточку удивленная непривычной обстановкой.

— Глебушка, ты дома? — певуче спросила Клавдия, словно бы только что вернулась с работы и не сомневалась: муж на месте (а куда ему деваться), приготовил для уставшей, замученной автобусной давкой жене ванну, добрый ужин с крепким чаем.

Не дожидаясь ответа, Клавдия ловко отцепила ручонку дочери от подола светло-коричневой короткой дубленки и вернулась на лестничную площадку за поклажей.

В узенький коридорчик втянулись один за другим два чемодана. Один ярко-желтый, из фирменного кожзаменителя, зализанный с углов, почти овальный, смахивающий на переносной комод. В таких заграничные туристы возят родственникам из Советского Союза «подарки» (на продажу, конечно). Второй чемоданишко из отечественных, из послевоенных: фибра серо-буро-малинового колера. Уж потаскали его в свое время по пристаням и вокзалам, уж попутешествовал он по трюмам и кормовым палубам, по верхним полкам комбинированных и общих вагонов... Узрев «передвижной комод», Наташа поудивлялась: «Ого! Как говорится, своя ноша не тянет». Но объемы канареечного чемодана насторожили: «По какой надобности пожаловала Клавдия Мироновна? Проведать сына? Не многовато ли подарков? А не сбежала ли она от нового супруга, прихватив нажитое? Похоже. Уж такая, если верить физиономии, виноватая! Глазищи заискивают, как у наблудившей сучонки, три дня тынявшейся по задворкам и подворотням».

«Явилась я... Но я уже не жрица...»

Клавдия выжидающе глядела на Глеба, топтавшегося в дверном проеме сзади Наташи. В карих сочных глазах жила растерянность. Поздняя гостья явно не замечала Наташу, смотрела как-то сквозь нее вдаль, будто бы та была прозрачной крохотной рыбешкой шиндлерией приматурусом, у которой тело — как капля воды, лишь черные глазки приметны. Такое невнимание к себе особе Наташа сочла обидным и унижительным. Вскипела кровь... Водолаз неожиданно всплыл из глубины. Переизбыток азота... Потом кессонная болезнь скрючит пальцы, вывернет в суставах руки-ноги... Но это

потом, позже. А сейчас он всплыл, так как задыхался. Глоток свежего воздуха стоил жизни, и он там, на дне моря, готов был отдать обреченную, обесцененную жизнь за этот глоток.

— Вот я и вернулась, — устало сообщила Клавдия.

Жило в ее словах невольное облегчение (наконец-то отмучилась, ох уж эта проклятая дорога) и милое, невинное извинение: мол, прости, раньше было недосуг, хотя и обещала многократно, как царь Салтан сыну Гвидону, но зато теперь — я здесь.

«Нет, не в гости проведать сына. Окончательно», — поняла Наташа. В душе легкой тенью промелькнуло чувство торжества, дескать, допрыгалась патентованная красавица, пригребла к тому берегу, от которого отчалила.

— Ты уж не сердись, — с подкупающей девичьей наивностью попросила Клавдия Глеба.

Глеб принял от нее зализанный по углам, как яичко, чемодан-комод канареичного цвета и поставил его тут же у ног Клавдии, будто она сама не могла этого сделать.

Вернувшаяся беглянка восприняла такое действие как своеобразное приглашение войти в дом, покинутый ею несколько лет тому назад.

Из отцовской комнаты-мастерской вышел Шура. Ничего-то в этом двенадцатилетнем нескладном (по-украински, пожалуй, точнее — «незграбном») мальчонке не было от породистой красавицы матери, разве что глаза — большие, сочные. Однажды Шурка удивился, и с тех пор это чувство очарования жизнью у него не проходит.

Увидел мать. Застыл на пороге коридорчика любопытствующей синичкой.

— Сашенька... Сыночек! — Клавдия была взволнованна и расстроганна этим свиданием.

Протянула к сыну холеные, показавшиеся Наташе при свете бра розоватыми, почти волшебными, руки. Мать ожидала, что сын бросится к ней в объятия и всем станет ясно (а ей самой прежде всего), что она здесь нужна, что она — желанна. Но Шура, хмурясь, продолжал стоять в дверях сзади Наташи и отца.

Что его удерживало? Стеснялся? В этом возрасте с мальчишками бывает, всякую показную ласку — охи-вздохи-поцелуи — считают

слюнтяйством. А может, он потерял чувство родства с той, которая стояла в коридоре? В его памяти мать жила иной. Все-таки четыре года... Он ее не забывал, писал — правда, в гости не просился, а в разговорах с отцом ни разу не обмолвился о ней. Но, наводя в своей комнате перед праздниками порядок, долго-долго стоял и молча смотрел на ее портрет. Мама... с руками доброй феи, очень нужная, она приходила в снах, нежила и лелеяла. Они вместе летали над домами и улицами, опутанными проводами. А когда он вдруг проваливался в какую-нибудь черную бездну, она обязательно спасала его. И он знал даже там, во сне, что она не позволит ему погибнуть, в самый нужный момент появится и выхватит у бездны. Мама... Та, которая в снах, была мечтой. А сейчас в коридоре стояла настороженная, чувствующая себя виноватой красивая тетя, напоминающая маму. И от этого яростно билось в груди мальчонки сердце. Но тетя была какая-то уж очень непонятная, чужая...

Все пятеро продолжали молчать. Мгновение, другое... Сейчас! Все должно решиться, должны определиться дальнейшие их судьбы!

Мгновения накапливались, складываясь в секунды, долгие, как человеческий век, но никто не смел сдвинуться с места: любое движение, любое слово, даже вздох, даже взгляд нарушили бы хлипкое, неустойчивое противостояние.

Клавдию неизвестность измучила до предела. Она бы, наверное, рухнула тут же в коридоре, не оказись рядом чемодана. Села на него, привлекая к себе удивленную, растерянную девочку, загордилась ею от остальных и... расплакалась. Она не рыдала, она плакала тихо, пристойно, основательно. Хрустальные горошины-слезы, откалиброванные большими немигающими глазами, мерно скатывались вниз и падали на упругий, словно батут, подол платья.

Наташа при виде этих слез почему-то вспомнила, как метизный автомат рубил бесконечный стержень на заготовки для гаек: мерно, неумолимо падали в стальной короб кругляшки...

— Виктор погиб, — сообщила Клавдия сквозь слезы. Но ни в словах, ни в тоне, каким это было сказано, трагедии не прозвучало, лишь печальный факт: увы... бывает.

— Убили, — уточнила она. — Он работал шофером такси. Оставили вечером двое: мужчина и женщина. У Вити уже смена

закончилась, но они умоляли: «В больницу». Пообещали хорошо заплатить. По дороге к ним подсел третий... Потом женщине стало плохо, Витя остановил. Ему под бок — пистолет: «Полезай в багажник...» Им нужна была машина, чтобы ограбить инкассатора. Они его застрелили. И Витю... Чтобы свидетелей не оставлять. Загнали машину в посадку и через крышку багажника выстрелили. К утру Витя истек кровью. Если бы милиция на машину наткнулась раньше, его можно было бы спасти... — Вот когда она тяжело-тяжело вздохнула, погладила девочку по голове, расправив мимоходом бант.

— Сиротинушка ты моя! — тихо сказала Клавдия. Подняла глаза на Глеба. Она опять смотрела сквозь Наташу. — После похорон его мать собрала Лелины вещички, — Клавдия легонечко погладила холеной рукой старенький чемодан, — вынесла за порог и сказала: «Гуляй, хорошая, откуда пришла». — Ее голос задрожал, начал срываться. Клавдия тоскливо глянула на Глеба. — А у меня, Глебушка, — пожаловалась она, — кроме Саши и тебя — никого на белом свете. — Ей было жалко саму себя. Очень жалко.

(Ну, насчет «сиротства» и одиночества Клавдия явно пережимала. В городе энергетиков Курахово у нее жила мать. Большой дом с садом. Два родных брата в Донецке, один из них — коммерческий директор ДМЗ, сестра здесь же — словом, целый клан родственников, но никто из них не одобрял ее бегства от сына и мужа, поэтому и не было ей места под родительским кровом.)

Печальная повесть. Конечно, Клавдию можно было бы упрекнуть во всех смертных грехах: мол, просто жизнь отомстила ей... Осиротила сына, опустошила душу Глеба. У погибшего тоже была когда-то семья: двое детей... За что же свекрови было любить новую невестку, которую сын привез с курорта да так и не расписался с ней.

Но в тот момент Наташа ни в чем Клавдию не обвиняла: человеческая трагедия требует сочувствия, а не злорадства... Милость к падшим...

Видимо, это же чувство владело и Глебом. Он подошел к Клавдии, жестом попросил подняться с чемодана и отнес его в комнату сына, которая когда-то была спальней супругов.

Здесь все осталось, как прежде: ничего из вещей не исчезло, ничего, кроме дивана, не прибавилось. Главной достопримечательностью комнаты была почти квадратная деревянная кровать. Над нею, в тяжелой багетовой раме, крашенной когда-то бронзой, теперь местами посыпавшейся, — фотопортрет молодой красавицы в подвенечном платье. Фотокарточка — черно-белая. Но фотограф, желая угодить клиентке, подвел-подкрасил губы и насурьмил крутые брови.

И фотопортрет, и кровать, застланная голубым пикейным покрывалом, видимо, убедили Клавдию, что в этом доме ее помнят, а может быть, даже тайно скучают, сожалея, что ее нет так долго.

— Я же к себе домой вернулась... Верно, Глебушка? — воззвала к милости Клавдия. — Я же прописанная здесь. Даже ключ сохранила. Витя допекал: «Выброси да выброси». А я отвечала: «У меня там сын».

Ей захотелось обнять повзрослевшего Шурика, приласкать. Да, ее не было долго. Очень долго. Четыре года — это третья часть от двенадцати, притом самая существенная, памятная. Но Клавдия регулярно высылала посылки. Все лучшее, что могла достать для первенца мать — директор промтоварного магазина. Импорт: костюмчики (он и сейчас в том спортивном, который она подарила), пальто, ботиночки... А как же, она не из тех, кто отрекается от родных детей. Словом, помнила, любила. Правда, навестить было недосуг. Уедешь из дома свекрови — бабы Яги — одна (не брать же в гости к первому мужу Виктора), чего доброго, потом обратно не пустят.

Но что-то изменилось в мальчике. Вырос. Возмужал, даже, пожалуй, постарел: хмурится, морщинит лоб, и в уголках губ — недетские складочки.

Клавдия почувствовала, что с поцелуями следует подождать. Она подтолкнула к сыну настороженную, жмущуюся к его ногам девочку-куколку.

— Саша, это твоя сестренка, Леля. — Она обратилась к дочери. — Поцелуй братика Сашу. Я тебе о нем рассказывала в поезде и показывала фотокартчку. Помнишь братика Сашу?

Девочка обхватила пухлыми ручонками свою маму за ногу и неумоимо разревелась. У нее был пронзительный голосок-свисточек избалованной капризули.

Шурка подошел к ней. Вначале рассматривал сестренку, как диковинку, а потом вдруг сказал:

— Ну, чего ты нюни распустила? Тебя никто не обижает. Может, хочешь есть?

От этих неожиданных для нее слов девчушка как-то мгновенно замолкла, словно ее «выключили», и с удивлением уставилась на новоявленного братика.

— Хо-очу ча-аю... — завела было вновь она.

Но Шура решительно предложил:

— Пойдем тогда поставим чайник. — Он протянул сестренке руку.

И, к удивлению Наташи, девочка-капризуля приняла ее.

У Наташи в то мгновение мелькнула догадка: Шурик понимал (или интуитивно чувствовал), что сейчас у взрослых произойдет важный разговор, и, чтобы не мешать, сам ушел и девочку увел. Впрочем, может быть, Наташа и переоценила сына Глеба, наделила его тактом, которым обижены порою даже взрослые. Но ей хотелось, чтобы было именно так: оставлял же он их с Глебом на кухоньке одних.

Дети вышли. Глеб шагнул к Клавдии, явно (или невольно?) отгораживая (защищая?) собою Наташу.

— Моя жена, — представил он ее.

Вот когда Клавдия соизволила обратить внимание на молодую женщину. Ощупала цепким, раздевающим взглядом всю с ног до головы и с головы до ног. «Молода, но тоща. От злого характера, что ли... Губоньки тонкие и синюшные. Хоть бы подмазала. И волосы — мочалкой, как у паренька».

Наташа физически чувствовала, как ее оценивают, словно по голому телу гуляют холодные руки. Невольно поежилась.

Решив, что Глебова зазноба не ахти какая цаца, Клавдия явно приободрилась и напевно, мягко выговаривая громкие гласные, ответила:

— Глебушка, какая она тебе жена! Ты же со мною пока еще в законе. Полюбовница... Вот как я была Виктору. И дочку ему родила,

он в Леле души не чаял. А все равно: когда погиб, его мать мне прямо сказала: «Гуляй, хорошая, откуда пришла».

Видимо, эти слова были для Клавдии очень обидными, уничижающими, коль она их повторила с такой горечью. Но сейчас она хотела, чтобы обида и унижение, жившие в них, относились не только к ней, но и к другой женщине, которую Глеб назвал женой. И ловко у нее все это получилось, будто бы себя бичевала: над собой изгалялась, а... на самом деле поставила на место другую.

Заалело лицо Наташи, уши словно бы кто-то зло натер мокрым оледеневшим снегом, в котором уже нет зимней мягкости. Опытная в житейских делах Клавдия хотя и грубо, но точно определила положение Наташи в доме Глеба. «Полюбовница». У юристов на этот случай словечко позлее: сожительница. Словом, временная, случайная, очередная. А с очередными и временными известно, как поступают: отбыла свою очередь, закончилось твое время — и за порог: «Гуляй, голубушка, откуда пришла!»

И если бы Глеб в это время возмутился, взорвался, цыкнул бы на распоясавшуюся Клавдию: мол, не путай черта с ряженым, которого свадьба на свою потеху вырядила.

А он — ни гу-гу. Правда, равнодушным не остался, вон какие багровые пятна гуляют по худощавому лицу, вон как бугрятся желваки на скулах. Зубы скрипят, словно старый тельферный кран на повороте.

Глеб из молчунов. Все в себе! Особенно неприятности. Запрет их в душе, будто ядовитые отходы в бетонном тубе, опустит на дно глубокой океанской расщелины: даже близких не посвятит, не поделится своей болью, своей бедой. Но сейчас нужно было действие. Мужчина ты или кто? Судьба поставила тебя перед необходимостью выбора. И ты должен резко разграничить: это — прошлое! И отсеки его. Это твое настоящее, а в нем — твое будущее. И возвеличь его. Не разграничил... По крайней мере так, как того хотелось Наташе. Он сказал:

— Разбираться в степени родства будем завтра, на свежую голову. А пока располагайся с дочкой в Шуриной комнате, мы втроем скоротаем ночь у меня.

Вернулся Шурик с сестренкой: чайник они поставили, греется. «По всему, уже нашли общий язык, — подумала не без боли Наташа. — Дело за родителями...»

Девочка пробралась к матери, вновь вцепилась в нее ручонками. Шура остался у порога.

Вот когда Клавдия решила приласкать его. Погладила по русым волосам, потом обняла, прижала к себе. И тут же отпустила, чтобы не перекалить, чтобы не сломался: не застеснялся, не обиделся.

— Где вы там втроем будете тесниться, — она хотела облагородить Глеба. — Саша пусть с сестренкой, а я уж как-нибудь.

Не заглядывая в Глебову обитель, Клавдия точно определила, что троим там разместиться негде, видимо, она своего мужа знала достаточно хорошо: превратил жилую комнату в радиомастерскую. Она в свое время немало скандалила с ним, боролась за то, чтобы в доме было уютно, красиво, «не хуже, чем у других», — он вечно держал в комнате склад железок. А уж оставшись один, вне сомнения, развернулся вовсю.

Глеб был идеальным бессеребренником, никакие вещи не имели над ним власти, кроме паяльников и набора слесарных ключей. Вот уж этого добра у него — навалом, и самого отменного качества, например, все свои ключи он хромировал в цехе гальваники. «Иная авария доконает тебя, — говорил он. — А возьмешь в руки такой инструмент, и сразу хорошее настроение вернется». И еще одна фраза была у него в ходу: «Красиво только то, что надежно служит человеку».

Когда их взаимоотношения определились, Глеб приобрел диван-кровать. Вначале планировалось поставить диван в Глебовой комнате. Но для этого необходимо было «урезать в правах» рабочий стол и вообще навести «женский порядок» в мужской обители. Глеб предложил компромисс: пока покупку воткнуть в Шуркину комнату. Мальчик отдыхал у бабушки в Курахове, так что «заселение» дивана произошло безболезненно для всех. Но говорят же англичане: нет ничего более постоянного, чем временное — диван так и «присох» в детской комнате: с него удобно было смотреть телевизор. Наташа забиралась на диван с ногами, укутывалась пледом, а Глеб распо-

лагался на полу, считая, что это самое удобное место. Шура лип к отцу. Словом, «семейная идиллия».

Но сейчас речь шла не о простой формальности — дескать, нагрянули гости, и надо как-то всех расположить, в таких условиях хозяева поступают привычными удобствами — трое взрослых и даже Шура понимали: разговор идет о будущем.

Глеб не согласился с предложением Клавдии:

— Нет-нет, вам с дочкой надо отдохнуть, такая дорога! — Он похлопал сына по плечу, как взрослого: мол, крепись и бодрись, мой мальчик.

Шура мельком глянул на Наташу, и она... почувствовала себя в этой ситуации лишней, вернее, без нее мальчишке было бы легче определить, с кем он — с матерью или с отцом. Жизнь поставила его перед тяжелым выбором: отец... с этой своей подругой или мать с незнакомой ему сестренкой. А он не хотел никакого выбора, ему нужны были оба — и папа, и мама... Почему он должен от кого-то отречься? Есть папа — очень нужный... Есть мама... Вот они оба перед ним. И если бы не эта... тетя!

Может быть, хмурившийся Шурик так и не думал, собственно говоря, за него выбор сделала жизнь. Но Наташе казалось, что сын Глеба рассуждает именно так. Он должен был так думать.

— У тебя одна раскладушка, — резонно ответил Шурик отцу. — Я уж в своей комнате. Мама с Лелей на кровати, а я — на диване, как тогда, когда приезжала бабушка.

«Бабушка. Это мать Клавдии, поставщица варенья из фруктов собственного сада».

Шура направился готовить постель, он был самостоятельный мальчишка.

Клавдия торжествовала в душе.

«А она отберет у Глеба сына», — с грустью подумала Наташа.

Наверно, ей надо было бы все-таки остаться... на правах жены. Позже она будет сожалеть, что подчинилась не разуму, а чувству неприязни к Клавдии. Но стоило ей представить, как Глеб освобождает от разных железок и радиодеталей огромный (на таком в настольный бы теннис играть) стол, а иначе и приткнуться негде (на старой раскладушке двоим не поместиться); как он таскает из

комнаты сына подушки, матрас, одеяло, достает из шкафа постельное белье, а Клавдия с внутренним торжеством взирает на все это или, того хуже, берется помогать: у Глеба — гостья, надо поухаживать.

Так вот, стоило Наташе подумать обо всем этом, как ей захотелось прочь отсюда, из этой низкой, тесной, давящей душу западни.

— Надеюсь, ты меня проводишь? — сказала она.

Глеб покачал головой: «Нет».

— Никуда я тебя не пушу, — тихо, но внушительно пояснил он и, подумав, добавил: — Ни сейчас, ни вообще.

Ей захотелось ответить ему поязвительнее: мол, наступит не жизнь, а идиллия. Мы с тобой в одной комнате, а в соседней — Клавдия. Наташа уже не сомневалась, что эта красивая, нагловатая баба так просто отсюда не уйдет. Как же, в «законе», то есть не разведенная, у нее сын. Она ухитрится еще и дочку прописать. Завтра же утром Клавдия заявит: «Моя кухня! Мой туалет! Мой коридор! И вообще — все тут мое!» Остаться — это значило обречь себя на вечную междоусобицу, в которой победа может достаться только той, которая более ловкая, наглая, неразборчивая в средствах, менее шепетильна. Не станет же Наташа умышленно, перед носом «врага» занимать туалет или ванну, когда человек спешит на работу; не будет она добавлять огня под кастрюлей и торжествовать, видя, как выплескивается молоко, чтобы потом мимоходом упрекнуть нерадивую хозяйку: «Так недолго, милочка, всех в доме отравить газом!» В общем, «партизанские методы» в войне «двух миров», «двух социальных систем» на кухне она применять не станет. А Клавдия?

Словом, Наташе нет места под одной крышей с этой царственно-величественной красавицей.

И она дезертировала, оставив Клавдию на троне. Сняла с вешалки куртку, надела и, сказав по обыкновению набычившемуся Шурке: «Приятных снов, космонавт!» — шагнула к дверям.

Глеб сделал было попытку удержать ее на пороге, но увидев сухие, колючие глаза, отступился.

В паре — Он и Она — Наташа всегда была ведущей. Не он ее выбрал, а она — его и привела к повиновению. Но теперь она от него хотела самостоятельности и активности, и он это понимал.

Когда они вышли на темную поселковую улицу, которую метили лишь освещенные окна двухэтажных домов да одинокий фонарь, несущий свою трудную службу на перекрестке перед шоссе, Глеб начал оправдываться.

— Я не мог выставить ее за дверь и уж конечно не потому, что она сохранила ключ от входной двери.

— Если бы ты не дал ей с ребенком в эту пору приюта, выставил на улицу, я бы забрала их к себе, а ты бы навек потерял право на мое уважение.

— Жизнь ее уже наказала за... — он не мог сразу подобрать слово, которое бы определило и суть жизни Клавдии, и его отношение к ней. Нашел! — За безалаберность. И потом — она родила мне сына, этого из Шуркиной жизни не вычеркнешь.

— Вычеркивать и не требуется, — жестко возразила она. — Но за одно ручаюсь: или она затянет тебя к себе в постель, или выживет из квартиры... Дай ей сроку с полгодика.

— Наташа! — взмолился он. — Но ты же мое отношение к Клавдии знаешь!

— Да, пока она была в бегах, ее имя в твоём доме было предано забвению.

Ох уж эти бабьи натуры! Наташа превосходно знала, что Глеб избегал даже косвенных разговоров о Клавдии только потому, что это неприятно ей самой, Наташе. А сейчас она все перевернула, поставив с ног на голову, и... обвинила Глеба в том, в чем он был не повинен. Но он был виноват перед нею в другом, и она его судила, вернее, пыталась: вздергивала на дыбу, колесовала.

Когда подошел трамвай, она, взявшись за поручень, предупредила:

— Глеб Игнатьевич, у вас теперь и без меня забот — полон рот. Возвращайтесь, устраивайте гостей.

Дверь с лязгом захлопнулась, и Глеб остался на остановке. Чтобы не видеть его, Наташа прошла по пустому вагону вперед и села на сиденье, ближайшее к кабине вагоновожатого. Железное сиденье было жестким и холодным.

Глеб мог ее спросить:

«Чего ты хочешь?»

«Чтобы в нашей жизни не было вечера, когда вернулась Клавдия», — ответила бы Наташа.

Но увы... бывшая жена Глеба — реальный человек, красивая, хваткая женщина, которая знает, чего она хочет, и не будет выбирать путей к цели... Такие живучи, приспособляемость их практически не ограничена. Попробуй-ка теперь Клавдию вычеркнуть из жизни Глеба, Шурки, да и Наташи...

* * *

Мелькали шахтные поселки со вздыбленными где-то на окраине копрами, увенчанными горящими (шахта в плане — это все должны знать и видеть, к своей радости) и потухшими (план завалили) звездами. Впрочем, потухших в потемках не видно: может быть, их нет совсем? Они были: угольные объединения который год пыжались, дуются, а обеспечить углем металлургию, химию и село не могут: негде брать его, уголек-то, и не потому, что выдохся Донбасс, просто чьи-то головы — вот как эти потухшие звезды на копрах... Меняют министров и генеральных директоров, главных инженеров, начальников участков, но если нет готовых забоев... Кадровая чехарда — не панацея от рукотворной беды.

Идут на ум чужие слова, не свои мысли, вернее, Наташа их сама вызывает, как Аладдин своего джинна из волшебной лампы. Они должны помочь притупиться острому чувству обиды, которым сочтется переполненная душа.

На коротких, почти мгновенных остановках вагоновожатый, можно сказать, не открывал дверей: некому выходить, некому садиться. Чуть приоткроет для проформы и тут же захлопнет, поэтому вагон не успевает остыть. Тепло, уютно. Сжалась Наташа в комочек, и расставаться с трамваем не хочется.

От конечной остановки до дома — минут десять пешком. Но тащиться по пустынной дороге мимо скверов... Увы, Донецк — город урбанизированный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Крупный индустриальный центр, сюда в поисках заработка съезжают самые «моторные» и «находчивые», здесь же оседает часть тех, кто отбыл срок (и два, и три) и ищет свое место в жизни. Народ этот импульсивный, бывалый, он отменил для себя часть запретов,

наложенных обществом, чтобы люди могли сосуществовать... Словом, в самом чистом и благоустроенном из промышленных городов Европы, где обилие парков, цветов, прудов... грабят, насилуют. Убивают.

Мама Нина сказала бы: «Береженого Бог бережет, а дурак сам наскочит».

Наташа с полчаса проторчала на остановке в ожидании троллейбуса. Думала о Клавдии, сердилась на себя (ну чего я сбежала, будто пойманная на горячем), на Глеба. (И он — хорош! Назвал женой, так уж будь последовательным до конца!)

И до какой степени распалила бы себя такими раздумьями, если бы не появилось такси с зеленым огоньком? Бросилась ему навстречу, водитель едва затормозил. Обругал сгоряча, наговорил гадостей: мол, чем один раз под машину, лучше...

Наташа молча забралась на заднее сидение, хотя водитель категорически заявил: «Я — в парк». Но у нее в руках были веские доводы — положила на сиденье рядом с шофером металлический рубль: — Мне по пути.

Как мы порою осложняем себе жизнь!

Подходит Наташа к дому, глядь-поглядь — а во всех окнах свет, будто во время семейного праздника. Может, кто-то из начальственных гостей пожаловал? Родственников мама Нина с такой помпой не принимает: поскромнее, поуютнее, с душевной теплотой и, само собою — без излишней иллюминации (в эпоху энергокризиса и затруднений с высокооктановым бензином необходима экономия — улицы и то стали освещаться поскромнее: лишь самое необходимое).

Двери открыл отец. В черном официальном костюме, при красном галстуке. Но брился утром и подзарос щетиной. Лицо помятое, будто профессора Пахомова только что вытянули из постели, пробудив от сладкого сна, и всунули в это одеяние. Глаза измученные. Живет в них недоуменный вопрос. И что удивительнее всего, Прохор Николаевич трезвехонек. А если начальственные гости, то как же без знаменитого рижского бальзама или сибирской водочки, настоянной по-пахомовски на чесноке! Рецепт, выписанный из родной деревни, где таким настоем деда-прадеды лечили всякие простуды, ревматизмы и радикулиты, сердце и почки. (По убеждению Нины

Ивановны, таким чесночным зельем сердце и почки — только гробить!)

Отец принял у дочери куртку, открыл дверь из коридора в зал. Там, кутаясь в японскую шаль, стоит, подперев собою широкий подоконник, мама Нина. А на стуле, у стола, весь какой-то встопорщенный, словно весенний воробей, которого долго трепала стая, — Глеб. Мама Нина настроена скептически — это Наташа поняла по опущенным уголкам губ, по мелким морщинкам, собравшимся под тщательно ухоженными глазами. Прическа, правда, сделана на скорую руку.

— Вот и мы! — сказала мама Нина, увидев Натулечку. — Глеб Игнатьевич пожаловали с официальным визитом: они просят у родителей руки их дочери.

Мама Нина всем своим надменно-саркастическим тоном давала понять, что этот визит бригадира бригады слесарей цеха водоснабжения в квартиру профессора Пахомова... мягко говоря, неуместен. Мама Нина всегда придавала особое значение этикету, виду, положению человека в обществе. А Глеб Кедрач, во-первых, сидел, тогда как женщина стояла (мама Нина умышленно не садилась, чтобы все, а все — это Натулечка — могли наблюдать плебейские привычки претендента на руку дочери лауреата Государственной премии профессора Пахомова). Во-вторых, если ты пожаловал по такому делу — просишь руки дочери, — то явись с цветами и соответственно одетым. Глеб явился в чем чаевничал на кухне. Переодеться ему было недосуг. Но для мамы Нины причин в подобной ситуации не существовало. Третье преступление Глеба Кедрача — время, выбранное им. Люди после работы, легли спать. А «претендент», как сумасшедший, терзает звонок при дверях, врывается в дом. Ну, а в-четвертых, если бы даже не первые три промаха Глеба Кедрача, все равно мама Нина нашла бы, чем быть недовольной: она терпеть не могла этого невзрачной внешности, по ее убеждению, примитивного человека, исковеркавшего жизнь ее дочери.

Надменность хозяйки (а мама Нина умела при необходимости продемонстрировать ее) буквально пригвоздила Глеба к стулу. Даже при появлении Наташи и то не смог подняться. Сидел, только голову повернул.

— Нина Ивановна, я могу лишь повторить, — сказал он, чеканя слова. — Я люблю вашу дочь. И она меня — соответственно.

— Вы в этом убеждены, разумеется...

Мама Нина не спрашивала, она утверждала: «Само собою!» Но за этим «разумеется» стояло черное, как ночной грабитель, сомнение, и уж его-то она постаралась передать претенденту на руку ее дочери.

— Говорите «взаимно». А так ли на самом деле? Конечно, такая вера весьма похвальна. Но... Что такое — «женщина любит»? Разве есть на белом свете нечто более неопределенное? Любит. Что именно? Ваши глаза? Ваши руки? Вашу зарплату и положение в обществе? Ваши подарки, привезенные из заграничной командировки и вашу машину «Жигули» бежевого цвета? Любит ваших родственников, ваши болячки и прихоти? А может быть, вы приняли за любовь обычную женскую жалость, стремление обогреть, приласкать сирого и убогого?

Глеб прекрасно все понял:

— Наши чувства проверены временем и обстоятельствами. Сейчас у нас появилась необходимость зафиксировать наши отношения, и я прошу у вас и у Прохора Николаевича руки Натальи Прохоровны. — Вот когда он встал и отвесил маме Нине полупоклон.

Да он п-р-о-с-и-л самым натуральным образом, он умолял сжалиться над ним женщину, которая (это не было для него секретом) терпеть его не могла, более того, он искал в ней союзника и против самой невесты (знал ее строптивый характер) и против Клавдии. Но в своей просьбе он был настойчив. Нет-нет, он ничем пока не угрожал. Пока, то есть до поры до времени: до той поры, пока ему не откажут, до того времени, пока не иссякнет родник его долготерпения.

«Ого! — удивилась Наташа, с явным любопытством рассматривая Глеба. — Мы умеем не только сердиться, но и быть решительными».

Ей вдруг захотелось подразнить его.

Мама Нина еще не знала, что именно побудило явиться к Пахомовым Глеба Кедрача в столь неурочный час и в таком неподобающем виде, но причина была весьма солидная, острая, жгучая. А о чем уважаемый претендент думал до этого?! Нина Ивановна не ханжа,

она допускала свободу чувств и свободу взаимоотношений. Но именно свободу, а не распушенность. Она — за цельность чувств, за их неделимость. Словом, она не вмешивалась во взаимоотношения дочери с этим Глебом Игнатьевичем, но хотела для Натулечки совершенно иного: солидного, незыблемого...

В Нине Ивановне жила обида на «соломенного» мужа дочери. Однако, кажется, пробил ее звездный час: Глеб Кедрач, тайный и непрощенный обидчик, можно сказать, стоя на коленях, вымаливает у нее милости. Но не было и не могло быть у мамы Нины милости для того, кто, по ее глубокому убеждению, не мог дать счастья ее дочери.

— Глеб Игнатьевич, — старательно улыбнулась мама Нина, — вы, видимо, ошиблись адресом. — Она выдержала паузу, в которой таился злой подтекст, и закончила: — Рука Натальи Прохоровны принадлежит ей. Она — человек взрослый, как вы однажды имели честь напомнить мне, так и обращайтесь к ней... А мы с Прохором Николаевичем... в случае успеха вашего мероприятия благословим молодых и пожелаем им счастья.

Глеб повернулся к Наташе, он ждал от нее решения судьбы: глаза стали голубыми, как вода в ледоделке, подсвеченная летним полуденным солнцем, когда лучи пронизывают ее почти до дна. Но эта «сволочинка» в характере! Правда, сегодня ее порождало унижение, пережитое там, в квартире у Глеба, когда Клавдия по-простецки разъяснила Наташе — и самому Глебу — ее истинное положение.

— Я принимаю ваше предложение, Глеб Игнатьевич. Завтра у нас что, суббота? ЗАГС работает: отнесем заявление. Во дворце бракосочетания регистрируют только первый брак. А у вас уже взрослый сын... Впрочем, в районном ЗАГСе... и побыстрее, не надо выжидать трех месяцев... Через недельку, глядишь, и распишут. А мы за это время приготовимся к свадьбе.

Вот так и отрубили Глебу Кедрачу лихую голову. Лицо вытянулось, стало похожим на колун. Глаза помутнели, погнал ветер по их чистой глади рябь. От переживаний даже вспотел. На высоком челе (лоб с залысинами) — капельки святой росы. Того и гляди заиграет в них семицветная радуга.

— Наташа! — взмолился он. — Но ты же знаешь...

Она — знала! Глеб Игнатьевич Кедрач тринадцатый год состоит в браке с Клавдией Мироновной, в девичестве Клепанбык, и пока не разведется с вышеназванной гражданкой, вести разговоры о подаче заявления в ЗАГС с целью регистрации брака с гражданкой Пахомовой Натальей Прохоровной...

— Но вы же, Глеб Игнатьевич, просите моей руки, наверно, не для того чтобы посмеяться над несчастной девушкой! А может, я неправильно вас поняла?

— Правильно! Все правильно, но... — в отчаянии взмолился Глеб.

— Но, Глеб Игнатьевич, вы уже женаты, а Наталья Прохорова в вашей биографии — это аморальное явление, которое кладет позорное пятно на честь секретаря цеховой партийной организации. Что по этому поводу скажет партком завода? Что подумают в райкоме?

Как бы развивались события дальше, не вмешайся тут в разговор Прохор Николаевич? Наташа уже закусила было удила, и ее понесло...

— Женщины! — пророкотал он голосом пророка-громовержца. — Уй-ми-тесь! Наташа, перестань валять дурочку. Человек сделал предложение. Любишь — скажи «да», нет — от ворот поворот, но уважайте же мужчину, который принес вам свою душу.

В доме наступила тишина: вот такая бывает в поле перед грозой — ни сверчков, ни людей, ни близкого леса — тишина! Было слышно лишь, как маятник напольных часов мягко и солидно отбивает уходящие мгновения: тик-так... тик-так — и уже нет четырех секунд, и уже короче стала твоя жизнь. Так зачем же выщипывать из нее эти мгновения, как репы из собачьего хвоста, зачем отравлять дарованные судьбой секунды, минуты, часы, дни...

Наташа словно бы прозрела, ее охватила нервная дрожь. Колотит всю, бьет лихорадка.

— Есть деловое предложение: к столу! — потребовал глава дома.

— Прохор Николаевич, в такое время!

— Не в такое время, а по такому поводу! — поднял он многозначительный палец. И это было как пророческое напоминание. — На радостях — отметим, от горя — врежем. По стопочке.

Мама Нина поняла, что спорить сейчас с Прошенькой бесполезно.

Отправилась на кухню, где Прохор Николаевич уже кое-что на скорую руку приготовил. Охнула, сделала вид, что удивилась:

— Прохор, когда же ты успел!?

— А пока вы человека мучили. Японцы деловые вопросы решают за добрым столом. По-моему, неплохая народная традиция.

Выпил Глеб рюмку да с тем и ушел восвояси, не дала ему Наташа вразумительного ответа. Да, собственно говоря, какой ответ мог быть? Не вязала бы Клавдия своего суженого браком, был бы Глеб формально свободным, вряд ли она тянула бы... Это только разговоры о свободе: мол, людей держит не ЗАГС, а любовь. Приходящий-то муж или уходящая жена — это по-современному, и в основе таких взаимоотношений лежит здоровое начало, осознанная необходимость. Не надоедают друг другу. Милых не обременяет быт: радости — на двоих, хлопоты — каждому свои.

Вранье! Выдумали все это гуливые мужики, которые любят собирать с банки сметанку и не хотят пасти корову с теленком, а девки (и женщины) им подыгрывают, чтобы к другой, которая попокладистой, не ушел. А приведи Он Ее в загс — какая откажется! Семья, дети... Пуста без этого человеческая жизнь, свищет в ней осенний мокропогодный ветер, как в старой дырявой скворечне.

Прохор Николаевич заказал такси. Мужчины направились к выходу. Наташа с мамой Ниной остались вдвоем.

Нина Ивановна мыла посуду, Наташа вытирала ее мягким полотенцем и ставила на сушилку.

— С чего это вдруг Глебу Игнатьевичу так загорелось и он ошастливил тебя предложением? — осторожно начала мать разговор.

— Клавдия, жена его, вернулась, — пояснила Наташа. — Мужа убили, а свекровь сразу после похорон собрала вещички (не пощадила внучку — девочке третий год), выставила чемоданы за калитку и сказала: «Гуляй, хорошая, откуда пожаловала».

Некоторое время молчали: каждая думала о своем. Первой обмолвилась мама Нина.

— Может, оно и к лучшему? — спросила осторожно она. — Твой Кедрач — из одержимых, он живет только идеями. По праздникам будет дарить цветы, а в будни с упоением рассказывать о флянцах и трубах, о японском способе улавливания микроэлементов из

промышленных стоков... Знаешь, сколько в году праздников признает муж? Шесть, если считать День Победы, и твой день рождения. А остальные триста пятьдесят девять — будни. Воскресенья — тоже будни. Наши мужчины замечают нас только по праздникам, в остальное время мы для них рядовая необходимость. Жена — это удобно: разбудит, напомним, поторопит, накормит, ублажит, утешит, если у него на работе неприятности... А чтобы хоть иногда превращать будни в праздники, нужны героические усилия женщины, опирающиеся на прочный материальный фундамент семьи. Глеб в этом плане не добытчик. Ты никогда не интересовалась, почему от него ушла Клавдия?

Наташа пожала плечами:

— Взбалмошная баба с повышенным темпераментом, поехала на курорт и нашла там себе...

Мама Нина покачала головой: «Нет».

— Темперамент, уж коль он есть, его в авоську не упрячешь. А сбежала она от семейной неустроенности. Узнав, что у тебя с Кедрачом любовь, я навела справки...

Наташа вспыхнула:

— Зачем?

— А чтобы знать перспективу. Муж с положением — это не так уж мало для семейного счастья.

Вот так, о женском сокровенном, мама Нина еще никогда не разговаривала с дочерью. Наташа была убеждена, что мать — одна из счастливейших в замужестве женщин. Ее Прошенька — образец послушания, у них удивительное взаимопонимание, и вдруг такая внутренняя неудовлетворенность.

Может, дело в том, что Прохор Николаевич для нее — все: и настоящее, и прошлое, и утешение, и огорчение. А мама Нина — лишь часть его жизни. У него есть институт, кафедра, студенты, министерство, где он консультант, завод, где он проектировщик. И всему этому он очень нужен, все это забирает его время, мысли.

— Я подумала сейчас о Виталии Никифоровиче. Он из тех, кто умеет любить нежно и преданно, ты это знаешь. И Юра перспективный человек. Он бы все семейные хлопоты взял на себя, а ты бы занималась наукой.

Нет, мама Нина понимать Натулечку не хотела или не могла.

— Мы уже говорили с тобой на эту тему, — резковато ответила Наташа, пресекая дальнейший разговор. — Не хочу быть при ком-то, хочу быть при самой себе.

* * *

Нина Ивановна была убеждена, что высшее призвание женщины... быть женщиной. Нет-нет, для этого совершенно не обязательно рожать десятерых... Настоящая женщина — это то, вокруг чего вьются все чаяния, помыслы и заботы мужчин.

Но если для мужчины женщина — это стимул его подвигов, то... для женщины мужчина — это символ жизни. Женщина без мужчины — нелепость, абсурд, это всадник без головы, д'Артаньян без шпаги, охотник без добычи, Черномор без бороды...

Но если мужчина для женщины — все, то это «все» она должна выбрать из множества. А если нельзя подобрать из того, что представила Природа и Случай, то Кумира надо со-тво-рить!

И еще в одном убеждена Нина Ивановна: прочной семье нужно надежное материальное обеспечение, то есть мужчина должен быть добытчиком.

Проход Николаевич у нее — по всем статьям мужчина!

Нина Ивановна вспоминает... Это случилось на третьем году ее замужества. Ниночка — студентка мединститута. На каникулах. Прошенька — старший преподаватель политехнического института. У него тоже каникулы, то есть время, когда он зарабатывает деньжонки для поездки на юг с молодой женой: Прошенька читал какую-то халтуру на каких-то курсах.

Молодожены Пахомовы в ту пору жили в коммунальной квартире на четыре семьи и занимали довольно просторную комнату — тридцать шесть квадратных метров. Прошенька уходил утром, возвращался поздно, иногда под хмельком. Ничего удивительного — мужчины частенько свои дела решают с помощью Бахуса. Но Нина не упускала случая напомнить мужу, что он у нее по этой причине в неоплатном моральном долгу.

Проводив его поутру, она принималась наводить в доме порядок (домашний уют — действенное оружие в руках умной женщины),

потом ждала. Порою ей это надоедало, и она «изобретала встречу», которая должна была произвести на Прошеньку впечатление.

В тот вечер его не было дольше обычного.

Услышав, как он открывает наружную дверь, она решила разыграть обиженную: легла на тахту и сделала вид, что читает трофейный журнал мод. Но когда Прохор вместо того, чтобы снять обувь в общем коридоре, открыл ключом «свою» дверь и затопал в сапожищах через всю комнату, Нина рассердилась на него по-настоящему: «Собутыльничал! А я словно уборщица!»

Под тяжелым человеком покрякивал старый разохшийся паркет. Нина считала шаги — тридцать два. И каждый из них увеличивал ее право на возмущение, на бунт.

Сапожищи остановились возле тахты. На обиженную пахло винным перегаром и острой закуской. «Фу! Мерзость!» Прохор поцеловал ее руку, державшую журнал. И тут... на Нину хлынул шуршащий денежный дождь: Прохор, распахнув плащ, горстями выгребал из карманов смятые купюры и, осыпая ими свою Ниночку, в радостном опьянении приговаривал:

— Тебе! Тебе! Тебе!

На глазах у Ниночки заблестели слезинки.

Нет-нет, Нина Ивановна превосходно понимала, что деньги, будь их хоть миллион, как у подпольного миллионера Корейко, не могут составить счастья. Иллюзию счастья — и то лишь на короткое время, пока не наступит пресыщение от того, что тебе все доступно. Но! Отсутствие нужного количества денег обязательно сделает женщину несчастной, безденежье лишит ее возможности быть... женщиной, превратит в прачку, в домашнюю работницу, в рабочую скотину. А женщина — это то, о чем мечтает мужчина, это то, что ему снится по ночам в командировках...

Всем, что есть у Нины Ивановны в жизни, она обязана себе и только себе. Мать умерла рано. Ее заменила тетка, стареющая московская актриса. Она-то и привила племяннице свои взгляды на роль женщины в истории человечества. Но тетка умерла, и Ниночка очутилась в Донецке.

Здесь она встретила своего Прохора, угадала в деревенском парне недюжинного человека, будущего профессора.

Ниночка — миниатюрное создание. Прохор против нее — гора. Подруги по институту говорили ей:

— Нинка, рехнулась! Ты же против него — муха!

Шел откровенный разговор, который может возникать лишь в среде студенток-медичек: о половой несовместимости, о сексуальных особенностях... Нина была убеждена (теткина школа), и дальнейшая жизнь показала, что она права: все несовместимости и совместимости полностью в ведении женщины. От нее, от ее такта, ума, настойчивости, терпения и женской интуиции зависят и темперамент мужчины, и его характер. Мужчина уверен, что на его стороне опыт, сила, право на первый шаг... Ничего подобного: мужчина есть то, что из него делает мудрая женщина.

Впрочем, быть полезной и нужной своему мужчине — это целая наука, это, если хотите, искусство.

...Вполне естественно, что мама Нина стремилась передать дочери свой жизненный опыт (социальный, как любила говорить Нина Ивановна), она стремилась предостеречь Натулечку от повторения своих, вполне естественных ошибок, которые молодость совершает по неопытности, по недомыслию, но которые (ошибки) ведут к жесткому, опустошающему душу разочарованию.

...А главное для женщины, как уже говорилось, сделать выбор... Нет-нет, не специальности, не места работы, не места жительства — выбор человека, с которым предстоит пройти рука об руку по всем тропкам, мостикам и терниям жизни. А они, тернии, будут, обязательно будут, без них нет развития, то есть роста по службе. «И вся-то наша жизнь есть борьба: р-раз-два», — пела еще в пионерском возрасте Ниночка.

* * *

Прохор Николаевич, провожающий Глеба до такси, вернулся злой, как павиан, который вырвался из клетки, где его дразнили озорные мальчишки — тыкали палкой через прутья.

— Вы обе! Белены объелись! — прямо с порога забасил он, хлопнув дверью. — Человек к вам с горем, с надеждой, а... дамочки комедию взялись ломать. Стыдно за вас!

Это он выкрикивал, еще не видя ни дочери, ни жены, которые сидели в гостиной притихшие, погруженные в свои мысли. А вот когда ворвался в обиталище женщин, увидел жену, кутавшуюся зябко в шерстяную шаль, и вконец распетушился:

— Уважаемая Нина Ивановна! Вы теряете в моих глазах! В этом доме, — он широко развел руками, будто распахивал ворота в рай, — человеческое достоинство пока еще не попирали.

Нина Ивановна чуть отодвинулась на диване, похлопала по освободившемуся месту ладошкой и примирительно сказала:

— Присядь. И не кипятись. Была причина так обойтись с уважаемым тобою Глебом Игнатьевичем.

— Нет, но это черт знает что! — не унимался хозяин дома. — Ну, она, — обратился он к дочери и показал на жену, — понятно! Для нее личность начинается со звания кандидата технических наук или с должности заместителя директора. А ты! Ты же любишь! Как ты могла так издеваться над тем, кто стал для тебя ближе отца и матери! Ты же отобрала у него право уважать тебя! Не понимаю! Не понимаю мелочности вашей бабьей природы! Да в сто раз лучше разнести на стекляшки и медяшки хрустальную люстру во имя тщеславия! — Он никак не мог справиться с галстуком, рванул его, рассупонил полностью. А сняв, скомкал и сунул в карман пиджака.

Ему было тесно в просторной гостиной, большому, сильному человеку не хватало воздуха. Подошел к окну, рывком распахнул его. Раму перекосило, и стекло с хрустом лопнуло наискосок.

Столь возмущенным Наташа, пожалуй, отца еще не видела. Ей стало стыдно того, что произошло. «Вернулась Клавдия, ну а Глебо то при чем тут? Что я варю из него клейстер? — покаянно подумала она, принимая правоту отца. — Оставила одного на растерзание Клавдии, предала...»

Она готова была уже мчаться вслед за ним, догнать! Догнать, чтобы вместе войти в дом, переступить порог и на глазах у Клавдии удалиться в СВОЮ комнату! Наташа остро почувствовала, что та, загроможденная рабочим столом с железяками, неудобная, с блеклыми занавесками (по убеждению рационалиста Глеба, шторы, даже тюлевые, съедают половину света — поэтому долой их из обихо-

да), — ЕЕ комната, нужная, а эта, в родительском доме, — всего лишь временное пристанище.

Нина Ивановна подошла к буйствующему мужу, мягко сняла с него пиджак, поцеловала в щеку. А отец, умница, вдруг сказал то, о чем только подумала дочь:

— Обидно... Чем не угодила Наташа судьбе? Все-то вокруг нее временное... Не жизнь, а вокзал на узловой станции. — Прохор Николаевич повернулся к жене. Густые вихрастые брови заплясали, он уже набрал было полные легкие воздуха, но Нина Ивановна вовремя прикрыла его рот ладошкой.

— Знаю! Знаю твое мнение о Кедраче: талантлив, скромн, золотые руки, добряк из добряков — последнюю рубашку ближнему отдаст. Но согласись, за два-то года он обязан был отрегулировать взаимоотношения с любимой.

Что мог возразить против такого довода Прохор Николаевич? Поцеловал ладошку, нежно прикрывшую рот: его гнева хватало только на двадцать секунд — вскипит, как чайник, закрытый крышечкой, выплеснет свое наболевшее и тут же успокоится.

— Но это Наталья что-то хороводит! — возразил он. — Глеб Игнатьевич даже к тебе с этим вопросом приходил с год тому. А ты?

— А что я? Сказала то, что думала: химводоочистка — не санаторий, а у Натулечки — почки. И вообще, ее ждут в аспирантуре на кафедре профессора Мозжухина.

— Конечно, ты сказала то, что думала. Но как? Сегодня я имел честь видеть и слышать, с каким умением и наслаждением ты с дочерью изготовляла из человеческой боли тук.

Прохор Николаевич готов был вновь вскипеть, но Нина Ивановна мягко устранила угрозу. Повернула мужа к себе, чуть встряхнула и заставила взглянуть в глаза:

— Ты все время долдонишь о горе и боли Глеба Игнатьевича. А мою, материнскую боль почему не принимаешь в расчет?

Прохора Николаевича обвиняли, и не без основания. В такой ситуации он терялся.

— Милые бранятся — только тешатся, — усмехнулась Наташа. Она пожелала спорившим приятных сновидений и ушла к себе, зная, что в эту ночь не уснет ни на минуту: будет думать о Глебе, о Шурке,

о Клавдии и — о себе... Но о себе меньше, почти вскользь, главным образом — о Глебе и Шуре, без которого нет ее Глеба. «А мальчик ушел спать в комнату к матери...»

МИЛОСЕРДИЕ

Время лечит самые глубокие душевные раны. Наташина обида перегорела: в чем можно было упрекать Глеба? Свалилась на человека беда. Тут бы посочувствовать ему, пожалеть, порадеть... Да не хватило в сердце теплоты, способной оживить былое: дни текли, настоянные на полынной горечи.

Всей-то радости — Глеб проводит ее до дома или встретит перед сменой. К нему ей ходу не было, она не могла видеть Клавдию. К себе тоже не пригласишь: мама Нина. Наташа понимала, что и позже, когда Глеб оформит с Клавдией развод, и они распишутся... Не жить им под одной крышей с мамой Ниной... Уж лучше где-нибудь снять угол. Но не так-то легко в наше время найти приличную частную квартиру для семьи из трех человек. Третий — Шурка. Глеб без него — ни-ни! А как Шурка? Пойдет ли за отцом?

Глеб досадовал:

— Теряю сына... Клавдия с ним — восемнадцать часов в сутки. В школу провожает, из школы встречает. Уроки, прогулки вдвоем с девчушкой, кино, цирк. Да все самое вкусенькое, да подарками осыпает. Я, было, сказал ей: «Не балуй сына, испортишь мальчишку», а она: «Любовь матери еще никого не портила». И это все при Шурке. Кроме того, мальчишка привязался к сестренке. Она без него спать не ложится: «Сулик, сказоцку...»

Клавдия укоренялась всерьез и надолго.

— Прихожу, — рассказывал Глеб, — а она с какой-то теткой заканчивает клеить обои в моей комнате. Веселенькие такие, с солнечным блеском. «Зачем?» — говорю. «Сколько же можно жить в этой кладовке! — отвечает. — Со дня нашей свадьбы не было в квартире ремонта».

Клавдия поменяла люстры в комнатах.

Клавдия повесила новые занавески. Шелковые. Под цвет обоев.

Клавдия выбросила старую мебель, оставив только диван, купленный Глебом в ее отсутствие, да и тот переселила к нему в комнату. Завезла гарнитуру карпатской работы.

Клавдия донельзя ужала в правах мастерскую Глеба, вольготно жившую до того в комнате. Она в ней выделила уголок для сына. Приобрела специальную парту, за которой Шурка делал уроки.

И не в чем было упрекнуть женщину, стремившуюся навести в квартире уют.

— Шурке все это нравится, — досадовал Глеб. — «Мама да мама!» Только и слышишь!

Глеб нарекал на свою бывшую жену, ища сочувствия у Наташи, но каждое его сообщение об очередной инициативе Клавдии было прямым упреком Наташе. В ее распоряжении было почти два года. Могла бы! Должна была навести в доме любимого хотя бы минимальный уют. Правда, Глеб считал, что в педагогических целях (Шурке в удовольствие) надо оставить в доме все так, как было раньше.

А Наташе восстать бы против почерневших потолков и выцветших обоев, против выгоревших занавесок, облупившейся, старомодной мебели... Словом, против всего уклада в доме Глеба, не приглянувшегося ей вначале, но с которым она позже сжилась.

«Дура! Набитая дура! — ругала она себя. — Так тебе и надо! Учись у Клавдии, как надо сражаться за место в жизни!»

И теперь Наташа начала понимать правоту мамы Нины, которая говорила, что муж это то, что женщина делает из мужчины. Уют в доме, душевная теплота, сытный, вкусный обед вовремя... Но при всем при том мужчина не должен чувствовать себя канарейкой в золотой клетке, иначе однажды он взбунтуется и выйдет из повиновения... «Друзья мужа должны стать твоими друзьями, иначе они превратятся в разрушителей семейного очага, — поучала мама Нина. — Надо быть хозяйкой хлебосольной, приветливой, надо знать, кого и как принять. У мужа надо культивировать постоянную потребность похвастаться женой, радушием дома». Надо, надо, надо...

Наташа с Глебом гостей не принимали, сидели, как сурки в норке, на тесной кухоньке и этим были довольны. К ним — никто, и они — ни к кому. Может, было бы все иначе, если бы они были

расписаны? А может, дело в ином, просто у них не было внутренней потребности делить свое короткое, считанное на минуты счастье с кем-либо.

Наташа ловила себя на том, что тоскует по крохотной кухоньке, которая для них с Глебом была целым миром... И еще ей не хватает... Шурки: его пытливости, его вечных «почему», его тоненького голо-сочка, удивленного взгляда светлых глаз.

Глеб жаловался на свою судьбу, Наташа помалкивала. А что ей было говорить? Посоветовать больше бывать с сыном? Но Клавдию в этом не перешеголяешь: у Глеба — завод, у Глеба — Наташа. Да еще Шурка. И не совместишь ничего из этого триединства, разделенного временем и пространством. Был у Глеба еще один «угол» треугольника: питание. На заводе — в столовой. Дома — чаек. Наташа готовила ему бутерброды с чем-нибудь вкусненьким: пару кружочков хорошей колбаски, которую где-то добывала мама Нина, ломтик выдержанного сыра.

Глеб «сломался».

— Я должен питаться вместе с Шуркой. Иначе мы круглосуточно будем врозь.

Он дал Клавдии деньги: «На нас с сыном». Она восприняла это поворотное событие в семье как должное и неизбежное.

...А готовить она умела и любила. На сытых, вольготных харчах уже через неделю-другую Глеб посвежел с лица. И не заметить этого было нельзя. Сытый мужик — особое состояние мужчины. Приходит довольство собой и окружающими. Наташе показалось, что Глеб стал реже ворчать на Клавдию, на то, как она ловко опутывает его паутиной доброты, приветливости и надежности.

...Нет, Наташе, по всему, это только казалось. Тем не менее, она начала неприметно для себя ревновать Глеба к Клавдии. У него с бывшей женой было столько точек соприкосновения. Да все реальные. А что у нее с Глебом осталось? Тоска зеленая по прошлому, по куцему счастью да выцветающая надежда на будущее: «Когда-нибудь все должно утрястись!»

Но, как говорится, — должно, да не обязано.

Глеб с Клавдией побывали у судьбы на собеседовании. Развод! И вдруг она там заявила: «У нас сын, тринадцатый годок. Как маль-

чонке без родного отца? Он в отце души не чаёт! Разведемся, разведемся — раскроем напополам детское сердце. Саша и к сестренке привязался».

Глеб, как он скажет потом Наташе, был ошарашен таким заявлением: «Мы же на пороге здания суда обо всем с нею договорились: развод. У нее — новая семья, у меня... Я растерялся и молчал, как олоуп. Судья меня о чем-то спрашивает, а я — истукан-истуканом».

Решение: «У вас общий сын, общее ведение хозяйства, квартира... Что-то было в прошлом? С кем не случается... Подумайте. Месяц на размышление».

Такого раздавленного несчастьем Глеба Наташа еще не видела: не мужик, а курица, попавшая в бочку с мазутом.

— Если бы не Шурка! Оставил бы я ей квартиру. Махнули бы мы с тобою куда подальше! Не пропали бы.

А Наташа как представила, что надо лишиться всего, что ей было мило, так и заныло сердце от недоброго предчувствия. Оказывается, она не может обойтись без мамы Нины, без отца, без просторной квартиры с телефоном, наконец, без Мозжухина, без Лизаветы и тети Фроси... без Донецка с его специфическим ритмом жизни большого рабочего города.

* * *

Шурке — тринадцать лет. Дата в какой-то мере юбилейная: повзросление. Детство заканчивается, начинается юность. Глеб загорелся:

— Надо отметить. По-человечески.

Глеб не говорил: «В пику Клавдии», но Наташа догадывалась: отец хочет вернуть свое влияние на сына, перехваченное было Клавдией, которая вошла в его жизнь, словно новаявленная богородица.

Наташа понимала, что в сложившейся ситуации все попытки Глеба тщетны. Тут нужна система, вот как у Клавдии, а наскоком, даже пышным праздником проблему «отец-сын-мать» не решишь. Но возражать не стала, опасаясь, что Глеб ее не поймет.

— Подарок. Что ему купить?

И в самом деле... Хотя бы в принципе определиться: что-то из одежды? А может, игрушку? Стрекочущие автоматы (на батарейках) он перерос. Какой-нибудь луноход новой конструкции? Уже было. Что-либо из съедобного? Тут магазинной кулинарии, обожающей маргарин, с Клавдией не тягаться.

Они проходили по магазинам весь Наташин выходной. Эта вселенская толкучка никогда ее не прельщала. От магазинной суеты, от бесполезности поисков, когда не знаешь, что тебе нужно и где это взять, Наташа быстро уставала. Может, надо было попросить отцову машину? Но после глупого поведения во время «сватанья» Глеба Наташа почему-то стыдилась отца. «Да и вообще... Пора уже жить своим умом на свои шиши!»

День пропал, как говорится, не за понюшку табаку.

— Может, что-нибудь Юрий Юрьевич придумает? — с надеждой проговорил Глеб. — У него связи.

«И тут — Smyчок!» Наташу это обидело.

— Обойдемся!

У нее мелькнула идея. Отец привез ей из Японии транзистор. Небольшой. Признаться, она им почти не пользуется... Правда, может обидеться мама Нина: «Отец подарил! А ты...» Но если они с Глебом не смогли достать ничего оригинального... И вообще, какое значение в сложившейся ситуации имеет обида мама Нины? Судьба решается!

Глеб есть Глеб. Не придумав ничего лучшего, он зашел в магазин «Юный техник» (само собою, без Наташи) и набрал почти на сто рублей разных «релюшек», диодов, конденсаторов, радиоламп и прочих деталей. Из старья: разбирают приемники и телевизоры, купленные у населения...

— Он у меня из мастеровых. Пусть упражняется.

День рождения приходился на пятницу. Перенесли на воскресенье, на двенадцать часов.

Глеб заехал за Наташей на такси. В дом не заходил, позвонил из автомата. Она была готова. Прихватила транзистор. Надо было бы это сделать открыто, а ей почему-то в тот миг захотелось пройти так, чтобы мама Нина не видела. Не прошла. Мама Нина — бдительный человек. Но она не спрашивала, куда собралась Натулечка, когда вернется. На эту тему нравоучительных разговоров у них не бывает.

Она только оглядела дочь: как та одета. Изыщные черные сапожки на тонком каблуке. Джинсы: хлопок, фирма. Черный свитерок под горло. Современно. Весь наряд подчеркивал девичью стройность, молодость и... еще что-то такое, что уходит с годами, даже если женщине удастся сохранить фигуру. Легкость лесной лани, что ли...

— Гляжу на тебя... Ничем, казалось бы, природа не обидела: ни внешностью, ни умом. А судьба...

— Мне ли жаловаться на судьбу?! — возразила Наташа. А у самой — кошки скребут на душе. Как вспомнила Клавдию! — На родителей мне повезло. Особенно на маму. Работа — интересная, скучать не приходится. Есть человек, которого люблю.

Мама Нина неожиданно поцеловала Натулечку в щеку.

— Да кабы все так. — Она глянула на фирменную коробку, в которой был уложен транзистор. Оценила обстановку правильно: — Значит, на именины... Подарок. — Вздохнула. — Бабы мы бабы... Готовы для любимого... На что только не готовы! Но если бы всегда ценили нашу потребность жертвовать собой!

Мама Нина была ясновидицей. «Подальше от тех, кто читает наше будущее, как раскрытую книгу...»

Может быть, неведение — великий охраняющий закон природы? Не знать в деталях, что нас ждет. Иначе можно чокнуться.

Как-то в одной из московских школ психологи провели эксперимент. Вывели на улицу первоклашек и каждому из них показали на человека за шестьдесят лет: мальчикам — мужчин, девочкам — женщин. Вопрос был задан один: «Что ты будешь делать, когда станешь вот таким же (вот такой же)?»

Девчонки от обиды, от унижения, что ли, плакали. Мальчишки лезли в драку на обидчика — дядю психолога.

Знать, что ты однажды, вот как знаменитый вратарь Лев Яшин, останешься в расцвете сил без ноги... Или что ты умрешь в одиночестве никому не нужная: близким — обуза, врачам — причина для досады, умрешь — сгниешь заживо или пройдешь через физические муки, по сравнению с которыми гестаповские застенки — ничто. В такое время тебе бы умереть на неделю раньше уготованной судьбой срока... На месяц... На год... Но нет, не умрешь. И никто тебе не поможет враз прекратить муки... Не положено! Кто же возьмет на себя такую ответственность... Моли о гуманизме, о сострадании к

мукам ближнего. Все будут только ждать естественного развития событий...

Нет, береги нас, провидение, от ясновидцев!

* * *

На именины без цветов не являются.

— Заскочим на базар, — попросил Глеб шофера.

Конец октября, а на базаре — весна. Черноусые, с острым раздевающим взглядом мужички в дубленках, в полушубках, в «ласковых» шапках из норки, в лохматых — из собаки — продают цветы.

— Почем гвоздики?

— Пять рублей.

— Штука?

— Для тебя, красавица, бесплатно! Поедем со мной на Кавказ — всю теплицу подарю.

Гвоздики, особенно в сочетании красных с белыми... Наташа не может смотреть на них равнодушно, они у нее ассоциируются с кладбищем. На черном мраморе — четыре цветка: два белых, два красных: «Таня Мозжухина... Никифор». Человек, который умер, не родившись. «Ваша любовь остается со мною...»

Иных мыслей и чувств вид гвоздик у Наташи уже не вызывает. Будут они стоять в вазе на столе или в нише мебельной стенки, навевая на нее тоску, напоминая о бренности нашего существования.

— Возьмем хризантемы, — подсказывает Наташа Глебу. — Осенние цветы.

Глеб в растерянности. Хозяин цветов проявляет инициативу. Взял из рук сомневающегося четвертак и протянул ему три красных гвоздики, а Наташе — букет лилово-белых хризантем. Наташа улыбнулась. А может, просто с лица подобрела. И эту перемену в ней уловил продавец цветов.

— Эх, был бы я художником, нарисовал бы, как ты целуешь цветы, и прославился бы на весь мир! — Он порывлся в чемодане, извлек розу, не менее роскошную, и подал Наташе. — От меня! Ты — богиня, когда ласкаешь цветы.

Наташа отказаться от подарка не посмела. Поблагодарила цветочную воду.

Когда они садились в машину, Глеб сказал:

— Поэт! А двадцать пять рублей содрал.

— Так тебе и надо, не будь лопухим, — ответила Наташа. Настроение ее исправилось, стало весенним, легким, напоенным добрыми надеждами.

День выдался ветреным. Мальчишки и девчонки ходят уже в куртках, хотя и нараспашку. Головных уборов пока не признают. Но солидный прохожий не даст поймать себя первой осени. Такси проехало по мосту, разделяющему два больших пруда. Сидят на берегу закованные в тяжелые латы рыбаки: кое-кто в полушубках, в ушанках. А один ухитрился даже поставить над собой небольшую палаточку из прозрачной пленки и сидит в этаким «вигваме», как овощ в теплице, прячется от ветра.

Глеб держит Наташину руку в своей. «Милый, ласковый мой Глебушка...»

Приехали. Машина юрко развернулась и умчалась. Глеб сказал Наташе сурово:

— Какие бы коники не выкидывала Клавдия, ты — моя жена. И я тебя после именин никуда не отпущу! Поняла? Все, что хочешь сказать мне по этому поводу, скажи сейчас, чтобы при посторонних мы к этой теме уже не возвращались.

Приятен Наташе такой разговор, и даже не сам разговор, а тон, каким говорит Глеб, тон, не допускающий возражений.

Она улыбается:

— А как на все посмотрит Шура?

— Как настоящий мужчина, с пониманием ситуации.

Наташа сомневается. Но так хочется поверить Глебу.

...Не смогла. Поднялись по лесенке-развалюхе на второй этаж. И вот она — дверь. Обита светло-коричневым дерматином. Сделано мастером: с розочками. В виде двух переплетающихся скрипичных ключей пущена строчка из медных шляпок обойных гвоздей. И глазок врезан.

О том, что входные двери обили дерматином, Глеб не говорил ничего. И вновь Наташей овладела тоска.

«Кто так фасонно обивал? Уж не сам ли Глеб?»

Открыл он своим ключом замок, пропустил Наташу вперед...

И она попала в какое-то царство ярких весенних красок и мягкого, теплого света. Ей бы порадоваться и веселеньким обоям, и бра в виде старинной керосиновой лампы «молния» — живет теперь Глеб в человеческих условиях, но окунули сердце в «царскую водку» — коктейль из сильнейших кислот... Обида! Обида!

«А почему все это сделала для Него и Его сына не Ты, а другая? Кто мешал? Времени было в избытке!»

Лицом в угол, заблокировав собою коридорчик, склонились, выставив зады, два мужика. Что-то там их невероятно заинтересовало.

Одного из них она узнала бы, наверное, даже сквозь метровый слой снега. «Смычок!»

Наташе и в голову не приходило спросить у Глеба, кто будет на именинах.

Рядом со Смычком в коридорчике просматривался замдиректора по коммерческой части Клепанбык.

Наташа как-то подзабыла, что Егор Миронович — родной брат Клавдии. Сделал навстречу вошедшим два шага, перемахнул тесный коридорчик. Поздоровался с Наташей как с давней знакомой, с которой сегодня уже встречался: мельком, вскользь. А Глеба обнял, прижал к себе.

— Молодеем! — сам же зырк-зырк острым барыжным взглядом на Наташу: мол, зна-а-ем причину твоей второй молодости. — С именинником!

Наташе нужен был Шурка: вручить подарок. Коробка из пенопласта с транзистором казалась ей тяжелой, как штанга рекордного веса. «Побыстрее бы передать!»

Она «до того» не задумывалась о том, сколько стоит ее подарок: получила транзистор от отца. А в комиссионке такая штукавина стоит, поди, рублей четыреста, если не больше. И родилась запоздалая мыслишка: «А не переборщила она со своей добротой?»

Шура, одетый в синеватый джинсовый костюм с металлической нашлепкой на заднем кармашке, присел в угол на корточках. Рядом с ним, тоже на корточках, — сестренка Леля с огромным (белым, в черный крупный горошек) бантом в темных волосах.

Дети оглянулись на вошедших, но не оторвались от своего занятия.

— А у нас собачка! — радостно объявила Леля, ни к кому конкретно не обращаясь, просто ребенок поделился радостью, распиравшей ее.

На старом байковом одеяльце, сложенном вчетверо, лежал пушистый серенький комочек.

— А он лизыцца, — тараторила девчушка.

Наташа передала Шуре коробку с подарком. Мальчонка сказал «спасибо». Застеснялся. Вспыхнул, щеки заалели.

Он отнес подарок тети Наташи в папину комнату. Случайно? Или у него в душе мир уже поделился на две половины: «папино» и «мамино»?

Он почти тут же вернулся, наверняка, не доставал транзистор из коробки. Раскрыл ее, глянул — и вновь к щенку.

Из кухни выплыла Клавдия. Королева, у которой сегодня прекрасное настроение. Черное платье, скрадывающая излишнюю полноту, делало ее высокой и величественной. Смелый вырез позволял любоваться высокой белой грудью. Две таинственно манящие полусферы по ложбиночке разделял кулон из крупного чистой воды янтаря. Клипсы-висюльки по цвету сочетались с кулоном.

Клавдия была из тех женщин, для которых законы моды не существовали: такие сами устанавливали для себя законы, тонким женским чутьем определяли, что именно ей сегодня пойдет, а что не очень.

— К столу! — пригласила Клавдия на правах хозяйки.

Стол был накрыт в комнате Глеба. Наташа здесь не была с памятного дня своего позорного бегства. Не узнать комнату. И стены, и потолок оклеены обоями. Рисунок один и тот же, а оттенки колеров разные. Углы комнаты выделены особо. Складывается впечатление, что потолок лежит на специальных столбах. Комната не только посветлела, но и как бы раздвинулась, стала выше.

«Со вкусом!» — невольно подумала Наташа.

Клавдия перехватила ее взгляд и пропела:

— Это Егор Миронович снабдил меня обоями и краской. Надоела старая конюшня: детям надо прививать вкус к прекрасному с раннего детства.

— Не тебя, сестрица, снабдил, а помог приобрести необходимые для ремонта материалы одному из самых замечательных людей нашего завода — Глебу Кедрачу! К сожалению, он из тех, кто о себе беспокоиться не умеет.

— Правильно, — согласилась охотно Клавдия. — Глебушке нужна жена хозяйственная, которая все заботы берет на себя, освобождая мужу время для его мужских занятий.

— Да, ему нужна жена-друг, которая не ищет по курортам развлечений на свою голову,— поддакнул не без ехидства брат.

— По младости, по глупости... Могла бы, до полусмерти себя запорола, — с подкупающей откровенностью ответила Клавдия.

— Негоже бросать начатое дело, останавливаться, так сказать, на полдороге: жми, дави, валяй, пори — до полной!

Неприятен Клавдии такой разговор, но она мягко улыбается, делая вид, что не понимает прозрачных намеков.

— Сколько себя помню, ты, братик, всегда любил пошутить.

Смычок поспешил хозяйке на выручку. Наташу хозяйкой здесь никто не назовет. Смешно это звучало бы: она — хозяйка!

— Клавдия Мироновна, гости умирают с голоду.

...Никакие это не Шуркины именины: попойка для взрослых. Рюмки — как казацкие кухли — огромные.

Смычок привычно берет на себя роль тамады. Он сел рядом с Клавдией.

— Вам салата, Клавдия Мироновна?

— Ложечку.

— Шпротинку... Кусочек иваси. Вы знаете, Клавдия Мироновна, историю иваси? Рыбка — дальневосточная. Перед войной ее было навалом. Ловилась безотказно. А в годы войны ушла. Куда? Никто не знал. И вот четверть века спустя вновь появилась. Треску мы слопали, селедку, в основном, тоже. Хек нынче и тот — рыба редкая. А вот ивасиками Тихий океан пока еще балует.

Смычок лихо, со стрельбой в потолок, раскупорил шампанское. Налил в бокал имениннику сидро. В такой же бокал, как и взрослым. Может, надо было бы протестовать? Но она не мать именинника и даже не хозяйка дома. И девочке — сидро в бокал...

«Вот так и живем: применительно к подлости», — с обидой по отношению к самой себе подумала Наташа. Протестовать — неприлично, свое мнение высказывать — неприлично, даже иметь свое собственное, отличное от мнения начальства, — опасно. Вот в «Известиях»... Двадцать лет безупречной службы за плечами человека. Награды! Грамоты! Премии. А провел ревизию в строительном тресте, выявил «липу» на два миллиона и стал врагом всем, не только начальнику комбината, но и министру.

Впрочем, к чему такие параллели? Любим прятать свое, маленькое, сугубо личное, за государственные интересы.

Дети выпили все сидро, наелись и поспешили в коридор, где поскуливал отлученный недавно от матери щенок.

И японский транзистор не привлекает. И экзотический подарок Смычка — «прямо из Америки, самолетом» — широкополое сомбреро, широкий пояс желтой кожи, кобура под цвет пояса и в натуральную величину кольт, подозрительно смахивающий на настоящий. Все затмил серенький пушистый шарик, который едва встает на коротенькие, непослушные ножки.

Собака в доме... Забот, хлопот с ней не меньше, чем с грудным ребенком. Щенка подарил племяннику Клепанбык. Доволен своим подарком.

— Восточно-европейская овчарка. Именитые родители. Вырастишь, Шуренок, воспитаешь и пойдешь вместе со своим Барбосом служить в пограничные войска.

Мальчонке такая перспектива нравится.

«Но Клавдия-то как согласилась на такой подарок? Овчарка линяет круглый год! Через пару месяцев квартира превратится в собачью будку».

Но видя, как дети увлечены щенком, про себя вздохнула. «Заперли мы себя в каменных пещерах...Теряем последние связи с природой-матушкой». По телевидению недавно выступил какой-то жуликоватый мужик со званием кандидата биологических наук. Он с пеной у рта доказывал вред домашних животных в условиях коммунальной квартиры. Главный довод: много жрут, загаживают общественные места. А о том, что собачонка или белая мышь в доме делает душу ребенка мягче, добрее, отзывчивее, — ни слова. Мы и

без того стали такими рационалистами, что начали терять лучшие черты национального характера. А перед урбанизированным рационалистом однажды может встать вопрос: надо ли беззаветно быть преданным родине, если это ему лично в данной ситуации невыгодно? Не выставило телевидение оппонентов жуликоватому дяде от биологической науки, который ловко передергивал и подтасовывал факты. Истина осталась за семью печатями. А призыв на многомиллионную аудиторию — «Истребляй братьев младших по разуму» — в ожесточенных сердцах некоторых вконец «заурбанизированных» горожан нашел живой отклик: «Вот и по телевидению говорили!» А что говорили?

Наташа сожалела, что не дозрела до идеи подарить Шурке щенка. Транзистор, даже японский, ныне уже не диво.

* * *

Тост следовал за тостом. Смычок любил верховодить во время застолья, но сегодня он был в особом ударе и сыпал приевшимися остротами вроде: «Выпьем, братцы, выпьем тут, на том свете не дадут, а если там не обнесут, то выпьем, братцы, там и тут!»

«Тост — за именинника!»

«Тост — за ту, которая родила такого замечательного хлопца!»

«Тост за отца именинника, который передал ему свой талант согревать души человеческие!»

И так далее и тому подобное. Смычок следил, чтобы огромные рюмки не пустовали ни у кого. Его с удовольствием поддерживал Егор Миронович, да и Глеб, к удивлению Наташи, был по этой части «активным штыком». Впрочем, она и сама, надо полагать, выпила лишнюю рюмку.

Клавдия цвела, она считала, что именины удались на славу: гости едят и пьют безотказно. А от захожих острот Смычка она приходила в телячий восторг. Юрий Юрьевич явно работал на хозяйку, а уж он умел производить хорошее впечатление на женщин. Коронный его номер — скovyривать ногтем большого пальца правой руки пробки с пивных бутылок — произвел фурор. Даже Клепанбык восхитился:

— Же-елезный мужик!

Собираясь на именины, Наташа думала, что они растянутся ну... часика на четыре. С двенадцати... Но пошел уже шестой час.

Все здесь для нее было чужое и чуждое. В ином бы случае встала и ушла. Но сейчас она сидела и с обреченностью загнанного зайца ждала, что же будет... А застолье, казалось, только разгорается. Менялась грязная посуда (эту операцию ловко и быстро осуществляла Клавдия, которой с удовольствием помогал Смычок). Опустевшие бутылки заменялись. Обновлялась закуска. Словом, конвейер.

Наташа чувствовала, что ее подташнивает. Кружится голова. Выйти бы на воздух. Но этот темп! Ешь! Пей! Пей — ешь! Пробовали танцевать. Егор Миронович поймал по транзистору, который Наташа подарила имениннику, какую-то «импортную» станцию, которая наяривала всякую «рваную» музыку.

— Наталья Прохоровна! Р-разрешите?

В танцах Клепанбык легкий, подвижный, танцевать с ним приятно и удобно. Глеб сидел на диване, глупо, пьяненько улыбался и не сводил глаз с Наташи. Сам он не танцевал.

«Переборщила!»

В какой миг она потеряла над собой контроль?! И эту ее слабость, конечно, углядела Клавдия. Да и Смычок с Егором Мироновичем взирали на мученицу то ли с недоумением, то ли с сожалением.

Проявляя самое дружеское участие к опростоволосившейся сопернице, Клавдия посоветовала народное средство: два пальца в рот...

Как Наташа ненавидела себя!

Около десяти вечера за заместителем директора по коммерческой части пришла машина.

— Наталья Прохоровна, могу доставить вас к порогу дома мамы Нины в лучшем варианте, — предложил Егор Миронович.

Глеб пьяненько запротестовал:

— Она остается.

Но его и самого «подразвезло». Каким-то жалкеньким показался он Наташе в тот момент. Глазки сузились, скулы обострились. Лицо покраснело, словно взрослый человек заболел диатезом.

«Ну и видок!»

Клепанбык ждал, как на его предложение ответит Наташа.

Она невольно оглядела комнату, которую занял праздничный стол, смахивающий к этому времени на модернистский натюрморт. «Где же тут спать?»

— Я... пожалуй... поеду... С вами... — слова ускользали из памяти, она их ловила и с трудом загоняла в предложение.

Глеб возмущился:

— Мы же с тобой договорились!

Но ей становилось все хуже, а она не хотела, чтобы Клавдия видела ее позор.

— В следующий раз. Извини.

Глеб кричал что-то такое об оскорблении мужского достоинства, но она быстро надела куртку и буквально выбежала на свежий воздух.

Глеб к машине не вышел. А она так его ждала! Появились чем-то смущенные Егор Миронович и Смычок. Сели в машину молча. Клепанбык коротко приказал водителю:

— Трогай.

* * *

В понедельник химводоочистка обсуждала невероятное событие: Глеб Игнатьевич появился на работе только к обеду.

Хмурый. Какой-то весь помятый, пожеванный. И молчаливый. Ни «здрасьте», ни «как живете-можете». Словно ему рот опломбировали, да еще сургучную печать приклепнули для надежности.

Мало ли куда мог с утра податься бригадир слесарей и парторг цеха. Понедельник! Могли вызвать в партком завода на какой-нибудь семинар, в райком партии на партучебу. И вообще... Но если такое случалось, он обычно докладывал: «Вызывали...», «Приглашали...», «Решили...» А тут — мимо всех, бочком, ни на кого не глянул, будто весь мир перед ним в долгу, и к себе — в «хламсарай», то бишь в мастерскую.

В представлении тети Фроси жизнь ясна, как ангельская слезинка:

— Перебрал мужик вчера на именинах сына. Не велика беда. Вот я его попотчую своими огурчиками, рассольчику отведаст, и душа успокоится, найдет себе место.

— Огурцы с рассолом по такому случаю побереги, подруженька, для своего Луки Степановича. А с нашим Глебом Игнатьевичем что-то посерьезнее. Не накатила ли из него колобков уважаемая Клавдия Мироновна? — не согласилась с Ефросиньей Лизавета.

Но углубляться в обсуждение этой темы было некогда, под весом стояли два вагона с солью, а обещанный Юрием Юрьевичем экспериментальный экземпляр чудо-машины, которая выгружала бы из вагонов сыпучие продукты, застрял где-то по дороге от конструктора до завода, так что довелось пермутитским красавицам браться за лопаты. Конечно, выкидать вагон соли на сорок тонн — это не то, что кайловать «пик имени тети Фроси»: лоток подвел, бортик из досок разобрал, она, родимая, и пошла почти самотеком на конвейер. Этак-то тонн пять стечет, только подшуровывай, чтобы в лотке не скапливалась. Еще тонн пятнадцать — тоже почти самотеком: пошевелить лопатой — и потекла, роднулечка, куда тебе надо. Ну а вторую половину — древним, пермутитским методом: бери на лопату больше (до пуда умещается, если соль сухая) и кидай дальше.

— Часика за два-три управимся, — оптимистически заявила тетя Фрося.

Лизавета, вечно не согласная с подругой, ответила прибауткой:

— Казала Настя, як удастся...

Начиналась большая регенерация. Вера Уварова полезла на свой кран: рапу для процесса подает «гидросоль», а известь — кран-развалюха.

В иное время Наташа обязательно провела бы Глеба: рабочий процесс налажен, сменному инженеру можно на несколько минут отлучиться, но сегодня ее что-то удерживало. После именин на душе — мерзость: устроили концерт драные мартовские коты, за-всегдаи крыш и чердаков...

Она винила себя за вчерашнее. По-глупому повела себя под конец: бросила Глеба на съедение Клавдии. Да и пятисотрублевый подарок для тринадцатилетнего мальчишки шедевром педагогики не назовешь. Теперь уж Наташа четко определила стимул своей доброты: Клавдия. Хотелось сразить ее, удивить купеческой щедростью: мол, да! — обоев я не клеила, полов и оконных рам не красила,

словом, уютом не занималась, не до того было, но в душе... К Шурику...

Домой вчера Наташа явилась, можно сказать, вовремя: около десяти вечера. Родители еще сидели на кухне, вели какие-то свои обычные разговоры: отец рассказывал о делах на кафедре, Нина Ивановна выспрашивала подробности.

Увидев дочку, отец спросил:

— Ну, как именины?

— На уровне, — ответила она.

И он остался таким ответом вполне удовлетворенный. Он никогда не углублялся в ее жизнь, можно даже сказать, что они сосуществовали почти независимо друг от друга. А вот мама Нина всегда стремилась прожить за Натулечку-роднулечку ее жизнь: взять на себя не только ее беды и заботы, но и радости. Правда, последнее время у нее хватало такта не вмешиваться в отношения дочери с Глебом Кедрачом.

Мама Нина, конечно, заметила, что Натулечка чем-то возбуждена и расстроена. Напоила чадо кефиром, предложила пожевать моченое яблоко. «Бочковое. Купила на базаре... Удивительный аромат. Антоновка. Из Белоруссии».

В тот вечер Наташа попыталась позвонить Глебу. С момента воцарения Клавдии в мужнем доме Наташа Глебу не звонила ни разу. А тут вдруг решила: «Надо!»

Но телефон не отзывался, вернее, на том конце провода трубку никто не поднимал. «Словно вымерли!» Правда, Глебов телефон вечно с капризами: старый рабочий поселок... В свое время туда дали несколько телефонных пар: в магазин, один автомат (правда, вечно неработающий, «курочит» его местное хулиганье — то трубку вырвут вместе с цепью, на которую она прикована, то расковыряют сам автомат, добираясь до его кассы), но бригадир слесарей цеха водоснабжения — фигура особая, таскают его ночами по авариям, вот и протянули времянку по воздуху. У такой связи сто причин и возможностей выйти из повиновения людям.

Утром Наташа проспала бы, не разбуди мама Нина ее вовремя. Толком не привела себя в порядок, сунула в сумку «нажористый» (чтобы на двоих хватило) рабочий завтрак по имени «тормозок» и

побежала на завод. Хорошо еще, что какого-то частника подрядила, иначе на планерке обходились бы без нее.

Глеба за столом президиума, где сидело цеховое начальство, не оказалось. Зато Смычок — как стеклышко, протертое фланелевой тряпочкой, словно никаких именин вчера не было.

* * *

Наташа почувствовала, что проголодалась — с утра во рту маковой росинки не было. Взяла в бытовке «тормозок» и по укоренившейся уже привычке прошла к Глебу: «Надо же подкормить мужика, чтобы не охлял», — сказала бы Лизавета.

Глеб сидел в «хламсарае», крытым листом алюминия, где обычно слесари резались «в козла».

Наташа глянула через Глебово плечо: «План работы партгруппы»... Подивилась: для парторга в конторе есть специальный кабинет, а Глеб засел здесь...

...И не обернулся при ее появлении. Не мог не слышать! Должен был улыбнуться чуть смущенно. Просветлели бы глаза, наливаясь детской радушной преданностью, и весь бы он подобрел, и в этой доброте стал бы почти беспомощным. Наташа бы оглянулась: никого поблизости нет? И чмокнула бы его в пухлые губы.

...А Глеб — истукан-истуканом.

— Что-то случилось?

— Для тебя — ничего опасного!

— Что за тон? — удивилась озадаченная Наташа.

— Почему ты не осталась? — предъявил он претензию.

«А... вчера... Обиделся, глупышка». Конечно, перед именинами они договаривалась «железно». Но она так плохо себя чувствовала...

— Клавдия на меня действует, как кобра на лягушонка, при ее виде все во мне костенеет. Извини.

— В дом к себе я больше не вернусь, — заявил Глеб.

Наташа не поняла его:

— Но... там Шурка.

— Боюсь, что я его уже потерял. Уедем. Сегодня же подадим на расчет. — Он схватил ее за руку. Он требовал. Он молил.

Наташа освободила руку.

— Парторг цеха — и говорит: «Сегодня уволюсь...»

Да, такое заявление было несерьезным. Жизнь вяжет нас по рукам и ногам, она диктует свои условия, и зачастую мы идем на безоговорочную капитуляцию перед обстоятельствами.

— И потом, Шурке нужен отец. Кем он станет при Клавдии?

Глеб вдруг почернел с лица, в глазах озлобление:

— Ты предала меня! Договорились, что останешься!

Наташе было обидно: незаслуженное оскорбление! Но Глеб возбужден. А в конфликтных ситуациях один из двоих должен быть рассудительнее, сдержаннее, иначе обида, родившаяся на мелководье, вырастет во всеразрушающий тайфун.

— Давай перекусим, — предложила Наташа перемирие.

Глеб его не принял:

— Сыт! По горло! — Он чиркнул себя ребром ладони по кадыку.

Глеб был настолько перевозбужден, что забыл о границах приличия и... ее терпения.

— Я подойду попозже. Может, к тому времени ты сменишь тон!

Она понимала, что у него с Клавдией что-то произошло. Неприятное. Может, из-за Шурика? Методы влияния на сына у Клавдии совсем иные, чем у Глеба...

Но до конца смены Наташа к Глебу так и не попала. Пришел мужичок-боровичок Лука Степанович, незабвенный супруг тети Фроси, и начал отключать ледоделку. Перед этим электрики сняли напряжение. Луке Степановичу осталась сантехническая часть.

Событие не ахти какое: перекрывают ржавые вентили на истлевших трубах, которые сыплются. Но поглазеть на эту плевую, с точки зрения слесаря-сантехника, работу собралась вся смена химводочистки: с ледоделкой закрывалась одна из страниц старого цеха водоснабжения.

Наташа почему-то обратила внимание на Лизавету, стоявшую чуть в стороне от других. Насмешница-пересмешница, которую не в состоянии смутить даже черт в рогах горного козла и буйволиных копытах, побледнела, на высоком лбу — капельки пота. Это от внутреннего возбуждения. Дрожит, как голый на февральском ветру перед полынью. Руки на груди молитвенно сжала. Глаза олубятели,

смотрят, не мигая, на огрубевшие, побитые ссадинами руки слесаря, перекрывающие главный водогон.

Наташа подошла было к ней, хотела полюбопытствовать, в чем дело, а Лизавета схватила ее за рукав куртки и потащила за собою прочь. И только, когда скрылись ото всех за колодцем «гидросоли», Лизавета будто пришла в себя:

— Прохоровна, покаюсь. Сорок лет молчала. Знаешь, почему ледоделку никогда не выбирают до конца? Это я ее заблокировала еще в ту пору...

Наташа поняла: «В годы оккупации».

— Партизанила, — истолковала она по-своему сообщение.

— Нет... Там, на дне, во льду, мой голубь сизокрылый, — а у самой от внутренней дрожи голос ломается.

— Кто-кто? — не поняла Наташа.

— Да оккупант мой. Слыхала?

Голод не тетка. Поселковая девчонка-безотцовщина Лизка написала себе два года, а то бы, пожалуй, оккупанты не приняли на завод. А там выдавали провиант-карточку. Все же какие ни есть — харчи.

— На химводоочистке была соль, а соль в те годы ценилась дороже золота и хлеба, — рассказывала Лизавета, вспоминая далекое прошлое. — Ну и подловил меня однажды на этом деле часовой. Мальчишечка, еще молоко на губах не обсохло. Деваться было некуда, и закрутила я с ним любовь. Добрый был, доверчивый. А все равно оккупант. Моя подруга вылила на немецкое начальство ковш жидкой стали — и убежать. Он ее подстрелил. Ну а я... трахнула его железякой по башке и — в ледоделку. От той поры и лежит там, на дне, замороженный.

Наташа верила и не верила...

* * *

Наташа надеялась, что Глеб после работы, как уже стало привычным, проводит ее. Первая смена в этом отношении самая удобная. Но он куда-то запропастился: в мастерской его не было, в конторе — тоже. Поднявший трубку Лука Степанович пояснил:

— Вышел, с час тому. А куда — не доложил.

Наташа вспомнила, что Глеб сочинял план партработы на апрель. «Может, в партком завода подался?»

Позвонила в партком: «У вас собирают секретарей цеховых парторганизаций?» Нет, никто никого не собирал.

Наташа минут сорок подождала в надежде, что Глеб вот-вот объявится, да и пошла домой одна.

На следующий день Глеб вновь не смог ее проводить после смены, пробурчал что-то такое о занятости и исчез.

Женщина соткана из подозрений. У нее никогда нет полной уверенности, что вокруг нее все стабильно. Несчастья можно ждать и от людей, и, так сказать, от судьбы: мало ли что может произойти с каждым из нас в любую минуту. Вот совсем недавно: шел один доцент утром в университет, и, надо же, на него упал карниз балкона. Перегрузили землей, цветами — край и обломился. И это в центре города! После ЧП последовало распоряжение горсовета: убрать цветники с внешней части балконов. Ездили автовышки и, не считаясь с протестами хозяев, разорjali балконные клумбы. Но человека уже не было в живых. И обвинять в его смерти некого. Несчастный случай. Судьба!

Наташей овладела ревность. И она тут же осудила в своей душе «изменника». Шатко положение подруги человека, у которого есть жена и дети.

Решение ее было жестким: «Ну что ж, навязываться насильно, Глеб Игнатьевич, вам в любовницы или, как говорят юристы, в сожительницы, не будем!»

Но где-то к концу злополучной недели Наташа случайно довелась, что все это время Глеб дома у себя и не появлялся, ночевал в «хламсарae», то есть в мастерской.

Лизавета его чихвостила:

— Полжизни человеческой прожил, а ума не нажил. Домой не заявляется! Да Клавдии этого только и надо! Квартиру уступил! Пусть она свое поищет там, где оставила, в Ростове.

Глеб вначале отмалчивался, а потом, не выдержав справедливой атаки не стесняющейся в выражениях Лизаветы, взорвался:

— Ты что, предлагаешь, чтобы я затеял с нею драку? Для решения семейного конфликта взялся за нож?

— Глубоченько дело у вас зашло! — подивилась Лизавета. — Тогда выход один: делить квартиру. Только на поселок — мало желающих. Разве что с солидной доплатой...

— Можно и уехать... Куда-нибудь к черту на кулички... — пробурчал Глеб. — Дешевле обойдется.

— От Клавдии уехать можно. А от себя не сбежишь: здесь, на заводе, твоя душа.

Узнав об этом разговоре Лизаветы с Глебом, Наташа принялась себя корить: «У него — беда, а я ударились в бабий гонор!»

Она решила вызвать Глеба на откровенный разговор (принцип мамы Нины: в конфликтной ситуации один из двоих должен быть умнее и милосерднее). И все искала момент. Но в этот день до обеда было много работы, затем Наташу вызвал к себе начальник цеха.

В кабинете Смычка сидел Руфимов. Как его перелопатила болель! За полгода, что они не виделись, Арзамас Руфимович сбросил килограммов двадцать пять, не меньше. Был колобок, а теперь — вешалка, на которую набросили плащ-балахон. Так обвисла кожа: на лбу, под глазами, на подбородке. Костюм на бывшем начальнике цеха — словно бы с чужого плеча.

Грустно и тревожно Наташе, жалко Руфимова.

А он улыбается, вернее, хочет улыбнуться, и рождается гримаса боли и скрытой обиды.

— Вот... — сказал Руфимов. — Вернулся в родное гнездовье. Врачи пообещали: еще поработаю.

— Наталья Прохоровна, — обратился к ней Смычок. — Щепетильный момент... Вы у нас по приказу значите помощником начальника цеха, а работаете сменным инженером.

Она насторожилась... Все так и есть, Наташа ждала от Юрочки Смычка какого-то подвоха.

Руфимов встал. Смущенный.

— Я, пожалуй, пойду...

— Нет-нет, Арзамас Руфимович, оставайтесь. Наталья Прохоровна — человек без предрассудков, она нас поймет правильно. — Он повернулся к Наташе. — Такое дело... Арзамас Руфимович вернулся в родной цех. Здоровье пока еще далеко не прежнее, но поддержать ветерана надо. Посоветовались мы тут с «треугольником»... Арзамас

Руфимович будет помогать начальнику цеха по текущим делам. Тогда у меня появится возможность заниматься перспективой.

Наташа в душе была совершенно согласна со Смычком. Проект реконструкции водоснабжения завода утвержден, пора заниматься им вплотную. И тут придется помотаться. А будничные хлопоты остаются. Основные цеха не остановишь: мол, нет воды. А Руфимов был создан именно для того, чтобы «делать воду», которая нужна сегодня, в данный момент, сию минуту. Непонятно только, чего Смычок ломится в открытую дверь, зачем вызывал Наташу. Посоветоваться? Так вопрос решен: Руфимов уже здесь.

— А что, если мы передадим Арзамасу Руфимовичу ваше звание помощника начальника цеха? — спросил Смычок. — У вас в жизни, в общем-то, ничего не изменится. А делу — польза.

Если откровенно, то она просто забыла о таком своем звании, которое ей по воле главного инженера ДМЗ, в угоду самолюбия мамы Нины было дано на время строительства «гидросоли». Первая очередь работает, до второй — далековато. Правда, раза два на общезаводской планерке ее поднимали, во время отсутствия Смычка взыскивали за вчерашнюю работу цеха... Если от чистого сердца — обязанность не ахти какая приятная.

— Арзамас Руфимович, я так рада, что вы выздоровели! — воскликнула Наташа.

— По такому случаю — заявление, Наталья Прохоровна, — потребовал Смычок. — Теперь хочу посоветоваться. Коммунистов в цеху у нас маловато, но цех по людскому составу солидный, немало специфических трудностей: недостаточный уровень механизации трудоемких процессов, ставки меньше, чем в цехах более высокой категории, отсюда текучесть кадров. И вот в парткоме завода пришли к выводу, что нам нужен освобожденный парторг. Разговаривали на эту тему с Глебом Игнатьевичем, он категорически отказывается переходить на чисто партийную работу: «Я хорош в должности бригадира ремонтников». Конечно, терять цеху классного специалиста нельзя. Но тут уж надо из двух бед выбирать ту, которая дешевле обходится.

Наташа не сомневалась: в парткоме завода пришли к выводу, что цеху водоснабжения нужен освобожденный парторг не без влияния Смычка. Сумел убедить в необходимости...

— Но меня насторожила одна фраза Глеба Игнатьевича, — продолжал Смычок: — «Какой я парторг! Запутался в личных делишках — впору из партии исключать!» Вы у нас, Наталья Прохоровна, человек с трезвым взглядом, так что в пределах возможного прошу откровенности. Мы с Арзамасом Руфимовичем постараемся быть в этом деле полезными.

Доводы убедительные, в тоне — горячая заинтересованность.

— Ходили они с Клавдией к судье на собеседование. Будто бы Клавдия заявила, что хочет сохранить прежнюю семью ради сына. Судья предложил отсрочку. Иных сведений у меня нет.

Руфимов переглянулся с Юрием Юрьевичем. Недоуменно пожал плечами. Смычок кивнул ему головой: мол, согласен с тобою, дело темное, непонятное.

— Все в пределах норм общечеловеческой морали, — думал вслух Смычок. — Не пойму причины его паники. — Он замялся. — По всему, на этот месяц между бывшими супругами заключено перемирие. У меня есть сведения, что Клавдия Мироновна раза два появлялась на заводе: приносила в судах обед. Был с нею сын. Но есть и другие сведения: Глеб Игнатьевич ночует в мастерской. Я уже разговаривал с ним на эту тему: семейные конфликты надо решать в пределах семьи, не обременять ими близких и не превращать в цирк на потеху кумушкам и сплетникам.

О появлении Клавдии на заводе Наташа не знала. Может, это произошло не в ее смену? Перемирие на месяц — неприятная для нее формулировка, не учитывает она душевного разлада Наташи, ее сердечной боли.

— Ночуя по задворкам, свою судьбу на кривой не объедешь, — убежденно заявил Смычок. — Не к лицу солидным людям решать свои дела по-мальчишечьи. Надо — и садятся за стол переговоров. Только без глупого гонора, с думой о своей чести, о судьбе детей.

«Попробовали бы вы, уважаемый Юрий Юрьевич, вести переговоры на квартирную тему с гражданкой Клавдией Мироновной!» — подумала с горечью Наташа.

На этом разговор о неурядицах семейной жизни Глеба Кедрача закончился. Но, оказывается, в запасе у Смычка была еще одна тема.

— Наталья Прохоровна, как вы смотрите на свою кандидатуру?

— Я уже говорила вам, Юрий Юрьевич, меня ждет аспирантура.

— Мы уточняли: заочная, — напомнил Смычок

— Сами вы почему-то предпочли стационар.

— Меня бы на два фронта не хватило, — признался Смычок. — А вы человек собранный, целеустремленный, заочная аспирантура вам вполне по силам. Вспомните афоризм профессора Пахомова: «Путь в науку настоящего ученого начинается с заводской проходной». Два-три срока поработаете в должности секретаря парторганизации цеха и запишите перспективную страничку в своей биографии.

— Соглашайтесь, Наталья Прохоровна! — поддакнул Смычку Руфимов. — У вас это получится.

Похвала смутила Наташу.

— Я подумаю.

— Только не советуйтесь по этой проблеме с Ниной Ивановой, — предупредил Смычок. — Она — за чистую науку.

Покидая контору цеха, Наташа уже думала о том, что бы она сделала, если бы ее и в самом деле выбрали секретарем парторганизации... И вдруг — сомнения: «Это тебе — не смена химводоочистки в семнадцать — двадцать человек». Цех! Семьсот судеб! Какую надежду ты им принесешь? Какие у тебя есть возможности изменить к лучшему всю их жизнь: и здесь, в цеху, и за пределами производства? Наши радости и обиды начинаются там, дома, в семье, среди друзей и близких, а приносим мы свое настроение на завод, в цех...

Захотелось увидаться с Глебом, перекинуться с ним хотя бы парой фраз, услышать его голос, порадоваться его смущенной улыбке.

Наташа направилась в «хламсарай». Вошла в мастерскую и невольно остановилась в дверях. «Хламсарай» — это большая комната с высокой крышей, под которой жил тельферный кран. Пол мастерской некогда выложен деревянной брусчаткой, поставленной на торец. За десятилетия его затянуло машинным маслом, которое загустело от железных опилок, рожденных десятками напильников, от заводской специфической пыли. В вязкую густую замазку втоптаны гайки, шайбы, мелкие болты, граверки...

Наташа невольно остановилась на пороге, надо было глазам привыкнуть к слабому свету.

В конце «хламсарая» у бригадира слесарей была выгородка, где стояли стол с тремя стульями и огромный самодельный «сейф», в котором под охраной амбарного замка хранился слесарный «дефицит»: фланцы, краники, вентили, прокладки и прочее.

Неказистая дверь в кабинет бригадира была распахнута. В комнатухе было гораздо светлее, чем в мастерской: там горела мощная лампочка.

Наташа увидела Шурку. Мальчишка обнимал отца за шею ручонками и плакал.

— Я тебя люблю... И не хочу без тебя! Почему ты не приходишь домой?

Глебова лица Наташа не видела, он сидел практически к ней спиной, но она легко могла сейчас представить его выражение: страдальческое. Глеб соврал сыну:

— Знаешь... Работа. То да се.

— Неправда, — уличил его во лжи Шурка. — Ты из-за мамы. Я знаю. Ты ее не любишь.

Приходит время, когда дети получают право судить своих отцов.

Что мог ответить Глеб? «Да, я ее уже не люблю. У нее другая семья...»

Если бы Глеб сделал такое признание, Наташа тут же бы его возненавидела на всю оставшуюся жизнь.

Глеб поступил мудрее. Он прижал сына к себе и сказал:

— Подрастешь — поймешь. — И, подумав, добавил: — Если захочешь. Одно могу сказать: нам всем сейчас очень трудно.

Наташе стало стыдно за то, что она невольно подслушала этот разговор. Потихоньку вышла из мастерской.

«Всем трудно», — вспомнила она слова Глеба. Значит, и Клавдии? А кто породил эту трудность? Режут на кусочки сердце мальчонке Шурке, кромсают. Для него важнее всего, чтобы папа с мамой были вместе, но он превосходно понимает, что такого быть не может. Прибежал на завод к отцу... Нашел дырку в заборе... Сколько он выстрадал, как выболело его сердце за эту неделю после именин! Постарел на сто лет! «Ты ее не любишь!» — надо было ему дозреть до этой мысли. Причем он не упрекал отца за это, он просто сожалел

о случившемся и жаловался на свое полусиротство при живых родителях.

Наташа понимала, что Глеб не может не отозваться на Шуркины слезы, сегодня он пойдет домой вместе с сыном.

* * *

Мама Нина видела, что с Натулечкой происходит неладное. Причину угадать было нетрудно: семейные неурядицы Глеба.

— Почему ты не поделишься своей болью с матерью? — спросила мама Нина свою дочь за ужином. — Или я чужая тебе?

— А чем ты можешь мне помочь? — вздохнула Наташа.

— Человек, которого ты любишь, попал в беду: ночует где придется. А ты не ударила палец о палец, чтобы изменить такое положение. Знаю, что разговор в суде о разводе временно отложен. Так, может быть, пока суд да дело, к нам? Обсуждали мы с папой этот вариант. Места еще на двоих хватит.

«Милая мама! Хорошая мама! Примириться с тем, что твоя Натулечка приведет в дом чужого мужа со взрослым ребенком... Сколько же тебе самой надо было передумать, перестрадать...»

Наташа представила себе, как они втроем с Глебом и Шуриком будут жить в доме профессора Пахомова. Мама Нина постарается продемонстрировать нелюбимому человеку (необходимость принять в доме несчастного — это, конечно, еще не любовь) все свое гостеприимство. Она ни словом, ни жестом не напомнит ему о живущей в ней неприязни, она примет смышленного сына Глеба как своего родного... Но Глеб все равно будет чувствовать себя неуютно в этом доме. Чужак! Приймак — говорят на Украине о тех, кто живет в доме тещи под ее неусыпным вниманием. Лишний раз не приласкаешься к молодой жене, будешь осторожничать в каждом движении, выбирать тщательно слова. Не станешь же запираяться днем в своей комнате наедине с любимой: есть ее мать, женщина чуткая, интеллигентная, которая в глубине души ревнует взрослую дочь к «чужому» мужчине; есть, наконец, тринадцатилетний мальчишка, который наверняка кое-что смыслит в интимной жизни взрослых...

Но где же выход? Должен же он быть? А если его нет, то надо его сделать, пробить в скале, взорвать к чертовой бабушке все, что

мешает жить по-человечески: все предрассудки, дурацкие одичавшие обычаи, устаревшие законы, абсурдные обязанности.

Конечно, Наташа завтра же расскажет Глебу о своем разговоре с мамой Ниной, о ее неожиданном предложении...

РАССУДИТЕ ИХ, ЛЮДИ!

Осень всегда приходит неожиданно. Октябрь на дворе. Но еще радует теплом солнечный полдень. Правда, по утрам тянет резковатой прохладой от каскада прудов, вернее, не от самих прудов, накопивших за лето достаточно тепла, а от парка, в который «вмонтированы» пруды. Деревья выжелтило, в них, в поредевшей листве, и прячутся будущие холода.

Еще в середине лета возле химводоочистки появился экскаватор, начал рыть траншею. У Смычка все делалось умно, по-хозяйски. Вначале сгребли верхний слой земли — чернозем — и свезли его к конторе.

— Соорудим осенью клумбу, — пообещал Смычок. — Гитлеровцы наш чернозем вывозили платформами к себе в Германию, понимали толк в земле. А мы что, темнее подвала?

Экскаватор-крохотулечка выскребал траншею: тарыхтел целыми днями, мотая квадратной стальной башкой туда-сюда, наращивал поперек пустыря длинный холм. Потом месяца на три в строительстве наступили «летние каникулы»: по независящим от водоснабженцев причинам все работы приостановились. И все отчаянные усилия начальника цеха, кандидата технических наук Ю. Ю. Смычка так и не смогли их оживить. И только в начале октября на смену экскаватору пришел автокран, начал осторожно укладывать кое-где осыпавшуюся от времени траншею, железобетонные корыта: канал водогона и паротрассы будет полупроходной, это значит, при необходимости его нетрудно будет вскрыть и произвести ремонт.

И где Юрочка Смычок добыл эти корыта? Секрет строительства хозспособом.

Стоит за «гидросолью» котел, в котором варят смолу. Чадит он целый день, подбрасывают рабочие в топку, в дополнение к гнилым

доскам, куски старых автопокрышек. Это заделывают смолой швы между корытами.

Оживает вторая очередь «гидросоли».

Водогон с паротрассой, можно сказать, тоже детище инженера Пахомовой: подкатилась она таки к главному инженеру ДМЗ Обо-рошину.

Ради этого довелось поехать с отцом еще в январе по первому настоящему морозу на рыбалку. Уж мама Нина охала-ахала: «У тебя ни обуви годной на этот случай, ни одежды! И вообще, не женское это дело — подледный лов. Целый день на стуже, на ветру. Бр-р-р! Если рыбаков проймет, они греются по-мужски — водкой. Не станешь же ты наравне с ними!»

— Для меня найдется горячий кофе. Ты сама говорила, что термос отлично держит температуру. И вообще, нет такого дела, с которым бы не справилась женщина! — возражала Наташа.

Отец ей сказал:

— Черт с тобой, хочешь продрогнуть до мозга костей, собирайся! Только не хныкать! Мне там нянчиться с тобою будет некогда.

Оборошин, узнав о намерении Наташи, пошутил:

— Для облагораживания нашего мужского общества!

У отца для зимней ловли был специально оборудован сундучок из плотного, пропитанного каким-то составом брезента. Мама Нина снаряжала его самым тщательным образом: и термос горячего кофе, и солидный «тормозок», ну и «заповедную злодейку» с наклейкой... Необходимые снасти Прохор Николаевич готовил сам.

— Ты хоть потренируйся дома, так сказать, в стационарных условиях, как нанизывать на крючок опарыши и мотыля.

Мотыль — тоненькие пегие, с краснинкой, пронырливые червячки, которые ловко извивались, не желая пропускать в себя крохотный крючочек. Опарыш — белый червяк. Выводится на всякой гадости. Но если надо! Взялся за гуж — не говори, что не дюж.

Рано утром вездеход — «уазик» — забросил рыбаков на какое-то замерзшее озеро и уехал.

— Бери, любитель подледного лова, причиндалы, тащи к месту удачи, — распорядился отец.

Оборошин запротестовал:

— Она все-таки женщина! Притом единственная среди нас.

— Для тебя, может, и женщина, а для меня — кровиночка, родная дочь! Вот пусть убедится, как тут мучается отец. И матери расскажет, а то ведь у лучшей части рода человеческого бытует мнение, что мы тут водку пьем в свое удовольствие и ничего больше не делаем.

У Оборوشина свой сундучок-рундучок с рыболовными принадлежностями, но Григорий Григорьевич готов всю поклажу взвалить на себя.

Наташа — в амбицию:

— Обойдусь!

Какая это прелесть — пройти по толстому, не занесенному снегом полупрозрачному льду, растрескавшемуся от мороза. Вначале вид глубоких, насквозь, трещин смутил было Наташу. Отроду не хаживала по такой хлипкой глади. А ну как провалишься! Вряд ли тут глубоко, но очутиться подо льдом при пятнадцатиградусном морозе... Однако одетый в армейский порыжевший от времени полушубок, а поверх еще в брезентовый плащ с широченным капюшоном, по всему служивший еще чумакам, гонявшим волов «по соль» в Крым, а в такой одежде выглядевший живым стогом сена, массивный отец шел безбоязненно. За ним топала и Наташа, хотя сердечко от непривычного вида дороги и «техкало», как на первом свидании с милым.

Сундучище грел. Не дошли до места — стало жарко. Невольно распустила молнию на куртке и откинула капюшон. Наташа увидела на льду какую-то картонку с надписью латинскими литерами: «Будапешт», поставила на нее сундук и поволокла его за ремень. Тяжелая ноша легко покатила по льду. Отец удивленно глядел на чудо. Оборوشин рассмеялся:

— Ну что, Прохор, утвердим рацпредложение? Салазочки на два полоза под тяжесть?

Наташа бурила лунки во льду специальным коловоротом. В это время начало всходить позднее зимнее солнце. Золотисто-огненное. Огромное. Казалось, оно рядом. Взберись на взгорочек, уходящий к редколесью, чернеющему километрах в двух, и потрогаешь светило рукой. Говорят: похоже на жидкий металл. Ничего подобного, оно было живое, дышало полной грудью, по всему, не легко было солнцу

оторваться от горизонта. А надо, ну просто не вмоготу — надо выкатиться на небосклон.

Брызнули радостные лучи, заискрился рассыпанным жемчугом лед, перетертый коловоротом, каждая крохотная льдинка — драгоценность.

Наташа от удовольствия засмеялась. Подхватила пригоршню ледяного крошева, сусличьим бугорком возвышавшегося рядом с просверленной ею лункой, озоруя, подбросила в воздух. Льдинки горели всеми цветами радуги. Ледяная радуга! Наташа и не подозревала, что такая может быть.

В тот день ей везло. Она первая подсекла добычу. Опустила в маленькую кругленькую луночку удочку

— Клюет! — и потянула леску.

— Ты что, очумела? — взерошился отец. — Рыбалка — дело благородное, тихое, как песня без слов. А ты чуть не матом.

...А Наташа вытягивает две рыбешки! На каждом крючке — по штучке. Полосатенькие, как иной котенок: зеленоватые с краснинкой полоски.

Отец от удивления рот раскрыл. Потом чертыхнулся:

— Ну и везет же некоторым!

Оборошин рассмеялся:

— Обходит стариков молодежь. Все-то у них получается с ходу и толково.

Отца обуял азарт. Но странно: чем больше он сгорал от нетерпения, тем меньшим у него был рыбацкий фарт. У Наташиной лунки на льду стыло, лежало десятка полтора рыбешек: окуньков и метисов — так в Донбассе зовут темно-серебристую рыбешку, помесь карпа с карасем, а у отца — всего три штучки.

К удивлению Наташи, отец сердился на неудачу, как ребенок, у которого в пользу гостя отобрали любимую игрушку. Не выдержав, он взял ледоруб и, отойдя метров двадцать, пробурил новую лунку. Наташа, может, из-за озорства, села к его старой лунке. И надо же! Вытянула огромного окуня. Ей он показался китом. Оборошин определил:

— Граммов на шестьсот пятьдесят-семьсот.

Снятая с крючка рыбина могуче билась о лед. Все трое глазели на необычную добычу.

— Ну что, Прохор, — начал подначивать друга Оборошин. — Кому везет — у того и петух несется.

— Караул! — озорно простонал отец. — Родные дети грабят! Окунь-то мой! Его же по морде видно!

— Вот такие они, акселераты, — поддакнул Оборошин. — Им пальца в рот не клади, с головой оттяпают.

— Какой же я акселерат? — удивилась Наташа. — Метр шестьдесят четыре. Я сработана по довоенным стандартам.

Оборошин пригрозил ей пальцем:

— Все равно хитрая. Это профессор Пахомов — зеленый лопушок, он убежден, что ты за нами увязалась, томимая страстью рыболова-спортсмена. Но меня на мякине не проведешь, я воробей стреляный, голову на отрез, что ты сюда притащилась с далеко идущей целью. И что килограммовых окуней у профессора из-под носа таскаешь, это все твои тактические уловки. А ну сознавайся, пока к тебе не применили допрос с пристрастием.

Наташе было весело: «Ловок же Григорий Григорьевич! Видит ее насквозь!»

Она покаялась:

— Второй очереди, «гидросоли» нужен сжатый воздух. Да и горячую воду подвести к химводоочистке не помешало бы. Вода и воздух есть на стане «3200».

Главный инженер ДМЗ задумался.

— У тебя, наверно, и проектик уже есть, хотя бы в эскизе. Я же тебя знаю, наобум лазаря не погрешь.

«Эскизик» лежал у Наташи в большом кармане куртки.

— Случайно... Завалился. — Она протянула бумагу.

Оборошин потрясал эскизом:

— Учись, профессор, у молодых жить! За горло берут! За яблочко! Ну куда деться бедному главному инженеру? — Он глянул на эскиз. — Все грамотно, по-инженерному точно. Лишь одно не учтено: площадка, через которую собираются бить трассу, зарезервирована за конверторным цехом.

Наташа была готова к такому вопросу. Мозжухин ее предупредил:

— За конверторный примутся лет через десять. Вначале доведут до ума стан «3200», затем два цеха ЭСПЦ, потом реконструируют старый конверторный — стану «3200» нужна сталь, и только потом примутся за новый.

— Стратег? — спросил Оборощин профессора. — И сам же ответил: — Стра-а-те-ег! Чешет по моему генеральному плану развития ДМЗ, хотя, ручаюсь, и в глаза его не видела.

Прохора Николаевича волновала «разверзшаяся перед ним бездна предательства»:

— Ты же мою рыбу выловила, выходит, со специальным умыслом?! Вот уже не ожидал от родной дочери! Отрекаюсь! Отныне и во веки веков! А раз ты уже не моя родная дочь, то этот симпатичный окунь — мой.

— Твой! — смеялась Наташа, радуясь, что пока ни Оборощин, ни отец против проекта не восстали. — Из твоей лунки, пойман на твою удочку, на твоего мотыля.

— А что? — восхитился отец. — Она не так уж и глупа! Может быть, не стоит спешить с отречением?

— Григорий Григорьевич, — молила Наташа, — пусть временно. Пока очередь дойдет до конверторного, профессор Пахомов перепашет весь ДМЗ и внедрит свой оборотный цикл.

Наташа глянула на отца, который поднял окуня-великана и бросил его на лед возле своей лунки к четырем маленьким, успевшим очокенеть рыбешкам.

— Ну что, министерский консультант? — спросил Оборощин профессора Пахомова, держа в вытянутой руке схему проекта.

— Консультант, конечно, против. Но профессор Пахомов понимает, что до поры до времени «гидросоль» — это кое-что.

Наташа сгрэбла свою рыбу, сколько уместилось в пригоршне, и перебрала в лунке отца.

— Хм! Взятка! В иной форме — отказался бы, но питаю слабость к ухе из окуней.

Так проблема и решилась.

* * *

Вторая очередь «гидросоли» начинала приобретать реальные черты.

Наташа от этого осеннего, наполненного сладким ароматом зрелых садов дня ждала многого. Глеб с Клавдией к одиннадцати будут в суде: срок, определенный судьей для раздумий, истек, супруги остались каждый при своем мнении. Глеб за развод: «У меня другая семья». Клавдия за то, чтобы «не кроить сердце сына». Но у нее ребенок от второго брака. Примирения быть не может, по крайней мере, Глеб стоит на своем твердо. Судье остается формальная часть.

А к десяти Наташе надо быть в парткоме завода. Предстоит собеседование. А все-таки неожиданно поворачивается порою наша жизнь! У нее и в голове никогда не было, что она может стать партийным работником. С детства мама Нина прививала ей одно убеждение: наука. Чище этого, выше этого, благороднее, перспективнее ничего в жизни нет, если не считать любви. И было на кого равняться: отец! Крупный ученый в своей области... К тому же еще и личность, интересный человеческий характер.

А вот поди ж ты, не пошла Наташа слепо по стопам отца, чтобы след в след... Для мамы Нины это трагедия. Отец во всех случаях жизни остается оптимистом: «Поколобродит и свое найдет! Главное — не ошибиться в выборе направления, по которому следует пустить свою жизнь».

...И вот сегодня, в этот светлый осенний день, должно определиться направление ее жизни.

Где и когда Наташа отвернула от пути, установленного ей мамой Ниной? Однажды она возмутилась несовершенством устройства жизни — десять тысяч раз подряд подмокшей пачкой соли по штырю системы Глеба Кедрача, — возмутилась и восстала против унижения человеческого достоинства. А если бы судьба в свое время ее помиловала и не воздвигала на творческом пути студентки, заканчивающей институт, «пик имени тети Фроси», как бы тогда сложилась Наташина жизнь? Перспективное (с точки зрения мамы Нины) замужество. Конечно, Мозжухин. Затем — аспирантура, защита кандидатской. Потом бои местного значения вокруг глобальной темы, к примеру, вода — это продукт, и раздаривать его — расто-

чительно, глупо, невежественно. Вода должна стать предметом строжайшего учета. Нужна вода? Заплати! Руки моешь — заплати, варишь металл — плати, поливаешь огород... А приложение этой общей идеи к конкретному объекту, к тому же Донецкому металлургическому заводу — это уже докторская диссертация. Потом монографии, переизданные в разных странах мира: на английском, на немецком, на японском. Признание твоего имени в науке, талантливые ученики и последователи...

Так могло бы быть. Но так не стало: споткнулась Наташа о завал голубых пачек соли «Экстра». Что это? Игра случая? Или злая необходимость? Не было бы голубых пачек, было бы что-то иное, мало ли в жизни несовершенства, уродства!

Возмутиться социальной асимметрией и встать со страстным желанием усовершенствовать окружающий тебя мир, сделать его более гармоничным, менее злым и не столь обидным для человека обыкновенного!

* * *

В уютном зале заседаний за подковообразным массивным, как скала, столом сидели члены парткома. А Наташа — на весь зал одна, если не считать молоденького мальчишечки, который пригласил ее, ожидавшую в коридоре, и присел на ближайшее к дверям место.

Она присматривалась к лицам. Увидела Оборوشина. Григорий Григорьевич был чем-то не то рассержен, не то встревожен, весь внутренне какой-то всклокоченный, настороженный, обычно по-юношески строен, а тут — сутулится, сжимается, словно к драке приготовился. Схлестнулись на переносице густые белесые брови, прописались четче. Верхняя тонкая губа скривилась в скептической полуулыбке. «Недоволен. Но все равно своя душа».

От этого сознания Наташе стало полегче, ушло из ног болезненное напряжение.

— Ну, как вы, Наталья Прохоровна, смотрите на партийную работу? — спросил ее с ласковой ноткой в голосе человек, сидевший в центре.

Меркулов. Секретарь парткома завода. Крупные черты лица, хорошо прописанные. Волосы густые, шапкой. Русые. Пожалуй, с

седина. Да, скорее всего, это седина, особенно на висках. Глаза — добрые, теплые.

«Как она смотрит на партийную работу?»

Такой простой, можно даже сказать, в устах Меркулова простецкий вопрос, а с ходу не ответишь.

— Я много об этом думала. — Наташа мнется.

— Ну и.... — Меркулов ждет ответа, он старается дать ей несколько дополнительных секунд, чтобы осмыслить ответ. Она молчит. Он заговорил: — Решено поднять роль парторганизации в таком сложном цеху как водоснабжение. Надо освободить секретаря от других обязанностей. Ставка — за счет производства. А если партком завода предложит собранию коммунистов вашу кандидатуру?

— Страшновато, — вырвалось у Наташи.

Сидевшие за подковообразным столом заулыбались.

— Конечно, объем работы весьма солидный, — согласился с нею Меркулов. — И мера ответственности высока. Но вы человек инициативный, принципиальный, чувствующий перспективу инженер с хорошими задатками организатора... Словом, объективные данные говорят за то, что из вас может получиться неплохой партийный работник. Если посвятите себя этому делу, — уточнил Меркулов.

— Но у меня никакого опыта, — невольно оправдывалась Наташа.

— Опыт придет. Вам многое подскажет Кедрач. Мы его оставим в партбюро. В цех вернулся Руфимов — а этому опыта партийной работы не занимать. Не откажет вам в помощи и такой инициативный человек как Юрий Юрьевич, он за вас обеими руками. Наконец, пошлем на семинар молодых партсекретарей. А главное, будете учиться в процессе работы. Ну так как?

Наташа глянула на Оборшина. Григорий Григорьевич опустил глаза, уткнувшись взглядом в какую-то бумажку перед ним.

— Если мне доверят... Постараюсь.

— Кто за то, чтобы на внеочередном перевыборном собрании коммунистам цеха водоснабжения на должность освобожденного секретаря парторганизации рекомендовать Наталью Прохоровну Пахомову? — Меркулов первым поднял руку.

За ним последовали другие. Лишь Оборшин сидел насупившись.

— Григорий Григорьевич, а вы? — обратился к нему Меркулов.

— Грабят кадры, — проворчал Оборощин, — и требуют: «Голосуй за это!» А мы на Пахомову имели свои виды. Прекрасно знаете, что Смычка забирают в штат коммерческого директора...

— Григорий Григорьевич! — посуловел Меркулов. В голосе появился металл. — Мнение парткома на этот счет вы знаете. Цех водоснабжения только начал вставать на ноги... В данной ситуации коммерческому директору придется обойтись без Смычка. Есть там Клепанбык — человек тоже весьма инициативный, заслуживающий всякого доверия.

Оборощин поднял руку: он тоже был «за».

Меркулов обрадовался:

— Единогласно! Наталья Прохоровна, вы у нас будете самым молодым секретарем цеховой парторганизации. Знаете сколько было лет Паше Ангелиной, Кривоносу, Макару Мазаю, когда о них узнала страна? По девятнадцать-двадцать. Серго Орджоникидзе! Знаменитый нарком тяжелой промышленности, председатель Совета народного хозяйства страны... Сколько ему было лет, когда закончилась его славная жизнь?

Вопрос Наташу озадачил. Она никогда не задумывалась над таким фактом. «Если на таком государственном посту... Вот недавно министру машиностроения присвоили звание Героя Социалистического Труда в связи с его семидесятипятилетием...»

— Ну, наверное, лет... — она хотела сказать «семьдесят», но спохватилась. Вопрос Меркулова явно таил какой-то подвох. — Лет шестьдесят.

— Сорок шесть, — улыбнулся Меркулов. — А Ленину, когда он привел партию к победе в социалистической революции?

Ну уж это-то Наташа знала:

— Сорок семь!

— А мы человека в сорок лет боимся назначить директором крупного завода: дескать, молод, не созрел. Так когда же ему выходить на отрасль? На регион? Чтобы почувствовать необходимость определенных преобразований, наметить солидную социально-экономическую программу и осуществить ее, нужно время. Вот в черной металлургии... Четверть века тому было ясно, что доменный процесс изжил себя. А мы еще до сих пор проектируем и строим домны-

гиганты, обрезая перспективу отрасли. Нам бы поменьше слов, а дел побольше да порезультативнее.

Оборошин недовольно крикнул, надулся, как сыч на солнышко.

Видимо, до прихода Наташи тут шел какой-то острый спор, и все слова секретаря парткома, сказанные молодому кандидату в секретари цеховой парторганизации, были явно предназначены кому-то другому, они продолжали начатый ранее принципиальный разговор.

— Человек в годах, — продолжал Меркулов, — слишком осторожен даже там, где необходим технически обоснованный риск. Не хватает ему энтузиазма, одержимости, он зубами и руками держится за прошлый, нередко устаревший опыт. Вы, Наталья Прохоровна, думается мне, очень своевременно начинаете свою трудовую биографию. Хочется надеяться, что и большая наука от вас не уйдет.

* * *

...Все так быстро, за каких-то десять минут... Никаких вопросов не задавали, а она так готовилась! И Устав перечитала, и Программу. Пересмотрела даже Конституцию, вчитывалась в каждую строчку «Правды»... Она испытывала чувство облегчения, замешанное, как ни странно, на досаде. Вот и в студенческие годы... Подготовится, бывало, а ее не спрашивают. Обидно!

Глянула на часы: без четверти одиннадцать! Глеб с Клавдией, по всему, сидят под дверями приемной. Перед судебным заседанием им предстоит изложить свои точки зрения. Затем будут назначены день и час суда. Хорошо бы сегодня все и разрешилось.

Наташа вышла из здания парткома. Пахло весной. Невольно глянула вокруг. В конце октября — и весна? Откуда взялась?

Она почувствовала во всем теле упругую легкость. Растут крылья. Так ее вдохновило доверие. Собственно, доверия как такового пока ей не оказали, это — на партсобрании, но аванс на доверие выдали.

А Смычок-то! Двумя руками голосует за нее!

Впрочем, чего она на него до сих пор косится? Другой бы мелко мстил за то, что отвергли. А Юрий Юрьевич — как истинный рыцарь. Уже за одно это Наташа должна быть ему благодарна. Просто он не ее принц. «Женить бы его на Клавдии... — пришла ей вдруг в голову мысль. — А что, она женщина хозяйственная,

похоже, что при деньгах. Такая солидному человеку вполне может организовать счастье...»

Впрочем, Юра Смычок заслужил более светлую судьбу.

Наташа шла через завод пешком. Вот чудо преображения! Отныне на мир она смотрела уже совершенно другими глазами, в ней рождалась ответственность за все, что происходило на заводе и за его пределами, ответственность, не имеющая границ, из прошлого уходящая в будущее.

* * *

— Мне не звонили? — спросила Наташа маму Нину, переступая порог.

— Звонила. Какая-то женщина. С приятным сопрано. Спросила тебя, а сама не назвалась. Я поинтересовалась, что передать, она ответила: «Если для вас это не будет особым беспокойством, я еще раз позвоню после пяти».

Наташа невольно глянула на часы: «Шестнадцать тридцать две...»
«Кем бы могло быть это вежливое сопрано? — подивилась она. — Может, кто-то из бывших институтских...»

Она ждала звонка Глеба. Договоривались: если неприятная процедура затянется, то он позвонит ей домой сразу после пяти.

Мама Нина принялась потчевать Натулечку обедом. Эпоха нравственной и технической революции, увы, оставляет близким для общения вот только это время: пока человек за обеденным столом.

— Ну, как собеседование? — спросила мама Нина.

Наташа поняла, что у родительницы — точнейшая информация обо всем. «От Оборوشина». Зная, как прореагирует мама Нина на перспективу закрепиться на заводе (если изберут секретарем парторганизации цеха — это, скорее всего, не на один год. Работать так, чтобы после первого срока сразу же и освободили, Наташа не будет, просто не сумеет). В общем, матери она ничего не сказала. Но у мамы Нины особый талант, она всегда и все знает.

Наташа вспомнила секретаря парткома завода Меркулова, его слова: «Вы вовремя начинаете свою рабочую биографию...»

— Решили рекомендовать, — ответила она матери, ожидая бурной реакции.

Но мама Нина лишь погрустнела.

— Может быть, сегодня это и есть самый короткий путь в большую науку. Твой отец когда-то был секретарем парторганизации факультета. В те времена на общественных должностях не засиживались: два сезона — и все. По-моему, это очень правильно, не должна выборная должность быть вечной, как звание пэра в Англии. Это школа жизни, и через нее надо пропустить как можно больше людей, иначе появляется возможность обюрократиться. Должность секретаря парторганизации помогла Пахомову расширить кругозор, появились весьма полезные связи. Его в этой роли заметили как хорошего организатора, человека незаурядного. Убеждена, что профессором и руководителем кафедры он стал бы в любом случае, а вот консультантом министерства, да и лауреатом Государственной премии, без прочных связей — вряд ли.

Умеет удивлять мама Нина!

— Мне нужна заочная аспирантура, — поделилась Наташа с матерью своими планами.

— Виталий Никифорович держит для тебя место, надо бы поговорить с ним о заочной. Может быть, появится вакансия на будущий год.

Над входными дверями пропел свою вечную мелодию звонок. Отец звонил иначе. «Глеб!»

Наташа, оставшаяся в кухне, услышала... голос Клавдии.

— Нина Ивановна, здравствуйте. Прошу извинить за беспокойство. Меня к вам привели особые обстоятельства: я жена Глеба Игнатьевича, и мне необходимо поговорить с Натальей Прохоровной. Желательно в вашем присутствии. Я знаю, она уже вернулась с работы.

А что оставалось сказать маме Нине?

— Проходите!..

«Что ей нужно от меня?» — было первой тревожной мыслью. Ничего хорошего от бывшей жены Глеба Наташа не ждала. Чего доброго, упадет на колени... Захочет, словно попу, поцеловать руку и будет умолять не разрушать ее счастья, не сиротить Сашу, отречься от Глеба Игнатьевича.

Может быть, Наташе даже хотелось такого изничтожения соперницы: Клавдия слишком долго и изощренно измывалась над ней, оскорбляла и унижала.

Мама Нина провела Клавдию в гостиную:

— Наталья Прохоровна — после работы: переоденется и выйдет.

В тоне мамы Нины — сдержанность. Она прекрасно понимает, что эта женщина заявила неспроста, какой-то камень за пазухой у нее есть.

Если бы не предупреждение матери, Наташа явилась бы на переговоры с Клавдией в домашней одежде: брюки, свитер. Но тут отправилась к себе и надела замшевый темно-коричневый костюм — подарок отца по случаю успешного окончания института.

При появлении Наташи в гостиной Клавдия встала. Она — сама скромность и в поведении, и во внешности. Одета с подчеркнутой простотой: под распахнутой дубленкой (почти до пят) — серое вельветовое платье, сероватые колготки и ко всему этому — французские сапоги. Без головного убора. Клипсы белые, дешевые, из пластмассы. Пышные волосы затянуты в тугой пучок на затылке. Светлая неяркая помада со вкусом оттеняла сочность губ, брови и ресницы естественно-темные.

«Вот какой скромницей она явилась на суд», — поняла Наташа.

— Я вас слушаю, — к своему удивлению, внутренне спокойно сказала она. Сама не присела и гостье не предложила, давая понять, что аудиенция у них должна быть короткой и как можно менее обременительной для обеих.

Перехватив спокойный взгляд гостьи — без страха, без упрека, без напускного величия, — Наташа поняла, что Клавдия явилась отнюдь не с безоговорочной капитуляцией.

— Прошу в первую очередь вас, Нина Ивановна, и вас, Наталья Прохоровна, извинить меня за вынужденное беспокойство. Но такой разговор необходим, и хорошо, что при этом есть третий человек.

Она умно выдержала паузу, давая слушателям возможность усвоить урок, который преподавали.

— Состоялось решение суда... Глеб Игнатьевич сам явиться к вам не может. В разводе нам отказали, мы с Глебом Игнатьевичем ждем ребеночка. Надеемся, что это будет дочка.

Все это было сказано почти бесстрастно. Да и к чему при таких-то фактах еще эмоции! «Приговор окончателен и обжалованию не подлежит».

Не поверить Клавдии было нельзя — нет, это не бравада, это не клевета, на которую может надеяться вконец отчаявшийся человек. Это была Голая Правда. Но прекрасно понимая, что за каждым словом Клавдии стоит, опираясь, как пирамида на прочное основание, факт, Наташа не могла, не хотела верить! Она пока еще никого в случившемся не винила — ни Клавдию, ни Глеба, ни себя, — она лихорадочно искала возможность опровергнуть очевидное.

И вдруг — улыбнулась. Дрогнули сухие тонкие губы в холодной усмешке:

— У вас есть справка? Вы были в больнице у гинеколога? На каком месяце ваша беременность?

Клавдия такого оборота явно не ожидала. На какое-то мгновение подрастерялась. В крупных глазах — испуг.

— Ну... я считаю, второй месяц...

— Могу вас, Клавдия Мироновна, огорчить, я в положении на третьем месяце. Так что одной из нас доведется делать аборт. Мой ребенок старше вашего.

Маме Нине стало плохо. Она побледнела. Схватила за сердце. Присела на диван. Надо было помочь ей, дать валидол, как обычно делал в подобной ситуации отец, накапать двадцать капель настойки валерьянки, а после первых экстренных мер уложить ее на диван, подсунуть под голову подушку и накрыть пледом, заботливо укутав при этом поясницу.

Но поступить сию минуту так — значило оставить поле боя за противником. Наташа ждала, когда Клавдия уйдет. Но та стояла, растерянная, не зная, что в данной ситуации можно ей предпринять.

— Вы еще что-то хотите мне сообщить? — спросила Наташа.

Клавдия направилась к дверям, на пороге обернулась:

— А... Глеб Игнатьевич... о вашей беременности знает?

— Само собою. — Наташа наблюдала, как меняется лицо Клавдии. Выцветают выразительные глаза, уходит из них величественное спокойствие, заселяет их черная тревога. Лицо исказила невольная гримаса боли — вот неожиданно дико заныл зуб, который когда-то

мучил, но будто бы успокоился. — У вас дочка уже есть, — наносила Наташа последний удар сопернице, давая понять, что у них с Глебом дочери пока нет, они ждут, зато есть сын, имя ему Шурка.

Клавдия ушла. На площадке, затем по дубовой лестнице заокали каблочки-«шпильки» с железными набойками.

Вот теперь-то Наташа взорвалась. Сердце — в галоп! Мысли — в разлет!

«Глеб! Что же это такое? Я же тебе верила больше, чем самой себе...»

Память невольно возвращала Наташу в прошлое, сейчас она заново анализировала поведение Глеба в последнее время. Он явно избегал ее, не искал интимной близости...

«Неужели?..»

Если бы в Клавдии не жила абсолютная уверенность в своей правоте, она бы не явилась сюда в роли исполнителя сурового приговора.

Пре
да
тель
ство!!!

Хотя бы как-то намекнул, предупредил! Не хватило мужества... «Мужичье», — говорила скептик Лизавета, давно потерявшая веру в эту породу человечества.

Мужичье — это когда нет личности, перед глазами сплошная серая масса, кисель из медуз, одним словом — мужичье. И Глеб отныне потерял свое собственное лицо.

«Мужичье!»

Наташа вернулась в гостиную

Мама Нина сидела на диване. Она самостоятельно приняла уже все лекарства и куталась в полосатый плед.

— Натулечка! — простонала она при виде дочери. — Это же ужасно...

— Что «ужасно»? — переспросила Наташа, накаляясь внутренне все больше и больше.

— Беременность.

— Успокойся! — приказала она.

Мама Нина не знала, как понимать и это слово, и этот тон.

— Мы с тобой... взрослые женщины, — начала осторожно она. — Три месяца — это не так уж много. У меня есть хороший врач. Надежный. Опытный. — Маме Нине не очень-то приятно было говорить на эту тему с дочерью.

— Я предпочитаю личные проблемы решать самостоятельно.

Наташу коробила недогадливость матери. Да, она хотела бы сейчас быть беременной. Ей нужен ребенок. Очень нужен. Двадцать шестой год! Сколько же можно!

Она прошла в свою комнату, затем вернулась в коридор и принесла телефон. «Клавдия еще в пути...»

Глеб снял трубку.

— Да? — осторожно отозвался он.

— Глеб Игнатьевич, — сказала язвительно-вежливо Наташа. — Разрешите поздравить вас с будущим прибавлением семейства. Клавдия Мироновна только что поставила меня в известность, что вы с нею ждете дочку.

— Погоди! — взмолился Глеб. — Не бросай трубку. Нам надо объясниться... Какое-то дичайшее стечение обстоятельств... Я и сам не знаю... Как все...

— Ну, полноте, Глеб Игнатьевич, в вашем возрасте пора уже знать. В пробирках детей зачинают пока только в лабораторных условиях. Это называется «клонирование».

Она положила трубку. Наташа знала, что Глеб сейчас же позвонит ей. Но она не ответит на гудки, она будет с мстительным удовольствием считать секунды.

Телефон неистовствовал.

Наташа медленно раздевалась. Повесила в шкаф костюм и легла в холодную, неудобную постель, уткнувшись лицом в мягкую огромную подушку. Разреветься бы... Но слез не было, горло перехватил соленый сгусток.

Вошла мама Нина.

— Может быть, выключить, чтобы не звонил, — осторожно предложила она.

— Не надо, — пробурчала Наташа, не отрывая лица от подушки.

Сквозь назойливое гудение телефона она слышала, как мама Нина вздохнула, затем пододвинула поближе к кровати пуф и села на него.

— Может, это все к лучшему, — проговорила она. — Будем откровенны, Глеб Игнатьевич — личность с ограниченной перспективой. Ну, пошумела молодость... Пора и одуматься. Уйдешь с завода... Причина солидная, законная: аспирантура заочная не дает нужного объема знаний...

— Мама, — оборвала ее дочь, — я уже сказала, что личные проблемы предпочитаю решать сама.

Мама Нина посидела на пуфе возле Натулечки еще несколько минут, поднялась и молча вышла.

Телефон она все-таки выключила: в коридоре была розетка.

«Глеб! Глеб! — думала Наташа. — Так обмелчать... А был ли ты великим? Или только в моем восприятии?»

* * *

Случилось...

Гости ушли, Наташа от него сбежала. Глеба мучила досада: «Мы же договорились!»

Клавдия медленно убирала посуду. Дети, утомленные гостями, отправились на покой. Щенок притих на своем ложе, под одеялом лежала электрогрелка, включенная на самое малое тепло.

— Помог бы, — попросила Клавдия.

Глеб носил посуду, она ее мыла. Затем сложили и вынесли стол. Клавдия протерла мокрой шваброй пол. Оба молчали. Но с каждой минутой Глеб чувствовал себя более неуверенно, понимая, что попадает под психологическое влияние Клавдии, подавляет она его, заставляя подчиняться своей воле. Все, что она делала, все было логично, необходимо, а поэтому неотвратимо.

Затем она раздвинула диван, что всегда он делал сам. Застелила чистую простыню, новую. Надела на одеяло пододеяльник и ушла. Правда не сразу, постояла в дверях, с тоской глядя на него.

Он ждал каких-то слов, какого-то объяснения. Но примирения не могло быть.

Она ушла, не сказав ни слова. Глеб с внутренним облегчением слушал, как она прошла в свою комнату. Посидел. Затем включил бра, висевшее в головах над диваном, и взял свежую газету, которую некогда было просмотреть днем.

...Да и задремал. (Все-таки выпили они порядочно, будь она неладна!)

Проснулся от смутной тревоги, от предчувствия надвигающейся беды. Открыл глаза и невольно сел.

Перед диваном стояла Клавдия. В длинной до пят белой рубашке. Черные волосы распущены. Глаза — как дула пистолетов, направленные в упор.

— Ты... Что? — невольно вырвалось у Глеба.

Она протянула к нему свои руки. Поперек ладоней лежала... собачья плетка. Толстая рукоятка, с петлей, и тоненький острый кончик — хлыст.

— Я подлая! — простонала Клавдия. — Предала тебя! Казни... Запори до смерти.

Она протягивала ему плетку, она тянулась к лицу Глеба.

— Очнись! — выкрикнул он, угнетенный ее отчаянием.

А она приближалась, она наступала, она околдовывала его, и он понимал, что задуманное ею — неотвратимо.

И когда она его почти прижала к стенке, он невольно оттолкнул ее.

Она не унималась.

— Зорька моя ясноокая... Кабы знала наперед, что без тебя мне нет жизни... Не убили бы Виктора, все равно сбежала бы от него. Он — ко мне, а ты перед глазами...

— Поздно! — сказал он. — Ушла — отрезала.

Она рванула на себе рубашку и распустила ее почти до пупа. Скользящая материя поползла и обнажила могучие груди, которые когда-то так волновали Глеба. При свете розового бра обнаженное тело выглядело розоватым. Жила в этой розовости прелестная наглость, дразнящая непорочность.

Клавдия вдруг со всего размаха хлестнула себя через плечо плеткой. Ремень обвился вокруг нежного тела, а кончик яростно рванул кожу под грудью. И тут же вспух черный рубец, на котором вы-

ступила капелька крови. Маленькая. Глеб не смел оторвать от нее глаз. А она росла, набухала и вот покатилась вниз, оставляя за собой четкий след.

Клавдия вновь хлестнула себя с прежней силой, и вновь ловкий кончик плети резанул по плечу...

Клавдия неистово хлестала себя. И каждый взмах плетки глубокой болью отдавался в душе Глеба.

— Сумасшедшая!

Он бросился к ней. Он хотел отобрать плетку, прекратить это дикое истязание. Клавдия осатанела, она боролась отчаянно, не отдавая хлыста. И хрипела:

— Запорю себя до смерти! Нет мне без тебя жизни.

Глеб был потрясен раскаянием Клавдии. Он со страхом думал: вот услышат возню дети, проснутся. Войдет Шурка... Что он подумает об отце... О матери... О них обоих.

— Уймись! — шептал он Клавдии в ухо, стараясь осилить в борьбе за плетку.

Они упали на диван...

Утром он проснулся. Истерзанная, но счастливая Клавдия — рядом, шепчет:

— Голубь мой, если оком кину на кого-либо — засеки меня до смерти. Будет у тебя всегда лежать это... — И сует плетку под подушку.

Глеб очнулся. Встал. Оделся. Принес Клавдии халат и сказал:

— Можешь повеситься, возврата к старому не будет.

Но Клавдия ему не поверила. Она улыбалась.

— Глебушка, мы с тобой теперь как бы заново повенчанные.

БРЕМЯ ДОВЕРИЯ

Говорят же, от любви до ненависти — один шаг. А что Наташа могла видеть в Глебе особенного? Кто он такой?.. Человек, вызывающий жалость. И не больше. Мама Нина была во многом права... Но что нам родительский опыт! Долой всякие авторитеты! Мы — сами с усами! Но жизнь неумолима в исполнении своих законов... И вот после разгульного пира наступает протрезвление.

Какое гадостное чувство — сознание вины перед собственной персоной! Два года вырвала из жизни, как две странички из просроченного календаря. Ну была бы она в том возрасте, когда годы мелькают, словно спицы велосипедного колеса.

Старые да счастливые часов не наблюдают. А молодость измеряет свой век денечками и даже мгновениями. Наташе подумать страшно. Два года... Самое светлое, святое — лопатой под ноги. Кому? Никчемному человечку. Ничего нельзя уже повторить из того, что должно было быть, но по твоей вине не было. Ничего! Нет его. Нет! Ушло, не родившись. Безвозвратно исчезла надежда. Умерла. Похоронили. Где? Когда? Неизвестно. Без права на надгробный памятник, на имя в святцах.

«Под такое настроение, пожалуй, и лезут в петлю», — подумала Наташа, вставая утром, разбитая тяжелыми думами и ночными кошмарами.

«Ну, нет, Глеб Игнатьевич, ни вы, ни ваша супружница от меня такого подарка не дождетесь!»

Вспомнив таким образом о Клавдии, подумала о Глебе: «Дожевывает, поди, она сейчас его...»

И тут же мысль о Шурке: «Жалко мальчишку».

Но — все! Лирику — побоку. Надо думать о будущем. Завод или институт? Партийная работа или аспирантура? На заводе — Глеб. В институте — Мозжухин. Прошлое и будущее в теснейшем переплетении. Как их разделить, расслоить?

Отец, проинформированный за ночь мамой Ниной, сказал дочери:

— Главное — не делать глупостей, за которые потом будет стыдно, больно и досадно. Ты поверила Клавдии. А с ним-то ты поговорила по-человечески?

Наташу удивила позиция отца. «О чем еще с ним после всего случившегося можно говорить?»

— По телефону.

— И этого считаешь достаточно?

Мама Нина была полностью на стороне Натулечки:

— Но должно же быть у молодой женщины чувство собственного достоинства.

— И у немолодой — тоже, — отпарировал отец. — Отдать решение судьбы в лапы случайности!

— Прохор Николаевич, — перешла мама Нина на тон уничтожающего скепсиса. — Что вы считаете случайностью? Беременность Клавдии Мироновны?

— А она есть, эта пресловутая беременность? — усомнился профессор Пахомов.

— Даже если ее нет. Но прецедент существует. Моральная сторона факта... — Мама Нина была непримиримой. — Меня всегда удивляла и возмущала эта мужская неразборчивость. — Ей показалось, что такое выражение недостаточно образно передает глубину ее чувств. — Представь себе ситуацию: четверть века спустя ты узнаешь, что твой ребенок — совсем не твой.

Отец отмахнулся:

— Полезли в параллели! Взбирайтесь выше! Поговорить без особых эмоций, поставить точку над «i» в очном свидании считаю делом полезным. А, в общем-то, вам виднее.

На этом для себя сложную проблему дочери Прохор Николаевич исчерпал.

Мама Нина еще пыталась вернуться к разговору:

— Что не делается — все к лучшему. Глеб Игнатьевич — не самый лучший спутник жизни для Натулечки... — Но ее никто в этом не поддержал.

Наташе было невмоготу, она спешила вырваться из дома и остаться один на один со своими горькими мыслями.

«Мозжухин... Посоветоваться? Виталий Никифорович всегда был другом. Только она, дура коломенская, из-за Глеба забыла его».

Перешла дорогу и позвонила из автомата. И только тогда, когда в трубке раздался голос Мозжухина: «Алло, вас слушают», она

сообразила, что время раннее, заводской гудок едва прогудел побудку — шесть часов.

— Виталий Никифорович, извините, я вас, наверно, разбудила. Совсем запамятовала, что у меня иной распорядок дня.

— Наталья Прохоровна, это мое время, — возразил он, к ее удовольствию. — Я уже собрался на утренний моцион. Знаете, мода! Одни говорят: «Бегом от инфаркта», другие: «Бегом к инфаркту», но тонус надо поддерживать. Что же вы исчезли? Заявление-то пора подписать и давать документу движение.

«Может, это судьба? — подумала она. — Выходит, аспирантура».

— Я — в первую смену. Освобожусь после трех, ближе к четырем...

— Вот и превосходно, и прямо к нам: у Майи Дмитриевны сегодня на обед шедевральные пирожки с капустой и мясом. Я к тому времени буду уже дома. А то она меня запилила: «Почему Наталья Прохоровна вас забыла, да почему ты ей не позвонишь».

Ну, Виталий Никифорович не точен: Майя Дмитриевна ее никогда не звала по имени-отчеству, только Наташей.

Тяжесть, порожденная двойственностью, начала отступать. «Конечно, аспирантура!»

На утреннюю планерку она чуточку подзапоздала и, юркнув в двери, присела на свободный стул ближе к выходу.

Смычок все же ее углядел. Заканчивалась планерка, он сказал:

— Наталья Прохоровна, зайдите ко мне.

«Вот я ему и скажу о своем намерении...» — решила она.

В кабинете начальника цеха отныне стоял второй стол. Это для Руфимова. Арзамас Руфимович колдовал над бумажной простыней — выводил график потребления воды цехами. Смычок жестко шел к своей идее учета воды. Правда, в цехах не хватало счетчиков нужной конструкции. Когда-то воду ценили наравне с углем, с нефтью. Но однажды волевым порядком этот объективный экономический закон отменили, дескать, не будем крохоборничать: вода — народное достояние, как и воздух, и не может иметь цены, ибо она бесценна. Сколько человеку той воды нужно! Лишнего не выпьет!

Не выпьет, но растрянжирит — сколько угодно. Дармовое, случайное, словом, не мое, точнее — ничейное. А если не мое, то с какой стати мне его беречь, экономить, жалеть!

Смычку для разговора на заводской планерке с начальниками цехов не хватало объективных цифр. Руфимов порою брал их «с потолка», но графики, выведенные им, все же выглядели весьма внушительно.

Увидев Наташу, Руфимов ей подмигнул: мол, все превосходно. Он был доволен своей работой.

Смычок поздоровался с нею за руку. Это впервые за время совместной работы в цеху.

— Партком завода определил срок нашего партийного собрания: пятнадцатое ноября. Середина месяца — нет еще особой запарки. Надо солидно подготовиться. Продумайте свое выступление. Поднимите проблемы цеха, увяжите с проблемами завода — не стесняйтесь называть фамилии. Словом, это должно быть выступление будущего секретаря парторганизации. Посоветуйтесь с Глебом Игнатьевичем, он готовит доклад и резолюцию

Не было бы тут Руфимова, она бы сказала Смычку, что после здравого размышления пришла к мысли: работа на заводе не оставит ей времени на кандидатскую диссертацию. Руфимов ее смущал. Зайти бы попозже... Но Арзамас Руфимович сидел в кабинете сиднем, предпочитая телефоны личным контактам. Впрочем, его прошлый опыт позволял ему и по коротким разговорам делать правильные выводы.

«Потом... Вот возьму из института справку: зачислена в аспирантуру, и тогда — заявление на стол».

Но что-то в этой идеальной схеме Наташу не устраивало. Недоговоренность... Ведь она просто-напросто оттягивает решение проблемы, усугубляет положение.

И решилась:

— Юрий Юрьевич, мне с вами необходимо посоветоваться по личному вопросу.

Руфимов понял с полуслова:

— Прыгну в лабораторию. Как у них там дела с экспресс-анализом воды в ночное время?

Он с трудом выбрался из-за стола и поковылял к выходу. Человек явно доживал свое.

— Юрий Юрьевич, я много думала о лестном для меня предложении. Но, увы... Я по характеру не партийный работник.

Он вскинул на нее удивленно глаза.

— Случилось нечто из ряда вон выходящее?

Она пожала плечами: «Всего не расскажешь».

— Вы же знаете, Виталий Никифорович держит для меня в аспирантуре место. — И понимая, что для Смычка этот довод не убедителен (место для нее в аспирантуре Мозжухин держал и вчера, и позавчера, и месяц назад, и полгода — но разговор она затеяла именно сегодня), досказала: — У Станислава Бобренка полдиссертации уже готово...

Не спуская с нее глаз, Смычок набрал номер телефона:

— Глеб Игнатьевич! Зайди, пожалуйста. Есть новость.

— Не надо! — Наташа невольно рванулась к телефону, намереваясь нажать рычажок аппарата, рассоединить Юрия Юрьевича с Глебом.

Видеть сейчас Кедрача было не в ее силах. Скрыть своего отношения к нему она бы не смогла.

Юрий Юрьевич нажал рычаг, придавив его коротким, сильным пальцем:

— Ясно, где собака зарыта. Решила бежать! Присядьте, Наталья Прохоровна. — Помолчал. Подумал, подыскивая слова, которые бы не обидели своенравную собеседницу. — С сотворения мира известно, что женская логика ничего общего не имеет с логикой как таковой, основные ее критерии и оценки лежат за пределами здравого смысла. В мужском его понимании, — уточнил Смычок. — Что может помешать женщине решать свою личную судьбу, выходя из этой самой женской логики? Только та же женская логика.

Она молчала. Смычок продолжал разводить глубокую философию на мелком месте.

— Но со вчерашнего дня ваша личная жизнь стала частью общественной. Месяц шел разговор вокруг вашей кандидатуры на пост секретаря парторганизации цеха. А сейчас вы пытаетесь доказать, что мы здесь в цеху, в парткоме завода, в райкоме партии, все идиоты. Несolidно, Наталья Прохоровна. Не знаю истинной при-

чины вашего нового решения, верю, что она достаточно весомая, но в любом случае ваше заявление не солидно.

Наташе было не по себе, она понимала правоту Смычка. На нее рассчитывали... Но жизнь так круто повернула... Она же в этом не виновата!

Вошел Глеб. Остановился в дверях. Он явно не ожидал увидеть здесь Наташу.

Как он осунулся за последнее время! Торчит нос, заострились скулы. Темно-синие подглазины.

— Вот, Глеб Игнатьевич, новость: Наталью Прохоровну, оказывается, ждет аспирантура. Очная. — Ему было очень больно и обидно.

— Наташа, нам надо поговорить, — взмолился Глеб. — Дурацкие обстоятельства... Не пори горячки.

Уж лучше бы он не появлялся, уж лучше бы ничего ей не говорил. Всплыла вчерашняя горечь, добавилось чувство униженности.

— Глеб Игнатьевич, вы не там ищите объект для душеизлияний. В ином месте вас выслушают с особым удовольствием.

Смычок поднялся из-за стола. Взволнован. Гуляют по бульдожьим щекам багровые пятна.

— Наталья Прохоровна, встаньте над личным. Вы же умная женщина!

Но она уже не могла унять себя:

— Заявление свое я принесу вместе со справкой о том, что зачислена в аспирантуру.

— Хорошо, — хрипло сказал Глеб, — но учтите, что на ваш уход с производства нужно согласие коммунистов цеха. Рассмотрим ваше заявление...

* * *

Работа не ладилась. Все опостылело, стало чужим, неинтересным. А перекинуться парой фраз, поплакаться было некому: Лизавета с первого апреля перешла на стажировку в отделение водоснабжения стана «3200». Там начался монтаж схем. Вера Уварова — на курсах. Из своих — одна тетя Фрося. Но у той восприятие жизни слишком

оптимистическое, никаких проблем для нее не существует. На заводе — лопата, дома — Лука Степанович и девятеро сыновей.

Наташа с великим трудом дождалась конца смены. Как ей все здесь осточертело!

* * *

Пирожки у Майи Дмитриевны были отменные. С пылу, с жару. Она, как фокусник, тут же на глазах у заинтересованных доводила их до кондиции и выкладывала со сковородки на голубое блюдо. Румяные, духмяные, они и на блюде нежно ворковали, просились в рот.

Проголодавшиеся Наташа с Виталием Никифоровичем, к радости хозяйки, были безотказными потребителями. Запивали пироги куриным бульоном.

Наташа чувствовала, что боль и досада, саднившие сердце со вчерашнего вечера, ослабли, а сама проблема пообкаталась и потускнела. «Может быть, и в самом деле, что ни делается — все к лучшему? Права мама Нина».

Но нет, вот так запросто перечеркнуть прошлое она не могла. Пообедав, они прошли в кабинет Мозжухина. Наташа по обыкновению забралась с ногами в широкое раздвижное кресло, а Виталий Никифорович подсел к столу. Пододвинув к себе лежащую на дальнем углу красную папку. Раскрыл ее. Полистал... Все-то содержимое — четыре странички да конверт с фотографиями. Повернул голову к Наташе.

— Наталья Прохоровна, мое отношение к вам не изменилось. — Он закрыл папку и протянул ее собеседнице. — Осталось вам подписать заявление. Моя резолюция на нем уже есть.

И вновь какое-то непонятное ей условие. Виталий Никифорович что-то недоговаривал, он чего-то ждал от Наташи. Может быть, опять — две кандидатуры на одну вакансию, как в прошлый раз? Кто же ее конкурент? Единственный человек, кому она могла уступить место, — Славка Бобренок. Но он давно аспирант, кандидатская на мази.

— Я разговаривал с Григорием Григорьевичем... — осторожно пояснил Мозжухин. — Он в лицах описал, какая борьба разгорелась

на парткоме за вашу кандидатуру. Григорий Григорьевич считает, что в перспективе вы — заместитель главного инженера по водному циклу. Надо реконструировать систему водоснабжения старых цехов и объединить ее с системой водоснабжения новых: стан «3200», ЭСПЦ, новый конверторный... А у парткома — свои виды на вас.

Наташа уже готова была взять из рук Виталия Никифоровича фломастер и подписать заявление. Но дрогнула рука при словах Мозжухина, опустилась на красную папку, лежащую у нее на коленях.

Мозжухин напомнил ей о проблеме: или — или... Партийная работа или аспирантура? Завод или протоптанный многими путь в науку через заочную аспирантуру?

Она тайно надеялась, что вот сейчас подмахнет свое заявление, пожелтевшее от времени, и уйдет в безвозвратное прошлое эта чертова двойственность, все отрегулируется само собой.

Она вспомнила, каким злым был Оборощин на заседании парткома, какая заочная дуэль шла у него с секретарем парткома Меркуловым. Оказывается, причина их раздора — она.

Вот и Мозжухин оставляет право выбора за нею.

Она взяла из рук Виталия Никифоровича фломастер. Не было бы в ее жизни вчерашнего вечера! Эта Клавдия...

Наташа положила фломастер в папку и закрыла ее.

— Звонила Нина Ивановна. — Мозжухин предупреждал ее, что знает о случившемся. — Она очень хочет, чтобы вы стали аспирантом.

Наташа сама жаждет этого. Но зачем Виталий Никифорович рассказал ей о своем разговоре с Оборощиным?! Молчал бы! Отложил бы на потом... Она бы уже подписала это злополучное заявление.

Раскрыла вновь папку. На заявлении, в углу, — резолюция заведующего кафедрой профессора Мозжухина: «Допустить к экзаменам!» И дата, поставленная четыре месяца тому назад.

Сейчас все зависело только от нее!

«Ну зачем ей нужно это доверие Юрочки Смычка, Меркулова, Оборощина?.. Оно же осложнило всю жизнь». Но несурзанность положения была в том, что Наташа прекрасно понимала: если она

сейчас не подпишет свое заявление, то есть не проголосует за аспирантуру, то в дальнейшем (на заводе) ее ждут сплошные осложнения. Вся жизнь, каждый день, каждое мгновение будут сотканы из таких вот и других, еще более острых, жестких, угластых осложнений.

Она раскрыла папку, сорвала с фломастера колпачок и быстро поставила свою подпись. Вот так бросаются в омут, чтобы р-раз — и бесповоротно.

Закрыла папку. А в душе поселился какой-то червячок. И точит, и точит. Червь сомнения.

Доверие!.. Обманутое ею.

Она считала, что не совершила в жизни ни одной подлости, она всегда была честной и наедине со своими мыслями, и с другими людьми. Никто не может ее упрекнуть в измене, в предательстве общих интересов.

...Пока не может, вернее, не мог, не имел права... пока она не подписала это злополучное заявление.

— Виталий Никифорович! Пусть пока... папка полежит у вас в столе. Может она там еще полежать?

Он пожал плечами:

— В общем-то, сроки подпирают: нужна какая-то ясность.

— Нет-нет, пусть полежит, — страстно начала уговаривать Наташа.

— Вы же знаете, Наталья, я ни в чем не могу вам отказать.

— Спасибо. — Она была признательна Виталию Никифоровичу.

— Вы — настоящий друг, и у меня, наверно, единственный.

Ей бы обойтись без всякого «наверно»... Но что-то внутреннее, непонятное ей, заставило ввернуть это слово. Она в чем-то сомневалась. В себе?

* * *

Два заявления. Одно: «Прошу допустить к экзаменам...» Это аспирантура. И второе — заводское: «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами».

Первое заявление у Виталия Никифоровича дома, в кабинете, на правом дальнем уголке рабочего стола в красной папке. Второе —

в Наташиной сумочке, в записной книжке: стандартный листок, сложенный вчетверо.

«Такой перерасход бумаги! Вместе с шапкой — кому и от кого — за глаза хватило бы шестой части листа».

Лежит заявление. Улучит Наташа свободную минутку... Никого рядом нет. Раскроет записную, не вынимая ее из сумки. Прочитает заявление: когда все, от первой буквы до последней, но чаще всего — лишь самую суть: «...по собственному желанию».

А есть ли оно, пресловутое желание что-то менять в своей жизни? Есть необходимость. А желание?

Шли дни. А заявление — «прошу уволить...» — продолжало жить в удобном обжитом «микрорайоне» — в ее сумочке, в «комфортабельной квартире» — записной книжке.

Чего Наташе не хватало, чтобы зайти к начальнику цеха и передать заявление? Можно было, избегая встречи со Смычком, подsunуть заявление Руфимову. Правда, Арзамас Руфимович может сказать: «Вопрос не моей компетенции...»

Словом, носит Наташа документ повышенной важности с собою. Причина? А имеет ли это значение? В конце концов важен результат.

Время идет, на что-то надо решиться.

Кедрача она избегает. Да и он, кажется, осознал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, по крайней мере, не звонит к ней на химводоочистку, не бережет место рядом с собою на планерках, не встречается после работы, не выходит навстречу перед сменой.

...Если откровенно, то Наташе хотелось бы, чтобы Кедрач искал с нею встреч, а она бы их отвергала, демонстрируя презрение. Но демонстрация оскорбленного достоинства и женского превосходства откладывалась по независящим от Наташи причинам.

Новости из жизни Кедрача приходили к ней сами собой. И задерживались в ее сознании. В газете «Вечерний Донецк» промелькнуло объявление: «Меняю благоустроенную двухкомнатную квартиру, 26 кв. м в Кировском районе на две однокомнатные в любом районе. Как вариант в одном случае — возможно подселение. Звонить в любое время». И — номер телефона Кедрача.

«В любое время — это значит трубку снимет Клавдия».

«Не помогла беременность», — отметила про себя Наташа. И было в этой мысли нечто от торжества соперницы: плохо не только мне...

Но так ли уж плохо ей было? Прошла всего неделя, а чувство острой неприязни притупилось. Первое время после встречи с Клавдией в ней клокотало, бурлило, искало выхода злое чувство ниспровержения. Хотелось все разрушить! А все — это Глеб с Клавдией, она сама, весь мир, Вселенная. К черту! И без права на возрождение, на реконструкцию и рекультивацию! Ревность по своему характеру — разрушительница, это любовь — созидательница.

А теперь Наташе разрушать уже ничего не хотелось. В каждой клеточке ее организма квартировала маленькая, крохотная апатия. Они, мелкие, пока еще не объединились, не превратились в червяка-древоточца, который разъедает ствол, то есть душу.

Она видела Кедрача и не удивлялась, что он есть на белом свете, не возмущалась этим фактом и не радовалась. «Ну, есть и есть...»

Так что же, ушла любовь? Вот так, за один заход? И не оставила после себя даже кострища? А ведь горело! Пылало! Где же угли? Где пепел?

...Может, это все потому, что в ее судьбе всегда принимал участие Мозжухин? Такой неприметный, но, как выяснилось, очень нужный человек. Сколько она помнила себя, еще со школьной скамьи, он всегда был поблизости, не рядом с нею, а именно поблизости, протяни руку — и вот он.

Виталий Никифорович чуть отдалился лишь тогда, когда в его жизнь вошла Татьяна, но эта красивая с обостренным чувством собственного достоинства женщина прошагала рука об руку с ним недолго. Три года — это не срок...

Впрочем, Наташа и в то время не чувствовала особого отдаления Виталия Никифоровича. В институте он любимый преподаватель, руководитель «Антошки», в гостях у Нины Ивановны — непременно со своей Татьяной. Он звонит, он читает лекции, он пишет докторскую, руководителем которой был профессор Пахомов, а негласным, но очень полезным консультантом — мама Нина...

Можно сказать, Наташа потеряла Виталия Никифоровича из виду только тогда, когда в ее жизнь плотно вошел Глеб. Ну сам-то Мозжухин в этом не был повинен, просто ее нравственные локаторы, ее помыслы и чувства были нацелены на иной сектор жизни, где судьба не отвела Виталию Никифоровичу места.

...А теперь их жизненные пути вновь пересеклись.

Третья смена — это с десяти вечера. Утром Наташа отсыпалась. Ну, хотя бы шесть часов сна человеку для нормального существования нужно. Лучше, конечно, восемь. Исчезает вялость, тело, особенно ноги, наливается упругостью. Идешь, словно на пружинах. И даже хочется выкинуть что-то такое... неожиданное. Пободаться, как маленькому козленку. Замяукать, засвистеть озорно, по-мальчишески.

Пару раз он ее приглашал на корт: «У меня сегодня — теннис». В белой футболке, в белых шортах с голубеньким кантом, в белых, с голубой каемочкой кроссовках... Высокий, гибкий, ловкий. На корте Виталий Никифорович в спортивной форме — как белая молния. Он всюду настигал прыгучий юркий мяч, хлестким ударом возвращая его на сторону противника.

Она болела за него, и он, к ее удовольствию, побеждал чаще, чем проигрывал.

Однажды он и ей предложил подержать ракетку в руках. По виду легкая, этакая безделушечка, оказалась непослушной, скользкой, вредно упрямой. Наташа или запаздывала к мячу, или посылала его то в сектор, то за пределы игровой площадки.

— Научимся! — заверил ее Виталий Никифорович.

Наташа теперь удивлялась, как это она в свое время многого не рассмотрела в Мозжухине. Да, руки у него мягкие, особенно ладони. Но можно сказать иначе: нежные. Прохладная, чуть влажноватая кожа, но говорят же: холодные руки — горячее сердце.

Виталий Никифорович как личность, вне сомнения, на две головы выше Наташи. Ей до него расти еще и расти, и в духовном плане, да, пожалуй, и в нравственном. Раньше она уважала его стихийно: преподаватель, причем любимый, руководитель «Антошки», обаятельный человек. А теперь перед нею открывается нечто большее: самобытная личность.

Он умел делиться своими знаниями и талантами со всеми, кто с ним соприкасался, и не становился от этого беднее.

Так почему же Кедрач? Может быть, в нем больше первородного? Может быть, в тот момент она еще не научилась предъявлять требования к себе? К людям... Недозрела, чтобы понимать во всей глубине и широте такую сложную и тонкую натуру как Мозжухин.

Виталий Никифорович умел ценить время, рассчитывая его по минутам. Раньше она видела в этом нечто от педантизма, а теперь поняла — от интеллигентности. Время! Не только в пределах человеческой жизни, но и в биографии галактик, да и обозримой человечеством на сегодняшнем этапе Вселенной. Время — единственно вечная категория, которая не поддается коррекции, подтасовкам, искривлению и выпрямлению...

Однажды, подавая в прихожей пальто, он сказал ей:

— Я буду счастлив, если этот дом станет вашим.

«А что! Третье заявление, на этот раз в ЗАГС?..»

Два (бездействующих) уже есть.

Виталий Никифорович ни на чем не настаивал, он умел ждать. Может быть, это и есть самая «мужская» черта мужчины? Не торопить события, но и не опаздывать...

* * *

В субботу перед самой сменой на химводоочистку прибежал Шурка. Зареванный. Глаза красные. Светлые волосенки — галкиным гнездом. Весь трясется от возбуждения.

— Тетя Наташа, папа зарезал маму. Ее отвезли в больницу, а его забрала милиция.

«Господи!» — ужаснулась Наташа, холодея от сознания собственной вины. Была, была в случившемся и ее вина.

Шурка прибежал за помощью к ней. Значит, верил в нее. Через весь город... Разыскал.

— Давай-ка вначале умоемся. Затем расскажешь толком.

Толком Глебов сын ничего не знал.

— Папа все время запирался у себя в комнате. Придет — и запрется. А уходит — ключ мне. Вчера мама что-то такое сказала ему, он начал выгонять ее из дому. Чемодан выставил за дверь. А сегодня я и не знаю что... Я был в городе, в кино. Мама меня отпустила. А пришел — дверь наружная сломана. Мамы нет и папы нет. Леля у соседей. Они и сказали, что папа зарезал маму, ее увезла «скорая помощь», а его — милиция.

...Похоже, не всегда милые тешатся, когда бранятся.

Суббота. 20.42. С кем посоветоваться? У кого попросить помощи? Покушение на жену! Ничего себе фактик!

Наташа позвонила Смычку. К счастью, он был дома.

— Юрий Юрьевич, у нас беда... — в двух словах о том, что ей рассказал Глебов сын.

— Предупредите по смене, пусть тетя Фрося подежурит, а вы — к северной проходной. Через полчаса я буду там, — распорядился Смычок.

Юрий Юрьевич из машины не выходил. Подкатил к тротуару, где Наташа стояла с Шуркой, распахнул дверцу.

Когда они забрались в машину, сказал:

— Звонил в милицию... Все так и есть: пырнул Клавдию ножом! Вот уж чего не ожидал от него. Едем в больницу, сейчас важно узнать, в каком состоянии пострадавшая. От этого будут зависеть последствия.

Наташе была неприятна такая рассудочность! Смычок беспокоился о последствиях происшествия, имея в виду прежде всего себя, начальника цеха.

В ней родилось и росло чувство пока еще не осознанной вины. Она явно была причастна к разыгравшейся трагедии. Конечно, мама Нина с укором в адрес Глеба Кедрача процедит: «Как это вовремя ты с ним рассталась!» Но себе-то так Наташа не скажет: «Вовремя...» Людям ее упрекнуть не в чем, но собственная совесть — самый жесткий судья...

Шура сидел рядом с нею на заднем сиденье. Мальчонка вцепился в ее руку и все время тянул к себе. Наташа чувствовала, как он дрожит. Погладила по голове. И он разрыдался, участие его докнало.

Оказывается, пострадавшую отвезли в дежурную больницу, это у черта на куличках. Смычок знал, куда надо ехать, по всему, уже сверился.

Одноэтажное здание дореволюционной постройки, этакий каземат.

Наташа и предположить не могла, что в Донецке сохранились приемные покои эпохи земских эскулапов.

Вокруг больницы темень, какая бывает в десять вечера в начале ноября. Ни единой живой души. Тоскливо светит лампочка над входом. Покачивает ее ветерок на длинном шнуре. Окна затянуты решетками, изнутри закупорены плотными ставнями.

Вспомнилась заводская больница. Ее почему-то звали Шлаковой. Считалось, что она специализируется на сердечно-сосудистых и на желчных пузырях с поджелудочной. Словом, современный медицинский центр с первоклассными кабинетами, лабораториями, поликлиникой и стационаром. Наташу в свое время поразили широченные окна, под каждым из которых огромными цифрами — номера. Это для удобства посетителей, чтобы знали, где какая палата.

Смычок долго терзал звонок, над которым чернела вывеска: «Санпропускник».

«Ну и местечко!» — Наташа невольно озиралась по сторонам.

Наконец кто-то живой с той стороны дверей чертыхнулся.

— Сказано, алкашей сегодня не принимаем, не знаем, что с этими делать!

Двери открыла немолодая женщина в халате, который в давние времена, по-видимому, был белый.

Разглядела посетителей. Она рассчитывала на встречу с представителями «скорой помощи». По чьему-то непонятному распоряжению пьяных, подобранных на улице, теперь везли не в вытрезвитель — службу милицейскую, а в дежурную наркологическую больницу.

— Кто такие, если не «скорая»?

— Милиция, — тоном, не терпевшим возражения, пояснил Юра Смычок. — К вам привезли женщину, которую ударили ножом. Отведите нас к дежурному врачу.

Слово «милиция» произвело на больничного стража магическое действие.

Вдоль коридора, приткнувшись тычком к стене, оставляя лишь неширокий проход, стояли раскладушки. На них, накрытые байковыми одеялами без простыней, лежали в несурзных позах пьяные. На всех мест уже не хватало, и человека четыре заняли «плацкартные» места на полу. Здесь царствовала вонь, давил кислый, острый запах. Он напомнил Наташе резервуар «гидросоли», который за

долгие годы безвластия освоили лягушки, неизвестно как туда попавшие и чем жившие.

Дежурным врачом оказалась немолодая женщина с темными от усталости глазами. Из-под белого колпака выбивалась седая прядка волос.

Смычок представился по всей форме и протянул заводской пропуск.

— Я начальник цеха водоснабжения ДМЗ. А это, — указал он на Наташу, — член партбюро цеха. К вам попала с ножевой раной женщина...

— Кедрач?

— Да. Каково ее состояние?

— Сделали перевязку, противостолбнячный укол. Кое-что успокаивающее... Сейчас она отдыхает.

— Ничего опасного? — с явным облегчением спросил Смычок.

— Завтра ее осмотрит хирург и, по всей вероятности, держать не станет! Она говорит, что у нее дома остался без присмотра маленький ребенок. — И, как бы оправдываясь, пояснила: — Вы шли по коридору, видели... нашу специализацию, так что больных не по профилю мы стараемся как можно скорее переадресовать.

— А почему же человек с ножевым ранением попадает к вам?

— Врач «скорой помощи» определил у нее опьянение. Оказалось, ничего особенного: пара рюмок вина во время сытного обеда.

«Значит, инциденту предшествовал обед. С возлияниями, — отметила Наташа. — Но Шура говорил, что папа запирался от мамы в своей комнате».

Сходные догадки, видимо, терзали и Смычка.

— Нам бы хотелось побеседовать с пострадавшей, — сказал он. — Если, конечно, это возможно. Дело в том, что ее муж — парторг нашего цеха. Не хотелось бы этому делу придавать особую огласку.

Дежурный врач все прекрасно понимала.

— Она в предоперационной палате — нигде больше не было места. Там довольнолюдно. Больные уже отдыхают, я приглашу ее сюда. Подождите.

Врач вышел. Наташе встречаться с Клавдией совсем не хотелось.

— Нам с Шуриком, пожалуй, лучше уйти. Вы, Юрий Юрьевич, побеседуйте с Клавдией Мироновой без нас.

— Подождите меня в машине, — согласился он и протянул ключи.

Выбраться из этого явно не богоугодного заведения оказалось не менее трудно, чем войти сюда.

Смычок вернулся через четверть часа.

— Толком не пойму, что там у них произошло. Будто бы Глеб Игнатьевич требовал вернуть какие-то деньги. Да он же патентованный бессеребреник. Но одно ясно: она настроена весьма агрессивно. Грозит всеми карами. А именно от нее зависит, как следователь повернет дело.

— Девочка пока у соседей. Я заберу обоих детей к себе, — сказала Наташа.

Юрий Юрьевич одобрил ее замысел.

— А Нина Ивановна возражать не будет? — усомнился он.

— Страдают дети — при чем тут возражения?

* * *

Соседи уговаривали Наташу оставить Лелю у них.

— Ребенок спит, ну чего его мучить?

Но Шура бы настроен решительно:

— Мы поедем к тете Наташе.

Пока сонную девочку одевали, соседка успела сообщить несколько пикантных подробностей происшествия.

— Уж она кричала! Кричала, бедняжка, истошным голосом: «Ой-ой, помогите!» Мой муж стучал к ним в двери, но никто не открывал. Тогда я позвонила в милицию, в соседнем подъезде живет завмаг, у него телефон. Приехали на редкость быстро... Вошли — Клавдия вся в крови. Платье порвано. И нож на полу. Складной, как у бандитов. Милиция забрала себе, говорят, вещественное доказательство. Протокол составили, мы его подписали. И чего промеж них получилось? Глеб Игнатьевич такой уважительный человек. И вдруг на смертоубийство решил!

Наташе неприятен был такой разговор: «При Шуре...» Но сердобольную пожилую соседку проблемы детской психологии, по всему, не очень волновали.

...Кошмар какой-то! Но кто мог предположить, чем закончится история возвращения Клавдии Мионовны в родные пенаты!

Леля мирно посапывала у Наташи на коленях. Теплое дыхание ребенка, доверчиво льнущего к ней, породило в сердце острую, шемящую тоску по чему-то крайне необходимому, без чего и жизнь — не жизнь. Это был зов звезды, под которой Наташа родилась? Светлыми ночами наши звезды напоминают о себе, они ждут нас, они влекут нас... И услышав этот первородный зов, мы смеемся и плачем, не понимая почему.

Наташа откинула с Лелиного лба прядку нежных, как горсточка лепестков пиона в твоей ладони, волос и поцеловала девочку в щеку. В сердце штыком — острое чувство: «Не отдам! Увезу куда-нибудь... В глухомань! В дебри! Но Клавдии не выдам!»

Увы, это был бред, и Наташа все прекрасно понимала.

«Своих надо заводить, Наталья Прохоровна, давно пора! Своих...»

* * *

Мама Нина — прекраснейшая из всех матерей. Ей не надо было почти ничего объяснять. К чему еще какие-то слова, когда вот они, живые дети, осиротевшие при живых родителях.

Леля так и не просыпалась. Трогала детская беспомощность.

— Я положу ее с собою, — заявила Наташа.

— Ты еще не знаешь, какое беспокойство доставляют дети по ночам. Спать вместе с маленькими — это целая наука, этому надо учиться,— возразила мама Нина. — И потом, девочка достаточно большая, чтобы спать отдельно. Вот мы ее сейчас на всякий случай посадим на горшок... Прохор Николаевич, — обратилась мама Нина к супругу. — Где-то на антресолях у нас был горшок.

Наташа невольно обратила внимание на сноровистость хлопотливой мамы Нины, каждое движение ее было целесообразным и по своему красивым. Как ловко она усадила на горшок спящую девочку! Как нежно уговаривала: «Сейчас мы пописаем... Надо пописать, Лелечка...» И та послушалась.

И это было своеобразным открытием: «Слушается! Спит, спит, а слушается...»

Шурика уложили: мальчишка уже давно тыкался во все носом. Лег — и заснул сразу.

Семья Пахомовых собралась на кухне.

— Ну, что там произошло? — спросил отец, грузно плюхаясь в свое массивное кресло, смахивающее на трон времен Ивана Грозного.

Наташа пересказала то, что знала от Шуры (папа вчера выставил чемодан с мамиными вещами в коридор), от Смычка (Клавдия грозит посадить Кедрача лет на десять), ну и от говорливой соседки (вызвали милицию, сорвали наружную дверь).

Мама Нина охала:

— На женщину поднять руку! Да еще с ножом! Такого от Глеба Игнатьевича я не ожидала. Знала, что он бывший беспризорник, но потерять себя совершенно...

— При чем тут беспризорник! Довели человека до ручки! — басил отец. — Тут не только на жену руку поднимешь — Богу бороду отрежешь! Клавдия — это фрукт. В маринаде. Но все равно не верю! Кедрач из тех, кто в любой ситуации не теряет уважения к людям.

— В тихом омуте черти водятся, — возразила мама Нина, поглядывая искоса на Натулечку.

В ее глазах жила затаенная тревога.

Расходились по комнатам, отец твердил свое:

— Чушь! Возвели на человека напраслину! Верю в порядочность Кедрача. Вот завтра я поговорю кое с кем из рыболовов, они помогут добраться до истины.

Наташа знала, что у отца есть знакомые по рыбалке, кто-то из больших милицейских чинов, да и в прокуратуре тоже — «рыбак»!

Перед завтраком пришел Виталий Никифорович. Принес и подарил маме Нине веточку мимозы.

— С весною, Нина Ивановна.

Наташа обратила внимание, как он ходит, даже по комнате: плавно, по-спортивному. Будто плывет. Мама Нина любит повторять: «Старость — это потеря суставами подвижности». В этом плане Мозжухин был юношей. Наташа часто вспоминала его в белой форме теннисиста. Как ловко он охотился за мячами, как лихо их подхватывал и переправлял «на ту сторону».

Он поздоровался с Наташей — поцеловал руку.

Мама Нина вкратце торопливо рассказала Виталию Никифоровичу суть семейной драмы Кедрача. Красок не сгущала, но ничего и не утаивала.

Виталий Никифорович, должно быть, в удовольствие хозяйки, поахал, но его оценка случившегося была близка той, которую дал Прохор Николаевич.

— Насколько я знаю Кедрача, тут что-то не так. С ножом на человека? Нет, это не в его натуре.

— В натуре не в натуре, но — факт, — возражала мама Нина.

А Наташе очень хотелось, чтобы в оценке личности Глеба Кедрача отец и Виталий Никифорович оказались правы, а мама Нина ошиблась...

Отец переговорил по телефону с кем-то из рыбацкого братства. Ему, видимо, пообещали поспособствовать по части встречи с правонарушителем.

Позавтракали. Пришла машина и увезла профессора Пахомова.

— Ждите! — распорядился он. — Без меня — ни шагу.

Что удивляло Наташу? Леля ни разу не поинтересовалась, почему она очутилась в чужом доме среди незнакомых людей, ее вполне устраивало, что «Шула» — рядом с нею (она любила держать его за руку, за указательный палец), а дяди и тети такие приветливые. Она не спрашивала, где «дядя Геля», где мама.

Баба Поля говорила: «Если хочешь родить Ему сына — значит любишь». Внутренней потребности родить ребенка Глебу Кедрачу у нее раньше не было, такая мысль попросту угнетала ее. Почему же сейчас все так изменилось!

Часа через два вернулся отец. Почернел с лица от обуревавших его чувств.

— Ну что я говорил! — выкрикнул он с порога. — Где у черта козни не выходят, он посылает Клавдию!

* * *

Глеб прекрасно понимал, что его жизнь загрузла по самый буфер в глубокой колее. И без посторонней помощи, без специального тягача или бульдозера на проезжую часть уже не выбраться. Клавдия

не позволит. «В положении». Узнав об этом, судья вскипел: «Что же вы мне морочите голову! Не по семнадцать же вам лет!»

...У, как ненавидел себя Глеб за ту минутную ночную слабость!

Он долго не мог найти выхода, прямо надо сказать, из дерьмового положения. Понимал одно: Наташу он потерял. А как же ему было без нее жить? Да и надо ли? И если бы не мысли о Шурке...

В общем-то, после того как им отказали в разводе, Клавдия его и не очень донимала. Она прекрасно понимала, что Глебу деваться некуда. Всю заботу по дому, о детях и о нем взяла на себя. Он попытался было превратить свою комнату в крепость и отсидеться в ней. Увы.

В тот день... Клавдия ушла на базар: хотела купить хорошей картошки. Глеб любил печеную, а для этих целей желательна розовая «американка» — такая опрятная, без черноты внутри. Кедрач, конечно, не просил ее о такой услуге, да и есть картошку, печеную Клавдией, не станет, это она знала превосходно, но пошла на базар и громогласно предупредила об этом.

Дети поехали в город, в детский кинотеатр, где показывали мультфильмы.

Часов около одиннадцати кто-то пришел.

Кедрач открыл дверь. На пороге стоял высокий худой парень лет двадцати двух, в мягкой черной импортной куртке. Он явно не ожидал увидеть Кедрача. Заготовленная заранее саркастическая улыбка сползла с сухих тонких губ.

— Извините, — сказал он. — Мне нужна Клавдия Мионовна. Я не ошибся адресом?

Что-то было в этом парне неуловимо знакомое. Позже Кедрач догадается: «Лелин овал лица, разрез глаз... Да и сами глаза...» Отец девочки? Нет, по годам не подходит. Скорее, брат отца.

— Адресом вы не ошиблись, — ответил Кедрач, — но Клавдии Мионовны нет дома, а когда вернется, сказать точно не могу, ушла на базар.

Парень хмыкнул и начал спускаться по лесенке.

Через полчаса вернулась Клавдия. Открыв дверь, она от порога радостно сообщила:

— Глебушка, а к нам дорогой гость. Из Ростова. Иди сюда, я вас познакомлю.

— А мы уже знакомы, — предупредил «дорогой гость».

Кедрач на призыв не откликнулся, остался у себя в комнате.

— Мы сегодня еще не завтракали, — непривычно громким голосом пояснила Клавдия гостю. Так разговаривают с глухими. — Колечка, ты ко времени. Я быстро соображу чего-нибудь.

— Да уж соображаешь ты мгновенно, это я знаю, — невесело ответил «дорогой гость».

Клавдия нервничала, Кедрач это чувствовал по ее наигранной приветливости, по тому, как она говорила, стараясь донести смысл каждой фразы до Глеба, отсиживавшегося в своей комнате.

Через какое-то время она подошла к его дверям и шепотом попросила:

— Глебушка, позавтракай с нами. Я тебя очень прошу.

Не трудно было догадаться, что она хотела продемонстрировать «дорогому ростовскому гостю», что у нее в жизни все превосходно. Только зачем ей это было надо? Клавдия не из тех, кто будет стелиться под ноги родственнику из класса «пятая вода на киселе». А тут она старалась всюю.

Кедрач ей ничего не ответил. Она давно уже существовала для него как боль в сердце, как напоминание о том, что его жизнь отныне разрушена до основания.

Клавдия вернулась к себе и вновь громко, на всю квартиру, сказала:

— Он у меня, можно сказать, непьющий, поэтому избегает всяких компаний. Ну а мы с тобой, Коля, по рюмочке по случаю встречи...

Потом кто-то закрыл дверь в комнату Клавдии, и в доме наступила тишина.

Сколько прошло времени, Кедрач сказать не может: он лежал, пытался читать газету, которую принесли утром. Но на сердце — тупая боль, саднящее ощущение пустоты... И он задремал.

Проснулся от душераздирающего крика Клавдии.

— Караул! Убивают! Живую режут! Помогите! Помогите!

Он вскочил с дивана и бросился на призыв о помощи. Но дверь в комнату Клавдии была закрыта изнутри на задвижку. Легкая такая

задвигачка. Рванул дверную ручку на себя раз, второй. Задвижку вырвало «с мясом».

«Дорогой гость» из Ростова корчился на полу возле тахты, а Клавдия неистово пинала его острым носком туфли.

Сумасшедшая! Кедрач даже представить не мог ее такой. Черные длинные волосы — клубком, будто женщина делала начес, да не успела. Левый рукав платья оторван. По обнаженному белому плечу, пузырясь, сползает темно-коричневая дорожка. Кровь из раны...

Кедрач обхватил ее сзади, стараясь оттащить от поверженного.

— Ты же его убьешь!

— Он меня... Гнида!

И — самая отборная ругань в полном ростовском наборе. Впрочем, в Донбассе тоже есть крупные специалисты по этому виду русского фольклора.

Ошалелая! Клавдия вырвалась и налетела на Кедрача.

— Это ты его подговорил! Ты! Ты! Решил меня с Лелечкой выжить из квартиры. Мешала! Поперек глотки жена встала!

Клавдия наступала на него. Обороняясь, Глеб перехватил в запястье ее руки и постарался прижать к бокам. Но Клавдия сумела вырваться и ударила его с плеча. Как только Кедрач устоял на ногах! Вот такой хлесткий удар, рубленый, под основание черепа, видимо, и сбил с ног «дорогого ростовского гостя».

Куда и когда он исчез — Кедрач не заметил, не до того было. Он унимал Клавдию. Та кричала благим матом. Кедрач понимал, что она так вопит специально, чтобы весь дом слышал, как ее истязают.

...Возможно, кто-то и стучался в наружную дверь, она запиралась на замок-зашелку.

Потом появилась невесть откуда взявшаяся пара молодых ребят из милиции. На полу возле тахты обнаружили самодельный нож: кнопку нажать — лезвие выбрасывается.

Клавдия потеряла сознание...

* * *

История, пересказанная Прохором Николаевичем, смахивала на пошленький детективчик. Но в его сюжете таилась грозная опасность для Кедрача.

Все четверо подавленно молчали. Переглядывались. Первой не выдержала гнетущей тишины мама Нина:

— Что же теперь будет?

— Следователь оценивает случившееся несколько иначе, чем мы с вами,— пояснил Прохор Николаевич. — У него документы: показания свидетелей, в том числе двух милиционеров, вызванных на происшествие. Весьма убедительно выглядит справка судмедэксперта о характере телесных повреждений. Среди прочих достопримечательностей в ней значится колотая рана острым предметом в области левого плеча. По всему, Клавдии Мироновне далеко не сразу удалось нокаутировать противника, и ей изрядно досталось. А в своих показаниях она заявила, что брат погибшего мужа не задерживался. Он хотел повидать племянницу, но та ушла с братиком в кино. Коля дожидаться не стал, ему было некогда, и он быстренько уехал. Вот тогда-то к ней в комнату и вломился Кедрач. Неизвестно, что ему померещилось, только он набросился на нее с ножом. Требовал, чтобы она «сматывалась туда, откуда вернулась». У Клавдии Мироновны — свидетели, причем самые объективные: «Детей спросите, — предлагает она следователю. — Соседи видели, как он накануне выбрасывал мои вещи из квартиры, будто я тут чужая. А моими руками весь ремонт сделан...»

— Но достаточно следователю сопоставить показания Кедрача, этого Николая из Ростова и Клавдии, чтобы выяснить истину, — воскликнула Наташа, пораженная несправедливостью, которая обрушилась на Кедрача.

— Никаких показаний Коли из Ростова в деле нет! — разочаровал Наташу отец.

— Ну так мы с Виталием Никифоровичем сию минуту едем в Ростов. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я возьму машину?

Наташе нужно было действие! Немедленное действие. Все естество ее протестовало против происходящего. На глазах всех творится несправедливость, попирается человеческое достоинство. А как это все отзовется на судьбе пытливого мальчонки Шурки, который прибежал к ней, надеясь на помощь? К ней! А не к кому-то другому, например, к родному дяде Егору Мироновичу Клепанбыку, человеку весьма авторитетному, со связями.

— Дело не в машине, — урезонил Наташу отец. — У тебя есть адрес этого Коли из Ростова?

— Ну... есть адрес, где проживала Клавдия, — растерялась Наташа. — Нетрудно будет найти Николая, даже если он живет в другом месте.

— А на правах кого явится Наталья Прохоровна с Виталием Никифоровичем к этому Коле? Вам поручено прокуратурой вести следствие? — доказывал абсурдность Наташиного замысла отец. — А не пошлет этот Коля вас куда подальше? И будет прав.

Наташа растерялась. Логика в доводах отца была неотразимой.

— Но он же человек... Мы ему объясним...

— Что объясните? Клавдия его вину перекаладывает на другого, и чтобы спасти того, другого, он, Коля, должен чистосердечно признаться: дескать, это я так мастерски отделал под ореховую фурнитуру родственницу и опробовал на ней нож, из тех, которые значатся в списке холодного оружия.

Да, отец прав, ее порыв поехать сию минуту в Ростов абсурден уже по своей сути. Беседовать с ростовским Колей должен следователь. Но когда такая встреча возможна? Ростов-на-Дону — это не просто другой город, это другая республика. Ну, подозревали бы Колю в убийстве, тогда на него был бы объявлен всесоюзный розыск. А так в чем его вина? Проведал родственницу, которую позже избил муж. Но то уже случилось без него, так что он ничем следствию помочь не может.

— Но пока Николай не знает, что говорила Клавдия следователю о случившемся, — доказывала свое Наташа. — А позже она подскажет ему, как себя вести на допросе. Напишет... Или позвонит...

— Не исключено, — согласился отец. — Но ты не знаешь, что привело Колю из Ростова в Донецк. Что-то весьма важное. И не знаешь, почему Клавдия выгораживает того, кто покушался на ее жизнь.

— Если Глеба Игнатьевича посадят — квартира достанется ей, — вмешалась в разговор мама Нина.

— Если бы во всей этой сквалыжной истории был использован только кулак, я бы мог согласиться: делят квартиру. Но когда в качестве веских доводов применяется нож специального изготовле-

ния, а пострадавшая лезет из кожи вон, чтобы выгородить нападавшего на нее бандита... — усомнился профессор Пахомов.

Разговоры на эту тему в доме Пахомовых затянулись. У каждого были свое мнение и десятки доводов в пользу это мнения. Однако от многословных дебатов дело не прояснилось. Чем больше в нем копались, тем больше отходили от истины, к которой стремились.

Шура весь день угрюмо молчал. Ни заботливая опека мамы Нины, ни нарочито фамильярное приглашение Прохора Николаевича срезаться в шахматы, ни искреннее участие в его судьбе тети Наташи — ничто не могло изменить его подавленного настроения. Может, он слышал что-то из громких разговоров взрослых на кухне, когда в подробностях обсуждалось происшествие, осиротившее его с Лелей, а скорее всего тринадцатилетний, с пытливым умом, самостоятельный по характеру мальчуган о многом догадывался...

После ужина он спросил Наташу:

— Что же теперь будет с папой?

Наташа как можно оптимистичнее ему ответила:

— Все утрясется, он ни в чем не виноват.

Шурик покачал головой: «Не утрясется».

— Если... его посадят,— прохрипел мальчуган, которого начал одолевать озноб, — я уйду в детдом!

И это было сказано так решительно, что Наташа не посмела отговаривать Шурика от такой идеи.

Такси подбросило Наташу до проходной завода, ей надо было увидеть Смычка, рассказать ему то, что стало известно о происшествии после доверительной встречи профессора Пахомова со следователем. Надо было предпринять какие-то спасательные действия.

...Наташа была убеждена, что Юрий Юрьевич о самочувствии Клавдии Мироновны знает гораздо больше, чем она. Что там?.. От показаний Клавдии теперь в значительной мере зависела судьба Кедрача.

* * *

Клавдию выписали из больницы в среду. Она приехала за дочкой к Пахомовым. Дома, кроме мамы Нины, никого из хозяев не было.

Мама Нина позже рассказывала Натулечке: Клавдии в рукопашной все-таки досталось. Синяки по всему лицу, левая рука на перевязи.

Она поблагодарила Нину Ивановну за заботу о детях, потом вдруг всплакнула и в поисках сочувствия пожаловалась:

— Ребеночка-то у меня уже не будет. Может, и к лучшему... Уж я ли не старалась ради Шурика... Но обиды Кедрачу не прощу! — мстительно воскликнула она. — Из-за проклятой квартиры инвалидом меня сделал!

Мама Нина в разговоры-переговоры с Клавдией не вступала. Но ясно было одно: создавшуюся ситуацию Клавдия непременно постарается повернуть в свою пользу.

Наташа неоднократно спрашивала Смычка, что же им следует предпринять.

— Самое полезное для всех — примирить враждующие стороны. Надо убедить Клавдию Мироновну, что ей невыгодно доводить дело до суда, и тогда она заберет заявление. Я в этом направлении принимаю кое-какие меры.

«Принимаю меры...» А какие именно? Как убедить Клавдию, что ей прямая выгода забрать свое заявление? Что может предложить ей Юрочка Смычок?

* * *

В цехе водоснабжения только и разговоров о несчастье, которое обрушилось на Кедрача. Узнав обо всем, прибежала Вера Уварова:

— Умереть можно! Что же теперь будет? Чего доброго, нашего Глеба Игнатьевича... Лет на пять... Мы с моим Петрушей уже и в уголовный кодекс заглядывали... У-у, там страсти! Статья сто шестая, часть третья — до десяти лет.

Приходила Лизавета, выкроила времечко. У них на стане «3200» сейчас самая запарка: монтируют котлы-утилизаторы. Это такая штука, которая будет утилизировать весь пар, получающийся при работе нагревательных печей, и за счет такого пара турбины будут вырабатывать двадцать пять процентов электроэнергии, необходимой для работы стана.

Елизавета послушала пересуды о Кедраче и заверила встревоженную Наташу:

— Клавдия — баба отходчивая, уж я знаю: вся ее жизнь прошла, можно сказать, на моих глазах. Побалакаем по душам...

* * *

Лизавета остановилась на пороге. С удовольствием оглядела Клавдию. Затем обняла и горячо расцеловала:

— Клавонька, роднулечка, как прослышала про твою беду, так и прибежала.

Клавдия, по всему, не очень-то уж была рада появлению гостыи.

Лизавета внимательно оглядела квартиру. Похвалила хозяйку за обои, подобранные со вкусом. Со знанием дела обсудила качество и расцветку линолеума на полу. Осведомилась:

— Не холодно босой ноге? Я лично привыкла к деревянному полу. А эта всякая химия...

Обследовала ванную и туалет.

— Компакт — хорош. Правда, не импортный. Что, поскупился Егор Миронович? Сколько их, импортных, через наш завод расходуется по начальству!

— А вот трубы надо было бы заменить, сожрала их ржа изнутри. Это как при атеросклерозе. — И неожиданно повернулась к Клавдии, которая настороженно ходила за гостьей, ожидая от нее в любой момент какой-то выходки. — А это ты правильно, с мужичьем! Я вот своему разлюбезному башку — напрочь. Все они сволочи.

Клавдия не ответила. Елизавета прошла в комнату. Здесь было тесно от мебели, каждый квадратный сантиметр нес свою нагрузку.

— За гарнитурчик-то сколько отвалила? Тысячу? При наших заработках — это деньги. — Она заговорщицки подтолкнула слегка Клавдию в бок сухим локтем. — Поди еще от Витьки остались? А? Хотя и сама могла нажать: ты баба не промах, два года сидела на промтоварах... Нынче деньги подешевели, хороший клиент за дефицит отваливает, не скупясь.

— Зачем ты пришла? — не выдержала Клавдия.

— Э-э, как мы старую-то дружбу быстро забываем! — пристыдила Лизавета. — Когда первородный грех надул пузо мячиком, ты к тете

Лизавете: «Помогите!» А теперь: «Зачем пришла?» Порадеть твоему нынешнему горю! Да, запомновала, тогда сколько тебе было? Кажись, в девятый перешла. Ну, да мы, бабы, от того не линяем. Покричала, постонала и... все как с гуся вода.

Лизавета заглянула в холодильник. Кастрюльки какие-то, что-то в кулечках и накрытых тарелках. Внизу, где должно быть молоко, несколько бутылок с крепкими напитками. Елизавета взяла с тарелки кусочек колбасы. Пожевала:

— А что, Клавушка, не дерябнуть нам по рюмашечке, так сказать, со свиданьем?

— Ты же знаешь, я контуженная, — начала отнекиваться хозяйка.

— Врач предупредил: ни-ни...

— Ну, если контуженная, то конечно, — не без яда в голосе согласилась Лизавета. Она обняла Клавдию за роскошные плечи. — Гляжу на тебя, Клавка! И завидую. Аппетитная ты баба, от мужиков отбою, поди, нет. — Наклонилась к самому уху — и по секрету: — А шуряк-то из Ростова чего приезжал?

Клавдия смутилась:

— Да так... Он тут был по делу, ну по дороге и заскочил...

Елизавета прищурилась и погрозила Клавдии худым длинным пальцем.

— Клавк, мне как родной: сколько у вас с Витькой на книжке-то было? Тысяч десять?

Клавдия смотрела на нее с ненавистью.

— Двадцать? — уточняла Лизавета. Клавдия позеленела от злости.

— Двадцать пять?

Клавдия выпустила серию отборных звучных слов, которые в словари русского языка обычно не попадают.

— Поняла! — рассмеялась Лизавета. — Двадцать четыре.

Пришло время удивиться Клавдии: оказывается, Лизавета знала многое такое, что скрывается женщиной от других

— И правильно поступила! — успокоила Лизавета хозяйку. Но Клавдия не верила ни словам, ни дружескому участию незваной гостьи. Впрочем, Лизавету это не обескураживало. — Кто в твоём сиротском положении побеспокоится о тебе и твоих детях? С Глеба спрос короток, где села, там и слезла, не мужик он по части

раздобыть-провернуть. Если бы ты сама за квартиру не принялась, еще бы сто лет пауки по углам тенета плели. Клавушка, а я к тебе по делу. Ты с Глебом что, горшки окончательно побила?

— Он меня сделал инвалидом! — выкрикнула гневно Клавдия.

— Значит окончательно, — прокомментировала Лизавета Клавдину обиду. — И правильно: ты баба в самом соку, себе еще найдешь. А мне бы Глеб, пожалуй, сгодился. Устала я от одиночества! Слушай! Займи мне десять тысяч без отдачи.

Вот когда Клавдия опешила. Выдвинула стул и осторожно присела к столу.

— Что я себе мыслю, — продолжала Лизавета, — ежели я его вызволю из беды, должен он повернуться сердцем ко мне. Как думаешь?

Клавдия никак не думала, она осторожно ждала, к чему приведет разговор Лизавета.

— Следователю на лапу надо дать? Считаю, тысяча. Прокурору... Чтобы не очень старался, обвиняя... Как считаешь, пятьсот возьмет? Тысячу. Затем суду. Их там трое. Ну, заседателям и по двести пятьдесят хватит. Наконец, свидетели... К примеру, сколько ты возьмешь с меня, чтобы свои показания изменить? Пять тысяч хватит? Мол, так и так, была у Витеньки сберкнижка, на ней двадцать четыре тысячи. Доверенность — на меня. Когда тот дружок позвонил, что Витенькину машину нашли в посадке, а он сам в багажнике, истек кровью, ты в сей же момент за сберкнижку и в кассу: мол, дом покупаем. Их дело третье — выдали. Вот за этими денежками и приезжал Витькин братишка. «Отдай, паскуда, — требовал, — то, что тебе не принадлежит!»

— Это мои деньги! — выкрикнула Клавдия. — Мы с Витей их вместе копили.

— Конечно, твои, любезная подруженька. Только Витькины родичи с этим не хотели согласиться, дескать, у Витьки есть первая жена, которая с ним в законе, а у нее двое детей... Была доверенность, это верно. Но с той секундочки, когда Витькина душа упорхнула в рай, доверенность потеряла свою силу, наступил черед завещания. Но Витька умирать не собирався и завещания на твое имя не оставил.

— Но я же не виновата! — оправдывалась Клавдия.

— А Витькин брательник этого понимать не хотел. Вознамерился пощекотать тебя ножичком, а ты его — промеж глаз... А тут и Глеб на твой крик примчался. Ну, а остальное, как в твоём заявлении следователю. Ну, так что, подруженька, пять тысяч тебе хватит, чтобы пропеть по моим нотам?

Клавдия ринулась на Лизавету, вытянула руки, намереваясь схватить врага за горло.

Ей бы только поймать эту худую шею! Давила бы! Пока не передала, как скаточку мягкого теста.

Но напоролась Клавдия на острое колено. Перехватило у нее дыхание. В глазах замелькали светлячки. Ноги подогнулись, и она плюхнулась возле шкафа.

Лизавета рассмеялась:

— Ты, подруженька, по всему, многое забыла из прошлых уроков. Ходишь лебедушкой по земле: лицом бела да румяна. А ну, как что-то случится...

Лизавета взяла свою сумочку, висевшую на спинке стула. Извлекла темный пузырек. Чуть отодвинула ногой сидящую на полу Клавдию, раскрыла шкаф.

— Добра-то! На две красивых жизни хватит!

Порылась в вещах, достала тонкую белую кофточку. Прикинула по своим плечам: «Велика!» Отошла от Клавдии. Побрызгала на кофточку из темного пузырька. Встряхнула. И кофточка вмиг превратилась в решето с большими несуразными дырами.

Лизавета аккуратно повесила кофточку на спинку стула. Убрала пузырек со страшной жидкостью в сумочку, а сумочку повесила себе на плечо.

— Подруженька, ты же знаешь, что Лизавета Воинова слов на ветер не бросает. Да, хочу спросить, ты когда к следователю-то сходишь? Сегодня уже поздно... А завтра с утра... И не вздумай обехать меня на кривой! Глеба тебе на поругание не отдам.

Клавдия заплакала. А Лизавета ей:

— Не знаю, какой гадюкой ты там у следователя будешь выкручиваться, твое дело: говори-бреши, что хочешь, но чтобы Глеба

реабилитировали подчистую. Не было промеж вас драки, не поднимал он на тебя руку с ножом! И не беременела ты от него!

Лизавета ушла, мягко прикрыв за собою входную дверь.

* * *

Это как в кошмарном сне: гонишься за белой птицей, вот-вот ее поймашь, уже и руки протянула, и вдруг... Ты забыла, что твои руки — это твои крылья. Пока ты летишь, они тебя держат, а как только... кубарем вниз. И не просто о землю — проваливаешься в преисподнюю: бездонную пропасть, наполненную густой тьмою. И охватывает тебя ужас, ты цепенеешь... Нечто подобное, только не во сне, происходило с Клавдией. Казалось бы, ей удалось кое-как подлатать разбитую было вдребезги жизнь. И вот опять осталась ни с чем.

Она сидела на полу, прислонившись спиной к шкафу, и выла недорезанной коровой — мучительно, жалобно, истощно, она оплакивала себя, в мыслях хороня заживо. Клавдия знала, что тетка Лизавета — баба стержовная, от такой что хочешь можно ожидать.

Клавдия в сладких мечтах казнила нахальную Лизавету самой лютой казнью, плакала, жалеючи себя, и все приговаривала:

— Ну почему я такая несчастная? О, Господи! Почему мне ни в чем нет удачи...

Из этого состояния ее вывело характерное тарактение старенькой машины у подъезда дома. Клавдия — к окну. «Юрий Юрьевич!»

Он не спеша вышел из машины, запер дверцы. Подергал их, проверяя надежность запоров.

Клавдия метнулась в туалет. Подставила лицо под жестко бьющую струю холодной воды. Предстать перед Юрием Юрьевичем в зарванном виде она не хотела.

Так и вышла открывать двери, вытирая лицо полотенцем.

Ахнула при виде гостя (ахать Клавдия умела).

— Юрий Юрьевич! А я думала, что дети вернулись.

Она привела его в комнату. Предложила сесть на тахту. Клавдия не знала, как себя вести. При виде этого степенного, обаятельного мужчины, который так приятно умеет ухаживать за женщинами, в

ней начала возрождаться какая-то надежда. На что именно — неизвестно. Но Юрий Юрьевич ей обязательно поможет.

Клавдия поставила на стол перед гостем пепельницу. Чешское стекло: рубин с разводами.

Юрий Юрьевич повертел в пальцах безделушку, полюбовался игрой красок.

— Клавдия Мироновна, я к вам с большой просьбой. Так сказать, по поручению коллектива нашего цеха... Не доводите дело до суда, заберите свое заявление у следователя. Ну мало ли, что бывает в семье... Поссорились — помирились. Что вам даст суд? Наплюют в душу. Соберутся лакомки «на малинку», будут с открытыми ртами слушать, как обе стороны выворачивают грязное белье интимной жизни. Мерзость разведут... А для порядочной женщины доброе имя — это богатое приданое, его надо беречь. И потом, общественность цеха встанет грудью на защиту Глеба Игнатьевича. Его у нас любят, уважают. Мы готовим общественного защитника — Руфимова Арзамаса Руфимовича. Подумайте, Клавдия Мироновна. Суд начнет копать в подробностях семейной жизни, которые не стоило бы предавать огласке.

Клавдия прекрасно понимала, что Юрий Юрьевич пришел к ней с добром. Это не старая ведьма Лизавета, Юрий Юрьевич прав. Только не хочется отпустить с миром обидчика. Для Клавдии в этот момент источником всех ее жизненных неурядиц был Глеб. Вновь вспыхнула острая жалость к себе. Душат слезы.

— Он мне всю жизнь покалечил, — вырвалось у нее. — Какие парни за мной увивались, а я, дура, вышла за него... И никакой радости за все годы... Была молоденькая. Только что закончила техникум. Хотелось, как другие: в кино сходить, в компании друзей посидеть. Потанцевать. Но разве с этим бирюком хорошую компанию заведешь? Запрется в своей мастерской... Или уткнется в книгу. Хочется ласки, тепла. Подойду, обниму: «Глебушка!» А он баранячими глазами уставится на меня: «Ты что?» Словно ведро студеной воды на тебя выльет. По ночам от тоски волчицей голодной выла. Как сын-то у нас родился, не знаю. От сырости... Я торчу на кухне — что-то хочу приготовить вкусненькое, угодить ему... Съест кусок торта с таким же постным выражением физиономии, как кусок

черного хлеба с солью. Я привела в порядок дом, занавески тюлевые повесила. А он? «Они шестьдесят процентов света съедают». А женщине хочется уюта, теплоты душевной. — Клавдия вздохнула и продолжала свою исповедь: — Я не сучка какая-нибудь, чтобы с первым встречным. Всякая нормальная женщина мечтает о семье, детях. На курорте я встретила Виктора. И поняла, какие они, настоящие-то мужья. Он пушиночки с меня сдувал. Поманил — на крыльях полетела. И сына забыла.

Она заплакала. Ей было жаль себя и своего короткого светлого прошлого.

— Он был мужик хозяйственный. Для жены утешитель, для семьи — добытчик. Мы с ним деньжонки на дом копили. Он все мечтал о садике, об огороде. Да не судилось, убили. Я вернулась сюда. Думала ради сына все старое забуду, стерплю. А у него — другая. Ну и сидел бы с ней! — выкрикнула с обидой Клавдия. — Нет же, ко мне полез. А я и поддалась. Ребеночка от него понесла... Да все тревожило меня, выпившие мы тогда были, а ну родится какой-нибудь дебил. А теперь уже ничего нет. В больнице это случилось... От побоев, от страху, наверно...

— Печальная история, — согласился Юрий Юрьевич. — Да... Мы в молодости с удовольствием совершаем ошибки, за которые потом долго расплачиваемся. Просто вам в жизни нужен человек совершенно иного характера, чем Глеб Игнатьевич. Вы женщина хозяйственная, бережливая. У вас золотые руки. Вон как вы квартиру-то преобразили. Другой ценил бы эти ваши качества, а Глеб Игнатьевич их не замечал, а когда замечал, они его тяготили. Так что нечего вам с ним делить. Ничего общего и не было.

— Он меня из квартиры выживал. А куда мне с детьми деться? — спросила Клавдия, с надеждой поглядывая на Юрия Юрьевича.

Женщина за километр начинает чувствовать мужчину, которому может понравиться. А почувствовав, вся преобразается, устремляясь навстречу невидимому теплу и свету. Глаза светлеют, голос становится ласковым, сердце заходится трепетом. И этакое преображение совершенно не означает, что она внутренне какая-то непорядочная, нет. Но тот, кому она нравится или может понравиться, — для нее задача с заранее известным ответом.

— Клавдия Мироновна! Ну что вы ухватились за эту квартиру! Да оставьте вы ее Глебу с сыном. А для вас с Лелей найдется что-нибудь более подходящее. Вот сдают дом возле цирка. Улучшенная планировка. Отличный холл. Есть балкон и лоджия. Правда, без подвала. А у вас такие изумительные соленья. Но я видел, приспособливают лоджии: специальный ящик с двойными стенками, внутри — термы. Они держат постоянную температуру. У нас в Донецке положено тринадцать и шестьдесят пять сотых метра на жильца. На троих получается почти сорок квадратов. Да есть еще такой санитарный прибавок — шесть семьдесят пять на семью. Это же трехкомнатная квартира!

Клавдия внимала каждому слову Юрия Юрьевича. И жизнь уже не казалась ей такой мрачной и пошлой.

— Я на Глеба сердца не держу, — сказала она. — Обидел он меня, это верно. Но где-то и я виновата... А в общем-то он добрый. Вернулась из Ростова, другой бы на порог не пустил. А он обогрел нас с Лелей, приютил. Леля к нему начала уже привязываться, она у меня девочка ласковая, доверчивая.

— Симпатичный ребенок, — согласился Юрий Юрьевич.

Клавдия вдруг потупилась, глаза прячет:

— Леля у меня обеспеченная. Мы с Виктором кое-что сэкономили. На хорошую обстановку в квартире хватит. Ну и на приличную машину...

Юрия Юрьевича эта часть уже не интересовала.

— Со следователем я разговаривал. Вам надо только подойти завтра к нему. Я заеду часикам к одиннадцати за вами.

Клавдия встрепенулась:

— Такой гость в доме, а я его потчую горькими речами о своей судьбинушке...

Она быстро начала накрывать на стол.

* * *

Наташа сидит в конторе. Через три дня, в понедельник, партсобрание цеха. Доведется выступать. Она готовит речь. Только никаких «программных тезисов» у нее в запасе нет. Вот и мучается. Нужно что-то конкретное...

Наташа подошла к окну. Тетя Фрося, используя перерыв, прихорашивала клумбу, которую по настоянию Юрия Юрьевича насыпали второпях, когда снимали верхний слой земли с трассы водогона. «Кому нужна эта клумба, считай, на зиму?» — подивилась Наташа.

Тетя Фрося вдруг замахала руками, она показывала куда-то в сторону. Наташа невольно глянула туда. Возле слесарной мастерской стоял Глеб. На душе у Наташи потеплело. Она надеялась, что Кедрач глянет в ее сторону. Хотя через двойное стекло ее с улицы вряд ли увидишь.

Но Кедрач в Наташину сторону не глянул. Да и откуда ему знать, что там бдит сменный инженер Пахомова. Потолковал с кем-то из слесарей и зашел в свой «хламсарай».

Наташа вернулась к столу. Было грустно-грустно. Постояла. Рука уже было потянулась к трубке. Хотела набрать номер мастерской: «Может, Глеб отзовется?»

Пододвинула к себе телефон. Но... набрать номер слесарной мастерской, где окопался Глеб, не осмелилась. Женская гордость, что ли, заедала?

И тогда она набрала... номер телефона квартиры Мозжухина.

— Здравствуйте, — сказала она, услышав голос Виталия Никифоровича.

Он обрадовался.

— Как трудимся?

— Сочиняем тезисы... Я вот о чем подумала: у заочной аспирантуры все-таки есть свои преимущества. Для меня, — уточнила она.

— Конечно, — согласился Мозжухин. — Больше возможностей для инициативы в освоении темы...

— На заводе появился Кедрач, — сообщила Наташа.

— Я за него рад, — сказал Мозжухин.

— И я, — призналась Наташа. — Какая гора с плеч! — И добавила: — А у меня хорошее настроение.

Виталий Никифорович подозрительно долго молчал. Затем осторожно спросил:

— Наталья Прохоровна, вы что, ничего не знаете?

Она насторожилась.

— А что я должна знать?

— Включите радио. Умер Брежнев. Передают обращение правительства к народу.

В это время в контору ворвалась Верка Уварова и с порога выкрикнула:

— Наташка, да включай радио, Брежнев же умер!

Вслед за нею на пороге появилась Лизавета и тетя Фрося.

Наташа включила радио. Суровый голос вещал:

— Из жизни ушел верный продолжатель великого дела Ленина, пламенный патриот, выдающийся революционер и борец за мир, за коммунизм, крупнейший политический и государственный деятель современности Леонид Ильич Брежнев.

Верка шепотом воскликнула:

— Умереть можно! Что же теперь будет!

Лизавета криво усмехнулась:

— До революции по такому поводу говаривали: «Ложки подешевеют!» А теперь, подруженька, доложу тебе, книжные магазины прогорят: никто уже его трилогию изучать не станет ни в школе, ни в институте, ни в политпросвете. Словом, бесполезная вещь. Вначале ею затоварят склады, а потом... — Лизавета сделала неопределенный жест рукой, который означал что-то вроде: фьить — полетело в небеса.

— Умереть можно! — вновь удивилась Верка. — А нам с Петькой его книги понравились. Это же о ратном и трудовом подвиге нашего народа. Особенно, «Малая земля».

— Кроме Малой, есть еще Большая, — философствовала Лизавета. — И чего бы не понравиться такой удивилке, как ты. К этим книгам приложил руку талантливый писатель.

— А разве... Не он сам?.. Не Леонид Ильич? — У Верки от удивления глаза полезли на лоб, не верит: убежденная, что товарка ее разыгрывает.

— Сам! — хмыкнула Лизавета. — Сам он не способен был даже написать заявление: «Прошу освободить от занимаемой должности в связи с состоянием здоровья и отпустить на заслуженный отдых».

— Ой, Лизавета, тебя послушать! — отмахнулась Верка. Она вдруг испугалась своих мыслей. — А страшно, девочки, правда? Что же теперь будет! Что будет!

— А то и будет! — Лизавета была настроена скептически. — При твоей памяти это первый из великих. А я не забыла, как мы горячими слезами оплакивали мудрого вождя и учителя всего международного пролетариата товарища Сталина. И тоже спрашивали себя: «Что же с нами, сиротами, будет?» Потом отдал Богу душу Никита Сергеевич. Но этого вначале отправили на пенсию, так что свезли на Новодевичье без особого шума. Вот и Леониду Ильичу пришел уготованный срок: был Брежнев, стал — прежний. Нет в мире вечного, дорогая моя подруженька, — завершила Лизавета.

Заполняя комнату, вытесняя все живое, звучала траурная музыка. Без слов.

Подходили и подходили люди. Они с надеждой поглядывали на начальника смены Пахомову, ожидая от нее откровения. А у нее, кроме растерянности, ничего не было. Она невольно смотрела на дверь кабинета, ждала, что вот-вот войдет Глеб Кедрач. Уж он-то найдет, что сказать людям: столько лет, можно считать, первый человек на водоснабжении. Где ему быть в такое время, если не с людьми, не рядом с Наташей...

1976—1983

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЖАЖДА

ТЕМА ДЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ	3
ПРОФЕССОР ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ	33
«Я НЕ ВЫПУЩУ «ТИТАНИК» В РЕЙС!».....	50
«ВАША ЛЮБОВЬ ОСТАЕТСЯ СО МНОЮ...»	71
СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР	88
СЮРПРИЗ ИМЕНИННИЦЕ	134
ОТ «А» ДО «Я»	164
«ПРОШУ РУКИ ВАШЕЙ ДОЧЕРИ!»	192
ДВЕНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ДЕВИЧЬЕЙ РАСТЕРЯННОСТИ	218

ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ

ПУЦЦОЛАНОВАЯ ТРАГЕДИЯ	249
БУДНИ	292
ДВЕ ЖЕНЫ ГЛЕБА КЕДРАЧА	324
МИЛОСЕРДИЕ	362
РАССУДИТЕ ИХ, ЛЮДИ!	389
БРЕМЯ ДОВЕРИЯ	409

Вадим Пеунов

ЗА КОХАННЯ НЕ СУДЯТЬ

(російською мовою)

Відповідальний за випуск *О. А. Коритченкова*

Редактор *С. С. Коцуляк*

Коректор *О. І. Будько*

Здано до складання 10.12.2006 р. Підписано до друку 25.12.2006.

Формат 60x84 1/16. Гарнітура NewtonС.

Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 26,04.

Ум. фарбовід. 26,5. Обл.-вид. арк. 27,9.

Вид. № 6. Замовлення № 2945.

ПП «КД «Проспект-Прес»

Україна, 83048, м. Донецьк, пр. Тітова, 15/112.

Свідцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців,
виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції:
серія ДК № 2048 від 24.12.2004 р.

Виготовлено у АТЗТ «Видавництво «Донеччина»
Україна, 83054, м. Донецьк, Київський проспект, 48